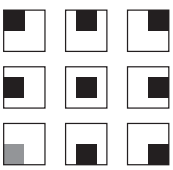
ІНСТИТУТ
ПРОБЛЕМ
СУЧАСНОГО
МИСТЕЦТВА

Алексей Босенко

ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ

II. Свободное время как свершение всех времён

Киев
«Феникс»
2021

УДК 101.2+123(20)161.1

Б85

Утверждено к печати Учёным советом
Института проблем современного искусства
Национальной Академии искусств Украины
(от 27 октября 2020 года, протокол № 7)

Рецензенты:
кандидат искусствоведения Г. А. Вышеславский,
кандидат исскуствоведения М. А. Протас

Босенко А. В.

Б85 Последнее время. II. Свободное время как свершение всех времён. — Киев : Издательство «Феникс», 2021. — 396 с.

ISBN 978-966-136-786-8

Книга «Последнее время. II. Свободное время как свершение всех времён» — вторая в диптихе. Она не является контр-темой первой или её антитезисом; две книги не составляют антиномию, два крыла, но аннигилируют в немолвленном третьем. Если прежде во всех текстах прослеживалась тенденция преодоления времени вовсе, избавления от него, разрешения в абсолютной красоте, снятия последнего противоречия диалектики, — Красоты и Прекрасного, как предметности, в своём роде совершенной, — то здесь, неожиданно для меня самого, восстаёт своеобразная апология времени, попытка продлить очарование мгновения. Это использование пространства и времени как инструментов преобразования, создания действительности на фоне вечности и бесконечности во всём их многообразии. Испытание времени в его стремительности, изменчивости, в становлении как природы порождающей, много обещающей, много на себя берущей, заведомо не верной. Всё это принципиально не завершено: открыто настежь, и потому не терпит окончательных решений. Эту книгу можно рассматривать совершенно автономно, как самодостаточную. Для всех, кто дерзает, отваживается чувствовать.

УДК 101.2+123(20)161.1

При оформлении обложки использованы элементы графической работы *cdd20* по лицензии CC

© А. В. Босенко, текст, 2021

ISBN 978-966-136-786-8

© И. И. Кулинский, дизайн, предисловие, 2021

АБРИСЫ СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ

Книга определяется не тем, насколько её интересно читать, а тем, как интересно её было писать, насколько она захватывала. Счастливая графомания — как наркомания. Тотальная гармония. Но не предустановленная. Ожидаемая, неожиданная. Графоман — не тот, кто пишет самозабвенно, а тот, кто тиражирует. Когда не помнишь себя — это счастье. Это и есть свершение всех времён. Как полнота бытия. Исполненность. Переполненность. От избытка. Через край. Интересно только твоё желание, твой интерес. Но невыносим вопрос: «Чего же ты на самом деле хочешь? И ты ли хочешь? Твои ли это желания и прихоти?»

Я понимаю, что писать нужно кратко. Вспоминается Чехов: «Вообще, маленькие вещи лучше писать, чем большие. Претензий мало, а успех есть. Я писал эту одноактную пьесу в четыре четвертушки час пять минут» (это он о «Калхасе» (Лебединая песня). Причём многозначительно, что Ка́лхас (*греч.* Κάλχας — в древнегреческой мифологии сын из Микен или Мегары, жрец и прорицатель в войске Агамемнона, по словам Гомера, *«знавший, что есть, что будет или что было»*. Неоднократно упомянут в «Илиаде». Умер от огорчения, что его превзошли в предсказаниях. Итак, ничего яснее будущего нет, потому что будущего нет. Ещё нет. И уже ясно, что больше ничего писать не надо, но смысл — как раз в абсурдности этого действия.

Тут срабатывает то, что, даже молчание длиною в жизнь — тоже лебединая песня. Оно громоздко. И многозначительно. Примечательно, что в рассказе и в пьесе по рассказу возраст героя разный. «Жизнь прошла. Мне 58 лет». «Жизнь прошла — мне 68 лет». И поэтому пишешь, как будто от этого дления зависит твоя жизнь. Стоит прекратить писать, и ты умрёшь. Вообще, и письмо, и чтение — самоубийство. Натуральный обмен своей жизни непонятно на что. И это не попытка-реакция, — чем бы занять себя

до смерти? Это превращение потенциальной энергии свободного времени: не в актуальную, не в кинетическую энергию действия, а в пребывание в жизни, в жизнь, которая удваивается в том, что в сознании, вернее, пребыванием в духе.

Сейчас много литературы и эмпирических исследований унылой социологии, которая докажет что угодно, с удивлением или удовлетворением фиксирующей отказ от свободы в желании внешней, принудительной необходимости. Так было всегда: при объяснении в любви к идее свободы — предательство и отказ, бегство от реальной свободы. Но хуже, когда безразличие и равнодушие. Безучастная причастность. Несёт в мутном потоке. В никуда. Невесть откель. Без цели. Гонимые ложной памятью, и не всегда своей. Хотя становление — без цели, в беспамятстве. И, если и является основанием развития и чувств, но не определено, и оснований не покидает, теряясь в них. Тем более в её предметности. Правда, что-то смутно знаешь, и иллюзий нет. Но это как смерть. Знание смерти. И, может быть, ты ошибаешься. И надо испытывать иллюзии, без которых нет воображения. Но может быть воображение сменяется преображением, и страх действия — просто сопутствующий эффект, который ничего не решает? А ты ничего не можешь с этим поделать. В любом случае, чувства — «с потолка», того самого их предела, который не может быть больше или меньше. Это потолок их определённости, тождество, выше которого чувства уже не в себе. Они — не они. На грани отрицания. На пределе, который невозможно преодолеть, отодвинуть (по Шеллинговски, в недосягаемость). Чувства не только осуществляют экспансию на всю вселенную, но и коллапсируют, свёртываются.

Этот предел полагается не в даль, а, как в русских оборонительных фортификационных сооружениях, становится зримым способом отступления, ретирады «во-внутрь», «в себя». Пока штурмуют внешние стены, выстаивается очередная, вокруг Святыни — церкви. (Пример неудачный, что и говорить, поскольку чувства не являются святыней, и культ чувств чувства убивает) Например, вокруг Десятинной церкви в Киеве во времена Батыя. И пространство всё меньше. Но на самом деле предел, в том числе и чувств, равен самому себе, он не удваивается, не множится, а живёт — почти самостоятельно. Он может ветвиться, пускать побеги, развиваться, и… переставать быть собой, поглощаясь, рассеиваясь. Внешний и внутренний за раз, сразу в бесконечном саморазвитии, и потому в своей предельности, как превращение — неопределим, но определяется собой.

Ты в их власти, и в тот же момент они — твои чувства, твои сущностные силы, которые могут тебя уничтожить. Но и ты можешь покончить с ними.

Поэтому не так уж важно, что ими движет. Сложившиеся в триаду Истина, Добро и Красота; Вера, Надежда, Любовь; Случайность, Необходимость, Свобода; Тезис, Антитезис, Синтез, и так далее — всё это описание единого процесса в явлении — феноменология в духе Гегеля, в различных вариациях. Это одно и то же. И не-иное.

Можно написать много книг. И они написаны. Главное — упоение и одержимость предметом, на который гадают, бросая кости бытия во всевозможных комбинациях — астрагалы, стебли тысячелистника, стратагемы И-цзин: что считать истиной — Любовь, Веру или Красоту? Они — в грозной убедительности, в своей очевидности и тотальности. Точно так же, как отъятая, ущербная, щербатая, на ущербе субстанция — времени ли, пространства ли, или снятой меры. Чувства всегда догматичны. Они не знают полутонов. Они не критичны, но отрицательны. Любовь — догмат Веры. Полесов, «слесарь-интеллигент с мотором», на вопрос Бендера «Ваше кредо?» отвечает: «Всегда!», не зная, что это. Любовь настаивает на своём до последнего. Как и любое чувство. Здесь легко заняться ложными вопросами, например, мифологией и химерностью любви, описать её бестиарий (любого чувства). Когда мы, очертя голову, втягиваемся, вляпываемся в это брожение и пытаемся определиться — это уже поступок, страшный своей необратимостью, неповторимостью, решительностью и неизбежностью.

Для меня вообще нет категорий Веры и Надежды. Нет невыносимого ожидания, но даже изъятость её претендует на окончание без продолжения. Отсутствие, — как вместо Бога (Ницше), — вместо любви. Отсутствие чего-либо, вполне заменяющее что бы то ни было. Отсутствие (я раньше обыгрывал: от-суть-ствие, и это «ствие» — как звук тетивы, прообраз музыкальной струны, летящий свист, когда стрела уже выпущена и ты не властен её обратить. Остановить её можно только вместе с жизнью. Чувство необратимо. Нельзя передумать. Потери всегда самые прекрасные и совершенные (но и предвосхищение — тоже сродни сожалению о никогда не бывавшем). Все силы уходят на демонстрацию (самому себе), как это можно обойтись и существовать без веры? Скажем, одной Любовью?

Надежда должна быть. Любовь несомненна. Как выглядит жизнь без Любви? Без надежды? Без времени? Без свободы или необходимости? (Да хотя бы без электричества или водопровода? Я не шучу). Как выглядит действительность без того, что мы не только потеряли, но даже не обрели? Может ли быть вечная жизнь? Как выглядит жизнь без чего-то? Живёт фантомными болями? Всё это вопросы гипотетические и никчёмные, как и всё, касающееся чувств. Чувства в какой-то момент — бесчувственны. Чувства без чувств, а значит и без сознания. Как эстетическое по Канту — целесообразное без цели, так и чувства — не в себе. Любовь без любви — это то же, что любовь к любви. И все дело в отсутствии, которое временит. Момент разрешения всякого противоречия атонален, неопределён, антагонистичен — в этом он неразрешим, он колеблется.

Кстати, это проточувство очень уж жалко выглядит — оно едва пробивается в своём зародышевом состоянии, обещая стать вполне, но пребывает в становлении. На него надеются, в него верят, и даже любят, им клянутся, на него полагаются и ради него жертвуют жизнью, оно — истина жизни, но любовь может быть и бывает не доброй, мучительной, жестокой и даже некрасивой, хотя действует и случайно, и необходимо, и от имени свободы.

Но то же самое можно утверждать и о Вере, Добре, Красоте, о Времени, Пространстве, Развитии, о любом феномене, который будет актуализирован и тем абсолютизирован, став принципом, нет, способом кристаллизации, абсолютизации, моментом развития, вокруг будет формироваться так называемый «мир» в его мифологической очевидности. И все феномены станут не способом остановленного «вещества» движения, а способом, источником превращения энергии, находящего себя и в чувствах из ничего.

Было бы проще всего объявить это неграмотностью и произволом, неправильностью. Но суть в том, что это — явление синтеза, когда всё — лишь различные формы одного и того же движения. Это то, чего нет и не предвидится. Это своего рода Антроподицея, то есть оправдание Человека (и одновременно есть времядицеей, хронодицеей, апологией незавершённости и неповторимости, — незавершённое повторить невозможно, — невозможностью): путём ли его унижения, как бесконечно малой величины, элиминирования его до нетости, до необхо-

димости действовать, а значит, пребывать в отрицательности, и тем «во зле» превращения, в переставании быть собой, чтобы быть собой. Это антропогония, самосотворение, космогония, что одно и то же, изгнание и возгонка себя через ничто в бытие.

И это преобразование, превращение даёт ощущение «божественности». Вернее, божественного произвола. Над тобой не властна идея, тем не менее, какому-то эйдосу ты следуешь. Ещё Лейбниц говорил в Теодицее, оправдывая предустановленную гармонию, что главная проблема Бога в том, что он «наталкивается» на своё действие вдогонку. Почему Мир, действительность такие, как они есть? А не иные? **Да потому, что у Бога не было выбора.** Бог имеет все возможности, даже невозможные (чудо, например), но он не знает одной возможности — ***единственной***. (Этот пассаж, от которого Лейбница бы хватил кондратий, приписан мной произвольно, только на том «достаточном (остаточном) и необходимом основании», что так привиделось, и это (по желанию) может быть основанием для «предустановленной гармонии», по причине и без причины. Я могу утверждать, что свобода беспричинна, и причина её в том, что причины она не имеет. Но только тогда, когда свобода достигнута и сама становится причиной. Я с одинаковым успехом могу приписывать идею свободы Спинозе, и утверждать, что ничего подобного у Спинозы нет. Например. Бог действует свободно, потому что не имеет выбора. Свобода на выбор — это не свобода, а случайность и эклектика. Свобода — не выбор, свобода — когда выбора нет.

Хотя, думаю, что зав. кафедрой философии Одесского Университета, считающий себя специалистом по Лейбницу, с роскошной фамилией Секундант (С. Г.), хотя в секунданты бы я его не взял, из современных, или Андрей Баумейстер (вечный мальчик-отличник, первый ученик, не знаю, когда он читает, а тем более думает — он же всё время на экране, ведёт шоу. Философ на арене. Массовик-затейник), или присвоивший себе Паскаля Хома, но не Брут, а Олег, очень верующий в свою непогрешимость — брезгливо поморщатся, впрочем, я им сочувствую. Они — как белые лабораторные крысы: очень умные, знают даже как звали собачку Декарта, осведомлены обо всём, вещают банальности публично, выполняя функции мыслителей, пользуясь спросом. Их философия — вроде товара, публичная девка, а они — как сутенёры. Хотя то, что выдаётся за публичную философию, скорее напоминает резиновых женщин из секс-шопа. Вопрос: к чему всё это? Не знаю. Наверное, они выполняют роль спинномозговой жидкости, которая заполняет лакуны усы-

хающего мозга, это своего рода идеология безмозглости, без которой функционирование общества невозможно. Суть не в этом, а в монополии на Лейбница и его идеи. Хорошо в двадцать лет бросаться фразами о том, что Кант всерьёз не читал ни Лейбница, ни Вольфа, и если бы он внимательно к Лейбницу отнёсся, то не написал бы «Критику чистого Разума». Что Кант — представитель аналитической философии (или-или), а Лейбниц и Гегель с «другой стороны» — синтетической (и то и другое). Читал ли Кант Лейбница — вопрос глупый. Это, конечно, очень увлекательное занятие — разбираться, что читал Кант, есть много таких «проблем». Могу сказать, что Гегеля он точно не читал. И даже, к своему стыду, Секунданта не осилил, а то бы никогда не занимался философией. В общем, это типичные представители университетской псевдоэлиты, неосхоластики, приспособившиеся для нужд толпы, дай бог им здоровья. Ни пользы, ни вреда. Они не ретрансляторы. Чего в них больше, дезинформации или банальностей — не знаю. Вполне обыденное явление, ни рыба, ни мясо — грибы. (Таких много в любой стране. И они по-своему выполняют неведомую функцию, миссию. Их полно везде. Например, известный В. Марков с его переводами. По-своему даже забавно. Выполняет роль вакцины, прививки от разнузданности и развязности мышления. Которое отрезвляет, показывая опасность графомании, но в целом достаточно безобидно. Ничем не хуже других занятий.)

Смешно слышать и читать о расцвете, возрождении философской мысли в Украине, конечно, в лице вышеупомянутой престарелой поросли. (Когда-то мой однокурсник Анатолий Георгиевич Тихолаз сказал: «Философия в Украине — это смех Демокрита сквозь Гераклитовы слёзы». Добавлю, что это относится ко всему мировому современному состоянию философии. Здесь мы на уровне современности.) Ну, хоть так, хоть что-то. На фоне, например, нацистской шизофрении, обращение к «философии здравого смысла» выглядит вполне респектабельно, хотя «здравый смысл» для философии — почти ругательство. Их ориентация на современный «неотомизм», причём избирательный, французского толка — тоже симптоматична, но, по крайней мере, без истерик. Их ярко выраженная идеология, — именно идеология, — остаться над схваткой, уйти в эмиграцию в историю философии и переписать её «под себя» тоже по нынешним временам можно трактовать как «гигиену мышления». Бессребреники — то есть не иуды, не жертвы, не герои. Так — свой маленький гешефт. Но, думаю, их наивный ликбез, их самолюбование и подача себя — фальшивы и наигранны, как и глупая попытка «публичной философии». Они понимают, что делают и на кого работают. Жить-то надо. А в философии любят поговорить о совести. Цинизм у них — не «возвышенная ирония», а попытка выдать желаемое за действительное, сымитировать философию и сыграть в учителей. Я сам некогда ратовал, чтобы философам излагали

актёрское мастерство — не только риторику, но и основы дыхания, движения, жестов, владения мимикой, голосом. Лекция — это спектакль одного актёра, зачастую для одного человека — для себя. Это импровизация и подчас три спектакля кряду. Такой себе «чёс». Нельзя повторяться не только в разных аудиториях, но даже в одной и той же группе, в одной и той же лекции, с одной и той же темой. (Да, философия ушла в исполнительство. Пересказывать чужие мысли, идеи тоже надо уметь, как и вычитывать.) Каждый раз — как первый и последний, каждый раз — премьера. Это адский труд на износ: и голос садится, и слушатели не готовы к восприятию, и сам процесс лекций безнадёжно устарел, и спектакль не актуален, да и действие почти принудительное — и у лектора, и у слушателей. И беда не в публичности (хотя есть здесь что-то от стриптиза на шесте, пардон, на кафедре, и откровенной проституции, в конце концов, и Джордано Бруно «гастролировал», и кто только лекции не читал, и не только любимые темы и спецкурсы, но и совершенно невероятные). Но это не должно превращаться в шоу. (Почему же? Пусть превращается.) И требовать от балагана высокой трагедии странно. Всё средненько отрепетировано. Я не поленился пересмотреть в записях всё, что они наваяли, все лекции, интервью, перечитать все их основные книги (не опускаясь до диссертаций), и был поражён полным отсутствием философии, как отсутствием состава преступления. Хорошая подача. Полная незамутненность, полная ясность. Водевиль. Служба. Я понимаю, что это театр. Но разница между варьете и трагедией всё же есть. Хотя это вопрос жанра. И, может быть, стирать нейтральный полосы не только между жанрами, но между обществом и спектаклем, трагедией, комедией и жизнью, философией и мышлением — вполне почтённое занятие, по крайней мере — актуальное. Каждый спасается в одиночку. Не знаю, лучше ли это, чем ничего? Отдаёт самолюбованием. Фальшиво напрочь. Отлакировано и скучно. Хотя в этом унылом действии очень много забавного. Но не буду нарываться, а то ещё припишут провокацию. Провоцировать нечего. Все культурненько, пристойненько, от лица философии и снисходительно, «зверхньо» к простым смертным, непосвящённым. Смешно. С уважением и пиететом к самим себе, всё, как полагается, публично. Впрочем, может быть, их обожают и любят как «гур», и я им желаю всяческих успехов. Но суть в том, что после такой «пропедевтики» вряд ли кто-то обратится к философии, ведь и впрямь — незачем. Хотя, может, в этой прививке, в том, чтобы выработать иммунитет против мышления, антидот против философии, — и есть смысл? Философия как противоядие, митридат, — снадобье против самой себя и против красоты и чувств, против бессмертия. Проблема есть, но популяризацией науки её не решить (хотя есть действительно талантливые книги, которые читаешь для удовольствия. Боюсь, только замусоривает пространство мышления. Хотя

не берусь судить. И уж точно — не призываю запрещать. Но точно знаю, что книги «Экономика за тридцать секунд», «Популярно о теории относительности», «Античная философия за 30 минут» распыляют усилия познания, нивелируют его и гасят. Так что неофиты скорее обратятся к болтовне, и небезобидной, агрессивной, чем будут заниматься действительно наукой. Да и есть ли она, наука? Пусть делают, что хотят. Разбазаривают по прихоти свободное время. С купеческой роскошью. Обходятся без науки, без чувств, довольствуясь ощущениями и протезами — заменителями. Это неизбежно. Я не сторонник «теорий заговора» и всякой нумерологической мути. Но такое впечатление, что так называемая популяризация науки подпитывается и поощряется специально, с целю ввести в заблуждение основную массу, которым знать что-то не положено, даже то, что на сегодняшний день выдаётся как «истина». Все эти Маклюэны, Карры, Николаи Ли, Краусы, Лоуренсы, Максвеллы и прочие (говорю о них с симпатией) — их можно перечислять до бесконечности — всё это адаптационный механизм запудривания мозгов, что тоже важно, чтобы не свихнуться — противоударный механизм. Как знать. И это не просто наведение галлюцинаций. Такого добра полно везде. Очень распространён тип «философского туризма», напоминающий одновременно и «шоппинг», и «сексуальный туризм» — всего понемножку. Путешествие за удовольствием. Обзор достопримечательностей. Развлекаловка. Музейное, археологическое и палеонтологическое отношение к истории мысли.

Я не говорю уже об областях дармоедства — политологии, гендерных проблемах, психологии, экологических проблемах — это мусорный ветер, сопровождающий свободное время, его развитие. Разбазаривание человеческих способностей. Труха возможностей, их обветшание, стравливание избыточного давления и утилизация человеческих эмоций, захоронение отходов, причём отходами становятся сами чувства, даже потребность в которых — излишество. Какая может быть потребность в том, чего нет? Оно первоначально воспринимается как поток, и всякое освоение этой мощи — как движение против. Но не лавирование галсами, как хождение под парусами, что требует высокого искусства, а движения в аэродинамической трубе, хотя это подготовка к скорости, к движению со сверхзвуковой и даже к сверхсветовой, что невозможно. И именно поэтому — так заманчиво, если отбросить совсем уже полный хлам дешёвых сенсаций и мистики, возможно, бестолочь недомыслий — компенсаторный механизм, который заменяет отсутствие воображения. Своего рода попытка научной фантастики, когда хочется восхищаться хоть чем-нибудь, ощущать эмоции. Не сверхсветовая, а сверхвременная скорость в потоках свободного времени. Тут неизбежны турбулентности, вихри, разрывы и проявления невероятных свойств по мере их создания — сверхтекучести и сверхпроводимости свободного времени и, наверное, сгорание в атмосфере

и много побочных эффектов. (Трение времени, сопротивление пространства тоже можно отнести к издержкам производства свободного времени.)

В общем, проблема решения не имеет, но решается самим существом дела, кто хочет, тот сможет — всё для этого есть, а дальше — как повезёт. Риск есть, и немалый. Вот это ускорение развития наталкивается на естественный предел. Понятно, когда показывают научно-популярный фильм «Беременность за десять минут», это возможно теоретически, хотя в реальности — нет. Но сокращение в теории возможно, хотя и теряется вся поэзия, вся полнота жизни.

Тенденцию к упрощению самого процесса развития, который представляется избыточным и чрезмерным, ошибочно принимают за экономию средств. Развитие чудовищно. Оно — через край: чтобы породить ничтожный результат, расходуются впустую грандиозные силы, невероятная мощь энергии. Развитие не рационально. Но таким ему и надлежит быть. И попытка упрощения, обеднение, огрубление, в том числе и языка — от бедности. Я не сетую об излишествах и мнимом богатстве языка. Язык метафорический умирает первым, он становится тусклым и банальным, поэзия мрёт в судорогах, изредка вспыхивая в агонии мышления, задерживая внимание на своих формах, на глазах, становящихся архаическими силами, изо всех сил пытающихся затормозить, отсрочить свою гибель. И ничего при этом поделать нельзя. Каждый период, даже самый крохотный, в границах оной человеческой жизни имеет свои рождения, периоды расцвета и увядание. Более того, штампы, обороты речи, слова-паразиты, механические фигуры речи — своего рода алгоритмы, общие места, которые позволяют удерживать речь в рамках и функционировать в понимании, быть понятийной и воспроизводиться, иначе наш язык был бы в своей непрестанной новизне образности непонятен, невразумителен. Помните: «Дыр бул щыл…» и так далее. (В «Разговоре, которого не было» Летов рассказывает, что перед смертью Кручёных записал: «А всё-таки лучше моего “дыр бул щыл” никто из человечества не породит в ближайшие 50 (зачёркнуто) 100 лет» — *прим. ред.*)

Так что, можно сокращать, считая теорию многословной, но можно, по своему разумению, позволять себе излишества в виде поэзии, музыки и живописи. Торопясь жить, не обязательно эту жизнь укорачивать. Иначе говоря, я считаю, что нужно делать то, что хочется, но помнить, что отвечать придётся по полной. И стыд за написанное неизбежен, хотя — если кто-то заметит. Это издержки свободного времени, которое в массе своей уходит «в отвал» и используется поначалу не рационально (а может, так и должно быть?) В свободном времени время — не количественно, оно — вроде сдвига, подвижки. Она покоится в скорости и прерывно-непрерывной природе времени. Время и вечность — одно. Можно даже говорить, что сопротивление вечности, её превращение во время, создают турбулентность, конфигурацию

времени и её температуру. Свечение в средах вечности. Чистая поэзия свободного времени, которое становится обыденным и привычным. Когда необходимость становится свободой, а свобода необходимой. Стремительность сверхтекучей вечности как таковая. Цель не имеет направления.

Не только выбора нет, но и выхода нет.

ТЕОДИЦЕЯ

«У Бога не было выбора»
Лейбниц

никогда не принимал ни бога
ни идеи предустановленной гармонии
разве бог нуждается в оправдании? —
никогда
как в необходимом и достаточном основании
но в этом вся ирония — почему всё невыносимо
и так как есть?
почему всё так последовательно и тупо случается
невыносимо бессмысленно сейчас и здесь
прошлым всё было и никогда не настанет
и в этом ты весь
от отчаяния до отчаяния
и не можешь отчаяться
как бог — надежды никакой нет
потому что у бога есть они все — возможности
кроме одной — единственной — в этом ответ
и вечность *печалится* временем на просвет
в беспросветности и этим от себя отличается
в этой безбрежности неузнаваемой
и безбожности
ожиданием света и будто весь свет
обезображенный до неузнаваемости
до тьмы и кромешности до изнываемости

всё — на кромке ничто и кроме тебя и Ничто
кроме жизни навылет и кроме всего остального
всё кроме навеки
всё кроме
всё — в коме

Это ощущение предустановленной гармонии, которая содержит в себе противоречие и всю невыносимость ответственности за все развития. Снимается проблема субъективности и объективности. С появлением чувств, во всей их нелепости, слабости, хилости, они становятся необходимым моментом всеобщего становления без времени. Время — его внешний «лицевой» предел — так оно выглядит, но как сущность не имеет к виду никакого отношения. А только к видимости движения (или называйте это развитием в пространстве и во времени, в том числе и свободном). Даже реальной силой, в своём бессилии, энергией, динамикой, которая снимает в себе всё — предшествующую и последующую историю природы и общества, без которой дальнейшее развитие невозможно. Я не сторонник русского космизма, но чувства в своей необходимости требуют свободного времени, без которого у них нет пространства, как способа превращения и создания себя из ничего. Поначалу это даже знать не нужно, — это как огонь. С ним живут, его осваивают в разных видах, у него греются, на него идут. Чувства нельзя использовать, но используют. Сплошное стремление к непосредственности, к созданию природы, сотворению пространства и времени.

я — река в океане
движение без берегов
без причины без я
ни о чём
обездвиженный только движением
исчезновение —
да и его не осталось.

То есть чувства, — в том числе и чувство времени, чувство бесконечности, чувство Любви, любое чувство, — включаешь в предметность, это и есть предметность, поэтому оно больше, чем чувство, оно выходит из берегов, и захватывает тебя всецело, превращаясь в сущностные силы и единственный смысл. Тебя нет, ты растворен в движении. Как Красота, в которой смысла нет, и в природе её нет. Она приносится в природу, как сотворение из ничего. Каждый раз та же и иная.

То, что я заговорил о чувствах — симптом старости, которая не интересна, кто бы что не говорил. Все, что на-

писано о старости — ложь. Это омерзительно. Это предательство самой жизни и развития. И они тебя предают, оставляют «напроизволяще», и ты невольно предаёшь их. Даже в элементарном: ты не можешь разобраться, действительно ли тебе перестают нравится те книги, та музыка, которые тебя прежде восхищали, те вечные чувства, за которые ты мог жизнь отдать, а теперь ты начал говорить правду и не можешь противиться тому, что тебе это не нравится? Или, наоборот, любой пустяк вызывает бурю неведомых чувств, которые ты прежде не испытывал, а теперь они будто впервые: море, запах земли, шум дождя и ветер в цветах, которых завтра не будет. Все в конце жизни скатываются, опускаются до сентиментального волхвования о вере, надежде, любви. Это поминальная стадия. Когда чувства живы, о них не говорят. Но не от старческого умиления, а от невозможности сказать, когда всё видеться ясно и во всей полноте, но уже не предупредишь — в предостережениях важна их зряшность, невнятие им — от онемения и «восхищения в вечность», хотя тебе это открылось только в «мгновении, которое воспламеняет вечность» (Фейербах). Это беспомощность, сожаление о несбыточном, и, где-то, гордость от того, что тебе говорили, предупреждали, а ты не послушал и пошёл — «потому что лучше пожалеть, что пошёл, чем о том, что не пошёл» (Диккенс). Никогда нельзя искать самого себя — надо создавать из ничего. Не подменяя собой весь универсум. Забывая себя, своё я, оставляя «личность», пребывая в становлении и не зная его. Отнесясь к себе, как средству, но без цели, даже без идеала. Это только кажется, что цели необходимы и являются идеальным достраиванием мира до целостности. Что надо испытывать интерес к себе, нужду в себе и не обращать на себя внимание, не потакать себе.

«Это не совсем так, вернее, совсем не так» — расхожий каламбур. Я просто не задаюсь вопросом «зачем?», заведомо зная, что жизнь человеческая бессмысленна, и, мягко говоря, любопытствую нехотя. Просто переполняясь необходимостью как свободой, свободой как необходимостью, и содрогаясь при мысли, что всего этого могло

и не быть. Зная, что всё преходяще, начинаешь чувствовать красоту потерь и остроту неповторимости и невозможности. В принципе, я делаю то, что хочу, уворачиваясь от себя. Вот сегодня была идея прослушать Си-минорную мессу Баха в четырёх разных исполнениях, но в результате ощутил, понял, что это жирно, и параллельно читал полное собрание писем Моцарта (зря), подспудно чувствуя, что время, как кровь (потеря времени как потеря крови), оставляет меня, и почему-то совершая метания в разные области философии, ну, там, срываясь в «Эннеады» Плотина или обращаясь к «константам» вроде Гегелевской Феноменологии или того же Хайдеггера, который интересен «отсебятиной». Кстати, поражает искренность, с которой он верит в себя (надо ли верить в себя, чтобы действовать без индульгенции, просто как влекомый непосредственным чувством причастности?), а в принципе — достаточно примитивный тип. Поражает «отступничество» Шеллинга, убивает изменчивость и неопределённость языка, в общем, многое. Я по некоторым удалённым звёздам осуществляю «позиционирование», как в космосе, где ориентиров нет и постоянна только скорость света. И понимаю всю безнадёжность этого. Вслед за Честертоном, могу сказать, что тезис «Человек, познай самого себя» — не для меня. «Этот человек не моего круга». Но желания внешнего принуждения мне понятны — «я сам обманываться рад». И дуэль, через платок, в могиле, мне известна, но не только как борьба с самим собой, и не как вопросы собственности и экспансии на вечность, а именно преходящестью и неповторимостью. Всю жизнь мы невольно подражаем избранным авторитетам, которых сами себе с удовольствием создаём, а когда оказываемся перед великим Ничто — не узнаём его, и хотим избежать ответственности за собственную жизнь. В конце концов, всё равно, что читать. Никакие списки литературы не помогут. Но я точно знаю, что для того, чтобы что-то понимать в музыке, надо не только слушать, но и играть, и сочинять музыку, каждый раз опровергая себя. Так и в поэзии, и в философии. Только тот, кто сам пишет, может понять другого. Хотя и не всегда. Нельзя останавливаться на «сладости», экстазе самого процесса

мышления — это переходная форма, неопределённая. «О, полюби перемену, и пусть вдохновит тебя пламя, где исчезает предмет, и, исчезая, поёт» (Рильке). От вещности я давно избавился, как и от предметности. Схоласты правы: «Объект застит предмет». Поэтому он для меня важен своим исчезновением, когда в полное определение предмета включаются и чувства — Великое ничто, противостоящее пустоте. Чувства не только бесчувственны, но и «чувственно-сверхчувственны». Поэтому и напоминают становление: забываясь, незабвенны. Я говорил, что они догматичны, но они и мистичны, в смысле — не находят себе места, беспричинны и неопределённы, они — не просто отражения и приподняты над становлением, они — необходимый момент становления в своём появлении, с мгновения своего явления. Они причудливы и чудовищны, и единственные во вселенной, хотя вселенной, вечности и бесконечности всё равно, что их чувствуют и даже ощущают. Отсюда старая и красивая проблема «Свершение всех времён как полнота бытия». Но одно дело — знать, а другое — действовать. Никакая философия не поможет. Никакие задания, цели, усилия. Только запредельное трансцендирование без оглядки. Ставь сам себе задания, делай невозможное. Формально это просто, ну, например, учи древнегреческий, параллельно читая в оригинале Дионисия Ареопагита (не шучу). Когда я в двадцать три года начал учиться играть на скрипке — это было достаточно абсурдно. Бездна усилий, времени, нервов. Что это дало? Формально ничего, но мир скрипичной игры открылся во всей полноте, и косвенно это дало мне в понимании, а главное, в ощущении философии больше, чем чтение инкунабул и философских трактатов. Хотя пример неудачен. Умение читать партитуры тоже формально не пригодилось. Это я к тому, что неизвестно, что годится, а что нет. Я не пожалел ни об одном из мною освоенных умений (а критерий — научиться делать, что хочется, что угодно, а не что получается). Ни о чём. Ни о том, что занимался графикой, живописью, ни о том, что знал всё о монтировке скрипок, и даже хотел написать книгу об удивительном формировании скрипок, когда скрипки ЦАГИ продувались, подобно самолётам, в аэродинамиче-

ской трубе Института имени Жуковского и строились почти как каравеллы на верфях у старых мастеров (из старых трёхсотлетних стропил, поддерживающих кровлю). Понимание полноты бытия делает мгновенной вечность сию секунду. Поэтому дело не в количестве прочитанного и даже не в количестве пережитого, а в конкретности, то есть, единстве многообразия в мгновении, в котором живёт вечность, не просто свертывается, а живёт без умаления, как «алеф». Я могу бесконечно советовать, но каждый раз по-разному. Поэтому и вопрос о методе смешной: каждому мгновению — свой метод. У меня было много фантастических моментов, но будет всё равно, если не откроешь ту самую книгу в нужное время, в нужном возрасте. У меня был запой Мандельштамом, Арсением Тарковским, которыми я бредил, до одури и исступления, Хименесом и Рильке, и потом это не прошло, — появились другие, был в своё время патологический интерес к Проклу, Плотину, Кузанскому, Флоренскому, потом то же самое я испытывал к другим именам. Теперь — всё равно, к каким, я их не запоминаю, разве что как упоминательную клавиатуру, но по интенсивности дело не в том, что там написано, а в том, могу ли я увидеть невероятную идею в невзрачной, грубо, коряво изложенной строчке. И настолько ли она невероятна, чтобы очаровать меня, захватить, заворожить, хотя я понимаю, что это может быть сивухой и наркотиком. Писать? В самом писании смысла нет, но это как игра на скрипке, причём импровизационная: ты можешь всё, и пишешь, создаёшь, чтобы лучше понимать, и это не значит виртуозней, это значит всеохватней, во всей возможной и невозможной полноте. И умереть на вдохе. Так что я пишу, дышу, живу не по необходимости, а свободно. Я не думаю даже: а интересно ли это? И в чём интерес, и уж, конечно, нужно ли это?

Но в одно мгновение (далеко не прекрасное) это может кончиться: раз, и всё — вот это страшно своей беспросветностью, обречённостью. Ты уже переосуществился, другой природы, и тут тебя уничтожает, накрывает внешняя необходимость, которая и есть случайность. Это пусть — тут есть допуск, хотя внешняя необходимость никогда не промахивается. А вот когда «внутренняя не-

обходимость теряется и теряет тебя» — это ужасно. Ты — не ко времени, без скафандра в агрессивной и безвоздушной среде, но ещё в сознании — вот где беда. Некогда бояться, нечего ждать, никакой надежды — только невыносимая тоска. Какой там вызов. Одно омерзение, или, того хуже, апатия. Жизнь — короткая штука. Не пытайся осчастливить человечество, не жди экспансию чувств. Чувствуй сейчас, без посредства понятия, хотя с понятием, сознательно — это слаще, удваивая бесконечность, абсурдно, но весело. Пишу и писал всегда независимо ни от чего, и в зависимости от всего — это очень точно, лучше не скажешь, но только «и не могу иначе» — вывод неправильный. Очень даже могу, но это мучительно, как мочь всё на скрипке, хотеть играть, и не брать в руки инструмент, только в моём случае из-за подагры, сожравшей руки. Представляю, как мучился Изаи на старости лет, как корчило Рихтера, того же ослепшего Баха, Генделя (хотя они диктовали), оглохшего Бетховена. Только я могу добровольно не писать, потому что всё написано, и как! И ты это понимаешь, и от этой избыточности, полноты чувств и времени, можешь получить разрыв сердца. От счастья. И твоё молчание — от этой невыразимости, от того, что ты не можешь это выразить, но можешь молчать, вровень этой вселенной, напротив, всецело принимая абсолютную красоту, и что тебе открылось такое, а ты от малодушия отказываешься и отворачиваешься, страшась оскорбить себя же косноязычием несовершенного выражения — вот тут и обращаешься к опыту великих, которые просто делали свою работу, того же Баха, к «Искусство фуги», когда, проводя контртемы, ракоход в четырёхголосой фуге, то есть «контр-субъект», великий композитор скончался. Тут учишься жить, учишься мужеству у других, хотя жить не хочется. Так что спешите жить. Сейчас, немедленно. Потому что любое время — прошедшее. Доступ перекрывается тем, что мы не знаем, что мы можем на самом деле. Если бы мне сказали сорок лет назад, что я столько прочту и напишу, я бы рассмеялся и заскучал — теперь понимаю, что это даже не талантливо, но, что сделал всё, что мог, и даже больше. То есть, по сути, я не только написал, но и издал всё, что хотел. Всё остальное... Я лучше не смог

> бы ни при каких обстоятельствах. В этом-то и беда. Мне невозможно сетовать на то, что мне не дали, что обстоятельства, знаете ли. Что вот если бы, то тогда бы я показал… Этого нет, и единственное оправдание — сознание того, что ты дерзнул, отважился, рискнул… Но проиграл, и, независимо от результата, который «труп, оставивший позади себя тенденцию», ты оправдан именно напрасностью своей жизни — хотя жалкое оправдание, да и в оправдании ты не нуждаешься. Тут ведь беда в том, что даже если бы всё стало вдруг по-твоему, враз случилось соответственно твоему представлению, это было бы невыносимо жутко, даже в общем виде. Пожелай, например, чтобы всё было «разумно».

Сказать, что ты жил со скоростью света, со скоростью свободного времени, и чувства твои были мгновенны — это верно и точно. Свободное падение со скоростью света — это и есть жизнь.

Не удивлюсь, если свободное время начнут измерять в парсеках, хотя время и его измерение — не одно и то же.

Измерения параллаксов — это самый прямой и точный способ измерения расстояний до звёзд. Астрономы придумали специальную величину — парсек. Это расстояние до звезды, чей годичный параллакс равен одной угловой секунде. Один парсек примерно равен 3,26 светового года, или 3,1×1018 см, и в 206 265 раз больше астрономической единицы — расстояния от Земли до Солнца (Попов, «Вселенная»).

Потому, несмотря на то, что вселенная якобы насчитывает 13,8 миллиардов световых лет и продолжает «расширяться» (она так же расширяется, как и сжимается — это иллюзия, слепота теории, которая осталась верной формальному способу мышления и не справляется с противоречием, пытаясь его устранить, следуя сомнительной теории большого взрыва), мне душно, мне нечем дышать, я испытываю клаустрофобию, и, в тот же момент, агорафобию от распахнутости, открытости вечного становления, вечного, но во времени, движения и развития, превращения (в данном *случае*, а это случай), при всём том, что это не одно и то же, здесь можно не различать. И ты и есть это движение, хотя бы тем, что ему противостоишь и растворён в нём. И твои чувства — единственные в этой всеобщности. Ты — предел, а по ту сторону его нет той стороны — сплошное неведение, имени которому нет. Неизвестность. Огромность. Ты неизвестен даже самому себе.

Желание окончательности. Доколе. Страх, что всё это когда-нибудь прекратится, и, одновременно, ожидание: скорее бы всё это кончилось, вот сейчас, на моих глазах. Старость и есть конец света. Подозреваю, хотя это и не важно, что скатывание на закате к этическим и эстетическим теориям порождено бессилием. Надо сказать, что этика, вообще всё, что могла, сказала, и, в лучшем случае, превратилась в безопасную игру слабеющего ума. А эстетика — на грани издыхания, как и вся философия — слишком громоздка, антиквариат, если бы не спасительная область чувств. И при этом полная беспомощность чувств. Я бы сказал, полная беспристрастность, при всём том, что они кажутся всесильными. Узаконенное умолчание искажения чувств. Они сами выступают, кажутся искажением, но таким, которое придаёт жизни бесстрастную математическую перспективу. Они — не просто иллюзия правдоподобия, но само это правдоподобие — правда видимости. Чувства — сияние и цвет в сером мире. И, в сущности, производные свободного времени — его оттенки. Полутона всеобщего становления, которое теперь всецело — «дело-действие». У Фихте — «дело-действие (Tathandlung). «Попытка перевести Tathandlung через “дело-действие” представляет собою новшество в русской философской литературе; она оправдывается решительной невозможностью передать это основное понятие учения Фихте каким-либо из принятых у нас терминов. Сам Фихте не нашёл для него подходящего выражения в современной ему немецкой философской литературе и умышленно составил его из двух слов, из коих одно означает “дело” (Tat), а другое — “действие” (Handlung). По его собственному признанию, ему нужно было выразить здесь тождество дела и действия (Handlung und Tat sind eins und dasselbe). Раз сам автор был вынужден составить на родном ему языке новое выражение из двух слов для передачи нового сложного понятия, было бы удивительно, если бы переводчик оказался счастливее его и сумел выразить то же понятие на чужом языке одним словом. Следуя примеру автора и его методу словообразования, мы в данном случае едва ли рискуем ошибиться. Если слово “дело-действие” звучит непривычно для русского уха, то вряд ли сто двадцать лет тому назад слово Tathandlung было привычнее для уха немецкого» (прим. ред. первого издания «Основы общего наукоучения» Е. Н. Трубецкого).

Но здесь — без «кустарщины», ремеслухи, «хэнд-мейдовщины». Парадокс предметно-чувственной деятельности как воплощения всеобщей практики через особенное в единичное, как способ разрешения противоречия, когда все триады участвуют в одном процессе, в совершенно разных ипостасях, не только традиционных, как истина, добро и красота, качество, количество, мера, пространство, время движения, но и в любых других сочетаниях. При этом искажения чувств — не просто вариации, они — искажения самого пространства, становящегося прерывно-непрерывно. Ритм и пульсация. Это видится с опытом, со временем, и учишься не только удивляться, но и ничему не удивляться. (А то

так и останешься навеки удивлённым до идиотизма, хотя хотелось бы.) Не то, чтобы теория уступает место практике, как синтез идеального и материального. А просто теоретическое и практическое не противоречат друг другу, потому что противоречие — способ его бытия. Как-то не принимают в расчёт, что имеют дело с представлением и восприятием, а не с тем, как это происходит на самом деле. Свободное время не похоже на само себя в деле. Оно не «такое» и в теории, и в практике. Умберто Эко достаточно подробно описал это в сборнике эссе «Сотвори себе врага». И этим можно забавляться бесконечно, потому что это — повсеместное явление. С бог знает с каких времён. Тот же Августин знал (как вообще теология того времени), что Земля шарообразна. Но, поскольку на спасении души это никак не отражается, данный вопрос можно было игнорировать. (И свободное время, знание о нём, неприменимо. Это сродни любованию, а не в качестве «рычага» или высокотехнологичекого устройства.)

Это как сравнивать путешествия по картам и реально, на местности. Первоначально, — утверждает Умберто Эко, — карты не играли никакой роли, отвечали запросам публики по части чудесного и даже содержали изображения чудовищ. Так что вполне допускаю, что теория свободного времени, как и всякая теория, например, «странных частиц», кварков, всеобщая теория относительности — мифологична.

Это представление о свободном времени, которое — мифология-представление, а не свободное время. И здесь раздолье. Ты можешь безопасно применять к нему хоть рассуждения Лейбница об архитектонике, хоть мысли Шеллинга периода натурфилософии о природе, или всё сказанное об архитектонике, природе, и их «отношениях», хоть рассматривай свободное время через видимость ложных теорий, отживших своё, или сквозь литературу, как проблему семиотики — любым способом. Суть его будет в ускользании.

На местности — ландшафты, атмосфера, климат, рельеф свободного времени не соответствуют действительности, являясь этой действительностью и видоизменяясь соответственно деятельности, создающей новую реальность. Поэтому вопрос не в ошибочности или безошибочности ориентирования на местности, и не в приемлемом результате, к которому надо прийти. Свободное время само — способ превращения, форма движения, а не только вместилище, где что-то происходит. Оно не только свойственно, но и активно, никогда на себя не похоже, как не похожа на себя сущность. Её подобия составляют периферию, явления, феномены — сплошность и тотальность желаемого, и в то же время чувства вполне беспристрастны и неопределённы.

Суть в другом. Не знаешь, чего хотеть. Свободное время не узнаваемо в своих проявлениях. Поразительно, как всё становится его делом: будем ли мы рассматривать остроумно «Абсолютное и Относительность» или «Пламя прекрасно», как Умберто Эко — это всё равно, вернее — всё едино. Вопрос в им-

провизации и упоении — вот что заметил итальянец и превратил это в любимое занятие, не только своё, но и читателей, похищая время их жизней. И после видишь, примечаешь это во всём, на что только ни обращаешь внимание. Это не только Умберто Эко, но и любая книга, — и «Божественная комедия» Данта, «Бесконечная книга» Борхеса, — с того времени, как научился читать. Вернее, так и не научился.

Смысл не в знании и постижении, — это само собой, — а в пребывании, в существовании, которое принимается, застаётся, как окружающая местность, и захватывает тебя со всеми видениями и привидениями, без которых скучно, хотя режущая глаза истина гораздо более фантастична и прекрасна чего бы то ни было.

Ты, как непогодой, застигнут воображением врасплох. И не хочешь, чтобы это кончалось. Прекрасно зная, что дело не в воображении, хочется, чтобы оно было источником всего — того же бесконечного превращения. Движением в никуда, применимым и к самому свободному времени, и к любой проблеме. Созданием проблем, решения которых не имеют значения. Суть восприятия, памяти, забвения — тоже об этом.

Сладкая ловушка — упоение, наслаждение мышлением без цели — в решаемости. Не в решении. В невероятности, одолении и самом действии. При этом свободное время всё время меняет свою форму и форму видения — неисчерпаемо, как музыка и поэзия.

В пределах одного поколения замечаешь, что нечто перестаёшь воспринимать. И понимаешь, как свёртывается вокруг тебя всё. И чувство подменяется нежностью к покиданию и к «уже никогда больше». Ты теряешь себя, а не только память, когда хочется забыться. Забываешься всем существом. Навсегда и навеки. И всё становится как впервые.

Но есть ещё и усталость чувств, бесконечная усталость бесконечности. В неумолимом наступании, наставании, настаивании настоящего (только на лимонных корочках). Это сродни несовершенному и потому бесконечному чувству любви, которое превращается в тоску по любви, а потом в тоску по тоске, как у Рильке. В любовь к бесконечности и непостижимому, которое постигается или не постигнет (не настигнет) постижимого, как С. Л. Франка. Непостижимость возрастает. Неизбывность, невозможность, как неисполненность. Тут можно присобачить для вящей «научности» весь ортопедический математический косноязычный аппарат со всеми теоремами Геделя о неполноте, с принципом неопределённости, все слова всех языков мира. Сути это не изменит. Можно описать всё противоречие пространства и времени как борьбу длительности

и протяжённости, или формы и сущности, или сущности и природы (может быть и такое противоречие), — всё это будет жалким лепетом и копошением в онтологии представления. Немотствование. Несказанность. Реликтовое свободное время.

Свободное время — очень личное. Субъективность, превращаемая в объективность самой объективности. Субъектно-объектные отношения снимаются в действительности, разрешение противоречия, то есть, как всегда. И это, прежде всего, чувствуется. Противоречие перестаёт быть, разрешаясь. Анализ и синтез — как один процесс, однодвижение. Возникновение и исчезновение — без «и».

Но это чрезвычайно опасное занятие — отпускать себя на свободу. Там нельзя прерываться на полпути, и вторая особенность — твоя деятельность тебя и добьёт. От этого нельзя освободиться. Нельзя договориться с собой. Дать слабину. Нельзя сфальшивить. Нельзя снизить интенсивность усилия. Это страшное дело — всегда на пределе. Но надо не потреблять, и умения в том числе, а создавать. То есть, не просто слушать музыку, но и играть, а ещё лучше, сочинять. Не только смотреть картины, но и создавать, ну, с философией понятно.

И потом (я не думал о «потом»), все твои увлечения начинают предавать, оставлять тебя. Сначала музыка, потом живопись, потом поэзия, философия. Последней предаёт философия. Но тут другое: тебе раскрывается «истинная суть», но отбирается голос, как у андерсеновской русалочки: чтобы получить ноги, она отдала голос и... бессмертие. Так философия уходит и уносит с собой способность рассказать о том, что ты видел, но сказать не можешь. Она оставляет только жажду. И ничего не поделаешь. А ведь ещё умирать.

Это не скука — это тоска. Правда, умереть от смеха — тоже невесело. При этом ты ни о чём не жалеешь, и со смехом относишься и к жизни, и к смерти. Так что я могу сказать одно: конечно, многое зависит от окружающих, потому что твоя свобода сказывается на них. Но тут как повезёт. Одиночество — оно неизбежно. Только гордиться тут нечем, и тем более зазорно спекулировать на этом: «Ах, я такой одинокий». Это надо принять к сведению. И делать «поправку на ветер». И ещё никогда не распускаться, не потакать своим слабостям. Никакой экзистенции — та ещё зараза. «Просто род деятельности такой».

Но это не оправдание. «Чем бы дитя не тешилось — лишь бы не пило сакэ». Всё это ведёт к обыкновенной перманентной истерике — иначе коллапс. С радостью и облегчением загоняешь себя в себя, как в угол, и превращаешься в чёрную дыру. На самом деле одиночество, избранность, элитарность настоящей философии противопоказаны, хотя дело не в них, а в способе дела. Но что делать, если другой формы, кроме этой суррогатной, нет?

Философия — от недоразвитости — превращённая форма, это от нищеты,

а не от избытка, как природа чувств. Природа чувств в постоянном развитии, и вот, когда они будут от избытка… Но когда? Когда-нибудь. Тогда отпадёт нужда в философии по нужде, философия превратится в простое мышление, даже обыденное сознание, но это будет иная обыденность, иная повседневность. Бойтесь себя. Предательство будет в себе. Оно всегда — в себе. И не ждите ничего. Мы попались в этом времени, в этой жизни, и пространства для манёвра нет.

Да, дальнейшее — молчание, но это плагиат. Ничего про себя не писал — только собою. Я просто выгорел дотла. Вы же знаете, что жизнь — это окисление? Выгорают звёзды — выгорает человек, и никакой трагедии, лишь пыль и пепел, и у каждого свой срок. Так что я теперь на стадии «чёрной дыры». Надоело всё.

Смысл знания? Знать не обязательно. Куда не ткни, все страдают попытками (беспомощными, я не исключение) остановить мгновение. Наобум: В. А. Кувакин, «Неизвестное», «Стать собой». Тот же С. Л. Франк. Если не полениться, найдётся бесчисленное количество текстов, посвящённых «Непостижимому», «Невыразимому», «Несказанному» — так и должно быть. Тысячи рецептов, тысячи оттенков. С досадами, что кому-то открылось, но он понимает это не так, как хотелось бы. С завистью или без, с восторгом или проклятьями. Прекрасно понимая, что всё это на данный момент вполне приемлемо в качестве временной затычки, временной меры. Можно приспособить любого или самому сочинить. Это как с Чернышевским, помните, поразившее Владимира Соловьёва «Прекрасное — есть жизнь». Но это — не дело знания и от этого ни холодно, ни жарко. Хочется спросить: ну и что? Ни к чему не обязывает.

Меня всегда умиляли споры о том, «что такое философия?», «Как я понимаю философию?», этот своего рода профессиональный кретинизм (сейчас благородно называется «профессиональной деформацией», что равносильно «профнепригодности»).

У философии есть постоянная боязнь утратить свою элитарность, хотя она действительно элитарна, и в то же время она рискует превратиться в какую-нибудь каббалу (которая, таки да, тоже стала коммерческим проектом, как и вся философия, но саму-то философию прохиндейство не испортило!), причём любого толка, выродиться в секту или стать достоянием охлократии. Философия толпы, или, напротив, философия философии равно неуязвимы. Не стоит бояться и опасаться смерти философии, в том числе и философии смерти — это её естественное состояние — её жизнь. Она будет ровно столько, сколько сможет и уйдёт в ту же секунду, когда станет свободной, когда в ней не будет нужды, хотя она любит заставлять себя ждать (среди прочих существуют несколько антиутопических версий будущего, в котором все философские проблемы исчезнут, например, теории идеократического или идиократического общества. — *прим. ред.*).

Я сам писал в своё время о трансцендентальной эстетике, что она и есть «жизнь», если возвышаться, и при «понижении», транспонировании «вниз» превращается в «трансцендентальную психологию», в «кашицу» (как удачно выразился кто-то, не помню, кто), в размазню, перетёртости, не восходя к чувствам, а опускаясь к ситуациям, реакции-раздражителю, к ощущаловке, «комедии положений». Потом понял, что это ни к чему не ведёт, как и само целеполагание и вся эта аналитическая муть. «Единство трансцендентальной апперцепции», самосознание и самопознание — просто вариант «устроиться», найдя удобную «точку зрения». Я оставил эту затею с «дурной бесконечностью». В конце концов, «безразличие» может быть безразличием скотины, а может быть «всеразличённым», когда всё равно, Моцарт или Эль Греко, Рильке или Прокл, Дионисий Ареопагит или (страшно сказать) красивая девушка, или не... никаких «или», никаких «но». В конце концов, напомню: трансцендентальная эстетика занимается вопросом о том, как бывают, становятся, возникают и умирают чувства в пространстве и во времени, именно потому, что становление не зависимо от пространства и времени, вне его. Так я считал раньше. Точнее сказать: «свободно» от пространства и времени, свободно для пространства и времени.

То есть, вопрос о том, как создавать человеческие чувства и пространство и время, в которых они происходят (происходясь, свободно), снимая в себе и стихию чувств, и неразличённость, неразлучность (как влюблённость), и само снятие, как отрицание отрицания и даже жизнь самой смерти. Плевать на «мир человека». Вопрос о мире может возникать только тогда, когда этот мир отчуждён (а «отчуждение» — это обобществление).

Чувство сопутствует общественной форме движения материи — практике, поскольку она — чувственно практическая всеобщая деятельность. Правда, тут она выступает в апофатических определениях, она не может быть, вернее, теряет целеполагание, идеальность, снимаясь в действии, и временность, и «внутреннее», и внешнее, и внутреннюю и внешнюю необходимость, проявляясь как чувственно-сверхчувственное. Все привычные категории: сущность и явление, свобода и необходимость, пространство и время — здесь бессильны. Нет иерархии — есть атональность и превращение. Знаменитое: «В мире, кроме форм движения и их превращения, ничего нет, и познавать больше нечего». То есть вопрос не в познании, а в превращении. Попутно — восхождение, становление чувства к самому себе. Чувства рождаются, живут и умирают, хотя они по природе вечны, как вечное движение. Об этом я писал в книге «Время страстей человеческих». Сейчас бы не решился. Писать об этом — слишком громоздко и неповоротливо. Но опасность в другом.

Подобно тому, как мы сами — остановленный свет ближних и дальних звёзд, состоим из звёздной пыли, точно так же и чувства, остановленные в тексте, теряют свою поэзию и меркнут, становятся тяжеловесными. Есть со-

блазн сохранять стремительность и не писать стихи. А это своего рода ритуальное самоубийство. В любом случае, ты теряешь чувства, превращая их в другое. Как в книге Чичерина «Моцарт». Гениальная книга. Так вот, теряешь моцартовость легенды о солнечном Амадее, но обретаешь моцартовость трагедии. Как невероятно тяжело было читать моцартовские письма! Двойное чувство: понимаешь, что он — педагогически запущенный ребёнок, и что читаешь чужие письма, тебе не предназначенные, они — как разорённая, развёрстая, разграбленная могила. Мародёрство. И лучше бы не читал, лучше о Моцарте ничего не знать. Как, впрочем, и о себе, да о ком бы то ни было. Это страшновато. Жить не хочется. И именно от грандиозности человеческого, единого чувства. И потом, всё это не просто изменяется, оно надвигается, как старость. Смерть не страшна. А вот старость и то, что чувства стареют, ветшают — это невыносимо.

Здесь можно кроить свободное время, как угодно. Как «самое оно» А. Ф. Лосева. Оно — сама иррелевантность в своих пределах, оно само — предел. Но дело не в различии, оно, как любовь и ненависть, отлично понимает, что оно не безразлично, но не обособляется и не впадает в отношение. Оно не относительно. Как любовь всегда абсолютна, то есть её ровно столько, чтобы быть собой, так и любое чувство входит в полное определение предмета.

Что касается вопросов о критериях — их нет. Критерием чувства — само чувство. Оно не печётся об истине. Самовидно, безусловно. Для него нет относительности. Само знает вполне адекватный (и приемлемый, чтобы жить дальше) ответ на эти вопросы. Вернее, в знании и ответах не нуждается. И ты, охваченный чувствами, как их воплощением, в ответах не нуждаешься. Но ежели тебя волнуют нюансы — не обязательно им следовать. Вопрос не в «найденных объектах», а в формировании и создании самих чувств, их возникновении. Нынешнее потребительское отношение к чувствам — они «непосредственно в своей практике стали теоретиками», — действуют они так, как будто вполне сбылись, хотя они никогда не похожи на своё воплощение. Предпочитая теоретическую область долженствования. Какими они должны быть, но никогда не бывают.

Любые чувства (и отрицательные нечеловеческие) снимают в себе все оттенки, даже те, которых нет. Они сами объективируются в своей субъективности, поэтому объектно-субъектные отношения не «работают». Чувства сверхчувственны, и возвышенны или низменны они — безразлично. Всё это лишь различные отношения одного и того же единого чувства, которое (старорусское «который» — «крайний, запредельный») уже говорит, что всякое чувство определено как отрицательное, и потому основывается на преодолении предмет-

ности, по которой определяется. То есть чувство музыкальности, живописности, философичности, пластичности, временности — одно и то же, «не-иное» по Кузанскому, но различается только по предмету. Отсюда многообразие «конфигурации» чувств.

Когда это чувство есть, оно одновременно представляет ничто, «никакое что», и поэтому неопределённо. Это приблизительно так, как чувство свободы — несвободно. Хотя и симультанно, и «делает вид», что стихийно в своём происхождении, тем избавляясь о самого себя. Есть ли критерии целеполагания (когда чувство — самоцель самого себя)? Думаю, вопросы эти — отрыжка прагматизма. Зачем идентифицировать чувства, определять их, знать о них? Они — не дело знаемого. Почему астрофизики (кстати, астрофизика, математика, физика становятся областями чистой эстетики — по крайней мере, это чистое знание, восхищающее, заставляющее свободно испытывать всю гамму чувств во всей новизне и сотворённости, но абсолютно неупотребимое и неприменимое, невозможное). Почитают Канта? Потому, что он первый (вместе с Лапласом) сказал, что вечные звёзды рождаются, живут и умирают. То же и с чувствами: они, будучи по природе вечными, существуют недолгое время, квант вечности: они рождаются и умирают, хотя это противно их природе. Но это и составляет их природу так же, как смерть вызревает в жизни и является условием её становления.

Я могу сказать, что такова природа чувств, и вопрос в том, что либо принимаешь это, либо нет. У каждого есть звёздное небо внутри нас, и это (по Парацельсу, а не нравственный императив по Канту) заставляет нас трепыхаться, испытывать «имманентное волнение души», как музыку, по законам которой существуешь, или она по небулярным закономерностям существует чистой радостью одухотворяющие числа. Мне всё равно, что в Греции вино разбавляли водой, вернее, вином разбавляли воду. Но восхищает, что делали это соответственно музыкальным пропорциям и интервалам. Так и музыка, и чувства созвучны бытию в его происхождении, хотя тянет к чистому и незамутнённому чувству во всей полноте, во всём многообразии.

Так вот, чувства, несмотря на их малость, нелепость, представляют момент действительного развития, намного превосходящий образование галактик, взрывы сверхновых, большие взрывы, теории струн. Они снимают в себе всю предшествующую историю. Природа «свободного времени» и свободных чувств одна. Я бы, как и свободное время, свободные чувства мерял в парсеках (хотя «Парсек» — хорошее имя для кота). Короче, чувство — такое же космическое явление, без которого развитие невозможно, поэтому чувство определяется невозможностью. Когда ты теряешь дар речи и предпочитаешь не верить глазам, даже метафизическим, тогда вся реальность превращается в метафору.

Что касается «сделанности», то это временный критерий. Он значим только

для определённого времени. Хотя потом обретает самостоятельную жизнь и свободу. Бах (недавно переслушивал «Страсти по Матфею», говорят у Андрея Тарковского это был один из любимых композиторов) — гениален, но писать, как Бах было бы смешно. То же и с художниками или философами, которые, в какой-то мере — композиторы. Да ты каждый миг своей жизни решаешь эту задачу, когда пишешь. Никогда нельзя вполне адекватно выразить свои чувства и, порою, стыдно писать. Но вопрос в самих чувствах, а не в описывании их, наррации (как модно теперь выражаться), классификации, систематизации, калькуляции. Всё это очевидно (счастливое чувство очевидности, ясности). Думаю, умение играет некоторую роль, как и личный опыт, когда ты буквально делаешь то, что хочется, а не то, что получается. Хотя иногда хочется не знать, что будет дальше, и удивиться. («Надо же, что выкинула моя Татьяна», — удивлялся Пушкин. Или Толстой, не властный над своими героями. Впрочем — любой не властен над идеями и образами, хотя, казалось бы...)

В этом отношении образа и воплощения (в любом деле, даже в математике, а не только в искусстве) есть своя сладость. Она же — и в философии, мышлении просто так, без причины и мотивов, не по поводу. Это сродни жизни, когда объяснять ничего не надо.

Когда-то я задавал вопрос: если бы вы попали на необитаемый остров, и вам не приходилось бы бороться за свою жизнь, вы знали бы, что это навсегда, что через пять минут он будет сметён цунами, вы писали бы веточкой на мокром песке перед ударом стихии? Так вот, нас отличает одно: мы бы писали, даже если всё будет сметено и никогда не воплотится. Да так оно и есть: познание бесконечно, и жизнь быстротечна, и мышление слабенькое, и само по себе всё непостижимо, хотя постигаемо, и постигнуть до конца ничего не возможно, даже природу чувств в этой непостижимости.

Но полнота всех времён, как полнота бытия, влечёт в никуда, хотя лично я в растерянности перед проблемой «свободного времени», как пространства человеческого развития. Эта огромность подавляет, и «проблема формирования чувств» — как побочная партия, хотя что-то мне подсказывает, что проблемы-то никакой и нет, и всё, над чем бьётся современная мысль — это проблема власти (чувств) и власти над чувствами, и есть гаденькая, себе не признаваемая мыслёнка, мыслишка: а как бы это ничего не делать, а тихо и незаметно избыться? И это очень мерзко. Умирать — тяжёлая работа.

Критерии качественного уровня, наверное, есть в области прекрасного, но в области абсолютной красоты их нет, тем более, это не область, не провинция, которую надо завоевать, оккупировать, не атавизм, а сама жизнь, как бытие и инобытие. Последнее противоречие диалектики — антагонизм Красоты и Прекрасного — может определять превращение философии в простое мышление (не обязательно), изощрённое, но и тупое, как феноменология, «практическая

философия» и прочий мусор, «постфеноменология», например. Но, думаю, и искусство, и то, что выдаётся в качестве «эстетики», уже исчерпали себя, не выполнив своего предназначения. Что будет дальше — гадать бессмысленно. «Но мелочно гадать о не бывавшем» (Рильке). Сам не верю, но мне дальше не интересно. Я всё равно дальше буду вынужден воспринимать ниже своих возможностей: противоречие (формальное) между представлением и восприятием. Поэтому, по сути, я замолчал. Последнюю книгу я уже написал — «Последнее время». И малодушно ею длюсь. Но не тяну. Лучше не позориться. Остаётся не потерять лицо, хотя это не имеет никакого значения.

Я не пытаюсь всё расставить по своим местам. Разложить по полочкам (уловил в этом пассаже некоторую иронию). Мне достаточно было бы сказать, что «всё в превращении», читай: «всё — становление», и потому содержит сразу и изменение, и другое, и изменённое единовременно, и это единовременно и «разное», а чувства, как время — просто схватывание изменения, момент прехождения бытия (в данном случае — музыкальный момент. Шучу). В этом смысле вопрос «Что считать музыкой» решили своеобразно, — «а всё, что звучит». Кейдж добавил: или «молчит». Это облегчило задачу. Облегчились, решив (порешив музыку, чтобы не мучалась), что музыка либо есть, либо её нет, оставив каждому потреблять то, что ему нравится «по воле к вере».

А сейчас вообще проблема сводится к тому, чтобы адаптироваться, приспособиться, мимикрировать — о человеческом речи нет. Когда я писал о «предназначении», я просто ностальгировал по тому времени, когда в гордыне писали трактаты «О назначении человека». На самом деле сейчас я исхожу из банальной мысли, что всё бессмысленно, и смысл надо создать, что я и делаю без всех этих хлопот, как в анекдоте.

Но это не предполагает субъективности, и «практика — не критерий истины». Смотря, какая практика. Но от деятельности никуда не денешься, поэтому свои заблуждения — тоже полноценный феномен развития. У Шкловского есть великолепный опус «Энергия заблуждения». Кто мог подумать, что из фокусов с Лейденской банкой родится электричество в его всезаполненности, всеисполненности и обыденности, общеупотребимости, сбывшести, всё, что с ним связано, и, самое удивительное, что оно станет повседневным и привычным? Вспоминаем о нём, когда его нет. И часа не прожить. Оно — как воздух в своей универсальности.

Я не думаю, что искусство — вершина и смысл жизни, но оно досель сродни этому, и — великое утешение, хотя и безутешно. Подозреваю, и даже знаю, что любовь — не самое сильное из чувств, может быть, ещё не родившихся — оно первое, а первый блин комом. И она ещё не доросла до самой себя. Она уродлива и свирепа, недоразвита, и не каждому прочему является во всей полноте, в «прочести», в прочем… Она сродни абсолютной Красоте, но убогая, ползучая

эмпирия. Так и с остальными чувствами. Мы — заложники своего времени (а порой чужого), временности, как таковой. Но суть наша иная, оттого и мучаемся. Как-то меня поразило, что Копернику вменяли в вину не покушение на систему Птолемея, а то, что у него планеты движутся по эллиптическим орбитам. Человечество не гелиоцентрично, оно гелиотропно. «Стояние в свете» (Флоренский), в сущности, причём даже буквально: мы сами — остановленный свет ближних и дальних звёзд, остановленный на время, мы состоим из звёздной пыли, из атомов, которые были когда-то звёздами. Конечно, человек — не набор атомов, свойств, качеств, он нечто большее, чем «сумма теологий», но смысл в том, что вселенная «антропоцентрична», и если это не так, то так должно быть. То есть, надо нести ответственность за всё время, за вечность, которой это — всё равно. В этом универсальная сущность человека. Ему «до всего есть дело». И то, что он бесконечно малая величина — совершено безразлично.

Я к тому, что он, даже в своём единичном бытии — голограмма космоса в его бесконечном развитии, причём прошлом, настоящем и будущем, в своей индивидности каждый человек — «Алеф» Борхеса, поэтому «звёздное небо внутри нас». Вся катастрофичность развития и судьба вселенной воплощена в античной идее «диакосмезиса».

Для кого это риторика, для кого болтовня, для кого — поэзия. Но вся вселенная смотрит моими глазами, чувствует моими чувствами, и слышит космическую музыку мною, всем существом. Я — самосознание вселенной, его «трансцендентальная апперцепция» — другого не дано, хотя я — и другой, и каждый, и все, и во всей истории, и в мгновенности (*мгновечности*) настоящего, и в прошлом, и будущем, но здесь сейчас и никогда потом. Мы — между двумя вечностями. То самое узкое горло песочных часов, клепсидры, в котором вечность на краткий миг становится временем. Это Эйнштейновское искривление пространства, где сходятся два конуса, прошлое и будущее, в точке превращения, и одно перетекает в другое — прошлое в будущее и будущее в прошлое. Так ли это — не важно. Главное, эти силовые линии траектории, силовые поля времени, и их не только преодоление, но и создание. Ладно. А то подумаешь, что я сошёл с ума. Это не более фантастично, чем парадоксальные (и пугающие) процессы, которые ошеломляют и лишают дара речи, например, как из неживого появляется живое? Как возможно мышление? Чувства? Это «захватывает дух». Феноменология которого похожа на чудо. Не начало ли это старческого слабоумия? Мне всё равно. Поэтому я не считаю, что это надо тиражировать. Просто — пишу в никуда и ни зачем. Что-то ведёт, как поводырь, по мере того, как слепну, но это как кажимость восхода солнца, которого не будет. Тут кажется, что меркнет вселенная, но цепляешься за умозрение. Ты говоришь, что тебя «как ни странно, волнует»... Меня представь, волнует, что через каких-нибудь четыре миллиарда лет Солнце превратиться в Красного гиганта, поглотит свои

планеты, превратится из Жёлтого карлика в Белого. А потом в чёрную дыру. Шучу. Всё исчезнет: и Моцарт, и Эль Греко, и все, — и никогда не повторится. Весь смысл — в неповторимости и в «никогда». Всё уже давно исчезло бы, если бы не переживающие и не вскармливающие своей жизнью все эти явления. Тысячи людей не слышат Моцарта, миллионы не читали, то, что ты любишь. Всё это вспыхивает благодаря тебе, живёт тобою и враз может быть уничтожено, если ты ослабишь внимание и переживание. Может, в этом и есть смысл, — в умысле? В возрождении его в каждом поколении, в каждом человеке? Это немолвленное, неумолимое «снова и снова» — как восходящее чувство? Не знаю. Иногда мне кажется, что я последний (или первый), кому слышится, открывается Бах, и видится, распахивается какой-нибудь Беллини, поэзия Рильке, Мандельштама, Хименеса, откровения Шеллинга или Прокла, Плотина, Дионисия Ареопагита — только для меня, только мною, и стоит мне устать, как всё закончится. Хотя прекрасно понимаю, что лгу себе, и это даже не ложь во спасение. И совсем не заблуждение.

Меня что умиляет в астрофизиках? Что они сплошь безграмотны во всём, даже формально, многие не имеют высшего образования (это не обязательно), но почитают Канта, который первый, независимо от Лапласа сказал, что звёзды рождаются, живут и умирают. Я прямо прослезился. Такая наивность! Ну, о чём говорить, если ещё сто лет назад считалось, что существует одна галактика — Млечный путь. (О бесконечном количестве миров Джордано Бруно — не в счёт). А сейчас, как посмотришь на этот знаменитый снимок, когда одновременно видишь 30 миллионов галактик, в каждой из которой сотни миллиардов звёзд, так оторопь берёт. И чем занимается мировой разум? В мозгу у каждого по сто миллиардов клеток и по миллиону синопсисов у каждой, и если их вытянуть в нить, то будет 20 миллионов км. Он глушит себя алкоголем (плохим) и думает о коронавирусе, о выборах и прочей херне. Будем смотреть на звёзды.

Вообще, такое впечатление, что история вовсе не начиналась, и, возможно, так и останется в недоразвитом состоянии, как и наука. Сейчас едва-едва брезжит идея развития, да что там, всего сто пятьдесят лет назад додумались руки мыть, и как посмотришь пристально «с холодным вниманием вокруг» на это копошение — испытываешь чувство омерзения, какой уж тот «венец творения»!

И всё же отношусь к нему с большой нежностью— другого нет. Но все люди, которые задаются вопросами этики, как правило, ищут себе оправдания... и находят. Или занимаются мазохизмом, муча себя (и других). Достоевщины я не люблю, испытываю чувство брезгливости. Этическая рефлексия, как чувство вины, удручает, но превращается в шараду, занимательное расковыривание парадоксов. В сущности, вся этика — это апофеоз морали, побеждающей нравственность. Она насквозь софистична и идеологична, лжива, и существует на том шатком основании, что «думать-то надо», хотя требует «не задумы-

ваться», когда вопрос касается нравственности — поступать без оглядки. Но полагаю, что в «философии» или около неё нет запретных тем: занимайся чем хочешь, самозабвенно и до потери пульса. (Недавно прочёл книгу о женском шаманизме на крайнем Севере. Автор сетовал, что Советская Власть погубила это явление, и теперь оно возрождается, а проблема в том, что бубнов не хватает, все в музеях. Причём серьёзно, не самиздат какой-нибудь, но академическое издание). О какой мы нравственности?! Хочешь быть нравственном — будь им. Делов-то?! Но, видимо, дорого (любо-дорого) обходятся приемлемые решение этих вопросов, трудно договориться с самим собой, и, если и договорился, пошёл на шаткий компромисс, то это всё, как родовая травма твоих собственных судьбоносных решений, муляет тебя. Я со всем уважением отношусь к геенне огненной другого, когда огонь неугасающий и червь неумирающий жжёт и гложет, думаю, что и проблема реинкарнации может страшить, если свободное время позволяет, но, по-моему, каждый пестует свою «печальку» и лелеет свои переживания, и взращивает, окучивает свои нежные «чуйства» по этому поводу. (Как Чехов говорил: «Надо заботиться о цветах, их взращивая. Плесень прорастёт сама.)

Это константа, ориентир, позиционирование, почти демонстративное, позволяющие тебе определиться и привязаться в (к) бесконечности, она, эта проблема «остаться человеком» — делает молодым, сохраняет тебе вкус жизни (по крайней мере, так это выглядит).

Для меня это неприемлемо, но каждый спасается, как может. Поэтому не умею прощать, себя в первую очередь. И каждый умирает в одиночку. Я забываю себя, и для меня проблемы «быть или не быть» нет. Даже если ты (я) не прав — у меня другой путь, вернее, никакого пути, а траектория складывается «позади», как случайность, выдающая себя за необходимость, которая ею не является. Истина не просто относительна, она (скажу банальность) — процесс (порою Кафкианский). Я не философ, я композитор и даже импровизатор (как у Одоевского) — лень записывать и сочинять. Это непоправимо и самоубийственно, в этом — неумалимость чувств, от них невозможно отказаться и представить, что они ложные. Они иллюзорными не бывают. Вернее, бывают со стороны, для другого, но сначала эту сторону надо создать.

«И не мог подумать он, что на свете есть любовь. Взял он саблю, взял он востру и зарезал сам себя», как поётся в песне «Весёлый разговор». Я не созерцатель. Конечно, проще укрыться за фразой, что, дескать, «извините, я не талантлив», и вздохнуть с облегчением, испытывая удовлетворение, что ничего делать не надо. «Но только ложь, но ложная тревога, но выдумка, но мнимая вина» (Гёте). Пожалуй, — утешаешь себя, — что суетится? Слишком буйные темпы, они нарушают твой покой и равновесие, инертность, читай, весомость. Поэтому кратко, в качестве «реплики с места»: все проблемы этики великолепно

выразила Раневская, обыграв знаменитое Достоевское «в душе у человека Дьявол и Бог борются» (думаю, он содрал это у Гёте, не дочитав далее пролога на небесах). Намеренно неточно цитирую. Она говорила: «У кого-то в душе Бог, у другого Дьявол, а у кого-то глисты».

Я даже думаю, что местами проступает, по нынешним временам, некоторая пакостная святость, елейная и пошлая. Иногда мне кажется, что я много старше самого себя — на десять тысяч лет, ну на три тысячи так точно. Мы далеки с самими собой на миллиарды световых лет, поэтому, пока докричишься, пока сигнал дойдёт, покуда вернётся обратно... Сам понимаешь. «Мы только с голоса поймём, что там царапалось, боролось». А вот этого не предвидится. «Жизнь прошла, как не было, не поговорили» (Левитанский).

Нет, я не истолковывал, я действительно так думаю. Для эпитафии слишком заковыристо — это своего рода Розетский камень, на котором на трёх языках был написан текст, и благодаря ему расшифровали коптский язык. Дальше писать смешно, придётся переходить на гекзаметр, язык Гомера и Парменида. Ведь и отрывки Гераклита — ошмётки поэмы. И так, если приглядеться, проза текста ритмизирована, но не очевидно, исподволь. Она сама организуется в ритм и размер. Но я не об этом, просто я, как пересохшее Аральское море (представляешь, глубина была 40 м), высох, и теперь — только пылевые солёные бури. Пора и честь знать, всё, что хотел, сказал. И то, что вся литература начинает восприниматься как извращение в очевидных превращённых формах — очень плохой симптом. Значит, чувства уже не «держат».

Литературой жить — это анемично. У меня всё так называемое искусство вызывает ощущение фальши и искусственности. Теряют смысл любимые книги, пыльно сходя на «нет», потому что искусство их не создаёт, оно их дрессирует. Живые чувства к тому же искусству гораздо ярче, чем чувства изображающие. Вся литература кажется манерной. Это замыленный глаз восприятия.

Искусство — странное образование. Оно всеми силами пытается избавиться от себя. Изгаляется, как может, и упивается напрасностью этого действия. Будто не может поверить в свою неуничтожимость. Вместо него умирают чувства, причём в пределах одного поколения. Всё низменное и всё возвышенное, претендующее представлять искусство не по своему образу и подобию — негативная и идеальная подоплёка искусства, не скажу основание. Искусство — вурдалак, питающийся кровью — свободным временем. Но это кровь чувств. И оно теряется в отражениях, своего отражения не имея. Искусство — последнее, что остаётся. Оно как наркотик. И в то же время — вот тот прочерк между датой рождения и смерти на надгробии. Я не знаю, что грандиознее: любовь к искусству или ненависть к нему, но всё это — размером с жизнь. Искусство не виновато. Оно просто исполняет «всехние» желания, бездумно и бессознательно. И даже фальшь его — истовая. Можно проклясть жизнь хоть трижды и знать, что ис-

кусство всё равно воздвигнет памятник презренной жизни, хотя бы, чтобы он превратился в руину — такой себе «перформенс» осквернения могил. И свободное время может быть могильным памятником, более того — «экскрементами» истории, а вовсе не «эликсиром вечной молодости», как представляется, хотя может быть, а может и не быть. Так что каждая книга, картина, симфония, стихотворение — всё, как в последний раз. Первый и последний. Всё — враз. Сразу.

Наверное, я уже всё. Надорвался, и всё вокруг протекает сквозь меня, и буйствует во мне сплошным превращением. Время такое, хотя неча на время пенять. Библиотеки — как кладбища. Память, куда приходят жить чужой жизнью. Чтение — это чистое потребление. Булимия. В готовом виде, и даже как полуфабрикаты, чужие мысли не усваиваются. Страшный признак, что исписался. Причём не то, что нечего сказать. Говорливость почти патологическая, но при этом всё слишком легко и натужно, слишком излишне и невыносимо. Недавно впервые досмотрел до конца фильм Чарли Чаплина «Огни рампы». Никак не мог собраться духом. Так вот, страшна эта беспомощность, и неталантливость, которая неумолима, как возраст, как старость, и ничего сделать нельзя. Это невозможно смотреть, как и все его звуковые фильмы. И нечто подобное начинаешь испытывать к своим текстам.

Вообще, эти потуги писания «рецептов» после шестидесяти, «откровений» и «озарений», как «жить», напоминают горячечный бред Лесковского Левши: «передайте ампаратору, что англичане свои ружья кирпичом не чистют». Бессмысленно писать, потому что всё устаревает ещё в замысле. Я не пытаюсь докричаться, предупредить (кого? о чём?) и что-то там исправить. (К чему?) (Я избавлен от многих более страшных и невыносимых поступков.) Жизнь непоправима. И молчание моё на фоне вялотекущего текста достаточно красноречиво («красноретиво», как у ретивого коня). Хотя я полагаю, что это решение — не писать, порвать с философией, пока она не порвала меня — было единственно верным. Рефреном, как и обещал, у Лейбница — суть принципа «необходимого и достаточного основания» и «предустановленной гармонии» с последующим или предшествующим «Мы живём в лучшем из миров» (я его терпеть не могу, но что-то в этом есть): «Почему это так произошло? Значит, у Господа Бога не было выбора. И потому мир такой, какой он есть, и событие именно такое, и другим быть не могло». «И мелочно гадать о небывавшем» (Рильке). Другое дело, что мы принимаем и не пытаемся сражаться, хотя бы с самими собой. Просто «пытаемся», самоистязание, и это почище китайской казни «тысячи кусков». Не всё сказано, и каждый уже «на своей звезде», необитаемой. Не надо замуровывать себя (даже вместе с бочонком Амадельядо). Есть «откровения», не когда тебе открывается вселенная, а когда ты «вселенной» на вырост, нараспашку. Необъятность, как необъяснимость. «Мир вовне, мир больше необъятен» (Рильке),

всего слишком, но «мало не показалось», и пространства, и воздуха было с избытком — я не цедил жизнь, смакуя, как коктейль через соломинку, я не упивался, — захлёбывался. Это как «Среди волн», и не Айвазовского, а реальная морская болезнь, она же «горная», она же — «высокая болезнь», когда «проваливаешься в небо словно в яму» (Мирослав Валек). Укачивает. И тошнит. Задумаешься: чего не хватало? Себя. Всё мне казалось, и кажется, скрывается что-то в этой открытости, и эта кажимость и есть «открытость», распахнутость — предпочтительнее «действительности», хотя ничто так не поражает, как реальность. Да, думаю, и сейчас. Теперь мы этого никогда не узнаем, что тоже принадлежит к той таинственной стороне мира, когда что-то теряется навсегда. Так вот, вызывают досаду утраченные рукописи и загадки пирамид, хотя понимаю, что нужно оставить философию в покое. Да я и не трогаю, но всё кажется, что этот покой и отстранённость, и нежелание писать — устраивают. Как бы там ни было — будь, хотя только в небытии есть потенциальная бесконечность, и она будет расти и после нас. Только не надо травить себя. Жить не «надо», не по нужде, от слова «нужно», что пахнет нужником, как писал плохой поэт Евтушенко, а — легко и свободно дышать, дыхания не замечая. Я научился неуверенности, и наослеп, наощупь учусь быть слепым. Думаю, что ничего мы не знаем, и, встретившись, столкнувшись с чем-то давно знакомым, даже не узнали бы. И это лучше, чем зачитанность до дыр, до облупленности, до зевоты. Но страх (высоты? Глубины?) прошёл. Я смотрю на всё, как «уходящая натура» (натура — дура) («натура натурата»), и совсем не хочу жизнь обживать. Она мне не предстоит. Пусть живёт спокойно, я не буду её завоёвывать, как провинцию, и оккупировать. Мы с ней по-прежнему далеки друг от друга, несовместимы. Я «невместен», неуместен. Но чувство опасности осталось, как предчувствие. Хоть ощущение банальности исчезло, если не пошлости. Так что цвети. Я — как «эпиграф» к самому себе. Это не нарциссизм. Хочется смотреть дальше, но дальше некуда, дали уже нет. Если не свобода, так хоть воля и простор, даль, которая не превращается «в окружающую местность» (Толкиен), и тут «даль — прямо в лоб» (Рильке). Никогда не опускай руки (говорят боксёрам и спецам по единоборствам), но это если ты сражаешься. А не в нокауте или состоянии грогги — тут от тебя ничего не зависит.

Другое дело — печальный кризис, вернее, гниение философов — это я чувствую. Нет. Философии это не коснулось, как и музыки, поэзии и прочего. Но сделало с точки зрения современности — «не интересным». А всё остаётся в неприкосновенности, хотя открыто грабится (гробится), и целые карьеры раскапываются в эстетике, искусстве. Чувства, если они есть, деформируются, деконструктивируются, а чаще они даже не регенерируются, не возникают. Чувства — излишни. Но вот проблема — чувства не растут, не развиваются, не становятся и не формируются. Это неуловимое нечто подменяется формальным совер-

шенством или тем, что считается таковым. Правда, на одном понятии каши не сваришь и концепцию не построишь — да и зачем? Так что, если заведомо не боишься быть скучным и занудным, никому не нужным — философия «для...» открыта, на худой конец есть болтовня феноменологии и так называемой аналитической и практической философии, но это — не она. Своего рода защита от дурака, о которой я талдычил всегда. Кроме того, она сама избавляется от неугодных. Такая мембрана, клеточная есть и у любого искусства — умение что-то делать. Но она хлипкая и страдает от прободений, когда умение сменяется стремлением к «имманентности», непосредственности, естественности. Подвох в том, что все стараются найти критерии, читай демаркации, а тут всё дело в том, чтобы превратить энергию в стремление как таковое. Вот тут и начинается «кино» кинематики. Тут вопрос, как не привыкнуть к бесконечности, как пережить «свободное время», не став равнодушным. Не надо пытаться перейти время вброд и при этом не утонуть в вечности.

Но это я к слову. В Средневековье единственным доступным всем развлечением было глазение на казнь. Сейчас тоже, но на свою. Зрелище. Событие.

Есть какая- то порочность в чтении книг (и постоянство и прочность в смятённом мире). В поисках авторов, которым доверяешь. Причём, не обязательно любимых. Так недавно попался мне Т.-С. Элиот на английском. Я ахнул. Текст распался, стихи исчезли, и воцарилась грозно молчащая поэзия, без берегов. Чтение бессмысленно. Оно — само по себе. Можем позволить, благодаря свободному времени.

Но иногда в процессе лихорадочного чтения попадаются такие метафоры, таким светом подхватывает и несёт (в потоке, на гребне света, и ты чувствуешь пульсации и ритмы вселенной, извини за восторженность и пафос, с возвышенностью), что становится стыдно от невозможности до такого додуматься. Но это свечение быстро сходит на нет, как свет угасающего Солнца. Превращаешься в чёрную дыру. И это ещё ничего. Нет, рассеиваешься в пустоте. С каким-то злорадным чувством. Но я прекрасно понимаю, что уход, вывих из своего времени — не самое то. Что не нужно быть потребителем, что не в одиночестве дело, и каждый — участник одного единого превращения, и вот только это твоё усилие — неповторимо, эта причастность — уникальна. Тем более, что интернет даёт такую возможность — быть всем, исчезая, и исчезая лениво, растерянно теряясь, диминуэндо, самозабвенно, и не печалясь при этом, как у Екклесиаста, которого обыгрывал Элиот: «И отяжелеет кузнечик...» В «Пепельной среде»: «ибо я не надеюсь вернуться». Потрясающий английский текст. А я врастаю в свою книгу, тяжелея и окаменевая. Это настолько поразительно, что хочется написать комментарий к каждой букве. Но не хочется выглядеть «хроматическим дураком», подробным идиотом в своих собственных глазах.

Эта книга и есть надгробие, из базальта, с краткой надписью: «Похороните

меня на уровне моря...». Это книга, в которой фантазии и воображения нет — писано с натуры. Она — не завещание, но она меня привалила.

Зря затеялся с этой книгой. Нет ещё языка, которым можно это сказать. Наш язык архаичен, как коптский, который умер за десять тысяч (!) лет до нашей эры. А когда Вяч. Вс. Иванов его расшифровал, прочли только долговые расписки на глиняных табличках. И он оказался единственным человеком, который мог это читать. Так и я. Такое сияние, такая умозрительная красота, и тема о свободном времени открыта только мне, без права и возможности передачи. А когда будет время, то это станет расхожей банальностью. Когда-то Шопенгауэр писал, что пусть побольше длится время книги, которое простирается от того, что она кажется абсурдной и бредовой, до момента, когда она станет трюизмом и пошлостью, а то и штампом. (Вообще, о штампах можно написать целую книгу, сотни книг. Как и о репризах, повторах, которые не только репродуктивная форма покоя, но могут быть представлены как ритмическая фигура всеобщего развития, определяющая размер. Это как в поэзии. Музыке. Схватки становления, поэтому по-*настоящему* — никаких банальностей. Метафоры облупливаются, как сусальная позолота, вырабатываются до основания, чтобы потом очнуться, проснуться в новой ипостаси нового явления. Так отжившая своё поэзия начинает опять расти в архаичных образцах и отражает свежестью, которую обретает замшелость и плесень, и само это движение выглядит не как повтор, а как утренняя заря в восхождении, и завтра тоже обещает быть. Ритм, пульсация, алгоритм, хотя я не люблю это слово. Всё сызнова, всё впервые и *всё*, как *всегда*). Меня пугает, вернее, доводит до отчаяния, до истерики моя беспомощность выразить хотя бы малую толику сути проблемы. Сейчас я смутно вспоминаю, что и А. С. Канарский, и Э. В. Ильенков пытались мне это состояние бессилия передать, предостеречь, но я был полон сил, юн и глуп, и не понимал, о чём они (хотя, если бы внял, то не смог бы пошевелиться). Жизнь била через край. Краёв не было, и это буйство полноты времён, всесильность казались вечными (самое интересное, что так оно и есть, эта энергейя — вечна и дайнемис не иссякает, и всё это разрешается в энтелехии — повезло Аристотелю). Но не только твоё тело — мышление дряхлеет, а ты с ужасом, в сознании и самосознании, всё это вынужден видеть и терпеть. Ты можешь себе сказать: «Отставить панику в обозе!». Но это не паника. Когда-то Иван Жданов писал: «И никому не удавалось склониться, плача, над собой». Мне удалось, хотя бы потому, что эти настроения фальшивы поневоле, но глупо молодиться, как старый дурак, или надувать важно щёки, изображая посвящённого. Все кончено. Дальше — скука и унылая, пыльная работа лемуров из Гётевского «Фауста», копающих ему могилу. Я-то смеюсь над смертью, но не смеюсь над старостью, а испытываю настоящий ужас, и эта книга... Вспоминаешь у Феллини, в «Джинджер и Фред», их танец, когда он с одышкой пытается дотанцевать до конца, изобра-

жая былую лёгкость? Так и я. И, тем не менее, в этой провальности — гениальность, старость во всей полноте, дряхлость, неумолимость, безнадёжность. Смотреть стыдно, но есть честность невозможности, окончательность. Смотрел, как завороженный. Отключал, опять включал. Настолько это умопомрачительно страшно.

Как музыкант, который стареет и играть уже не может, но играет. Как Изаи, как Рихтер, который смертельно болен, не может концертировать и вынужден преподавать. И ещё неизвестно, что труднее: самому концертировать и знать наверняка, что могут говорить, что угодно, любые дифирамбы, но ты-то знаешь, ты-то самый понимающий, и дело не в критике и неудачах, а в том, что ты — посредственность. А учить других — вообще ужас (но не ужас, ужас, ужас...). Хотя идёшь на компромисс с самим собой. Но ответственность за чужой талант страшнее, чем за свой. Тут ты понимаешь, что нужно сверхусилие, надо работать, действовать, сделать всё, что можешь и не можешь, а там как повезёт, но есть хотя бы оправдание, почему не смог. Но в случае другого, любая неудача страшнее (хотя ничего страшного) и гораздо болезненней, чем собственная.

Помниться эпизод из автобиографической книги потрясающего Пятигорского «Я виолончелист», когда он вспоминает своего ученика: «показываю, выкладываюсь, а он играет всё хуже и хуже. Тогда понял, что подавляю его своим умением. Начал намеренно ошибаться. Каково же было моё торжество, когда после выигранного им престижного конкурса услышал, как он говорит кому-то: “Пятигорский, конечно, гениальный педагог, но виолончелист он — никакой”». А певцы, артисты, а философы, учёные, когда пора замолчать, уходить, а всё медлишь — «а вдруг», «может, ещё не всё?», хотя прекрасно знаешь, что всё. Это сквозит в каждой работе на закате — и у писателей, и у служащих науки, и у любого, дожившего до дряхлости мыслителя, кто бы ты ни был, Кант или современник, всё это, в лучшем случае — подражание самому себе, невольная имитация, набитая рука. Другие могут вносить озарение или катарсис, оценить, без жалоб и нытья, признать мужество тех же Гаспарова или Лихачёва, и всех, которые хотя бы говорили правду, а не надо бы. Старость должна быть тайной. Стареть — стыдно. Но об этом не нужно врать, не приукрашивать, а принимать, как есть. Кто может сопротивляться — сопротивляется, кто не может — пусть умрёт с достоинством. (Лихачёв: «Начинается самый унылый, длинный и нудный период жизни — старость». Гаспаров в письмах. Недавно перечитал его всего и пожалел впервые. Зачем всё это? К чему? Полное бесчувствие, непонимание ни поэзии, ни музыки. Но потом примерил на себя, и затих. Ведь что-то в этом было, раз жалеешь об этой одержимости. Но уже не выпендриваешься, не выделываешься, не выдуриваешься. Мышление — как спорт для пожилых, в своей категории. Подсчитываешь потери, и всё сводиться к забыванию и неверной памяти — ровно столько, сколько помнишь, до последнего сознания.

Это фантастично и даже грандиозно ошеломляюще, и ты это воспринимаешь как растворение, исчезновение, и, если повезёт, то как переставание быть собой во всеобщем. Это не скучно, не нудно — это другое. «Я к вам травою прорасту», и по-своему — упоительно и самозабвенно. Как настроение. Накрывает с головой, как всплывающие стихи бразильца Хуана Кабрала Ди Мело Нето (мог быть любой, как Сесар Вальехо, или Рильке, Филип Ларкин, а может, Мандельштам, или вообще кто-то никому не известный — сама поэзия, которую никто не знает, «а может быть, поэзия сама — одна великолепная цитата» — Ахматова).

Нет убежища
от стихов
прорастающих из пределов, где всё — изумление
как цветок из клумбы.

Нет убежища
от любви,
которая изжуёт и выплюнет,
и снова обрушится, как землетрясение.

Нет убежища
от скуки,
скуки четырёх стен, четырёх
времён года, четырёх сторон света.
(«Одиночка в четыре стены» Сесара Вальехо)

Нет убежища
От действительности,
уничтожаемой ежедневно в газетах
посредством чернил и бумаги.

Нет убежища
от времени —
реки, текущего над домом потока,
уносящего дни и волосы.

Не удержусь и приведу стихотворение Вальехо полностью, вряд ли это напечатают, а если и напечатают, то вряд ли кто-то ринется его искать. В последней книге можно, когда (кодой) медлишь, ничего не ждёшь, прощаясь.

Oh las cuatro paredes de la celda...

Oh las cuatro paredes de la celda.
Ah las cuatro paredes albicantes
que sin remedio dan al mismo numero.

Criadero de nervios, mala brecha,
por sus cuatro rincones como arranca
las diarias aherrojadas extremidades.

Amorosa llavera de innumerables llaves,
si estuvieras aqui, si vieras hasta
que hora son cuatro estas paredes.
Contra ellas seriamos contigo, los dos,
mas dos que nunca. Y ni lloraras,
di, libertadora!

Ah las paredes de la celda.
De ellas me duele entretanto, mas
las dos largas que tienen esta noche
algo de madres que ya muertas
llevan por bromurados declives,
a un nino de la mano cada una.

Y solo yo me voy quedando,
con la diestra, que hace por ambas manos,
en alto, en busca de terciario brazo
que ha de pupilar, entre mi donde y mi cuando,
esta mayoria invalida de hombre.

Одиночка в четыре стены

Одиночка в четыре стены,
о, коробка в четыре стены,
безнадёжная вечная цифра!

Четвертует четвёрка углов
все четыре конечности тела
четвернёй ежедневных оков!

Где ты, ключница с лаской ключей?
Если б ты увидала, как вечно,
несомненно и ровно четыре!

Если б мы оказались вдвоём
против них, четверых. О, скажи мне,
ты б ни разу не плакала, правда?!

Ах, застенок в четыре стены!
Две из них, что гораздо длиннее,
этой ночью меня истерзали
тенью двух матерей уже мёртвых,
но ведущих вдоль бромистых склонов
одного и того же ребёнка.

Остаюсь я с протянутой — правой,
в ней усилия левой и правой,
двух, разъятых насилием, рук.
О, ищу я третейскую руку,
чтоб она приласкала на ощупь
искалеченность духа и тела,
заточённых в пространство и время.

Перевод Юнны Мориц

А вот «почти» подстрочник Елены Богдаевой:

О, четыре стены моей камеры.
О, четыре стены белеющих —
безысходно вперившихся в цифру
эту самую.

Нервов садок, провал зияющий —
рвёт на куски четырьмя углами своими
мне руки и ноги в каждодневных
оковах пыточных.

Добрая ключница с ключами бессчётными —
если б только вошла ты сюда, если б только увидела:

до *какого* срока обречён я смотреть в эти стены...
Мы встали б тогда вдвоём с тобой против них —
как никто вдвоём. И ты бы ни капли не плакала —
скажи — я прав, избавительница!?

О, четыре стены моей камеры —
Так истерзали меня — и больше всего —
те, что длиннее: они этой ночью
с матерями схожи — давно уже мёртвыми:
с двух сторон взяли каждая за руку — и ведут
меня, ребёнка — по спускам бромистым.

Но вдруг остаюсь я с одной протянутой правой —
и шарит она — как обеими — там, наверху —
и ищет нащупать другую — третейскую — руку,
что нежно обнимет — меж «где» и «когда» —
моё жалкое естество человеческое.

Необратимость завораживает своим «никогда», своей обыденностью. Только думаешь: «Неужели это со мной? И как это быстро, и как жизнь бессмысленна и коротка!» И начинаешь понимать то, чего раньше не понимал. И не сочувствуешь, потому, что всё это неизбежно, и ничему не учит, ни от чего не спасает. Не хочется испытывать, что ты можешь, и никуда не спрятаться, и не деться. И потому — это не надо знать, с этим нельзя смириться, и есть произведения великие своими беспомощностями. И не все фильмы и спектакли надо досматривать до конца, в том числе и собственную жизнь.

У меня самого — разорённость, неуверенность и апатия к жизни. Чувствую слабость мышления и бесконечную усталость. Я сейчас в бесконечном превращении, и ничего схватывать не могу и не хочу — это может только покалечить. Я хватанул абсолютной свободы, и возвращаться не хочется. Помимо всяких разностей, тут отслеживается побочный эффект. Начинаешь видеть и слышать то, чего нет и не может быть в книгах, произведениях, с которыми приходится иметь дело. Поэтому каждое мгновение чревато разрывом сердца от полноты.

Вот Бах, но не только он, не только персонаж, а музыка в любом своём проявлении, поэзия, всё вокруг. Возьмём Швейцера. Его книгу «Бах» читаешь и видишь то, чего там нет. Это каждый раз другая книга. В этом смысле она бесконечна.

Вся философия: видишь её по максимуму и по минимуму, но критериев нет. Всё зависит от тебя, и философия — не в ней самой. Живу бесцельно, слившись с порывом в никуда, стремлением в никуда и просто так. Это неправильно, невероятно, но боишься спугнуть, а ещё больше — потерять эту турбулентность, мерцание, свечение. То, что называется самозабвением. Но это слабость и, в какой-то мере, капитуляция, когда сражаться не за что. Себе говорю: не старайтесь формулировать внятно, мы не знаем, что есть мусор, а что откровение. Я не сторонник «работ*а*ть», вкалывать, потеть, доказывать только самому себе, как выражаются некоторые, и «быть на связи с вечностью» — это меня меньше всего интересует (недавно в дневниках Хайдеггера прочёл, что вопрос о бытии есть вопрос о собственности. Я всегда знал, что он весьма слабый мыслитель). Нет, вопрос не о своём, не о присвоении, хотя соблазн есть — вопрос о всеобщности, а не об общеобязательности. И время одиночек прошло, вернее, никогда не было.

Наступает эпоха свободного времени, которое несовместимо по природе с частной собственностью, и потому смертельно. Оно развращает, распыляет слабых.

Свободное время — это время жизни, но и, как время — бесконечное исчезновение. Противоречие длительности и протяжённости. Свободы и времени. В какой степени свободное время может быть, или оно только и может быть? Но волнует вопрос, в какой мере оно снисходительно отнесётся к тем, кто опоздал, устарел, не сумел приспособиться, кто иной природы?

Иначе говоря, не только я испытываю клаустрофобию, герметичность, когда нагнетается избыточное давление свободного времени. Развитие может произойти, а может не произойти. Критическая масса свободного времени может разрешиться в иное, а может и умереть, задохнуться в спёртом состоянии. А времени уже не осталось, и не хочется трогать проблему, с которой ты заведомо не справишься, потому что её в одиночку не решают, и с ней не договоришься.

Вот это нагоняет тоску и уныние, когда знание о свободном времени оказывается пустым знанием, диалектикой (?) метафизики и формальной логики. Парадоксально, хотя это воспринимается эклектикой (и экзотикой). Хотя современная с энтузиазмом воспринимаемая формализация, математизация, систематизация знания, жизни и даже ранжирование чувств — крайний идио-

тизм. Беспросветная дурость, а не необходимость. Но разве кто услышит?

Я не из тех, кто выбирает сети, когда идёт бессмертье косяком. Смерть омерзительна, мерзенна. Проклятье — это ерунда, как и порча или приворот с оборотом — тут какая-то обида, хотя я понимаю, что ненароком. Какая-то несправедливость, хотя какая там справедливость? Ложная идея. Жизнь мизерна и воняет падалью. Но имени этому нет. Это ошеломляюще, как удар в солнечное сплетение, но удар и мгновенный, и медленный. Состояние грогги. Нокдауна. Дауна. С этим жить нельзя, притерпеться тоже. Это как бесконечное ожидание и приговор. Ни воли, ни силы пошевелиться.

Только корёжит и корчит от музыки, которая — вся без остатка, и ты — её чувство в каждой точке в каждое мгновение. Это жажда взахлёб. Я никого не понимаю, и, кроме боли, есть ещё такая переполненность горем — слова не вымолвить. Тупо слушаю музыку во всех видах, самую невероятную. Всё ясно, прозрачно. И всё настолько грандиозно, превосходит возможности, и в то же время пишешь об одиночестве и делишь его надвое удваивая писанием о нём и противопоставляя себя ему. Да, об этом одиночество, которому дано на вырост моё молчание, как акустическое пространство всей музыки, которое одно, единое и охвачено одиночеством, совпадающее с чувствованием. Это невозможно, никогда, и неповторимо. Я онемел. Слова фальшивы. Это лучевая болезнь.

Не то, чтобы я сдался и перестал сопротивляться. Просто это другое, где любое сопротивление бессмысленно, оно — другой природы. Это как эйнштейновский перевод силы тяжести в чёрт знает какую геометрию, и я спутан этими силовыми линиями. Это как вдруг понять, внезапно ощутить, что законы звёздообразования, музыки, света, гравитации, времени и чувств — одни и те же. Это накрывает с головой. Сплошное смятение, и ты всё это не просто понимаешь, а сам растворён в этой стихии. Чувством, которое не названо, не подразумевается, но совершено неопределённо, хотя ясно во всей своей полноте. Хотя это как стихия света (может быть, продолжающаяся в невидимом диапазоне). «Стояние в свете без остатка». Причём ничто не остаётся, и даже не схватывается, и любая попытка оставляет тень, которую оставляет сам свет. «Мы — только под прямым углом, наперекор один другому...». Но я молчу. Может, мне повезло, и я не знаю, от чего это несовпадение уберегло. У Флоренского есть работа «О мнимостях в геометрии». Сил нет, написать бы о «*Мимостях*». Вот, когда прислушаешься, иногда кажется, что удаётся услышать саму невыразимость и невозможность, хотя это шум сухой крови, о которой Мандельштам. И всё-таки — это страшно. А в это время...

По философии тоже брежу, вернее, брожу. Создавая ландшафты, виды, местность, «округу», «окоём», «видимость» и «кажимость», которые постоянно грызутся между собой. Перечитал, от нечего делать, всего доступного Агамбена,

которого терпеть не могу, и кучу всякого мусора — с тем же успехом читал бы гениальные книги — всё это «вещество», которое можно переработать, но заворожён данностью, свершённостью, явленностью непомерных усилий, напрасностью, *никчёмностью,* ни к чему не приложимостью, как и в простом существовании, которое пытается быть самом собой. Почерпнул какие-то мелочи, вроде того, что Батай считал себя учеником Кожева, и до самой своей смерти доводил его до белого каления своими комментариями и интерпретациями. Например, что, якобы, Кожев утверждал, что философия исчерпывает себя и превращается не просто в обыденное мышление (с этим можно согласиться), но возвращается в «животное состояние». Никак. Я всё это читаю, и даже оправдываю, дескать, мышление превращается в «свойство».

Это почти неистребимая тенденция — вернуться в «естественное» состояние, в непосредственность — в то время, как эту *природу* необходимо создавать каждое мгновение буквально, *каждое мгновение,* как *всё время* сотворять из ничего. Призывы к «спонтанности» — «я вся такая спонтанная, такая внезапная вся». Надежда на откровение и «творческий акт» не помогут в философии, хотя она и так обречена. Философия, при всей изощрённости, претензиями на революционность только подчёркивает кондовость и консерватизм, стремится к стандартам, пытаясь быть «раз и навсегда», просто пытаясь быть, остаться навеки, хоть памятником самой себе — что-то подобное некоторые испытывают в желании остаться в памяти. И тут никакими психодрамами, «культпоходами» в «Театр спонтанности» жуткого и популярного некогда Якоба Леви Морено не поможешь (не перестаю удивляться торжествующей кондовости, своей в том числе, но я хоть знаю, что это временно, что жизнь — ненадолго).

Есть некоторая избыточность ненужных отношений, ассоциаций, с которыми можно бороться не аскезой (аскеза сейчас — в чрезмерности), а ещё большей избыточностью, нарушением меры с почти раблезианской, рубенсовской гипертрофией. Пример избыточности — бог — демиург и безотцовщина, сирота безродный (ни папы, ни мамы, ни дедушки с бабушкой (шучу). Метафоры и образы жиреют, становясь тучными, тяжеловесными, неповоротливыми, инертными, при этом сохраняя серхтекучесть и упрямое направление — цели нет, а метафора всё изображает стремление что-то перенести. Любой невинный образ стремится стать шарообразным и поглотить всю вселенную в её истории и за её пределами, сделав комментарием к себе. Наука, даже так называемая точная, стала (и была) метафорична, мифологична — любой термин, как возвратная форма, грузнет, «угрузает» в комментариях и объяснениях, обрастая подробностями, пока не гибнет, не исчезает, возвращаясь в изначальное движение, и это хорошо, но вносит ненужную громоздкость — нужно всё время объяснять, что ты имеешь в виду, причём со ссылками: ну, например, когда ты вспоминаешь строчку «в ответном всплеске юного лица, и на разрыв нам пробует

сердца», и начинаешь объяснять, что ты воспринимал всплеск, как «вдруг», «спонтанность», и что ты не имел в виду «я камень взял и припечатал к всплеску, на все, какие будут, времена» (В. Петрушенко), и бывшие тоже, потому что они грядут в будущем и ожидаются «впереди», и, уж конечно, не имел в виду теорию всплесков, хотя и такая есть, но и она врывается в предмет хотя бы как метафора, оттенок (Новиков И. Я., Протасов В. Ю., Скопина М. А. Теория всплесков. М.: Физматлит, 2005). Теория всплесков (вейвлетов) лежит на пересечении чистой математики, вычислительной математики и аудио, и графической обработки сигналов, сжатия и передачи информации. Всплеск-анализ сформировался в 1980–1990-х.

Слово всплеск — эквивалент английского «wavelet», которое в свою очередь является переводом французского «ondellete», первоначально введённого А. Гроссманом, Й. Морле. При внедрении терминологии в русскоязычную литературу возникали многочисленные варианты, среди которых в качестве «wavelets» использовались слова: онделлеты, вейвлеты, вэйвлеты, волнушки, волночки. В конечном итоге математики выбрали предложенный К. И. Осколковым термин «всплеск», который не является точным переводом слова «wavelet», но зато хорошо отражает суть происходящего. Под системами всплесков обычно понимают сжатия и сдвиги одной функции, образующие систему представления в каком-либо смысле (например, ортогональный базис в L2(R)). В некоторых ситуациях системы всплесков состоят из сдвигов и сжатий нескольких функций или целой последовательности. Понятие «всплеск» как таковое не вводится, конкретный смысл придаётся таким словосочетаниям, как «всплеск-функция», «последовательность всплеск-функций», «пространство всплесков» и т. п.

Кстати, очень выгодная идея. Книга показательна: с первой страницы до последней — шестьсот страниц сплошных формул, никаких метафор, только: «следовательно», «согласно», «и», «отсюда» — понятно, не для всех писано, но осмелюсь сказать, что так называемые «доказательства» — бездоказательны, причём не особо вдаваясь в подробности. Между прочим, и аргументы философии, как правило, не убедительны. Это, наверное, «работает», но в частном порядке, в рамках одной «договорной теории» —«предположим, что это так, тогда...». И — сплошные формулы. У каждого предмета, помимо «общелитературного», есть свой диалектный язык непосредственно проблемы.

Каждый предмет имеет свой язык, который не нуждается в дешифрации — он теряет при переводе, как поэзия, хотя при переводе могут создаваться шедевры. Но я о другом, о том, что заставляет писать. Меня поражают примеры истории, нет, не глубокой древности — это ясно, и никто не задумывается, что заставляет писать, если завтра это всё будет утеряно, сметено, и жизнь кончается, и всё гибнет на глазах. С древними всё привычно. Но ближе к нашему времени... Хотя, так — в любом времени, например, в начале двадцатого века:

Циолковский и Чижевский. Какая-то забитая Калуга. Голод. Одна квашенная капуста. Разруха. Холод. Как выжить? Какой космос? Какие полёты? Непостижимо. Невероятно. Полезно иногда примерять ситуацию на себя, чтобы понять свою ничтожность и слабость. Я уже не говорю об экстремальных ситуациях, когда люди остаются людьми, несмотря ни на что. Вот это завораживает. Когда ни одной причины нет, не говоря уже об условиях. Вот это — «когда причины нет и оснований нет» — и является самым непостижимым, причём и тогда, когда восхищаешься мужеством жить, к чему нет никаких предпосылок, и когда «жить не хочется», и тогда, когда всё есть, есть «все основания» — здесь требуется ещё большее чувство, ещё большее мужество, воля к жизни, чтобы решиться на действие. Вся напрасность вселенной, вся бессмысленность развития прошлого, настоящего и будущего — против тебя, а ты действуешь ни для чего. Хотя, чтобы не действовать, тоже нужно исполинское усилие. При этом никакой одержимости, фанатизма нет, ничто не ведёт, не выталкивает, не заставляет. Ты решаешь что-то, хотя совсем ещё не пора — ни любопытства, ни страсти к познанию — одна блажь. И ты блажишь, хотя тебе это не нравится.

Вот так и надо писать — без оглядки, не задумываясь, не адаптируя к пониманию не только обыденного сознания, но и к способности восприятия самых-самых, не превращая в «развлекуху» и шоу-бизнес, как того требует предмет. Под предлогом. Науку пытаются нагнуть под обывателя, сделав «понятной», а на самом деле всё это — плохо прикрытые попытки превратить её в товар, создав потребительную стоимость и сделав жертвой рекламы. Отсюда колоссальный разрыв между представлением о науке и самой наукой. Впрочем, такое происходит и в литературе, и в искусстве, которые вынуждены идти за толпой и потакать её низменным вкусам, которые могут быть и «возвышенными» при помощи всё той же рекламы. Факт: это товар, приготовленный для потребления, вернее, в потреблении (им) создающийся, видимость очевидности. (Нечто не нужное, не поступающее в обмен, не является товаром. Но наука, искусство, философия и всё человеческое — чувства — не нуждой порождённые, они не нужны, они свободны и только тогда существуют. Они могут быть товаром, но, в сущности, им товарность и даже «вещность» чужды.)

Но суть в том, что «факты» науки ненадёжны, и мы не знаем, вполне ли они факты, а не иллюзии. «Явление — ещё не факт.» И потом, образы, метафоры сравнялись с понятиями, категориями, трансценденталиями, универсалиями (о чём я талдычу, не переставая), поэтому, быть может, мы анализируем и синтезируем только «мутации» языка. Так что вся наука последовательно становится жертвой абсолютизации какого-то принципа, возведённого в абсолют и пытающегося осуществить свою экспансию на всё мыслимое и немыслимое, знаемое и не знаемое. Надеюсь, что это не так, и опасения ложны. Но вдруг кривая не вывезет? Философия тоже точная наука, — утверждал Гуссерль, — согла-

сен, хотя этого дилетанта терпеть не могу, но сейчас произошла подмена понятий — под точностью стали понимать определимость, а не определённость, формализацию, математизацию, инвентаризацию, наукометрию, и решают задачи складирования, бухучета, систематизации и прочего добра для интендантов от науки. Вспоминается реальный эпизод, когда завхоз Академии Наук со вздохом подписывал сметы физикам, химикам, биологам на приборы, и говорил: «хорошие люди математики — им только бумагу, карандаши и резинки». Потом, подумав: «А ещё лучше философы — им и резинок не требуется». Это, конечно, анекдот.

Ну и, конечно, есть проблема *утилизации*, например, свободного времени. Причём это едва ли не самая главная проблема ближайшей современности. Поскольку свободное время в условиях частной собственности представляет издержки производства, которые *нужно* (отсюда и *нужда*) свести к минимуму, а с ними, желательно, и всё человеческое — люди мешают. И упразднить, как ненужные, искусство, науку, культуру, образование, — или хотя бы использовать в меркантильных целях. Поэтому превращённые формы стоимости паразитируют на свободном времени, присосавшись, как паразиты, потому что полностью уничтожить свободное время они не могут. Чем меньше необходимого рабочего времени, тем больше прибавочного, но тем больше и свободного. Необходимое время стремится к нулю, свободное возрастает до бесконечности. В нормальном обществе это, так или иначе, ведёт к развитию науки, искусству, образованию, преобразуя и рабочее время в свободное, делая однородным, превращая необходимость в свободу, а свободу делая необходимой. Но на стадии формирования потребности в свободном времени, а её пока нет, его только вожделеют, оно воспринимается как время отдыха, праздное время. Свободное время — случайно и неучтённо — это удел странников, бродяг, писателей, поэтов, композиторов, и одержимость воспринимается как утрата свободы. Кабала (или каббала?) свободы. Счастливое рабство, как в любви. Хотя трудно понять, что всё может быть иначе. И даже свободное вкалывание на износ, до потери жизни, до которого дорвались многие — это не предел, не свободное действие в игре всех духовных и физических сил, не только твоих, но и всего человечества в его истории — это простая добровольность, вольность, а не свобода. В эту всеобщность всеобщего становления вовлечены и машины, и наука, технология, политехнизм, и превращение человека.

Ничего не пишу, и состояние естественное, почти «божественное», когда весь свет и вся тьма — твои. По-новому «ощутил», не просто «понял» (ничего не понял) почувствовал фантастическое откровение Ляйбница (Лейбница), когда в «Теодицее» — оправдание Бога за сотворённое зло (хотя он это вряд ли утверждал это), он простодушно стоит на своём, отвечая на вопрос «почему мир такой, какой он есть?» — что у Бога не было выбора (!!!), потому что он имеет все

возможности, кроме одной — *единственной* (!!!). Не перестаю удивляться. Это не озарение, это проваливание в идею. Мы не знаем, что имел в виду Лейбниц, хотя он пишет ясно и недвусмысленно, но чем дальше, тем непонятнее, — понятия не выдерживают наполнения смыслами, им не свойственными. Они «крошатся», дробятся, расседаясь под задаваемыми «неправильными» вопросами, потому что не терпят вопрошания, представляя окончательную ясность положенности, непротиворечивость, ясность ясности.

Мышление становится катастрофичным — эта идея открывается, когда ты её уже сам продуцировал и готов к восприятию при помощи той же идеи — завтра она будет иной, и для другого. Как и идея «архитектоники», «транскреации» — смысл не в употреблении и объяснении, использовании, а в красоте откровения, отвергающего тебя, поглощающего. И при этом ты сам под вопросом. Ты не ответ, ты загадка, но какая-то риторическая. Но это откровение — не созерцание, а действенное, хотя и без усилия. Ты вовлечён в течение чувства не как в поток, а потому, что сам превращаешься в движение.

И хотя мир для меня прекрасен без Бога, и потому он (мир) — чудо (Бог чудом не является — чудом было бы его явление), — эта идея гениальна, она полностью оправдывает «предустановленною гармонию» предустановленной же гармонией, и то, что «мы живём в лучшем из миров», хотя, утверждай Лейбниц, что «в худшем», и мир следует если не уничтожить, то хотя бы *упразднить* его действительность и переосуществить — логика была бы та же.

В этой беззаботной «*праздности*» есть соблазн «свободного времени», которое непредусмотренно, но предвосхищено, оно чувствуется — случайного и озадачивающего, потому что оно нелогично, не укладывается в привычные отношения. Отсюда и поэзия, и музыка, и философия черпают основания для свободного «незаконного» действия без причины, ниоткуда. Это почти «преступление».

Если рассматривать трансцендирование, как преодоление предела в снятии, это — сдвинутость. Всплеск. Покушение на устои. Нездешнесть. Транскреация — исчезновение в одном месте и возникновение в другом во всей полноте. Но без стыков, швов, склеек, перегибов — обещание сплошности, но допускающее, что «звезда с звездой — могучий стык». Кажущаяся инаковость «не от мира сего». Но это — иллюзия движения. Тень, отражение. Отражение тени и тень отражения.

«Превратить» наталкивается на «должен» = мир *должен* быть изменён, что равнозначно «мир должен быть». Это детерминизм: «так случилось», так произошло, и иначе быть не могло, но не с точки зрения случайности или необходимости, а с точки зрения свободы, которая тоже не имеет выбора. Хотя я понимаю, что чистый эстетизм — он же эгоизм, граничащий с дендизмом, и всегда чреват нарциссизмом (недавно натолкнулся на краткое содержание «Над

пропастью во ржи» Сэлинджера — «роман о страданиях юного нытика, страдающего нарциссизмом»), порождён страхом и попыткой найти последние, они же необходимые и достаточные, основания, чтобы умереть спокойно и смириться с природой. Забыть о «я», как некогда смирились с тем, что Земля не центр вселенной. («хотя центр Вселенной везде, а окружность нигде»).

Никакой необходимости ни в жизни, ни в смерти я не вижу, а одну лишь пустую тавтологию — потому что такова природа и больше *никакова*. Это «около» жизни, околица, возле, но не сама жизнь, не сама абсолютная красота. Жизнь никакая. Дерзость жить — скорее бодрое проявление трусости. Примечательно, что в старости острота восприятия возрастает, хотя память подводит. И ступор в самом действии — ничего писать (письмо как вредная привычка) не хочется, как будто истина во всей полноте открылась, но озвучивать, являть её не хочется, да и надо ли это знать? Быть может, всё дело в том, что я варюсь в собственном соку? И пишу потому, что проще писать, чем заставлять себя не писать? Колапсирую в одиночество и лишённость общения, в которых вижу только досадную необходимость, превращаясь в чёрную дыру. Даже свет придавлен тяжестью (он и есть эта тяжесть) и не покидает. Много музыки, много света, тёмного от глубины, и много философии, лишённой языка, которого ещё нет, да и не способного это выразить. Полное безразличие, но не без-образие. Различение — безразлично.

Причём (что опасно), любая дребедень вызывает ненужные переживания. Недавно прочёл мимоходом некоего Губрехта «После 1945. Латентность как источник настоящего» — зацепило своей маразматичностью. У нас — разная латентность. Но точно так же три дня назад сдуру читал сборники по современной психиатрии Истгейта Джена — что-то вроде Лебрехта «Маэстро миф», «Кто убил классическую музыку», только о безобразиях в психиатрии, и как она полностью превратилась в доходное предприятие и средство политического воздействия, инструмент власти, проводящей фронтальную лоботомию. А заодно уже и психологии досталось. Плачевное состояние, удручающее зрелище... Или вот попалась под руку книга Флориана Иллеаса «1913. Лето целого века» — почти иллюстрация, вернее, карикатура к Хобсбауму «Долгий двадцатый век». Наивная, но для кого-то занимательная картинка о частном видении автора одного года истории. Почему я должен размышлять над этим?

И что я не знал? На кой это мне? Это — мусорное знание, как острова из тонн пластиковых бутылок в океане, острова из мусора, которые делают японцы и потом на них строят современные аэропорты. Так вот, то, что я ощущаю — это как отношение полёта и законов аэродинамики, к мусору, из которого создаются острова. И это кроме того, что я перелопачиваю горы литературы по современной (так называемой) философии, бредовой феноменологии и пост-феноменологии, американской дерьмовой «практической философии» —

отрыжки прагматизма и массы «рвотных масс» современной книжной продукции. Опускаюсь вместе с ординаром, попутно узнавая, что Бах и Гендель в конце жизни ослепли. Стихи не пишутся, зрение падает. У меня какое-то чувство вины за *несодеянное*. Но ирония спасает — это не воспринимаешь как реальность, по крайней мере, относишься скептически. Пробавляешься игрой в философию, и особенно — изображая, какой ей надлежит быть. Чтобы что? Суть современной науки в том, чтобы перестать быть «формой общественного сознания», а стать непосредственной формой действия. Так это уже произошло, и происходило всегда. Игра без правил.

Этот организованный, «управляемый» хаос и есть видимость жизни, без которой жизнь была бы слепа. Это диапазон видения. Игра волн, их всплески, которые проходят сквозь меня, но я их игнорирую, хотя меня и укачивает, потому что всё это не подвластно физике и вещественности. И Материя, и вещество — не одно и то же. И что тут объяснять? И что тут знать? Ты сам — затухающая волна. Предел самого себя.

Но есть некоторая опасность заиграться. С чего бы я стал читать трактаты по математике и физике, астрофизике (причём с удовольствием), упиваясь полною их беспомощностью? А я читаю, и всё больше убеждаюсь, что математика (в большей степени) и астрофизика превратились в совершенно эстетическую область знания. Мы не властны в законах мироздания, но любуемся и наслаждаемся своей дремучестью и невежеством. Беспомощность и бессилие вызывают какое-то чувство успокоительной фатальности и непостижимости, своеобразный восторг. От полной ненужности лично для тебя «Модели случайных графов» или полного безразличия к «Инверсии» и «гипотезе Кнезера и топологическим методам в комбинаторике». Есть какое-то чувство спасительное облегчения, когда смотришь на снимки космоса или читаешь непостижимые книги. В непонимании непостижимости есть своя бесконечность.

Так что я, обретая стихию свободного времени, малодушно резвлюсь и бездумно упиваюсь действием в никуда. Я ни с кем не общаюсь, так случилось, ни регулярно, ни постоянно, предпочитая тупеть, не доставляя никому хлопот. Быть самим собой хотелось бы, но опыт показывает, что это смертельно опасно для других. (Не слишком ли откровенно? Излишне исповедально? Но это не исповедь, не излияния, не попытка объясниться или задокументировать то, что происходит, найти в этом оправдание.) Происходит аннигиляция (если бы! Просто искрит, как при коротком замыкании).

Многие готовы гомеопатическими дозами воспринимать философию, музыку, поэзию, живопись (для улучшения здоровья и «качества жизни»), но не могут этим *быть* постоянно. Одна

из особенностей свободного времени, что по своей природе оно возрастает до бесконечности, и тем самым стремится к нулю, к исчезновению, становясь обыденным, привычным, как атмосфера, как климат. Но сейчас мы имеем дело (повторяюсь) с потерей атмосферы, потерей воздуха, потерей чувств, — подумаешь! Будут другие, не будут? Утрата возможностей возникновения чувств. Некоторые уже задыхаются и «бредят от удушья». И то, что мнится любовью, уже не спасает.

Философия провоцирует тексты «по поводу, но все тексты в философии — «про себя», это чтение про себя, а не вслух, тут уж ничего не поделаешь — всегда проговариваемся. И это единственное, что оправдывает писательство. Банальный пример: «Материя — первична» (и слава Богу, добавлял М. Лифшиц на лекциях), но вот первична она у каждого по-разному, и это и составляет уникальность, а то всё превратилось бы в унылое, общеобязательное знание. Или Любовь — она банальна, но для каждого человека всегда вновь. Ничего не случилось, просто это чувство недоразвито и человек превращается в корчащегося червя, и действительно не важн,о три года, как у Бегбедера, или вся жизнь. Она — «вся жизнь, даже если — мгновение». Она никогда не длится, не тянется, и даже «больше жизни» — миг.

Просто любовь, если она есть, подавляет, а если отсутствует, то остаётся некое черное зияние, отсутствие, лишённость, и из него мучительно, как из пробоины, фонтанирует время. При этом доразвить это чувство до тотальности не удаётся, есть некая фальшь в этой идеальности, и принудительность: чувство — должно! И этим всё сказано. И всё тут. Здесь. Чувство любви ещё не свободно, оно — только набросок. Абрис. Ещё не его время, не пора. Поэтому я просто перестал делать из него культ, перестал фетишизировать, его именем оправдывать свои поступки — только и всего. Перестал приносить любви человеческие жертвы только потому, что она есть. И рассматривать её в качестве «мотива». Жестокое, унизительное чувство! Но без него было бы скучно. «Гадость», да, паскудство, но не стал бы на этом останавливаться. Тут нужно колоссальное терпение, выдержка, а я предпочитаю «нетерпение сердца». Всему своё время. Это напоминает хождение под парусами. Если умеешь, то сильный ветер любви помогает, если нет — погубит без злого умысла. Теперь это чувство мешает и делает глупым, чтобы не сказать дурным. Причём это относится к любому чувству, и даже к пресловутому «творчеству», «экстазу», «вдохновению», «катарсису», «сатори» — стоит представить их, как то же чувство.

То есть в ограниченном фрагменте, объёме времени может поместиться всё время и вся вечность, всё прошлое, настоящее и будущее. Но толку писать об этом, если тебе это открылось на кустарном уровне, то что осталось по ту сторону открытости?

Надо ли это знать? Если это сделает жизнь невыносимой, как вина за несодеянное, не за то, кем ты стал, а за то, кем ты не стал, не случился? Представляете, что каждый мог бы писать, как Бах? Даже формально, гениальней Баха, поскольку Бах не знал последующего развития музыки, не видел ни одного фильма, не читал Рильке, Хименеса, даже Гёте. Многое произошло на наших глазах, и происходит, но мы не видим, не слышим, и дело не в индивидуальных усилиях, вопрос в том, что всеобщее движение и развитие материи в дальнейшем невозможно без этой взбесившейся обезьяны, без такого хрупкого явления, как человеческая жизнь в свободном времени. Все человеческое есть преобразования в отношении свободного времени, превращение — сущность свободного времени. Причём жизнь в свободном времени — всегда жизнь сначала, несмотря на вечность и бесконечность, проистёкшую до твоего сознательного развития в свободном времени. Не потому, что твоё сознание — это начало, а потому, что свободное время исходит из себя, как данности, хотя прекрасно знает о своём происхождении и своей природе, по крайней мере, чувствует, так что не озадачено поисками ключей и отмычек к своей анатомии — её основания в становлении, а не в «чтойности», как единство бытия и ничто, и потому и свободное время, и человек — только производные, атрибуты этого универсального, всеобщего движения. (Тут отчётливо видно, что слова, как погремушки, издают шум, но ничего не значат.)

В свободном времени, в его бытии ничто, вполне можно рассматривать его как энергоноситель. То есть, естественное природное свободное время и произведённое, *преобразованное*. Которое разрывом умножает время, сдваивая его, как лишённостью. Превращённое свободное время. И освобождённое. Избыточность его — из бытия. Превращаемое в природу, в естественное свободное время, которое вот-вот, и станет источником всякого движения, его энергией.

Время выступает как осадочная порода, тысячи жизней, миллиарды — исчезают в бесконечном количестве форм движения, чтобы произвести его, как нефть, газ, как мрамор, сложить плиты его, имеющие пространственную конфигурацию (можно говорить о геологических пластах и тектонических разломах), но рознящиеся по фактуре, а уж что из этого будет, как оно опредметится, с точки зрения времени — совершено безразлично. Оно безразлично и к определённости, и к отрица-

тельности. Оно же время перехода, и потому не вполне время. А не время и пространство в своей отрицательности, которая тоже не может быть оформлена даже как переходная форма.

Свободное время в естественном состоянии себя не знает — его природа в превращении, но оно может умножать основания, двоить, мультиплицировать, копируя становление, благодаря которому может относиться к себе в той или иной ипостаси. Ведь становление безразлично ко времени, в отличие от развития, которое в пространстве и во времени, как своих атрибутах, да, собственно, и чувства имеют эту двойственную природу, в которой мерцают. Поэтому, подражая становлению, время само вне времени, хотя время во времени смертно. Оно обладает способностью избегать и быть избывным в неизбывности. Избегающим. Сверхбытийным. Событийным, ничтойным. Временем не только становления, но и исчезновения. И это то же самое время. Самое оно.

Может быть, теория свободного времени, всеобщая и относительная, только грезится, бредится. Они вообще ложны, и представляют собой что-то вроде теории флогистона и эфира, и даже наверняка, но вопрос здесь в чистой эстетике, принципиальная непрактичность и непрагматизм — свободное время никак нельзя употребить, использовать — оно ускользает, и потому верна теория, или нет, никого не волнует. От этого ничего не зависит. Истина или не истина — вопрос праздный. Это просто парение в стихии, восходящих и нисходящих потоках свободного времени, стремление, стремительность без цели и в никуда, хотя оно может быть любым и представать в виде телеологии. Так что можно представлять его природой порождающей и природой порождённой, пассивным и активным, даже агрессивным свободным временем. Возможным, невозможным и «наверным» (неверным).

Суть в его, не скажу роли, значении — в онтологии самих чувств как единого чувства, вплоть до кончиков ощущений, и в его небытийности одновременно, потому что время — это отношение. И в этом архе-времени, прото-времени, метавремени (хотя все эти «мета» — несусветная глупость дичайших феноменологий) — Время — эффект запаздывания, то есть несбывшести, неисполненности в силу опоздания. «Всё могло бы быть иначе».

Время — вообще опоздание на целую вечность, на никогда. Оно растягивается прошлым, сжимается в будущем, и наоборот.

Оно колеблется. И в этом ритм, размер и темп как сущность времени. Это определяет и «срок годности» свободного времени в его квантовании, разрыве и отрывочности, фрагментарности. Но это скорее опросы «служебного свободного времени». Для не дозированного времени, время не исчерпывается, а снимается. Сохраняется. Как Саби — «Красота, хранящая в себе течение времени». «Ваби-Саби».

Когда-то я сказал: «свобода — это судьба, её не выбирают» (в пику экзистенциалистам). В свободе выбора нет. Свободное время — это жизнь, но ведь кончают самоубийством, когда жить не хочется. Свободное время — предметность свободы. Смысл в опредмечивании опредмечивания. В свободном действии. А его-то как раз и нет. Можно подумать, даже если всё время станет свободным, все сразу ринутся жить им человеческим способом, осуществляя свои творческие порывы. Скорее будут следовать извращённой фантазии, экзотике ума: «Что бы такое ещё придумать? Чем бы распотешиться? Как время убить?»

Свободное время — не свобода «от». Поэтому все эти разговоры о сокращении рабочего времени, вплоть до перехода на «трёхдневку» или четырёхдневку — просто оправдание грабежа. Обнищания самого свободного времени. Возникает проблема его утилизации и всё такое. Свободное время выступает во всей своей развращающей и дезинтегрирующей мощи. Тут смысл в характере деятельности, а не сохранении свободного времени в дефиците, чтобы избежать его девальвации. Достигнув своего физического предела, свободное время интенсифицируется. Или, не в силах быть, затухает, исчерпав себя. Изныв.

То есть его формально больше, чем оно есть (по крайней мере, оно стремится стать безмерным, стать больше, чем оно может быть), но его всегда не хватает. Без него задыхаются, умирают от жажды, но и с ним умирают от избытка. От давления.

У Жванецкого есть перл: «— Что такое, всё без четверти четыре, да без четверти четыре? — Идиот, это манометр!». Возможно, пришло время, которое нужно мерить манометрами. Следует измерять его давление в атмосферах, исследовать его содержание, состав. Или мерить в градусах, как температуру. Физически, химически, биологически? Но точно не механически, а лучше по-человечески, рассматривая не с точки зрения меры, согласно закону превращения энергии, а согласно его

природе, которая всё время в становлении. Не находится, не пребывает, и потому даже в рефлексии не знает, где оно и что. Но тогда и времени, и пространства ещё нет. Время вне времени. Но сколько времени длиться эта вневременность? То есть, к становлению внешне приложимы все создающие рефлексию смыслы. Sensemaking.

Псевдопроблема коммуникаций Николаса Лумана занятна, но не более, поскольку решена как проблема формы, но до сих пор мало кто знает, что форма — это процесс и отношение, а уж считаются с этим единицы. Кроме того (это всё — «кроме того» — попытка посмотреть со стороны), все эти вариации о «криатосфере», «жизнетворчестве» и прочем хламе, весь этот произвольный, да что я говорю, принудительный, организованный хаос даже не тянет на роль фантазии. Он — просто результат разложения, механического дробления смыслов, поставленный на поток, конвейерное производство ширпотреба.

Современные естествоиспытатели додумались (не прошло и двух тысяч лет) до того, что пространство и время не могут рассматриваться отдельно, а только как пространство-время. И тут же, введя время как четвёртую координату, его превращают в мнимую величину, сводя его к геометрическому выражению, извлекая корень из единицы (специально не записываю формулы, потому что сразу сознание отрубается, теряется).

И пока время будут рассматривать как графическую величину, вслед за Минковским и Эйнштейном, и утверждать, что мнимая величина всё же реальна, то есть её не просто нет, а она выражает реальные и действительные отношения (тут надо ещё сотни страниц написать, чем реальность отличается от действительности, но они уже написаны, — знаменитый спор номинализма и реализма, — пока они будут открывать заново то, что было очевидно ещё Аристотелю, да и современникам, вроде Флоренского (Мнимости в геометрии)... Да пусть их). Недомыслие и формальный способ мышления. В этом догматическом косноязычии введение времени в качестве координаты — это признание скорости, ускорения, глядишь, и развития, и превращения в качестве пассивной причины и противоречия, как побуждающей к движению. («Скорость — это не феномен, а отношение между феноменами. Она сама относительна» Минковский.) Причём скорости относительной, и в этом в пределе — абсолютной. Зато они додумались уже до единого пространства и времени,

зато заразились идиотизмом феноменологии, проведя фронтальную лоботомию философии, отделив сущность от явления, вещь в себе от вещи для нас, вместо того, чтобы понять, что время вещей вполне завершилось.

Тут важно то, что время — всегда лишённость, «сторезисис» — само доразвивается до своего предельного выражения как отрицательность, запоздало схватывающаяся как отрицание отрицания (при этом «схватывание» и то, что схватывается рассматривается логиками типа Фреге, плоского Бертрана Рассела, тем же Витгенштейном и др. как разное, хотя это единый процесс). Лишённость, которая порождает «Эстетику исчезновения» Вирильо, — он случайно набрёл и гипертрофировал скорость, к которой интуитивно льнули футуристы, как импрессионисты — к свету. Это происходит с любой категорией или даже понятием. Я к чему: если время можно выражать геометрически, графически, то смысл в том, что подошли к тому, что само время может превращаться, и оно в своей сверхтекучести (которое время заимствует) может быть не только по мелочи. (Из той же оперы — эксперименты по превращению видимого света звёзд в графику и музыку у Булеза).

Мы вправе заниматься изобарами и изотермами времени, измерять его плотность, разрежённость и прочее не просто как ему приписываемые свойства, а как действительные качества времени, «когда шестнадцатиметровой шест помещается в шестиметровый сарай» (Пример Минковского). Дешёвые чудеса — сложить матрёшку наоборот. Но пока пробавляются фокусами вроде общей теории относительности. Мы вправе говорить о корпускулярно-волновой теории времени, квантовании её, но это всё пустяки, фокусы. Когда начинается (не скажу эпоха) свободное время, то тут нарушаются причинно-следственные связи, они в переходе к свободе открывают в своём исчезновении, что и любое время — всегда последнее в своей явленности, выясняет последние пределы, которых нет, потому что они — основания. Что материя в движении, и всё её многообразие бескачественно. Она никакая, и неопределённая, как любой из своих атрибутов: пространство и время, Дух и материя, что происходит совлечение категорий, а новые имманентны развитию, их пределы — их переходы, их границы — превращения, когда они становятся иными. Поэтому всё понимаем, но сказать не можем. Тут немеешь от фантастический и точных (точнее не бывает) озарений платоников

и аристотелевиков, неоплатоников, Донисия Ареопагита, схоластов, Кузанского, Спинозы, Шеллинга, Флоренского — я называю эти имена, которые проступают в истории философии, как пятна, где преображение уже произошло (для меня, по крайней мере, крайней мерой произошло), а вообще всё это сливается в единый яростный, но спокойный свет во всех диапазонах — несусветный свет и тёмная от прозрачности тьма, сплошность, когда прерывно-непрерывная природа оставляет лишь один выход — быть этой всеобщностью.

Знать не обязательно. Можно и не знать. Знание объективируется и существует в сгущении особого пространства, якобы, но это работает, хотя является заменителем, чуждой природой.

Давление свободного времени — как солнечный ветер. Его можно запрячь и ходить под парусами, можно заставить работать и время, как производное движения, оставленность, лишённость и тем — возникновение. И свет не только в видимом диапазоне, как превращение, удивителен, но вот если бы самому превратиться в солнечный ветер… И это происходит. Но растянуто во времени, опаздывая, как будто свет чужд по природе, и другой. Хотя природа света и тяжести, превращения, жизни и чувства — одна природа.

Оно может быть не на поверхности, а в силу увеличивающейся плотности свободного времени и изменений его качеств, свойств. То есть давление не на точку приложения, а на массу, как сила притяжения-отталкивания. (Это всё — метафоры, но следует принимать их всерьёз.) Так и свободное время. Оно может работать, но это не свойственно его природе, как ветру, наполняющему паруса, вращающему крылья ветряков, или воде, крутящей мельничные колёса или турбины, или расщеплённым атомам на атомных электростанциях. Что уже кажется кустарщиной и забавой.

До того, как к свободному времени отнесутся серьёзно или хотя бы прагматически, ещё далеко. А когда начнут серьёзно относиться, будет поздно. Да и всегда будет поздно, поскольку ищут, что бы такое удумать, приблизительно как Форд в своё время, который был ярым защитником свободного времени, поскольку оно необходимо рабочему, чтобы было, когда покупать его машины и ездить на них. Так что оно трансформируется стихийно в причудливых формах игровой, пустой утилизации. Ведь его конечная суть, как последнего времени — в самовоз-

растании до бесконечности. И надо как-то исхитриться и приспособить его к делу — то есть, давать сверхприбыли из ничего. Об этом скучно говорить, особенно, когда первый восторг пройден, как это было с удивлением перед «игрой» со времён Шиллера.

Любая идея время от времени, временно начинает доминировать и становится массовой, потому что является заменителем мышления. То это мифология, то технология, то «игра всех духовных и физических сил», то коммуникаций. Да и идея «свободного времени» становится «чёрной дырой», как только к ней относятся как к панацее и решению всех проблем. Абсолютизация неизбежна, что бы ни ставилось на место свободного времени: форма, содержание, пространство, сущность — всё, что угодно. Гипертрофия неизбежна.

Пока это как игра, запуски воздушных змеев (когда они ещё превратятся в реактивные самолёты или отправятся в космос кораблями!), и трудно сказать, когда утилитарное отношение сменится эстетическим, утратив свою служебную функцию. Хотя это уже есть и присутствует в возможности в дискретном состоянии свёрнутого превращения. Но суть в том, что в свободном времени возможность может побуждаться к росту не последовательно, а сразу и вдруг, когда ничто не предвещает, не соответственно, «когда разовьются все условия и предпосылки», не ранее. Это как раз — «ранее».

Не принимайте эти эпизоды за автобиографию. Когда кажется, что я пишу о себе, я просто ссылаюсь на достоверность личного опыта. Канарский сильно повлиял на меня, даже сильнее, чем Ильенков (просто больше общался вживе, но не сильнее, чем Гёте или, наобум, Флоренский с Кузанским — просто живущие воспринимаются иначе, чем авторитетные мертвецы. Покойники кажутся идеальнее и ближе, чем живые, к которым ты относишься, дескать, успеется, потом спрошу), но я не «делал жизнь с них», хотя некоторая деривация была, например, благодаря им я начал курить (шучу). Что-то в них настораживало, какая-то слабость, что ли. Но, если отбросить кажущуюся простоту, там есть грандиозные идеи, которые приводят в смятение. Всё зависит от моего воображения, насколько готов и могу осмелиться хотя бы эти идеи озвучить. Чем дальше, тем непостижимей. Однако, так с каждым вторым, с которым сталкиваешься, даже в негативном опыте, который для тебя неприемлем. Но идеи не очевидны.

Вопрос о влиянии, которым часто задаются — совершенно бессмысленный. Все на всех влияют, даже если не упоминаются привычные, кажущиеся заимствования. Можно упомянуть «Поэтику» Аристотеля о «подражании», и это всё равно ничего значить не будет. Что-то производит впечатление, что-то менее близко, но это ничего не объясняет, и не должно. Мало ли какие у кого пристрастия. Так что наибольшее влияние я испытал от самого себя, что, конечно, смысла не имеет. Я не открещиваюсь от учителей, которых избирал — это весь мир, вся история, и факт моей «автобиографии», как «автодзоона». Так случилось, произошло. «Био» вообще ни при чём. Да и кому это интересно? Меня занимают истории жизней других людей, мемуары, как судьбы, хотя я умом понимаю, что это всё — литература не самого высокого класса и, кроме факта рождения и смерти (и то не всегда) — ничего достоверного. Привлекает причудливость, ярко выраженное желание (каюсь) объяснить, что-то вдогонку сказать, и смутное подозрение, что ищешь некоторое «оправдание», что ты вообще был. Никакого повода для самоуничижения, «мужества жить», «примера для оправдания». Никаких поисков «прецедента». Простое любопытство, которое к себе не испытываешь. И унылая констатация тщетности усилий, не устраняемой никаким адреналином сильных событий. Чтобы обыденность превратилась в событие, нужно постараться. Этим и объясняются «личные мотивы» в проведении темы. Все эти лирические отступления — как пыль, дым, чтобы обнаружить световые лучи с их направлениями, лазерные охранные системы-ловушки, «сигнализации», когда вторгаешься в опасную область незнаемого, хотя их может и не быть. Личным мотивом в данном случае есть «становление свободного времени, как полнота бытия и свершение всех времён». Как же тут обойтись сухими абстракциями? Кроме того, память, жизнь, личный опыт застят и разъедают глаза, но только из пережитого (в том числе и чтения книг, чувств, музыки и всего остального), из чужих жизней можно смутно понять, каким образом возникает жизнь свободного времени, как оно становится свободным и как развивается соответственно своему понятию, как освобождается от временности, как формируется в нём потребность и как исчезает. Это своего рода — эксперимент на себе. Прививка «бешенства», испытание вакцины от времени. Никогда не знаешь, чем закончится.

Ничего я не придумывал. Ничего разумом не постигается,

и созерцание — тоже вторично, оно формируется, а постижение — побочная партия единства Бытия и Ничто, которое вне пространства и времени. Трансцендентность — только чувство, развёртывающееся в пространстве и во времени, и оно же может являться как трансцендентальная эстетика. Искусство вообще никакого отношения к прекрасному и красоте не имеет.

Что касается «способности переживать красоту», талантов и прочего — то родители здесь ни при чем, как и Дар, скажи ещё «потлач». Человек — существо общественное, общественная форма движения, и никаких био-социальных сущностей, врождённых идей, и точка. Здесь не о чем говорить — приходится идти на грубость.

Ну, а «культура» — это просто история, лишённая протяжённости в пространстве и во времени, превращённая и возвратная форма, «идеатум», эрзац, которым пытаются, как в случае, когда Бог умер, на место бога представить его отсутствие, так и культура становится проблемой, когда она зияет отсутствием, нетостью, лишённостью — из неё и происходит время. «Стерезис» — это Аристотель, а не неоплатоники.

Я не могу даже сказать о традиционности или догматичности, чтобы не обижать догматиков — любой, занимающийся философией, догматичен: и Декарт, и Спиноза, и Мальбранш, и даже Кант критического периода, не говоря уже об остальных, он вынужден принимать некоторые постулаты и аксиомы, потому как «из ничего — ничто не происходит», хотя это оспаривается, даже мной, поскольку без мистики скучно.

Поэтому, так проще, не можешь начинать с Ничто, подвергать сомнению последние основания. Кажется нелепым акт творения из ничего. Но тут нет претензия быть Богом или сверхчеловеком — «просто свободное мышление». Но даже свобода здесь не свободна, она до всякого начала, которому уже в Древней Греции, у досократиков — предшествует категория «вдруг». Кстати, любая теория непоследовательна — она дискретна, и между двумя соседними словами можно поместить бесконечность бывшую, настоящую и будущую (бывшую настоящую и будущую настоящую, бывшую будущую и будущую будущую — по желанию). Я понимаю, что большинство за «безопасную философию». Но какая-то она убогая, правильная и домашняя, непротиворечивая. Скучно? Ещё не приспал сам себя? Не убаюкал? Ну, и славненько. Каждый сам принимает решения — спорить

не о чем. Для массы это — «шум языка», который «реликтовое излучение» бытия, а я блуждаю там, где ещё названий этому нет, и потому эти проблемы кажутся невыразимыми, но это не так, просто язык, как мы знаем, отстаёт от бытия.

Поэтому не ищу понимания, узнавания, не играю в герменевтику. Логика свободы отличается от логики сбывшегося — повседневности и обыденности, которая уходит в непостижимое, обращаясь, как в музыке. Логика свободы — не последовательна и не имеет направления. То, что она не линейна — само собой. Так что любимое тобой бытие на пределе, по краю — это только «непротиворечивое противоречие» по видимости, а есть ещё и не знаемое.

Я ничего не хочу доказать, одна из подлых черт свободы в том, что без неё можно обойтись — она не необходима. Это снятая необходимость. Вот тут, в превращении, и начинается «самое оно». Но, похоже, ты устал и довольствуешься «мудростью», осенившей тебя, как святостью (это я о себе). Бог в помощь, хотя чёрт продуктивнее, разнообразнее, оригинальнее. Так «ты» ещё к категории веры придёшь, или начнёшь обращаться к себе на «Вы». Скажу тебе — не соблюдай посты. Не становись святым. Не впадай в детство. Хотя я бы хотел ошибаться. Я ведь понятия не имею, чем я на самом деле занимался на протяжении жизни, но тот образ, фантом, который представляешь и репрезентируешь вместо себя, образ «простеца» выглядит не очень убедительно. Я понимаю, что это способ самозащиты, как в анекдоте: «Хоть тушкой, хоть чучелком — но линять надо», и это такая защитная реакция, мимикрия, поскольку привык жить в агрессивной среде. Никто тебя не принуждает откровенничать. Говорить правду всегда трудно, особенно самому себе. Мало того, что всё это напоминает игру в шахматы с самим собой, но ведь поневоле ещё и подыгрываешь. Рассказывают, как-то Шостакович ехал в купе. Разговорились в незнакомой компании, его спросили, чем он занимается. Он сказал, что композитор. Повисла пауза, потом ему сказали: «Мужик, ну не хочешь — не говори». Я к тому, что уже поздно выяснять отношения с собой, хотя это — любимое занятие. Мы могли бы в ансамбле, с собой (Я=Я) играть с листа в четыре руки какие-нибудь фуги на темы, например, эйдетики, или импровизировать без всяких тем, но тебе же всё ясно (опасная ясность, «ясен перец»), а «просто так» — тебе это кажется пустым и ничтожным (Нихтикайт) занятием. И нас, как разбегающиеся га-

лактики, разносит. Ну, такова судьба. «Судьбой зовётся это: быть вблизи, вблизи, вблизи и в вечном отдаленье» (Рильке). Когда всё становится непонятным, и ты даже себя не знаешь, тогда и начинается настоящая философия, непостижимая и алогичная.

С собой ты никогда не встречаешься. Всегда мимо. Никогда ввиду. По сути, не знаешь, кто ты, да и не уверен, что хочешь знать. Не пересечение? Ну да, только мы на одном перекрёстке, и у каждого четыре дороги, и одна пройденная. Медлим, потому что никогда не встретимся. И перекрёсток этот — перекрестье прицела. А время бьёт без промаха, даже когда мимо — не моё, со стороны, чужое. Вот ещё шутка, жаль чужая:

— Чем занимаешься?

— Смотрю, как растут деревья...

— Всё суетишься?

А насчёт свободы, то свобода, даже абсолютная — не свободна от самой себя. В искусстве свобода — случайна. А более странного, страшного и жуткого, чем свобода, я не встречал. Не скажу, состояния (она — не в состоянии), хотя бы чувства при становлении в свободе. Аналогом может быть слабое её подобие — Любовь. Кстати, о Ницше. Очень показательно: никаких оснований у него для такого извращения, как фашизм, нет. Я знавал современных маразматиков, которые фашизм находят даже у Платона. И оправдывают, что он вообще присущ жизни. Любую строчку можно проинтерпретировать, как нацизм, фашизм и пропаганду каннибализма, как «горизонт событий». Да ещё докажут, что это закономерно. К счастью, не играем в эти игры, и вообще являемся бесконечно малой величиной. Так что есть шанс пройти незамеченным.

А то, что все играют в достаточно жестокую игру, так я и сам грешу этим, и, хотя это «Игра в бисер», — что там, «вне игры», неведомо. Хотя смутно угадуемо в нынешнем «искусственном офсайде». Но ты отлично помнишь, как она заканчивается? Не тем, что Магистр кончает самоубийством: любое наше действие, даже чтение — самоубийство, натуральный обмен, как у Бодрийяра. Но заканчивается игра в бисер стихами, и хорошо, если хорошими. В этом отношении из современников мне очень близок Клеваев. И тем, что тридцать лет я мог ходить на его лекции, но до самой его смерти не знал о его существовании, и тем, что при жизни он ничего не печатал, а писал вечную книгу о Караваджо и так и не дописал, приписав Караваджо великолепные со-

неты, и тем, что жил бедно, не обращая внимания на так называемую жизнь и много чего ещё. Девицы, которым сейчас за шестьдесят, на вопрос о Клеваеве мне говорили: «Он много курил... и плохо одевался». Я их чуть не смешал с грязью. Его после смерти издали Леся Дичко и Сильвестров, тиражом 200 экземпляров. (Сейчас начинают его славословить, издали полное собрание сочинений — всё это ни к чему. Каждый раз смотрю на полное собрание сочинений Пастернака на грязном асфальте, на развалы книг на книжном рынке под снегом и дождём, и содрогаюсь: всё кончено, кажется, что и с книгой покончено, хотя суть её осталась — только видоизменилась.) И вот с ним я никогда не поговорю.

Любой автор, — Шпаликов, например, — непередаваем. «Долгая счастливая жизнь». Но, чтобы скорость этого не поглощала, необходимо свободное время, которое останавливает мгновение, как Фауст. Я его недавно вспоминал, тоже смотрел о его жизни, но у меня нет ощущения, что что-то ему не удалось. Прекрасная была жизнь. И я пересматривал «Заставу Ильича» и понимал, что всё, такое не воспринимается, что моё время кончилось, что жизнь прожита зря. «Всё было напрасно-прекрасным, но быть не посмеет. Не дальше любви, смотри не порежься о край, когда хлынет ночь и навеки душа онемеет», — поразился точности своих тогдашних ощущений. И всё это пылью не припало. Чувствуешь сильнее, чем в юности. Но к себе относишься, как к далёкому прошлому. Я «тромб» оторвавшихся чувств, я не вполне человек, и опасен, мгновенен.

Создаёт впечатление спонтанности — «ничто не предвещало» застигает врасплох. Внезапно. Это иллюзия, но иллюзия действительная. Простор для искусства, мышления и воображения. Здесь происходящее действительно не обусловлено ближайшей причиной, чтобы быть. Здесь — творящая самое себя природа. Незнаемое бесконечно, и оно сталкивается с якобы знаемым, которое в каждом малом фрагменте ещё и более бесконечно, чем незнаемое, поскольку содержит определённость, что именно мы не знаем. Это может вызывать тоску и ярость, может уныние, но одновременно и восторг, и радость — все возможные и невозможные чувства, которые составляют «конечную цель» предмета. Это сродни любви к бесконечности. Одно дело — признавать равнодушно, как данность, и совсем другое — любить.

Когда-то шекспировская Розалинда (не из «Ромео и Джульетты», первая любовь с первого взгляда юного Монтекки, а другая, из «Как Вам это понравится») говорила, что «бывает, и люди умирают, и их пожирают черви, но любовь здесь ни при чём». Так и свободное время здесь ни при чём. Оно необходимо, чтобы возникло чувство, любое чувство, но не оно его причина, как и не является причиной смерти этого чувства, хотя, поскольку оно — время, предполагает конечность и исчезновение, даже вечных, чувств. Я бы сказал, что время предпочитает умирание чувств, поскольку оно этим живёт, но это не так. Никаких целей у свободного времени нет. Направление ему, траекторию выдаёт человек, как исчезающая величина, и никакого героизма нет. Свободное время безразлично, как геологическая эпоха, как почти космическая сила. Оно может даже выполнять роль формы движения материи, но, по сути, это просто отрицательность, правда, уже одухотворённая и потому свободная.

Это всё одно и то же противоречие актуальной и потенциальной бесконечности, которая — с бесконечным одиночеством, о котором не подозревает. Одиночество является свободой, иррелевантностью (столь обожаемой А. Ф. Лосевым), безотносительностью — одна бесконечность, не-иная и иная каждый данный момент. И поскольку она не чувствует себя одной, не ощущает, не знает себя, то не является проблемой. Ему всё равно, является ли оно иноформой абсолютного и является ли вообще. Оно как бесконечная возможность и способность отражения.

Грубое сравнение: свободное время используется не по его историческому назначению, а просто утилизируется, даже без утилитарных целей (вся телеология утилитарна), просто как времяубиение. Так сейчас такой драгоценный продукт, как углеводороды — просто сжигается. Это уничтожение реальности. Перевод, убиение, захламление свободного времени. Игромания, а «не игра всех духовных и физических сил». Это болезнь, и болезнь заразная. Но свободное время не несёт ни вины, ни ответственности. Оно не является возбудителем этой болезни. Причиной. Оно вообще не признает причинно-следственных связей, хотя следует им неукоснительно. Чувствуешь не только абсолютную возможность, но и абсолютную невозможность. Клаустрофобию. Стиснутость. Схватывание, будто время схватывается как бетон и становится полной обездвиженностью. Невозможно дышать. Хотя схвачен ты именно движением.

Это гиподинамия пространства. Атрофия свободного времени, выдаваемого за гипертрофию. Избытка свободного вре-

мени не бывает, а его кажущееся перепроизводство это результат общественных отношений, исчерпавших такую форму общественного богатства, как стоимость.

Можно долго рассуждать, что со сменой формы общественного богатства старая форма не исчезает, а снимается в другой, более «совершенной», вплоть до формы превращения. Формы деятельности. Дескать, ведь натуральный продукт и форма овеществления никуда не исчезают, так и форма стоимости и овеществление-отоваривание снимаются в превращении, в опредмечивании распредмечивания, и свободное время может быть необходимым, прибавочным и свободным по инерции, по аналогии, коль скоро оно становится непосредственной производительной силой. Аргумент сомнительный, по принципу инерции, дескать, всегда было так, а как же иначе? Мышление по ассоциации.

Недоразумения будут, и не только вследствие подмены смыслов, но и в силу того, что что совершенно безразлична определённость самих понятий и категорий. Как сейчас невозможно отличить характер прибавочного и необходимого рабочего времени, и в некоторых моментах невозможно понять, где заканчивается рабочее, а где начинается свободное, так и в свободном времени наступает некоторое безразличие. Это вопрос действия. Различение по предметности. Акт творения из ничего, а не с начала. Хотя по характеру свободное время разнородно, но смысл в перемене рода деятельности, как способа жизнедеятельности. Снимается проблема «что делать», остаётся проблема «как», каким образом. При этом ты хорошо знаешь, что твоих силёнок не хватит, что ты заброшен в те проблемы, которые не могут быть пока (а может быть, и никогда) решены. Например, вопрос об интенсивном и экстенсивном расширении свободного времени. Экспансия свободного времени на бесконечность всего времени — предел. Что станет со свободным временем, когда оно натолкнётся на свои естественные пределы, став всем временем? Оно покончит самоубийством, перестав (переставая) быть собой? Обратившись в вечность? Или уйдёт в себя, поменяв свою фактуру? Понятно, что «первичное» свободное время, полученное вследствие развития производительности труда, тут уходит в основание, и его количественный смысл превращается в бессмыслицу.

То есть начинается экстенсивный период свободного вре-

мени. Ну, скажем, свободное время человека античного, человека средневековья, Возрождения, Нового времени, да что там, каждого поколения — это разное свободное время, и по способу производства, и по способу потребления. Но только тогда, когда свободное время употребляют как орудие деятельности, преобразования, преображения его самого, можно говорить об интенсификации свободного времени. Сейчас идеи свободного времени напоминают чертежи Леонардо, и свободное время в современном варианте имеет такое же отношение к своей сущности, как чертежи или рисунки крыла к полёту. Хотя свободное время превращается в среду. Для человека среды нет, но он вынужден пребывать в том, что застаёт, мучаясь от необходимости быть. Свободное время создаёт понимание другого, вернее, одновременно порождено другим, и человек имеет возможность понимания и ощущение, несовместимое с сознанием данного, что и человек другого времени создан для другого и вынужден, в лучшем случае, смиряться и приспосабливаться, потому что… И тогда — даже не ненависть, а бессильный гнев, чёрный, как кровавая рвота, ослепляет его. Несовместимость чувств, группы крови. Невозможно приспособиться — только умирать. Отторжение ткани времени.

Свободное время осуществляет свою деятельность неравномерно, образуя области сгущений и разряжений, и тут, как кому подскажет его фантазия — это область мифологии и воображения. В каждом человеке образуются целые миры, или сонмы миров. Появляются немыслимые теории, которые можно принять или отвергнуть. Они часто существуют обособленно, и, войдя в этот мир, можно там и остаться. Можно всю жизнь быть очарованным Платоном или Парменидом, Проклом, Кузанским… Или всеми сразу, которых даже по имени не знаешь. Появляются те, которые накапливают, создают нечто, и ты не знаешь, как к этому отнестись. Например, Шеллинг — бесконечность. Гегель, или, попроще, Шпенглер, Ницше, но эти на слуху. Со Шпенглером вообще все просто, стоит прочитать его «Пруссачество и социализм», как всё очарование улетучивается. Но А. Ф. Лосев! Огромная, непосильная задача, немыслимая. Не может быть, чтобы всё впустую. И хотя ты все его опусы читал, и многие неоднократно, но есть какая-то полоса отчуждения, отторжения… Ты не берёшься судить этот мир, но и с недоверием относишься к этому гигантскому усилию, не-

соразмерному результату. А какой нужен результат? Правда, принимаешь без остатка и с восторгом всю эту жизнь, как эстетический жест. Не скажу, как феноменальную глупость, скорее, как бесшабашность и наплевательское отношение к жизни, ради своих фантазий. Это сплошное «Хочу и буду!». Произвол, не смотря ни на что, не считаясь ни с чем. Монашество как каприз. И таких много. Это не единичный подвиг — эта сама бессмысленность жизни.

Тот же Маклюэн, которого в своё время не менее эксцентричный Ги Дебор назвал самым большим идиотом двадцатого века (правда гением его тоже многие величали), говорил о свои книгах, и о книгах вообще, что они непоследовательны, мозаичны, их следует читать с любого места, что он это делал не потому, что не умел писать, или от того, что фрагментарность, рассеянность мира создавали облако представлений, смутных, которые соединялись в единое представление, но, вероятнее всего, оттого, что каждый сталкивается с этой невыразимостью, и смысл во всеобщности и превращении. Тут здесь сейчас в самом писании решается ежемгновенно проблема всеобщего в единичном. И потому единичное может мгновенно очнуться, превратиться, пойти в рост, а может и не пойти. Ждёт своего времени в любом фрагменте. Только есть книги слишком громоздкие и сверхплотные, с большой массой, как, например, Маркс, Гегель, тот же Лосев, который упивается созданным, открытым и сбывшимся, а есть поверхностные, пустые, но зато хорошо отзывающиеся эхом, подтверждающие, ждущие, ожидающие тебя. Вопрос — как отнестись? По крайней мере, никого сейчас не интересует вопрос о нравственных книгах и безнравственных. Со времён Оскара Уайльда и Дориана Грэя: «Нет книг нравственных и безнравственных. Есть хорошо написанные и написанные плохо». Теперь нет даже этого, если книги вообще ещё читают. Единых критериев нет, пожалуй, кроме чувства, потому что чувства могут обманывать, но никогда не врут. Скорее мы сами обманываемся в чувствах. И книги на них похожи.

Недавно перечитывал (могу позволить такую роскошь!) некогда любимые книги. И испытал ужас. Даже читая любимых поэтов. Это не просто чувство неловкости, которое можно залакировать снисходительностью. Чувство неимоверной фальши, стыда и беспросветности — но, может быть, не в книгах и авто-

рах дело, а во мне, в изменившемся времени? В любом случае, это произошло, и испытываешь чувство гадливости в отношении себя, а не объективного мира, которым стали протухший дух и человеческая затхлая, завонявшаяся, завалявшаяся история, которая не знает, что она разлагается и давно протухла, и полагает, что она никакая. Она охотно позволяет заменить себя нарративом, историей истории, и даже прикинулась тушкой, чучелком, но вся проблема не в оценках, а в том, что она произошла, сбылась так, как сбылась, случилась.

Глупость и остроумие — вещь относительная. Тут надо в большей степени понимать и принимать не книгу, а себя.

Возникает этический момент: как жить? Как человек своего времени, или по существу, соответственно свободе, в том самом убогом смысле, как «осознанной необходимости»? Хотя, если ты будешь жить, как скотина, как все, никто не только не заметит, но и не осудит, не поймёт, не спросит, какое право ты имеешь? Какого чёрта?

Ведь это тебе всё ясно, а современникам, большинству, может показаться в лучшем случае чудачеством, ненормальностью, а в худшем — оскорбительным, уродливым. Считаться с другими? Ложная проблема. Уже давно стало расхожим местом: «Следуй своей дорогой, и пусть люди говорят, что угодно». Хотя я не приемлю его. Страшненький принцип. Но всеобщее безразличие убеждает, что катастрофы, если эксперименты ставить на самом себе, по крайней мере, в моём случае, не произойдёт. Поэтому делай, что хочешь? Вопрос — сможешь ли? И хочешь ли? И надо ли? Продумать и учесть все случайности до конца не удаётся. Случайность необходима свободе, скорее — любезна. И здесь охотно идёшь на компромиссы, и даже выдумываешь, сочиняешь их.

Явственно, наиболее наглядно это проявляется в так называемой науке. Захваченность проблемой, когда ты не можешь перестать решать ту или иную проблему, не считаясь со временем, где угодно и когда угодно, при всём при том, что проблема может быть и ложная, пустая и всю жизнь можно убить, решая совершенно ничтожные вопросы, но с упоением и самозабвенно — это и сейчас сплошь и рядом происходит, и воспринимается в своей тотальности, местной абсолютности как жизнь и «полота бытия». Это как посмотреть: для одного Мендель, тридцать лет сеющий горох, а потом скрупулёзно подсчитываю-

щий горошины, и сызнова, и по новой — герой, а для другого — странный чудаковатый тип: на что жизнь потратил? Хотя есть и менее, не скажу, яркие, но выразительные примеры героизма, например, учителя, изо дня вдень тянущие свою лямку, врачи, актёры, при условии, что они увлечены своим или чужим делом. Это всё невыносимо. Оправдание —только в самом деле. Представить трудно: играть чужие жизни, говорить чужие слова. Но и своя жизнь невыносима, если себя не обманывать. Так что надо жить самозабвенно, чтобы забыть, что ты живёшь.

С другой стороны, возникает грозный вопрос «Зачем?».

Свободное время безотносительно к чему-либо, иррелевантно. Само по себе. Это отношение само-в-себе. Без того, кто и что относится. Относительность как таковая.

Некогда Косаковский снял дипломную документальную ленту о последних месяцах жизни А. Ф. Лосева. Само по себе не ясно, как ему «позволили» — время-то было ещё советское. Как допустили к телу, как он мог бесстрастно всё это запечатлеть — и угасание, и похороны… Фильм страшный. Тут можно отдельную книгу написать: и о том, как я отношусь к Лосеву, и о невероятной его работоспособности, о феноменальной вере в необходимость собственного писания. И печальное зрелище руин человека, который потратил жизнь ни на что, изо всех сил сопротивляясь неизбежному. Может, ему что-то и открылось, но неизбежное победило. Да, ни на что. Как и любой. (Что за сила заставляет писать?) Вдруг эти мощи, которые рефреном повторяют: «Когда уже я сдохну…», «я скоро сдохну», произносят: «я всегда думал над проблемой свободы и судьбы». Свободой занимались многие, но судьба, необходимость — слишком бесчеловечна.

Я и раньше встречал, например, у Шеллинга, что необходимость бесчеловечна и механична, неумолима. И поэтому он (периода увлечения мифологией) ухватился за судьбу. В общем, «ушёл от ответа» перед собой. Можно ли спорить с судьбой? Изменять судьбу? Изменять судьбе? Что писать, если всё уже написано, и ты обречён на штампы даже в собственном мнении? Пользуешься языком, который тобой присвоен более-менее, и сам ты не властен в своей судьбе. Ты не можешь мыслить осторонь, в сторону. Можно считать гением, а можно и не считаться с гениальностью. Любая идея может произрасти, пока существует мышление, как среда. Оно, мышление — в никуда.

Я много видел, как угасают идеи, вспыхивают и гаснут, как сверхновые, и превращаются в чёрные дыры. Не говоря уже о скоротечности моды в «было». Но я видел идеи, казавшиеся не бывавшими никогда, идущими в рост от недомыслия, неведения. Этот круговорот — обычное дело для превращения. Обновление. Как весной. Та же самая зелень, но другая. То же цветение, но иное. Ничего нового, и всё же звучит, и фантастически изумляет. Когда понимаешь, что это в тебе, и это небывало, и никогда не было и не будет. Как самому сочинять, играть музыку, и галактики будут послушны, хотя бы и на краткий миг.

То, что тебе открылось, распахнулось тобой, вне зависимости от востребованности, дальнейшей судьбе является той бесконечной силой воспроизведения, которой изумляет больше, чем продуктивная сила воображения. Это становление в форме покоя, то есть воспроизведение в одной и той же определённости. Это то, что не может быть. На виду. Происходящее, но, в силу очевидности, невидимое. Одному грезится это «алитейей», другому ещё чем-то, имени которому нет. Но суть в том, что это лишь различные формы одного и того же. Актуализация, интерес, доминанта, потребность, без которой невыносимо возникает спонтанность, в силу назначенных причин, избранных, организующих. Но сейчас новая забава — беспричинность.

Если это становление — то важнее проблемы нет, если форма, то всё будет формально, пока не дойдёт до самоотрицания, если бытие, пространство, сущность, то пока не придёт к противоположности, не успокоится в этом противоречии. Если свободное время, то оно будет всюду проступать, даже там, где его нет.

Когда-то я сетовал, что Э. В. Ильенков тратил время на споры с Дубровским (и сейчас считаю, что зря). А Лосев писал и писал, не в силах высказаться, исчерпать до конца. Но массой, со сверхплотными текстами, он тоже ничего не добился. (А чего надо было добиться?) Тенденция такова, что скоро вообще читать не будут. Это для избранных. Но вопрос в том, что это не дело одиночек. Индивидуальное сознание не в силах освоить и постичь написанное другим в полной мере, только приблизительно, только в общем виде. Если бы Платон узнал, как его читают и о чём спорят, он бы вообще ничего не писал. Кстати, перед каждым стоит такая проблема: может быть, ничего не писать? Обойдутся без меня? (Точно обойдутся.) Но тут масса при-

чин, мотиваций, и все лукавы: от скуки до азарта, адреналина, нравится, и просто без причины, не осмысливая потребность, если она есть, и замены жизни, если её нет, настоящей имитацией деятельности, самим процессом.

Лосев здесь случаен. Я его всего прочёл. Он написал больше, чем все представители немецкой классики. И что? Не может быть, чтобы это было напрасно? Может быть, там изложена вся премудрость мира? Как знать? И только читающий не в силах продраться сквозь эти хитросплетения, начиная от ранних произведений и кончая последними строками? Такие усилия! Суть не в Лосеве, который писал и писал, не думая о читателе, о том, что он будет тратить время жизни, чтобы узнать — что? Зачем? В конце концов, это дело читателя, читать или не читать. Суть в том, можно ли без этого обойтись? Избежать? Не только чтения Лосева, а и многих других?

И вот оказывается, что нет, весь смысл в непонятности, даже если все ясно. В этой избыточности, в возможности, которая никогда не сбудется. Это возможность не только твоя, но и текста, который может не найти тебя и прорасти в другом месте, в другое время, другим временем. Он может пойти в рост совершенно неожиданно, во многом случайно.

Ну вот приспичило мне, бросив всё, благо интернет позволяет, ни с того ни с сего перечитать Лукреция Кара «О природе вещей». А мог бы любого другого. А мог бы вообще не читать. Время возможностей. Ошеломляюще. Залпом, упиваясь, потом сразу же Парменида, Эмпедокла, Гераклита, и, конечно, Фауст Гёте, причём и в оригинале, и во всех переводах, просто так, и называй как хочешь: природой, натурой, воздухом, водой, огнём, превращением, беспредельным, становлением, — суть в этом бесконечном движении. Природа. Стихия.

Всё благодаря созданию нового пространства. Называй, как хочешь. Ноосфера? Техносфера? Свободное время? Да как угодно. Есть нечто очень нежное, как возникающая жизнь, просто жизнь коллоидных растворов, до настоящего мышления ещё далеко, а уж до чувств, которые могут и не возникнуть, и подавно. Но уже есть это грандиозное, нежное, хрупкое превращение самого развития, становление становления. Оно каждое мгновение может угаснуть, но уже существует, и в своей неповторимой субъективности претендует на существование в качестве объективного разума, чувств и прочего, и ведёт себя

так, как будто оно и есть материальное движение, материя, а не атрибут, но, как атрибут, такая же вечная и бесконечная, как сама субстанция. И это невероятно. И ты не властен вырваться из объятий времени, и всё это очень долго, вечно, и эту вечность не избыть, она тянется и длится в бесконечной скуке происхождения, а ты уже давно пережил себя, когда хотелось, чтобы это не кончалось, и каждое мгновение — последнее. Тебе хочется, чтобы быстрей, чтобы «раз», и «всё»! А вынужден… Судьба. Кесмет. И все тут. С одной стороны, думать не надо, «с судьбой не поспоришь». Принуждён пребывать в ожидании, без надежды, и это — как ожидание смерти и её оправдание. В любом случае, даже восстание против судьбы — это тоже судьба. Судьба — случайность, являющаяся, исполняющая, назначенная судьбой необходимость. И увлекательно остаться в этом поэтическом мире, и гадать о предназначении, изображая фаталиста, но тема слишком захватана, изъезжена, избита. Это всё равно, что производить операцию на глазу, применяя тупые бронзовые инструменты, самые совершенные для своей эпохи, а не лазер. То есть понятие судьбы себя исчерпало. С этим можно только смириться. Что толку гадать, почему я оказался именно в этом времени и в этом мгновении? Почему я поступил так, а не иначе? Роковая жизнь, судьбоносная, фатальная. Это чтобы проще переносить свободу или вообще отказаться от неё в пользу детерминизма. А тут ты ни за что не отвечаешь. Так случилось. Судьба! Нужна некоторая смелость, чтобы отказаться от идеи судьбы, полностью приняв ответственность за жизнь, за поступки. Не рассматривая случайность как индульгенцию. Как то, что не в твоей власти. Хотя судьба гадает по «книге перемен». Так что у меня — сознательный отказ от судьбы, но с сожалением. Как от принудительной сентиментальности. Чувствительность подменяет чувственность, а тем более чувства. (Поразительно, что в мировой философии во все времена можно по пальцам пересчитать людей, которые различают чувство и чувственность, красоту и прекрасное, а при ближайшем рассмотрении дух и душу, дух и материю, материю и вещество. И это не потому, что, дескать, они одной природы. А по иным, честно скажу, не ведомым мне причинам.) Так что Судьба — временный заменитель чего-то неведомого. Это не проблема. Ложное противоречие. Её смысл в оправдании случайности. Судьба и не судьба — это вопрос мистический, о про-

изволе необходимости. Как в том анекдоте, когда поезда вышли навстречу друг другу по одноколейке, но не встретились в неизбежном, роковом столкновении, потому как не судьба. Хотя, не скрою, место встречи, момент встречи с проблемой, с женщиной, с судьбой катастрофичен, и, наверное, высекает искры не только из глаз. Момент самовозгорания, неизбежности, спонтанности, разрушения, превращения, переосуществления, без судьбы был бы менее ошеломляющим. Это избыточное давление, кумулятивность свободного времени, как самопроизвольная ядерная реакция возможна в силу разнородности свободного времени, когда оно выходит даже не из-под контроля, а идёт вразнос, переиначившись, выходит из берегов. Некоторые принимают это беснование за вдохновение, сатори, экстаз, катарсис — лучше не знать природу этого явления, а просто пользоваться им, причём без стимуляторов, бездумно. Долгое время пользовался Диккенсовским «лучше пожалеть, что пошёл, чем о том, что не пошёл», как принципом своей жизни, но потом стал жалеть о том, что пошёл, поддавшись очарованию проблемы. Я потерял возможность остаться. Я никогда себя не удерживал от опрометчивых поступков. Причём опрометчивость — иного рода. Ну, например попытка заниматься всем. И музыкой, и живописью, и поэзией, и философией, движением. И языками, к которым испытываешь острую жалость, беспомощно наблюдая за их стаиванием. Как ледников. Они грязнятся, как ноздреватый весенний снег, и то, что возникает взамен, наверное, необходимо и хорошо, но тоскливо и безвкусно. Дистиллировано. Но это пройдёт. Но я богаче на целую жалость, других, тех, кто застаёт это как данность и не мучается от незнания древнегреческого или китайского с дари. Жизнь начинаешь принимать, как потерю, а это глупо, не скажу неправильно. Не как распыление, — чем больше даже формальных занятий, тем всё больше опыт начинает работать. Это не универсальность, многосторонность, — это всего лишь многоумение, но даже в таком примитивном виде умения встраиваются одно в другое и обмениваются сущностями. Так что судьба слишком заеложена, затаскана, захватана. Лоснится, как жирный бубен шамана. (Не перестаю удивляться, оказывается, даже проблема шаманизма «актуальна», особенно женского, в «свете гендерных проблем», поскольку проклятая советская власть, нанесла, однако, большой ущерб делу развития женского камлания.)

Темы и интерес случайны, но ведут себя как необходимые, доминируя в частном порядке, как брошенный, но индивидуальный взгляд, претендующий на единственно истинный. Сейчас носятся с «визуальностью», с тем, какую она играет главенствующую роль. Все сводиться к тупой мудрости «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Но это визуальность, извините, по видимости, которая желает стать всей видимостью, и последней. Окончательной. Реакция на тот неоспоримый факт, что современное мышление имеет дело с процессами невидимыми, в том числе и самим процессом мышления. Поэтому визуальность — это своего рода момент удержания в целостности (как и проблема телесности, тоже модная), и остаться в вещественных отношениях. Это попытка остаться в мире вещей, овеществление, которое желает быть легитимным и узаконенным. Уберечься от распада. А между тем нет двух одинаковых вещей, двух одинаковых атомов, элементарных частиц, и двух одинаковых взглядов, двух одинаковых процессов. В сущности, это попытка одновременности, сведения в единство.

Чтение тоже, за редким исключением, требует визуальности, оно тяготеет к последовательности и своеобразной логике не только текста, но и самого процесса, направления (слева направо, справа на лево, сверху вниз и как угодно). Более того, при быстрочтении текст схватывается кластерами, даже строчками, поабзацно, постранично, разворотами. В тенденции вообще слушания, минуя процесс чтения, можно усмотреть возвращение к устному эпическому творчеству сказителей (это я смеюсь), но в идеале — чтобы всё сразу вбивалось, и, как в случае с визуальностью, обходилось бы без понятия и речи. Возврат в бессловесность (хотя любое действия порождает чувство в полной мере). И чтение с писанием в том числе, доставляя тот необходимый адреналин, который не менее экстремален при любых рисках. Риск чтения и тем более письма (пишу, дважды читаю) тотален, но эстетичен. И писание связано с риском самоубийства. И что только не написано о книгах, письме, чтении, языке. Всё это — любование, и оно — ни к чему. Чистая эстетика. Глаз радует (иди раздражает), но формирует взгляд просто так, в никуда. Всё это обособилось в особую область, которая прекрасно обходится без меня, выступая по отношению ко мне объективностью, реальностью, действительностью, но тяготеет к человечеству и без него не обходится. Это торжествующая Всеобщая Субъективность, переходный период в раже самомнения. Возможность делать то, что хочешь, в кажущейся виртуальности, в которой можно затеряться навеки и разбиться вдребезги. Оторопь берёт, к чему это может привести, но ты не властен над этим процессом, и весь, в сущности, поставлен перед данностью. Ты даже не принимать её не можешь. Хотя декларировать отказ — сколько угодно. Ты свободен не быть.

Можно в этом видеть лабораторию моделирования, можно узреть по-

пытку громоотвода, когда развивается нечто, чему названия нет, как в случае расшатывания языка и его уничтожения в пробах на прочность — он всё равно узнаваем, и становится многовариативен и дебилен — некоторые называют это экономией выразительных средств. Стал ли язык богаче со времён Пушкина, Шекспира? Не знаю, но он стал другим, и дело не в словах, а в отношении между словами, и вообще, язык вплетён в повседневную жизнь и никуда не девается, как и способность видеть. Тысячи наших современников не видят не слышат и, по сути, не говорят и не ощущают, не чувствуют. Но некоторые видят больше. Всё в опыте. И потом. Кажущаяся одновременность видения, визуальность, на самом деле дискретна, и глаз, глаза в бинокулярности видят с двух ракурсов, и всё равно последовательно, фрагментарно. Тут вопрос единого и многого, он в общем виде уже решён, и вопрос не в решении, а в решаемости. В глядении на ненаглядное, в зрении (которое отличается от глядения), вызревании, в чтении глазами и всем существом, всем процессом развития. Всей истории. Поэтому всё написанное о созерцании — об неисчерпании, и когда мы открываем зрение для себя, мы попросту восполняем собственную слепоту, наполняя образами — всё уже написанное, но хочется ещё раз, снова и снова. Это как полюбившиеся стихи повторять наизусть или слушать музыку и перечитывать книги, которые каждый раз другие, хотя они подражают нам. Страшно быть однозначным. Когда всё вокруг повторимо — ты умер. И, тем не менее, всё — повтор. Всё лоснится от долгого употребления. Всё повторимо и алгоритмизировано в однообразности наличного бытия. Свободное время всегда другое — оно фантастично своей открытостью, и не только невозможностью, но и тем, что может тут же исчезнуть, превратившись в другое. Оно — не вместилище бытия, а его жизнь. Жизнь бытия, что может быть нелепей?! И тем не менее. Свободное время — тем — не менее. Оно всегда вновь. С начала. Сызнова.

Не говоря уже о том, что всегда, не только в последнее время, существовали попытки писать не подряд, а фрагментарно, и читалось всё это в любом произвольном порядке. Попытка писать непоследовательно, со многих точек зрения сразу, была всегда, и если не одним автором, то без автора, что всё равно организовывалось в единстве процесса, который формировал единую книгу, как продукт истории и как процесс. «Книга как процесс» — неплохое название для главы. Это единство предполагалось всегда, начиная с «Галактики Гуттенберга» (кстати, китайцы начали книгопечатание века за два до появления первых печатных книг в Европе). Проблема визуальности надуманная (хотя — всё надуманное), вопрос — в организации и власти, к сожалению.

Дело не в пророчествах, а в участии в этом процессе или отказе от него. Хотя выбирать не приходится. Можно радоваться.

Правда, это скорее алхимия, в её неведомом качестве, когда она представляется, как произвольное, протосвободное оперирование с одушевлённым веществом. На самом деле, алхимия — куда большая, жестокая штука, чем химия. Здесь всё регламентировано, полно правил и процедур, ритуалов и прочего. Химия более весёлая и дружелюбная.

Плотность времени — в том же объёме. Что создаёт эффект неестественности. Свободное время «закипает». Оно становится как неуправляемая ядерная реакция, но становится сверхпроводимым и сверхтекучим, обретая новые свойства. Оно становится катастрофичным. Но тут исчезает вопрос «Зачем?». Не от того, что об этом лучше не думать и не задаваться им. Да просто так! Потому, что жизнь бессмысленна, потому что мышление, а вслед за ним и любая идея, упоительны сами по себе, потому что красота освобождает от сомнений.

Так вот. Это не назвать даже фристайлом, — кто во что горазд. Смешение всего со всем, а там — что получится.

Это атараксия. Смирение с природой, признание её, как невозможность разучиться дышать. Твоя природа — в изменении. Самозабвении, при незабываемости всей полноты развития. Но не бесстрастность и безразличие, не нирвана, а, наоборот, ещё и вся страсть мира, и всечувствие, когда движение — без всяких к тому оснований. Из ничего ничто не возникает. Но и возникает для превращённого, которое не считает прошедшую бесконечность ближайшей причиной и источником превращения.

Свободное время выступает аристотелевской энтелехией. Но может казаться всем. От пантеизма до панлогизма, если считаться ещё и с логикой диалектической, и с логикой свободы, которая кажется алогичной. Всё — проникновенность жизни и красоты. Наступает эпоха свободного времени, как эпоха пара (эпоха, «родина электричества). Шучу. И свободное время будет мерещиться, мерцать везде и во всем, универсальное, как электрический ток, как «родина электричества». Можно различать постоянное свободное время и переменное — это всего лишь образы. Можно менять полюса времени, рассматривая его положительно и отрицательно. Но смысл — в противоречии. Самое интересное, что свободное время не знает направления, мгновенно меняя его на противоположное. Нет векторности, направления, времени, нет инерции, по крайней мере, может

не быть, по желанию. И в тот же момент оно необратимо и невозвратно навсегда. Неминуемо. Наверное, можно заставить свободное время работать, впрячь его, передавать его на большие расстояния чувств. Я не уверен, что надо знать, что это такое, хотя, наверное, надо, раз оно свободное, и свобода его предикат, то без духа, сознания как атрибута материи, а значит, самого развития — не обойдёшься.

Рассматривая свободное время как судьбу или необходимость, понимаешь, что можно, иначе какая же это свобода, но всё упирается в грандиозные сражения с собой, в антиномичность свободы. Можно изменять судьбу. «Я схвачу свою судьбу за горло и сокрушу её!» (Бетховен). Но это тоже судьба. Судьба — очень соблазнительная идея.

Скажу ересь. Свободное время знает только внешнее противоречие, внешнюю необходимость. И то случайную. Но есть ли эта внешняя необходимость? Даже по Канту так должно быть, ведь априорное время — внутренняя форма созерцания, а пространство — внешняя. (Кстати, очень даже апостериорное, смотря, какой опыт.) И всё, и погиб, завяз, больше не можешь глиссировать по поверхности проблемы — скорость не та (почти шучу). Решение проблемы ничего не даёт, однако можно наслаждаться самим процессом мышления.

Есть тексты, темы, проблемы, от которых не можешь отделаться. Они занудны и навязчивы. Так и в отношении свободного времени. Легко и беззаботно писать как о разрушительных последствиях свободного времени, так и ожидаемых сладостных плодах нового рая, обещающих невиданное ВСЁ… Скучно и нудно ждать, понимать, что ещё не пора, что ещё не время, предчувствовать то, чего нет, и, возможно, не будет. И говорить о невозможности и неприменимости. Легко обрисовывать в общих чертах Случайное свободное время. И в этом преуспели. С необходимым свободным временем сложнее — это время становления, происхождения. И совсем уж невыносимо разбираться со *свободным* свободным временем, хотя все эти три времени — одно, и о них (о нём) уже известно достаточно, но суть не в употреблении, применении, а в воплощении и превращении. Свободное время становится не безразличным, и тем безразличным. Оно может быть симультанным и спонтанным, но также может не быть. Совершенно всё равно, куда двигаться и что считать причиной времялития, времясвечения.

Невероятно трудно писать о становлении свободного времени, тем более, что становление — вне времени и пространства, оно их поглощает, да и «ставшее» свободное время исчезает. Его смысл — в исчезновении. И это одно свободное время. А если свободное время в возникновении — то это другое, хотя на самом деле оно одно и то же. Исчерпав противоречия, свободное время выступает природой, бесконечно изменяющейся. Она мерещится то красотой, то неведомым, то несказанным, то превращением. От свободного времени и его неопределённости тошнит. Оно укачивает, являясь то пространством, то невесть чем, но сбыться не может, назойливо вочеловечиваясь сущностными силами. И тут же отставая, запаздывая, тяжелея и грузнея. Это не чувство — предчувствие... Я говорил, что оно «как судьба»: и рад бы избежать, но невозможно. Это не только абсолютная возможность, но и невозможность. Свободное время — всегда ожидание, предвосхищение. За миг до того, чтобы обрушиться.

Самое интересное, что если тебя привораживает проблема свободного времени, захватывает тебя, как тотальность, то это значит, что ты вытолкнут из этой проблемы, отлучён, ты даже не рассказывающий, а описывающий, царапающий, пробующий на вкус. (Уже Лукач говорил, что рассказывающий и описывающий видят по-разному, и он же отрицал диалектику природы. Так ли это — вопрос поэзии, а не рассудка. Здесь разум, если он соизволит коснуться этого вопроса, превращается в эстетику, упиваясь музыкой бытия и самим процессом. Это как вопрос о музыке вселенной.) Ты обречён на заведомую глупость, и твоя кажущаяся свобода в том, чтобы говорить эту глупость, озвучивать. Описывать. В любом случае ты берёшь первого попавшегося, встретившегося, поймавшегося, и он на твоей стороне. Например, Николс Луман: «Это снова лишь подтверждает, что коммуникация в первую очередь должна решать проблему времени, и это особенно существенно для массмедиа, операции которых протекают под давлением ускорения» (Реальность массмедиа. С. 154). Я мог бы привести сотни других имён, с наслаждением описывая этот процесс присвоения, хотя уверен, что Луман совершенно не то имел в виду. И скорость он понимал иначе, и проблему времени, и с его мнением не совпадает ни одно мнение мира.

Как бы там ни было, оно уже «было».

Скопилось неимоверное количество мусора, отживших или живущих своей жизнью форм, так что (ошибочно или намеренно) действительность принимают за текстологию, наделяя весь этот органолептический материал жизнью, душой, в которых случайные соотношения занимаются самопорождениями, даже саморазвитиями. Здесь однажды прожитое живёт новой, вечной жизнью, не в силах умереть. Реальные различия принимаются за разночтения. На самом деле это разные сущности, которые слипаются в некие образования. Они фиксируются, моделируются комбинаторикой совершено пассивно, не хватает «следовательно», «эрго», но этого и не требуется — своего рода заповедник, зона. Всё пущено на самотёк. Причём это, может быть, и не вещественные формирования, а игра отражений, игра теней, мерцание.

Свободное время условно может быть естественным, произвольным, фонить, как естественный радиоактивный фон, создаваемый свободной деятельностью, быть не в качестве «полезного ископаемого», руды, превращаемой в то, что «нужно человеку», а сформированным в «чистом виде», который составляет его природу. Это «осадочные породы», вроде мрамора, только в осадок выпадает свет (образно говоря), а вот из него можно создать пластические формы, которых в природе нет. Они терпеливо будут пластически представлять человеческие чувства, и даже оживлять, и отдавать для этого душу, или из них сделают столы в анатомических театрах чувств, как в прежние времена, а может, памятники при жизни — не знаю. Всё может быть.

Суть в том, что свободное время падает и на мёртвое (не только время), заставляя мёртвое действовать ради жизни, втягивая во всеобщий процесс (его и втягивать не надо) развития, превращая во всеобщее становление.

Это так же, как классический вопрос о «прекрасном в природе». Его нет, но оно распространяется на природу, причём на всю, и это не только «пейзажная лирика» — пейзаж не знает, какой он, но, как пейзаж, он уже не равнодушен. Но то примитивный пример, поскольку «природу понимают лубочно, по-барски отводя ей место в «людской при роде человеческом». Природа человеческих чувств, человеческая природа свободного времени, в конце концов, это свобода, к которой (и которой) она стремится, хотя она и есть это — стремление.

Философия — в ожидании, или, что там, вместо. Она даже не окликает: «кто идёт?!». Не требует «пароль», слово, как-то распознавая «свой-чужой» без хитроумных приборов.

По привычке называемая «философия» стала действительно личным и частным делом каждого, буквально поистине.

Философия превратилась в чистый интерес, почти хобби, спорт, раскладывание пасьянса, наркотик, стимулятор, «припарки мёртвому», экстракт, эссенцию — она прикидывается, издеваясь, всем: то она — мода, то спорт, с накачиванием интеллекта при помощи философии, подставляет себя в качестве тре-

нажёра или простой гири (тяжесть бессмысленна, и это тоже философия), то она вера, то надежда с любовью, то аскеза, то разнузданность; она выполняет все функции, становясь заменителем, символом веры, развлечением, играет все роли, кроме одной — быть собой.

«Цифровизация» её не добьёт, поскольку философия и так мертва, но, как снадобье, вполне может заменять даже волю к жизни.

К слову сказать, одна из главных проблем свободного времени — временная проблема «воли в никуда и ни к чему». Поскольку предмет сопротивления не оказывает, то автоматически устраняется и усилие, сила по преодолению этого сопротивления. Безвольное и бесцельное, не требующее борьбы для своего осуществления, бывание. Это непривычно, и временно создаёт «потерю смысла жизни», которая изначально бессмысленна — смысл её создаётся. Кажется, так называемая наука, искусство, культура — спасение, но как же жить без востребованности, в абсолютной ненужности, без признания, без стимулов и всей этой мишуры? Как просто жить? Это кажется невыносимым. Не буду гадать, в каких это будет формах, но на самом деле это так же просто, как жить без эксплуатации, войн, извращений, каннибализма и прочих радостей цивилизации.

Философия приспособится, прикинется, будет соответствовать моде, выполняя роль заменителя, эрзаца. Но это не философия.

Философия, буквально, кажет себе язык. (Хотя «антиномии языка» — всего лишь попытка схватить противоречия развития, остановить, лишить жизни. Язык «метафизичен». Но он, действительно — «энергейя Духа», его действительность. Уж не знаю, на кого ссылаться, на Гумбольдта или Флоренского.) И всё это бесконечно, и чувствуется, что смысла классифицировать нет. Это всё равно, что подсчитывать, сколько букв в той или иной книге — сразу знаешь, что столько, сколько в алфавите. И всё пытается прикинутся филологией: от Ницше до Гаспарова, от Вильгельма фон Гумбольдта, Потебни до Флоренского, до трудолюбивых муравьёв, братьев-семиотиков, которые хлопотливо снуют, — пусть себе, — всё это кишение от того, что образовалась стихия, от которой не убудет, новая бесконечность. В ней устроиться нельзя, приспособиться — не успеешь. Она невозможна, но можно стать волной, и, поймав волну времени, быть на время эти движением. «Because I know that time is always time», «потому что я знаю, что время — всегда лишь только время» (Пепельная Среда), и дальше всё, что написано о времени Томасом Стерном Элиотом, и вообще всё, что написано в истории, потому что это написано кровью свободного времени с одной стороны, и подписано твоей кровью с другой. Но, как правило, оба нарушают сделку. Это и делается для того, чтобы нарушать данные обещания. Всё дело не в том, чтобы что-то постичь, познать, а в том, что тут нет направлений, и ты в своей стихии, и твоя мгновенность — не условие её существования, а свобода.

Хождение в народ на философии дурно сказалось. Она высказалась дотла, и теперь, как пустая раковина, хранит эхо стихии, первоначального океана, а по сути — обрывки сиюминутных звуков «конкретной музыки» «сейчас», исполняя навязанные ей служебные роли. И её используют в качестве пепельницы, когда было модно курение.

Я не о возвращении ей былой славы посвящённых, не о «мудрости», которая — невероятная глупость, а только о том, что философия — дело сугубо добровольное и чисто эстетическое: хочешь думай, хочешь не думай — от тебя зависит, будет философия жить, или нет. Вопрос — в её ненадобности и громоздкости для решения сиюминутных задач. Она — не допотопный паровоз с низким КПД, исходящий паром, лоснящийся маслом и безнадёжно устаревший. Это не средство передвижения. Это эпоха.

Философия — поэтика бытия. (Попробуй теперь докажи, что это выражение-формула принадлежит мне! Да не важно авторство. Философия безымянна, анонимна, а имена — только ориентиры для начинающих, неофитов.)

Она даже не приспособлена (хотя пытались) объяснять и оправдывать мир («правда*а*ть», как пластать). Философия — ни для чего. И сейчас она, по сути, вернулась к себе во всей полноте. Это по-*прежнему* чрезвычайно трудное дело, а по *будущему — невероятное,* наверное, труднее, невероятнее не бывает, но она живёт тайной жизнью, не теряясь в версификациях и гипотезах, и нисколько не иссякает, не убывает, сохраняя чистоту и незамутнённость.

К ней нельзя относиться, как к универсальной отмычке (хотя, если очень хочется — можно вообразить). Нет запоров, замков, открывать нечего, но вот превратить себя, переосуществить (не переиначить, что значит принять за другое или употребить в качестве заменителя) — можно только с её помощью, и то не по необходимости, не фатально, а свободно — переосуществиться, превратиться в желаемое и мечтаемое, что очень опасно, смертельно — назад пути нет, и оттуда никто не возвращался, да и некуда. Это путь абсолютной красоты. Можно изменить свою природу, но обратно никак. Возврата нет. Как в жизни.

Так что довольно о ней. Надо ею быть, хотя никакого утешения философия не даёт, ни от чего не спасает, и отвернётся, предав, как только почувствует твою слабость, усталость.

Да, и «цифролизация» скоро пойдёт на спад. Наиграются, как кубиком Рубика, и бросят. Дело совершенно безнадёжное, но дров наломают, и последствия будут самые печальные. Это уже очевидно. Хотя это повод укоротить, приспособить, приструнить, обуздать, бюрократизировать науку, — слишком многое себе позволяет! — и каким-то образом удержать власть. Причём независимо, у кого эта власть, у патологических идиотов или феноменальных интеллектуалов (кстати, «феноменальный интеллектуал» — это почти ругательство. Где критерии? Нобелевская премия сейчас — как патент на кретинизм. Необходимо

хотя бы медицинское освидетельствование на вменяемость. Хотя — не панацея. Но это напрасные упования). Система прогнила, причём любая. Требуются иные методы мышления, самоорганизации.

Я вижу во всём этом издержки вынужденного свободного времени, которое находит себе путь в разрушении форм, норм, устоев, вырываясь через расселины и стравливаясь в огромном количестве развлечений, забав, и всем, что создано, чтобы усмирять, отводить, перенаправлять эту энергию, укрощая свободного времени избыточность, хотя его много не бывает. Но это ненадолго: либо мир переосуществится соответственно свободно-временной природе, либо свободное время разнесёт этот мир, эту «халабуду» «вдребезги пополам». То есть свободное время, как атомную энергию, надо заставить работать, причём со знанием дела, а уж о «ядерном» его потенциале пока речи нет. Так что свободное время может быть началом тотального уничтожения и саморазрушения. Никто не знает, куда его поведёт и чем оно обернётся. По крайней мере, в старых спёртых формах оно показывает, каких монстров, уродов может создавать. Возможно, потом будет стыдно, но пока никто ничего не замечает, оправдываясь естественностью.

И нет ещё языка, способного выразить хотя бы блистательные возможности свободного времени (а не только побочные эффекты), а когда такая возможность появится, это будет пошлой банальностью, да и потребности не будет даже понимать, что такое свободное время. Оно станет «как всегда». Будет обыденностью, и вопрос не в потреблении, а в освоении, но не обязательно всё и сразу, залпом, выдышать весь воздух. Стихия свободного времени непредсказуема, она может заняться и самоуничтожением — кто знает?

Но тут не надо ничего предвидеть — всё равно готовым быть нельзя. Пытаться разглядеть, в каких формах оно будет воплощаться, бессмысленно. Сразу скажу: «в невероятных и злых». Это потом они станут прекрасными, а изначально они видятся катастрофическими, а может, и будут такими. Пока я вижу нарастающую скуку и натужную рутину. Но так ли на самом деле, или это проекция, «инверсия» всё меряющего по себе современного кондового опыта — не ведомо. Всегда до смеха поражают представления о будущем у фантастов, футуристов (одним словом — «фу-туристы»). Но ещё больше поражает представление учёных о прошлом, причём не только реставрируемом, но и ближайшем, вспоминаемом, в котором они жили и были непосредственными участниками (о художниках, режиссёрах, писателях, сценаристах я уже не говорю — какое-то бездарное либретто, которое, как программку, раздают современникам). Да в нынешнем всё бредово. (И смешно, и как будто в дурдоме, а вокруг одни психи и психиатры, что ещё опасней и противней, ну и маньяки с патологическими садистами. Но это побочный эффект. Как посмотришь на историю человечества — так и содрогнёшься.)

Всё вышесказанное — лирика, от которой не отделаешься. Скорее всего, потому, что в этой игре чувств и есть скрытый пока «истинный» смысл свободного времени. И начиналась эта глава с попытки изобразить холодную сущность необходимого свободного времени, а получилось описание следствий, как будто свободное время уже свершилось, и расхлёбываются последствия.

Становится ясно, что свободное время — не состояние, оно неопределённо, и явление его в форме общественного богатства, как форме стоимости, натурального продукта — это мимикрия. Приспособительная реакция — оно может быть и таким.

Но не во временности его сущность, хотя его бытие в форме времени и возможно, и необходимо — эта сама временность, которая может и не быть. Это временность в форме вечности, как тяготение, а не целеполагание, не самоцельность, не интенция с тенденцией. Озон после грозы. Нечто, к происходящему не имеющее отношение. Подчёркнуто — на периферии. Деферент. Эпицикл. Ускорения, зависания, попятные движения — термины древней астрономии, которые соответствовали эпическому видению Данте, но суть лишь образы.

Свободное время — переходная форма. Оно обречено, чтобы в нём видели иное, и… не замечали. Более того, оно само такое, когда его ровно столько, сколько нужно, оно не необходимо, когда нехватка — в нём есть потребность. Счастье, что его никогда не бывает с избытком. Но ему свойственно превращение, в нём всё превращается во всё, причём не считаясь с сознанием и желанием. Это почти комично, всё равно как «Облако в штанах» сравнивать с «облаком» в современном программировании (но не воспрещено — далеко Маяковский видел! Шучу. Или, как в старом анекдоте, приписывать Пушкину предвидение октябрьской революции «Октябрь уж наступил». Самое смешное, что подмена происходит сплошь и рядом.

С этим бесполезно бороться, восстанавливая понимание, как оно было, хоть в этимологии, хоть практически очищая смысл от напластований. Потому что нечто росло, и реставрировать — значит убить, реконструировать — значит уничтожить. Да и критериев нет, поэтому любую идею надо принимать в её дальнейшем развитии, не пытаясь восстановить Цар-

скосельские сады, как они были при Пушкине, беру образ Лихачёва, да и при Пушкине они были разными в течение его жизни, в каждом взгляде. Так и с теорией, и с отдельными словами, с чувствами — всё в беспрестанном становлении, и в свободном времени может быть всем, и всегда по-другому, но само собой, самим собой. Свободное время само изменятся в процессе развития, но не знает этапов и стадий.

Вселенная свободного времени, охваченная свободным временем, катастрофична, непостижима, непознанна, но она есть и является единством бытия и ничто, и потому познаваема, но не в познании дело, а в развёртывании и сотворении чувств, которые догматичны, метафизичны, сверхчувственны, и в себе при этом отрицательны. Отрицание отрицания — борьба. Единство противоположностей и *переход* количества в качество — штампы, но это одно единое противоречие.

Это оправдывает избыточность слов, отсутствие экономии, избыточность свободного времени, которое никогда не может быть в меру, потому что не знает количества.

Как сама жизнь. Она не знает меры, предела, границы (может, но не желает), и проливается через край, когда жажда утоляется горстями, во многом проливаясь и разбрызгиваясь, каждый раз как иное. Свободное время — так же. Оно подражает жизни. Да, есть у него и претензии, чтобы стать жизнью. Очень трудно понять, что качество, количество, мера, время, пространство, движение, истина, добро, красота, случайность, необходимость, свобода — это всё об одном, но неповторимо и по-разному.

Свет, выпадающий в осадок.
Его придонные отложения —
осадочные породы освобождённого времени —
мрамор света,
миллиарды жизней,
миллионы лет живущих и умирающих,
тихо падающих
в себя — дно бесконечности
в бездонной вселенной —
есть хрупкое дно здешности.
Как подумаешь:
все эти мраморные изваяния

состоят из роения жизни,
и вырезанная рука — миллионы лет
микротварей, слежавшихся в единство —
всеединство камня,
в данность.
Вот бы ему вернуть жизнь
в каждой точке пространства и времени!
Было бы весело.

Естественное свободное время, освобождённое и забытое, полученное случайно, состоит из осадочных пород, придонных отложений света. Он живёт своей жизнью. И догадываюсь, что роль забывания очень велика. Грандиозна. Именно ему мы обязаны сокращением опосредующих звеньев в эволюции свободного времени и возможностью «производить» его в «промышленных масштабах», в пользовании им. Можно бы было это выразить наукообразным языком, или впихнув в формулы. Но суть в том, что выраженное в античности и современным языком — об одном и том же, и наши «достижения» такие же убогие, как мифологические озарения. То, что в своём индивидуальном развитии вкратце повторяешь всю безмерную историю природы и общества, не освобождает от необходимости думать, хотя кажется, что освобождает. Но и то, что не позволяет выйти за пределы своего времени, этот невидимый, но ощутимый предел, позволяет представить всю историю свободного времени как процесс, эволюцию забвения. Искусство забывать. Искусство ошибаться. Искусство быть. Свободное время — короче, но вровень с вечностью.

Свободное *свободное* время — каждый раз сызнова, оно то же и другое, и законы предшествующего развития ему не указ. Оно может «потом» видеть в прошлом что-то узнаваемое в лице тех или иных откровений, но это всё равно, что говорить, что Аристотель, Декарт, Кант и Флоренский писали об одном и том же «удивлении» — это только полуправда, а они удивлялись по-разному, и Аристотель с Флоренским не договорились бы... Это всё равно, что проследить эволюцию понятия, например, «материи». Понятно, что материя одна, но она — поразному. И дело тут не в разночтении или толковании с пониманием, или восприятии.

Как только появляется необходимость в свободном времени, начинается совсем другая его история. Оно начинает действовать как катализатор, ускоритель процессов. Оно включается в историю развития, которое начинает видеть в нём стремление к свободе. Природа остаётся, но она — в снятом виде. На себя непохожа. Предположим, мы все обречены, ну и что — это можно игнорировать, не принимать во внимание. Тут нет проблемы. А вот то, что ката-

строфа произошла из-за того, что свободное время было «выпущено», натравлено на свободу, осталось стихийным — вина за это целиком на человеке. Ведь оно не только «форма общественного богатства», но может быть и чрезвычайно опасным. Это такая разрушительная мощь, с которой можно не совладать. Так что, не действовать? Наложить мораторий? Как раз напротив. Как можно скорее пытаться постичь формы его воспроизведения и произведения, чтобы не опоздать. Хотя что-то мне подсказывает, что страхи напрасны. Это как с «чистой математикой» — область принципиальной неприменимости. Математики даже не задаются вопросом, в чём её предмет (и правильно), исследуют жизнь чисел и их отношения, рассчитывают построения моделей мыльных плёнок, ну и ладно, хотя это развлечение, может статься, не так безобидно, уж очень процессы зарождения жизни и органики напоминают эти совсем не забавы. Так называемая наука выходит на иные основания: она освобождена от необходимости быть «подспорьем», и предъявляет претензии быть «чистой эстетикой».

Меньше всего её волнует вопрос «Зачем?». Это радует. И сейчас наука оглядывается: «чем бы заняться?» Но об этом не думает. Она занимается «тавтегориями» (произведённое Флоренским слово, от Шеллинговского «тавтогории»). «Истина — тавтогорична». Себе тождественна, рядоположена и непоследовательна в последовательности и длительности, нарушая причинно-следственные связи. А «тавтегория» полагалась Флоренским в «пыку», как противополагание «аллегории». К слову сказать, тут и «мышление по ассоциации» оправдано, и не презираемо рождённое простой аллитерацией. Всё это — единый процесс. Оно строго закономерно, но вот беда, каждое мгновение законы эти меняются на столь же строгие, и теория всегда запаздывает, как и язык. То, о чём говорят сейчас, через каких-нибудь десять лет станет невыносимой банальностью, оно меркнет и покрывается плесенью, на глазах устаревая и исчезая, так и не успев оформиться. Плесень на глазах. Современный взгляд, покрытый плесенью, из которой можно вырабатывать пенициллин, антибиотик, убивающий зрение и видение.

Здесь в свободном времени нет различия на внешнее и внутреннее, на форму и содержание — это очень условно, как и красота на самом деле не бывает относительной и абсолютной, дифференцирования и интегрирование, анализ и синтез, пространство и время не бывают («бывание» — становление) друг без друга. Побыв некоторое время в теоретическом одиночестве самостоятельных сущностей, они возвращаются в родную стихию. Теоретическое и практическое тоже неотличимы, не возвращаясь в «изначальную синкретичность», просто не нуждаясь в этой фронтальной лоботомии.

Я не хочу утопить всё в месиве форм, но это единое движение, которое в основании. Оно само и есть основание.

Экономия свободного времени — не в сокращении его, а в освоении, опредмечивании, воплощении без потребления, лишённости, а значит, во временности. Это не просто переосуществление, перевод в иное состояние, это взаимопереход времени в вечность, как освобождение в превращении, которое — отрицательность, ничего не отрицающая.

НЕОБХОДИМОЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Свободное время —
пространство человеческого развития
К. Маркс

Уже не раз упоминалось о плачевном состоянии современной философии. Собственно, её вообще нет. Ушла, и чёрт с ней. Или Бог с ней — разницы никакой. Её мёртвый язык — для эстетов. И хотя возможна её тайная жизнь в себе и для себя, она — мифическая область свободы. Абсолютно неприменима. О её гибели и прочем написано много. Но, может быть, такова её судьба? И это не доказано. Просто вышла из «употребления, области применения», приложимости. Философия непреложна. Но она никогда не была прикладной. Подменена фальшивками, имитациями. Она на подмене, «на измене, в том числе и себе». Теперь всецело — политология дурного пошиба. Даже в так называемой феноменологии, не говоря уже об американских вариантах практической философии и прочем дерьме, «приходах» прагматизма, дурной психологии, навязывающей свои патологические состояния, и прочих эрзацах — всюду это неприкрытое уродство: пакостить, лишь бы пакостить, лишь бы писать на стенах.

Самое смешное, что это никоим образом не задевает настоящую философию, которая критериев не имеет и представляет собой своего рода чистую атональность. Она прекрасно обходится без брендов, без «идолов толпы», без методологий и власти экспертов. Обходит стороной и исполнительство, куда ушли философы с патентами — чтецы-декламаторы, инструменталисты, фокусники, ремесленники (хотя ремесла нет и в помине), сфера обслуживания, прислуга.

Шоу должно продолжаться при любых обстоятельствах. Но уж очень жалкое зрелище. Я бы не без удовольствия потоптался на этом, описывая падение и самоунижение философии, но не буду, потому что это не она, и «коммуникативная роль» на потребу рынка массовиков-затейников, танцы в «два притопа, три прихлопа» к философии не имеют никакого отношения, как и весь псевдофилософский трёп, или рэп...

Главное, в истории наработано столько, что каждый её персонаж, каждая

концепция, любая идея, даже её фрагмент, обрывок, осколок, неправильно услышанное, непонятое могут быть необходимым и достаточным решением любой проблемы в первом приближении. Можно решать по Аристотелю, по Канту, Гегелю, по Проклу, Лейбницу... по кому угодно, и без особых потерь. Можно объединять и заставить вращаться вселенную не только вокруг любой идеи, но даже вокруг любого слова. И не только потому, что она, как Дельфийский оракул, своими ответами решает, успокаивает, словно болеутоляющее, любую боль вопрошания, не только своей фрагментарностью и неопределённостью, неполнотой, но и потому, что она каждый фрагмент лишает видимости разрыва, соединяя без швов, но сохраняя отдельность. От философии ничего не зависит. Она — состояние духа, если он есть, и состояние дел, если он упразднился.

Она имеет единственный критерий — себя, и даже право на ошибку — не является индульгенцией. Как писал Евгений Шварц в дневниках последних лет: «Старость — ещё не повод ходить по коммунальной квартире в подштанниках». Не важно, что мы принимаем за философию — главное, мы «за неё говорим», вместо неё, и от имени истины. Есть ли она, или нет — не имеет никакого значения.

Поэтому любой, утверждающий, что он «занимается» философией, её проблемами, как бы он искренне ни заблуждался относительно неё, себя — заведомо лжёт. В лучшем случае, она занимается им, как одержимость, наваждение, больная совесть, имитация жизни, и этого достаточно. Она — современная легитимизация безумия, право на глупость. Даже в лучших своих «образцах», таких, как Флоренский, Адорно, Беньямин, Ильенков, Прокл, Плотин, Хайдеггер... беру наобум, список может варьироваться, в зависимости от пристрастий, до бесконечности. Это не табели о рангах — это теперь не более, чем забава, за которую расплачиваются жизнью, лишая историю пространства и времени. Это своего рода ZeitbewuBtzein — «сознание времени», гегелевский «дух времени», «дух эпохи». «Сейчас» — Jetzeit, но оставленное на «потом».

Есть ещё ярко выраженная тенденция — вкусовщина, как следствие зажравшейся «субъективности» без самости. Дегустация вслепую — трюк, которым американцы убили французское виноделие, кажется, в 1976 году, правдами и неправдами изменив условия конкурса, лишив в*и*на истории и авторитета. Просто подаётся анонимно некая жидкость. Так вино из Калифорнии получило сомнительные призовые места. Понятно, что всё это на потребу рынка. Тот же трюк был проделан с текилой, с будто бы особым ритуалом её пития. Нечто подобное произошло в философии. Профессиональные сомелье, как эксперты в области произведений искусства, может быть, бессознательно заблуждались, но выдавали умственные заключения относительно, якобы, свободного мышления. Отсюда и вопросы, что считать произведением искусства? Да вообще всё,

выдранное из контекста и ограниченное рамочкой, поднятое на пьедестал, или очерченное обращённым вниманием (вообще, обращённое, превращённое, препарированное внимание, сотворённая из ничего потребность — это по-своему интересно, но не доказуемо. Так сочиняется и потребность в философии, да и сам «интерес». Эта кажущаяся свобода очень утешительна, даёт иллюзорную полноту бытия, которая порой больше жизни. По крайней мере, я бы не променял эту иллюзию, чувство истины, ни на какую истину). Или вопросы относительно связи эстетики и красоты, онтологии и экзистенции, красоты и прекрасного, этики и эстетики, через запятую, в аналитичеком раже создания синтетических суждений априори.

Я уже молчу относительно действительной неграмотности, когда выдают за открытия и откровения собственные пробелы в образовании. Дилетантизм в философии, как некогда, во времена Герцена — «Буддизм в науке». С этим не нужно считаться, это надо просто игнорировать (легко сказать).

Началось это давно, или было всегда. И смысла бороться за чистоту философии нет. Софизм и схоластика всегда сопровождают мышление и являются его необходимым и неотъемлемым атрибутом, необходимым элементом функционирования, люфтом, допуском работы вхолостую. Что правильно, что неправильно — это не вопрос. Как и истина — это живой процесс, почти «физиология». Ассимиляция-диссимиляция, и даже дефекация.

Истины стареют и умирают. Если рассматривать строго, то любая мысль — недомыслие, любая правда — ложь. Поэтому и Канту вменяли ошибочность его взглядов, и Марксу, и Гегелю, и самому себе, еще до написания, заведомо. Любого персонажа истории философии без смеха невозможно читать. Спасает их то, что — это поэзия, а не практическая магия «науки». Если это сделано в порыве страсти — то оправдано, и «ничто не слишком». Если автор заходится, и готов идти насмерть за свои убеждения, то уже тем, что такая точка зрения есть, она имеет право на существование. Но бесноватость, конечно, неприемлема. Хотя, как всегда, «если очень хочется, то можно».

И философию можно использовать, как наркотик, «экстези», сивуху, как уход от жизни. Это — только твои убеждения, а если посягают на других — это уже идеология, что заразно. Поэтому вопрос, что должна философия, что она такое — изначально, сознательно глупый. Все эти гуссерли, хайдеггеры, ясперсы, сартры, филологические штудии, апели, фейерабенты, попперы, хабермасы — их миллионы, решают сугубо проблемы своей осведомлённости (конечно, нельзя так говорить, но здесь нет ни капли пренебрежения, хотя и снисхождения тоже нет — просто констатация тщеты усилий, но и в пустопорожности есть чистая пространственность и хорошая акустика, и это всё — эхо, как у летучих мышей, или сонарности, словно у китов, сонористика, дословно в музыке, до которой самой музыке нет никакого дела, как и поэзии до смысла.

Здесь не прощается ничего и допускается всё). Полагаю, что их (авторов) мириады, даже что они —необходимый момент функционирования эволюции мышления, как бактерии в эволюции, может быть, анаэробные (хотя, скорее всего, относятся к механизму функционирования рынка или что-то вроде трения в механике, к философии отношения не имеющее — не суть важно — это болтовня, которой живёт в саморазвитии язык, как будто он обрёл самостоятельную сущность). С тех пор, как философию лишили истории, историцизма и историчности, как история вопроса престала приниматься во внимание, воцарился беспредел вкусовщины, и любой субъективизм претендует на критерий истины, на предельную объективность.

Отрадно здесь то, что о положительном говорить бессмысленно — только об отрицательном. Отрицанию невольно вернули его фантастическую власть и, кроме того — можно игнорировать любые авторитеты, не считаться с общепринятым. Пока это на уровне вкуса и икебаны — это никак. Как только претендует на «идеатум», нужно быть осторожным, иначе огребёшь по полной от той же сознательно забытой истории.

Тут ведь дело в том, что мы не знаем, что было в герметичной оболочке представлений не только одного поколения, но и собственной жизни, даже — что происходит сейчас. Не только формально, не только о том, какие там философии в Латинской Америке, современные философы Китая, Индии,... но даже то, что происходит в своей жизни — наверное и сомнительно.

Какие уж тут рассуждения о Кантовском «априоризме». Об этом можно только догадываться, хотя в целом это возвращается не только как следование плохо понятому, но прилежно исповедуемому Кантом принципу схоластики, но и объективно.

Всё, что постигается, познаётся с чужих слов — нельзя же практикой считать общение в виртуальности сети, которая может выполнять роль опыта, эмпирии и даже оснований бытия. Это, конечно же, не закономерности, которые меняются ежеминутно и для каждого явления, скорее — правила игры. Но развитие происходит каждое мгновение и в каждой точке, а не только своей «верхушкой», и никакой «топологией» его не схватить, не освоить, да и зачем? «Алхимия»? Смешения на авось всего со всем? Но как раз у алхимии всё регламентировано, оговорено в мельчайших деталях. Алхимией в отношении музыки можно было бы представить не алеаторику, а двенадцатитоновую систему. В отношении философии — это схоластика, как алхимия мышления. Мышление по строгим разлинеенным правилам, в рамках. А здесь — и мышлением-то назвать трудно. Простая реакция в ответ, судорога.

Диалектический способ мышления? А что это? И кто им когда-нибудь владел? Уповать на него — наивно.

Взывание к чувствам? Да, чувства никогда не врут, даже когда врут напро-

палую. Но чувства консервативны. Они способны на бунт, но не более. И потом, в их стихию приходиться вносить, нет не целесообразность, а необходимость. Потому что они приходят как непосредственные (хотя это не так), и их нужно сделать необходимыми, чтобы без них невозможно было бы обойтись, хотя свобода их прекрасно обходится без необходимости — у них свобода в основании, они снимают свободу, а не необходимость, по пути, направлению свободы. На самом деле они могут с лёгкостью уничтожить даже себя, а тем более того, кто ими живет. У них нет инстинкта самосохранения.

Такова и природа свободного времени, оно — решение противоречия времени и вечности, красоты и прекрасного, бесконечности и точки, хотя это является, как антиномия, не вопреки запрету — решается аннигиляцией. Хотя это — антиномия, и решения не имеет, и может уничтожаться, как антагонизм, решаясь не в одностороннем порядке, а просто уничтожением противоречия, немедленно, мгновенно и сейчас, каждый миг. Разрешаясь. Противоречие не «чувствует» себя таковым, как мы не ощущаем участвующую в жизни смерть. Развитие противоречиво, а не благодаря, не при помощи противоречия, хотя условно можно говорить о становлении противоречия, его раздвоении единого, доведении до разрешения.

Со временем ошеломляешься не собственно антиномиями Канта — они сквозили во всём, как противоречие, но безумной до головокружения идеей, вроде бы обычной — изложить их именно в таком виде. И доказательства не убедительные, и изложение слабое, и логика хромает, но сама попытка изложить их «рядом», на соседствующих страницах, как тезис и антитезис — это затмило даже грандиозность последующего — решения противоречия у Гегеля, синтез и переход к практике. Не говоря о том, что это было невероятно, умопомрачительно технически: и написать, и напечатать (безо всяких компьютеров. Шучу).

Вообще, такое впечатление, что компьютеры усиливают слабость ума, его атрофию. Я не представляю, что грандиозные «Критики» можно было написать от руки, и, боюсь, с нашим мусорным аппаратом, вялой, анемичной потребительской логикой, мы (не буду обобщать, я) уже не в состоянии читать серьёзные книги. Не говоря уже о собраниях сочинений. А раньше было обыденным делом.

Это кажется раздробленному «разделением труда» поверхностному мышлению, с ослабленной логикой, громоздким (оно создаёт поверхности из подвернувшихся композитных материалов). Оно довольствуется не познанием, а впечатлением. Хотя это может быть явлением «холодного синтеза», «поверхностной логикой», созданием «лёгких» поверхностей явления, конфигураций, пределов видимостей, кажимостью. Мышление увлечённо переживает ситуацию дизайна. Но, может быть, оно создаёт лёгкие для дыхания, создаёт живое

произведение искусства, по крайней мере, оно претендует на создание чувств, не мышление, конечно, но деятельность. Общественная практика становится самодеятельностью, «самим себя конструирующим путём». Отдельное сознание элиминируется как бесконечно малая величина, но в организованном пространстве практики выступает самостоятельный объективный дух, который не отличим от материи. Идеальное и материальное действуют заодно, как единая сущность не только общественного развития, но и развития вообще, и «красота — мера этого развития», по крайней мере (не извиняюсь за игру слов — это не каламбур) — мерой его целесообразности, его абсолютности. Свободные пространство и время становятся как «белый шум», «реликтовый фон», «основные краски», которые превращаются инструментами преображения относительности в момент абсолютного — движения — свободными пространством и временем, порождёнными в качестве «инструментов» исчезновением их самих.

Надо ли это знать? Или ввяжемся, а там видно будет? Я бы вообще прекратил описывать все эти попытки передать экстатичность мышления. Это всё равно, что описать опьянение своими словами, — похмелье удаётся лучше — оно выразительнее.

Поэтому бессмысленно гадать о том, есть ли философия, или уже почила. Как и о том, существуют ли чувства. Для тех, кто чувствует — нет проблемы, а те, кто довольствуется ощущениями, никакими протезами и эрзацами ущерб не восполнят. Чувства консервативны. Они противятся всему, даже самим себе. Здесь не работает «Пора одной любви уже проходит, пора другой любви её сменяет». Они умирают в своём бессмертии в одиночку. Не удержусь, как гениально сказал Прокл: «Всё бессмертное вечно, но не всё вечное бессмертно». Что он под этим подразумевал — неведомо, но красиво до слёз. Поэтому тот, кто осмеливается чувствовать, рискует ощутить не только всю радость мира, но и всю боль, которая лишает сознания.

Чувства, в том числе и чувство свободного времени, ещё надо превратить в необходимость — без них *свободно* можно обойтись. А это не происходит само собой, по наитию, спонтанно. И эта отрицательная свобода очень привлекательна, она завораживает возможностью-бытием, отказом, отрешением, абсолюцией. В этом — искусственная проблема отказа от индивидуальности, от личности, персонификаций, последним прибежищем которой является искусство и философия, как тотальный эгоизм, что бы она ни утверждала. Смысл философии, что она — вопреки, даже если и не права. Она — тошнота в невесомости, подкатывает, как абсолютная свобода. Непосредственность предельной и запредельной опосредованностью всей истории природы и общества. Ею можно быть или не быть, её *всевременность* воплощается в свободном времени, которое одновременно во всех последовательностях, но не знает инерции, направ-

ления и статики, энтропии. Воплощённое противоречие энергии и движения, дайнемис и энергейя, во всех смыслах, возможных и невозможных.

Если серьёзно, то ведь предстоит ещё и обратный путь от теории к непосредственному действию, которое совершенно не похоже на соблазн (хотя скандал — по-древнегречески дословно *соблазн*). На себя. Это как в анекдоте про внутренний голос, обещания «хорошо будет», разных преференций и льгот, бонусов в дальнейшем. Такого не будет. Да и надо ли следовать этому пути, надо ли исследовать свободное время, или изобретать «способ его добычи»? Ведь оно — не безусловное благо («вот наступит, придёт время, и будет счастье») «прекраснодоброе». Калокагатия. Может быть и опасным, вызвать такую цепную реакцию, такие процессы, к которым люди не готовы. Хотя это всё пустое. Но проблема в том, что свободное время наступает хоть сознательно, хоть бессознательно». От него свободно можно отказаться. И это привлекает больше всего, хотя отказ от свободного времени сродни отказу от жизни. Великий отказ. Отказ от универсальности. Вырывание из плена времен, в том числе и свободного, как маргинальность (как ругательное слово). Отказ от рабства времени требует освобождения самого времени. Хотя бы независимости.

Меня нехорошо поразили книги («Оскудение», «Узорчатая пестрядь», «Потревоженные тени») воспоминаний Сергея Николаевича Терпигорева, когда он описывал состояние России после отмены крепостного права (Сергей Атава — псевдоним, у него в полукожанных переплетах до революции выходило даже шеститомное собрание сочинений в издательстве Маркса, писатель незаслуженно забытый, хотя ныне забыты и Лев Толстой, и Чехов, и Достоевский, да вся русская литература, обсуждается вопрос, а была ли она Великой, что уж тут говорить. О каком свободном времени?).

Так вот, когда отменили крепостное право, появилось огромное количество мемуаров, воспоминаний, как это было замечательно, в какой гармонии жили крепостные и их хозяева, причём, как несчастье восприняли это и сами крестьяне, а то, что крепостное рабство развращало и дворян, и их крестьян, челядь и прочее — не в счёт. Вспоминается по ассоциации и книга Рохаса «Долина павших», где описывается те дни, когда «народ» выходил на улицы с лозунгами «Долой свободу», «да здравствует Инквизиция!». Нечто такое происходит и сейчас во всемирном масштабе. Такое впечатление, что наступает отказ от всего человеческого, кроме самого низменного. Восстание против красоты, отказ от мышления. И вполне может статься, что это «конец с ужасом и ужас без конца» одновременно. Может, мы пропустили тот момент, когда происхождение было возможно, и это та планета, где эволюция завершилась, угасла на стадии простейших?

Жизнь скотины может быть куда более привлекательна, чем жизнь свободного человека. Обыватель оправдает что угодно. Эстетизирует свое холоп-

ское положение, или, как сейчас, пускает розовые слюни по поводу «гражданского общества» и буржуазности, как предела мечтаний, умилительно рассуждая о государственности, ценностях и морали с нравственностью. Нынешнее слабоумие мышлением назвать трудно, но не перестаю удивляться торжествующему холуйству и хамству. Отказ от свободы и от её предметности в форме свободного времени, как и отказ от философии — всюду. Это повсеместное явление выдают за здравый смысл, который не за здравие, а за упокой.

К тому же, всё это умозрительно, как если бы Гефест в Античной мифологии изобретал не мифических помощников, не механизмы, а современный полноценный компьютер. Куда его подключать? Нужны электростанции, развитая промышленность, чтобы он стал обыденным явлением, нужна сама обыденность — не из дерева же его лабать при помощи топора и без единого гвоздя? Нужна потребность, хотя всякая потребность непотребна, как крайнее выражение нужды, даже если это потребность в идеалах или свободе. (Можно сформировать любую потребность, в принудительности, например, или в садизме, в любом извращении, в каннибализме. Это — к слову. И не запретишь.) Но африканские племена прекрасно справляются с компьютерами, телефонами, и даже система платежей у них более продвинутая, чем у европейских стран. И люди из каменного века в дебрях Амазонки легко включаются в современную цивилизацию. Так что и мы, думается, без особых проблем можем освоить свободное время как среду обитания, ежели вдруг такое время настанет. По крайней мере, как потребители.

Но проблема то в том, что свободное время требует свободного мышления и действия. А где их взять? Иначе оно — не свободное время, а праздное. В той мере, в какой человек убивает свободное время, оно убивает и дезинтегрирует его в отместку. Всякое действие равно противодействию. Чисто механически. С трением, сопротивлением воздуха, инерцией и т. д.

И учиться действию в свободном времени необходимо сознательно, свободно, иначе оно — как наркотик, как абсолютное зло, уничтожит человека, превратив его в обывателя, хотя оно никакое: ни злое, ни доброе. Мало ли, что приятно! Здесь необходима хотя бы «сила духа», но и она, как произведение свободного времени, может предать и перейти на «сторону» свободного времени, которое попервой противостоит человеку, как объективное условие его бытия, как природа, оно может быть откровенно враждебно, убийственно, несовместимо с жизнью. И снова нужно противопоставлять себя природе (в том числе и природе человека), и даже отказываться от мышления и чувств во имя суетных целей.

Примечательно, что обращение к природе всегда случайно и произвольно. Вполне можно согласиться с Полем Валери: «Самая наивная склонность — та, которая каждые тридцать лет побуждает открывать «природу».

Природы не существует. Или, лучше сказать, то, что мы воспринимаем как *данность*, есть более или менее древний продукт.

«Мысль о возвращении к девственному естеству исполнена опьяняющей силы» (Поль Валери. Об искусстве. 1993. С. 127). И дальше вполне можно пересмотреть всю историю природы и общества, и с точки зрения тоски по «возвышенному», и просто «благородства», и как отношение «человеческого», сотворённого и вечного движения.

Изумление, которое даруется искусством, как удивление философией, вызывает восторг от природы, — на неё распространяется всё человеческое, — и ищет природу в себе, и если не находит, то создаёт, как основания.

Я о другом. Восторг Маркса, что «прав будет Гегель — идеи будут править миром» — не разделяю: смотря какие идеи. Не хочу выглядеть трусом, но пока я вижу в массе своей примитивизацию мышления, ампутацию чувств, которые болят фантомными болями, довольствуясь примитивным реакциями, формализацией и стандартизацией убогого набора раздражителей. Так что действовать следует так, как будто ничего не происходит. Само отпадёт, само утрясётся. Авось пронесёт. А коли нет, то мы ничего об этом не узнаем. Так и сгинем. Хорошо, если без следа.

Ещё раз скажу. Вопрос о свободном времени — вопрос о чувствах, которые надо сформировать как необходимость и превратить в свободу. Но чувства, да и вообще, бытие духа — консервативны, поэтому ими руководствоваться нельзя — предадут, обманут. Предательство их в том, что они подспудно и явно желают традиционности, постоянства, незыблемости, хотя суть их — в изменчивости. Когда становятся привычкой, они тошнотворны и ужасны. Инструментальность чувств и мышления тупы. Чувства стремятся к самовоспроизведению себя, но готовы предать в любую минуту. Превращение страшно своей неопределённостью. Я не за то, чтобы опасаться и осторожничать с чувствами, но и против следования им. Не сторонник регламентирования свободного времени, тем более обособления его в понятии — пусть буйствует, но регламентировать всё же придётся, хотя бы в сфере распределения и форме потребления. Разделение свободного времени, как разделение труда — страшный эпизод возможной истории, и даже пакостное событие, но его избежать нельзя — болезнь роста. (Сердце не успевает за ростом организма, а уж сознание...) И выход только один — расти быстрее. Хотя стимулирование страдает непременной гипертрофией, вплоть до неравномерного развития, представляя естественное развитие, как событие. Развитие не *равновременно*, но пытается быть одновременным. С этим справляется только становление, которое не количественно, вне времени и пространства, и вся его история здесь, днесь, и в возможности тоже. Развитие прошлого и будущего — в настоящем, хотя, что считать настоящим для нынешнего?

Иными словами, ошмётки философии, помимо полной неспособности к мышлению, могут на деле оказаться некоторой сверхспособностью, объективной (Вернадский назвал бы это «ноосферой») возможностью космического мышления, с интенцией к самостоятельному развитию. Никакой мистики. Это как сплошность теллурических океанов, в которых зародилось нечто между жизнью и смертью. Океанов в преддверии эволюции, но будет ли дальнейшее, возникнут ли высокоразвитые формы жизни? Доразовьются ли они до мышления и чувств, выработают ли язык? Неизвестно. Быть может, это старость и тупик, бытие к смерти, и всё — на уровне коллоидных растворов? Неизвестно. Впереди неведомое, что гадать. Вполне может быть, что некий момент, когда мог появиться человек, упущен, ещё на стадии амебообразного, но ведь может быть и совершенная непредсказуемость, спонтанность, и прорыв в иное-не-иное.

Я не надеюсь на лучшее (да и лучшее ли это?), но ощущение океанов в преддверии жизни и дальнейшего есть, и наше жалкое состояние чревато развитием, но может и не быть. Хотя старость, дряхлость с развитием и становлением не сочетаются, но ведь и они — необходимый этап жизни, как и смерть. Они не считаются ни с чем.

В любом случае, философия — подобие самой себя, имитация мышления. (Отказ от философии — только констатация собственной безмозглости, свидетельство капитуляции. Замена чувств симуляторами. Зато какая графика! Ничего не теряешь, кроме времени.) Она — приспособительная реакция, попытка приспособиться к неряшливо объяснённому миру, наталкивается на непонятную и враждебную свободу, которая не «по правилам», но она может быть иной. Это не более, чем адаптация, оправдывающая приспособленчество, но она чревата свободой, а всё, чего коснётся свобода, преображается и становится иным, даже если это просто ошибка, как в случае, когда эмпирически проверяли законы Менделя, которые оказались верными для гороха, но не сработали для повилики, которая двудольная и имеет другие способы размножения, тогда ещё не знали о партеогенезе. (То ли для повилики, то ли для ястребинки, не суть важно. Суть в неимоверности и упорстве, почти маниакальном, самого Менделя: действовать и умереть не признанным, не зная, что ему открылось, полагая, что его не приняли и забыли навсегда — это даёт силы следовать своим заблуждениям. Истовость и ничего кроме. И так во всём.)

Так и для свободного времени законы экономики уже другие, не потому, что это исключение из правил — просто природа другая. (Законы наследственности и эволюции вообще не применимы к развитию общества. Как и законы физики и химии. Они внешне приложимы. Я их использую в качестве образов, упрощая). Свободное время — другое для себя. Оно не скрещивается и не имеет рецессивных и доминантных признаков, не подчиняется законам наследственности, образно говоря. Оно не антиномично, но само — живое противоречие,

хотя таковым не чувствует себя. Грубо говоря, законы наследственности или законы чистоты гамет для свободного времени не действительны, оно не скрещивается, но может вводить в заблуждение своей похожестью. Оно бесподобно, и подобий не имеет, хотя охотно кажется. То есть не по генотипу, а по фенотипу оно может быть любым.

Тем более, что оно развито-в-себе, — его бесконечность иного рода, — не бесконечно, безгранично большое — это абсолютное, но ровно столько сколько необходимо, непомерно, но не безразмерно, соразмерно, чтобы быть вполне, и быть собой, хотя в случае с человеком это и снятие в себе «всего другого». Полнота бытия не предполагает дикую дурную бесконечность основания (но основание — как бесконечное становление) суммы всех форм, окостеневших и сбывшихся, но всеобщность, а не общее, всем и всему в целом.

Рискну предположить, что свободное время может принимать любые образы, любые обличья — это нельзя предсказать, предположить, а только временно принудить, несмотря на сопротивление. Попытка навязать свободному времени «научность» напоминает эпизод из шварцевского сценария «Дон Кихота», когда лекарь, пользующий идальго, говорит: «Что эти олухи и невежды делают!? Они пускают кровь по нечётным числам, когда современной науке доподлинно известно, что надо по чётным». Так что ещё долго будут пускать свободное время, или прикладывать пиявок — всю индустрию развлечений, как средство его нейтрализации и обуздания. Но не на то обращают внимание. Наличие свободного времени — это грозное предупреждение, что бытие исчезает, уходит, потому что время порождается лишённостью, и в тот же момент, что исчезновение — единственное, что остаётся. Свободное время само по себе — как пустое пространство, ему ещё предстоит становление, возникновение и развитие.

Действительно, избыточное давление свободного времени может наделать много бед, если не научиться сознательно использовать его мощь. Заставить его работать — плохая идея, но это первое, что мыслится, хотя всё дело в том, чтобы переосуществить себя, а не приспособить свободное время. Не прилаживаться, но слиться воедино, изменив свою природу, но не изменив ей. «Мне за подругу вода речная, не изменяясь, не изменяя. Она проходит, но век не минет, и покидает, и не покинет» (Хименес, пер. Гелескула). Это вопрос сугубо практический. Как невозможно, зная всё о музыке и скрипке, научиться играть, не прикасаясь к инструменту, так и впасть в свободное время невозможно вне действия с ним, в нём, в ансамбле, не впадая в «каданс» свободного времени, игры сущностных сил. Хотя свободное время можно представить как абсолютную возможность, и при этом оно возможности не знает, как всецело действительное. В нём нет разделения на духовные и физические силы. Силы в нём не властны, и дух и материя — едины в движении бытия и ничто. Тут уже на ран-

них этапа срываешься в это движение, опережая свободное время. Тут сил никаких нет, не потому, что в изнеможении, а потому, что смысл этот — в игре природы. А свободное время и есть природа человеческого, как не бездействие, но свободное человеческое деяние. Всего не предусмотришь, поэтому необходима ещё смелость, дерзость жить, не считаясь ни с чем. (А как?) Трудно быть непредусмотрительными, жить, очертя голову.

Точно так же — в случае свободного времени, которое имеет смысл, как место встречи, узнавания и прощания времени и вечности (я бы написал: «и прощения», но свободное время ничего не прощает и не забывает) — это только скорость и направление, причём произвольное — только отношение. Поэтому в преддверии, предвосхищении свободного времени, появление блажных книг неизбежно. Они — в экстазе и самоупоении, как у мистиков, отцов церкви, неоплатоников, забывая, о чём они, полностью поглощаясь предчувствием. И даже их кострубатая, косноязычная поэзия превосходит всё, что можно помыслить и почувствовать. Хочется остаться и забыться в этой беспечности, и ни о чём не думать.

Кода-то Ахматова гениально написала о прозе Грина, что это «перевод с неизвестного». То же можно сказать о современной мысли: там, где она есть, я не имею в виду официальные площадки, а там, где она пробивается из-под спуда правил параграфов, уставов и предписаний, где она искренна до глупости. Но это перевод с общеизвестного и очевидного. Грин вызывает восторг у тех, кто может вообразить. И, по крайней мере, проблема свободного времени требует решения, как проблема его воспроизводства, простого и расширенного, как просто непосредственного производства, и в то же время, как проблема продуктивной способности воображения, и ещё в большей мере, репродуктивной способности воображения, вплоть до исчерпания воображения и способности. Что просто решает искусства статуса неприкасаемого, священной коровы, и делает способом превращения. Воображение — последняя граница рассудка и первое основание разума и чувства, оно по ту сторону предела — уже не способ, не способность, а жизнь без оснований и предпосылок, без условий. Никаких инстинктов самосохранения, никакой жажды жизни. Жизнедеятельность самопорождения, стремление, как таковое. Истощение и усталость, к сожалению, исчерпаемость — не естественный предел, внешняя необходимость. И у свободного времени есть «возраст», «унылая пора» и «было», «временная амнезия». Ты «забываешься» самим становлением, и тут примирения быть не может, даже в стоической невозмутимости. Ненависть к старости должна быть, как допинг.

Поэтому я нерешительно (решительно), в качестве эксперимента, вливаю текст, который написан и издан 35 лет назад. Всё, что написано позже или видится как комментарий, дано другими шрифтами. Текст дан неизменным. С одной стороны, мне интересно, как он изменяется (вокруг него кристалли-

зуются, налипают, тянутся иные идеи и слова — так за сухогрузами с большим водоизмещением тащится неимоверное количество воды. Тут тоже, не гидродинамика, а *времядинамика*, со своими вихрями, и, как в аэродинамике, флаттерами и прочими, даже со своими звуковыми барьерами, световыми — точно. Любопытно, как текст поведёт себя в различных средах), не изменяясь — достаточно большой срок в пределах одой жизни, которая коллапсируется и свёртывается в чёрную дыру, стремясь стать средоточием всей истории, искривляя пространство и время вокруг себя, чтобы увидеть свой рост и деградацию, узреть силу тяжести и испытать её, как силу притяжения. (В то же время мы наблюдаем это в любом артефакте, помещённым в историю.) С другой стороны — если 35 лет назад не смогли прочесть, то и читать не будут, так что этот текст — чистое произведение. Он ни к чему. Это прекрасная возможность определиться, хотя бы по двум точкам, с тенденцией в рамках одной человеческой жизни.

Радует то, что тема не стала менее интересной и захватывающей, и решения по аналогии, дескать, свободное время так же опредмечивается, как и «необходимое рабочее время» — уже не решения. Здесь имеешь дело с безусловно неведомым, чему имени нет, но предметным и зримым.

Это — не попытка в созерцании написать «феноменологию» свободного времени, не желание схватить в видимости явление, скорее, хватание вслепую, осязание того, что я условно называю «свободным временем. Ни зачем. Просто так.

Это всё равно, что говорить, исходя из собственного опыта, что поток становления, в который нельзя войти ни дважды, ни единожды, но можно превратиться в него, на ощупь — сверхтекучий и мокрый.

Более того, я точно знаю, что проблема свободного времени — не проблема, и она временная — разгадка тайны может быть банальной до омерзения, и вовсе не в свободном времени, и тяга с интересом, любопытство — ложные.

Бессилие философии очевидно. Более продуктивно действие со знанием дела, но философия ближе и привычнее. Но уже сейчас видно, что из свободного времени и становления с превращением рождается Красота из ничего, необусловленная, абсолютная (хотя ничего абсолютного нет).

Умозрительно здесь ничего не происходит и не решается, и эмпирия — советчик плохой. Это какое-то междумирье, антиматерия, взрывоопасная, как антидвижение антивещества. «Тёмная материя» — бред, конечно, однако бредовость свойственна незнаемому. Разум — в поисках метафор, чтобы заполнить пустоты. Противоречие, искусственно имплантированное в чуждое движение, наделённое ложной формой.

При этом приходится делать поправку на особенности восприятия, представления, на возраст, наконец, когда, привыкнув жить в бессильном мире

(к чему сила, целеполагание, если ничто не оказывает сопротивление), привыкнув жить свободно (дурная привычка), ты вдруг сталкиваешься с необходимостью «воли к жизни» и страшными усилиями, чтобы просто существовать. Ты сталкиваешься с невыносимыми ложными условиями, с задачей двигаться, попадаешь в зависимость от организма, который тебе не подчиняется и твоей воле не подвластен, и подозреваешь, что и мышление тебя подводит, по крайней мере, не захватывает целиком и не даёт забвения. Но великая идея, хотя она великая — только для тебя, ещё удерживает в состоянии, если не радости встречи, то хотя бы в щемящем прощании, когда ты понимаешь, что идея — последнее, что остаётся, как свет путеводной звезды, которая, быть может, уже погасла.

Ты теряешься среди сиюминутных целей, и понимаешь, что спасенья нет. Да и не нужно тебе ни спасение, ни покаяние. Ты сделал всё, что мог. Но — не получилось. А что должно было получиться? Ты даже готов цепляться за ложную идею «справедливости» среди равнодушной вселенной, в развитии в никуда, но ты не можешь лгать себе, понимая, что смысла нет, и его надо создать или перестать трепыхаться.

Но осознаешь, что свободное время и становление — одна и та же проблема, своеобразный принцип жизни, который оправдывает то, что ты вообще жил, хотя в оправдании не нуждаешься. Жизнь прекрасна своей напрасностью, и ты был вполне, и действовал на свой страх и риск, как все.

Тут не хочется остаться в веках, да ещё и в чужой памяти — достаточно, что ты причастен к этой восторженной стороне жизни. «Кто был, в ничто не обратится, причастный бытию блажен» (Гёте). Читаешь, как заклинание, хотя стих этого не стоит, но он одушевлён мной, я им воодушевлён, и главное тут — напрасность. Когда уже не неповторимость жизни, а неповторимость смерти начинает довлеть. И всё преображается. Гаснут любимые книги, музыка, поэзия, а ты всё цепляешься, понимая в полной мере, как это сложно — написать, как Гёте, и даже написать о Гёте, как фантастично невероятно сделал это К. Свасьян (и помнишь это обрывочно, фрагментарно, но как целое) в «Гёте», и совершенно по-другому в «Мировоззрении Гёте». Это происходит на глазах, когда ты читаешь, со всеми книгами, с которыми ты сталкивался на своём веку, и ты уходишь, а они остаются. «А птицы будут петь и петь, как пели» (Хименес), но так, как при тебе — никогда. Вот это «никогда» — твоё «невозможно», потому и повторяешься, а мог бы ничего уже не писать. «Чему когда-то верилось — забылось… Но ты, неверная, нечаянная радость, не забывай меня. Не позабудешь?» А ты сам забыл, о чём ты. Своеобразный запоздалый импрессионизм. Ты на англосакский манер теряешь Emaciation — «волю к жизни», страдая, mirasmus, попадая в плен ко времени, когда сталкиваешься с неосуществлённым. Синдром крайнего истощения, поражения. Одна, во всей полноте, неизбывная тоска по

несказанному и незнаемому. Никакого «беспокойства духа», который спешит упокоиться в себе. Свободное время — это нечто неосуществлённое, и, несмотря на сбывание — несбывшееся. Редкая острота восприятия при полном одеревенении чувств, которые принуждены к штампам, но воспринимаемы как впервые. Ты сочиняешь и свой интерес, и волю, и даже крайнюю необходимость действия.

Вот эта опасная воодушевлённость всё же лучше, чем чувство гадливости и омерзения, которые на самом деле вызывает жизнь. Хотя ты уступаешь это пространство открывшегося другим, без сопротивления, без боя. Капитулируешь. Ты отступаешь в себя. Оступаешься в себе.

Становление времени как пространства человеческого развития

Вообще-то, современный пиетет, священный трепет, который испытывают к истории (при этом бесцеремонно её потроша и испытывая снадобье из её останков, приготовленное на окружающих) — свидетельство того, что человечество впадает в старческий маразм, минуя и юность, и зрелость.

Уже никакого пиетета, и, если готовили снадобье, митридат, то в качестве противоядия против историчности. Ныне вообще отказались от истории, по крайней мере, игнорируют её, пытаясь утвердить власть сиюминутности как вечность, а там хоть трава не расти. Но трава растёт, и история растёт, и шелест роста в шуме языка, который, как шёпот и шорох, сопровождает это развитие, как философия — хоть отменяй её, запрещай или упраздняй.

«Мудрость», черпаемая из неё, патриархальна и добропорядочна, но банальна и пресна, скорее «мудрёность», удобная в употреблении, и изобилует таким богатством оттенков, что всегда можно подобрать нужный тон, на любой, самый изысканный, взыскательный или непритязательный вкус.

На самом деле, это торжество безвкусицы. Вкусовщины. Эклектика с её безразличием. А если оставить мнимую строгость и вспомнить Вторую Эннеаду Плотина, рассматривая его как современника, то есть произвольно и небезразлично, решая вопрос, София (мудрость) повлекла за собой Душу к ниспадению, в нижнюю область, или, напротив Душа была причиной ниспадения, да, к тому же, приняв недвусмысленное примечание, что Душа и София — одно и то же? И что Плотин указывает на нелепость догмата о ниспадении, поскольку Душа может быть причиной его, а сама никуда не нисходит, она не знает падений, а только освещает тьму, и таким образом, высвечивая, формирует из тьмы, из ничто разные сущности, а дальше вообще, увлёкшись драматическими коллизиями Плотиновского изложения, хотя драмы ещё нет и в помине, озаботившись его стремлением избежать произвольностей и мнений, указаний на дерзость и богохульство, то даже, если бы я привёл всё, что осталось на древнегреческом, это не внесло бы ясность.

Смысл как раз в этой произвольности, в которой мылить и нуждаться в материи для воплощения — это всё бесконечное стремление, и ложные ли это доктрины, мои фантазии, фантазии Плотина, предупреждающие о словоблудии, затемняющие божественные доктрины древности — не суть важно, смысл в том, что эти древности по-прежнему волнуют и заставляют не спать, и учащаться пульс, как будто от этого зависит твоя жизнь — всё это то беспокойство духа, которое передаётся Душе, хотя ты принимаешь это с известными оговорками. Чистая поэзия. Где Бог может быть нуждой для нуждающихся, а можно и обходиться без оного, удивляясь чуду становления и чувствам. Всё зависит от настроения, а не от того, как оно на самом деле было.

В основном Мудрость используется в виде дефолиантов культуры. Опрыскивается в качестве «приворотного зелья» аэрозолями и дезодорантами историзма, дабы смягчить воздействие «амбрэ» нелюбимой эпохи, и тем придать ей приличный цивилизованный вид (он же товарный). Если бы история не оставляла при этом ещё и чистое пространство человеческого будущего развития, то об этом складе раритетов можно было бы вспоминать только в особо торжественных случаях, скажем, «Юбилея со дня основания Трипольской культуры» или круглой даты со дня сдачи Крыжополя монголо-татарским захватчикам. В истории нет круглых дат и демаркационных линий, чётко очерченных периодов. Она вся — сплошь сочинена, и ничего реального в ней не содержится, кроме её самой. Всё светится идеальным светом, создавая умозрение, и свет этот ничего общего со своей природой не имеет, подобно тому, как видимый свет непохож на свой электромагнитный субстрат, природа которого так и остаётся неизвестной, равно как и природа видимого света. Так и история по видимости и история в себе, как она была на самом деле, не похожи. Идеальное пространство между историей в себе и историей для нас — жилое пространство человечества. Некоторые предметы целиком ушли в историю, превратившись в почву, в саму историю, некоторые выглядывают наполовину, являясь сущностью по видимости, а есть парящие над поверхностью, как само это парение.

Причём предметность — это не только вещи, но и чувство становления и умирания, сами превращения — всё многообразие человеческого. Но разность их, как и поверхности, горизонты истории, слои, — призрачна, прозрачна, всё пронизано светом, деятельностью, как субстратом становления. История приближается так же, как удаляется. И пространство развития

«уменьшается», оставаясь прежним (возвращаясь им и расширяясь). Время уплотняется и происходит «раньше времени».

Когда наступает момент сознательного творения истории как субстанции человеческого развития, то история всецело исчерпывается, обретая последнюю меру времени — красоту, предел, открытый, односторонний, который можно только покинуть как основание.

Это тот случай, когда вопреки заверениям «Спинозы» (беру в кавычки, чтобы подчеркнуть, что это мифологема, а не реальный исторический персонаж, и приписываемое ему обладает мистической реальностью, хотя он достаточно определённо выражался. Поэтому любая теорема, любая фраза неисчерпаемы), акциденции и модусы, фигуры создаются (речь может идти о том, что всё сказанное Спинозой есть только акциденции и модусы, приписываемые бытию, и время как раз существует до акта творения, который «оставляет в живых» единственную причину — «бытие человека», т. е. чистую деятельность, которая одна и та же, поскольку пространство и время человеческого бытия — её производные, и та же и иная, поскольку несовершенна, назавершённа, не окончательна, а потому порождает и допускает пространство и время в своей антиномичности, распадаясь на «две» (на сотни) рукавов в своём «гирле, «устье», предполагая течение не только времени, но и пространства. На множество историй, как единое движение: динамическую историю, потенциальную, временящую, свободную, становящуюся и ставшую, актуальную, пространствующую, гипотетическую и невозможную.

Но обе имеют ещё и третью историю — отношения их, или становления, которое «внеисторично» (хотя становление не исторично, поскольку само и есть историчность).

Каждая из них друг для друга «*иная*»: если мы пребываем во временной истории, то пространственная сторона будет потенциальной, и страдать дурной бесконечностью, если в актуальной истории покоя, свершений, сбывшейся истории, то временная сторона станет странствовать, если в актуально-потенциальной, то теряются отношения прошлого, настоящего и будущего. Они — одновременны. И приходят они, разрешаясь и истекая из единого потока — свободного деяния в свободном времени. «Несвободная» история необходимости, положительная и совершенная — умершее и безжизненное свободное время — избыток бытия. Необходимость — почившая покойная свобода, и мерой её не является.

Свобода не бывает ставшей, но может быть бывшей. Необходимость без свободы бывает, но свобода без необходимости — нет. В какой-то степени роль необходимости может исполнять, играть философия, как возвратная произвольная форма, создавая «петли времени», изображая силовые линии воспроизведения, но это особый случай. И в большинстве случаев философия — дорогая игрушка, предмет роскоши. Возможность начинать с самого начала. Возвращаться к истокам, как к своему концу. Симулятор, имитатор настоящих и возможных чувств. Зато какая графика! Ничто, кроме времени, не теряется. Природа в лице философии показывает язык, и исследования, от Гумбольдта до современных исследований — занятие сугубо эстетическое. Пустая *трата времени.* И тем необычны. Создание всё тех же мотыг для обрабатывания своих дачных участков, правда, из новейших материалов, с применением головоломных технологий и с учётом современного дизайна и технологий. Тут срабатывает своего рода «предел Хейлика», лимит деления клеток, и дальнейшее развитие превращается в старение. Клеточное старение свойственно и для свободного времени, хотя только в ограниченном смысле, и не навсегда. Свободное время стареет в пространствах, является стареющим пространством не фатально, а только если вовремя не изменяет форму развития, «замешкавшись» в самовоспроизведении, в одной и той же определённости. (Понимаю, что неправомерно переносить закономерности биологии на общественные процессы, но уж очень образ хорош).

Затаившаяся до срока, красота становится единственным критерием человеческого развития, которому некуда развиваться. Оно распространяется бесцельно, свободно, и обусловлено лишь одной возможностью красоты, ограничено её неопределённым образом, принуждая тем пространства и время быть своими предикатами, инструментами самопорождения.

Все представления человечества о красоте обнаруживают её в каждом моменте, как развёртывание единственного образа в своих ипостасях, но без следования, не количественно.

Абсолютная красота одинакова во все своих разнообразах, она не гомогенна, и меру находит в бесконечном стремлении без начала и конца, то есть, пребывает и прибывает, как будто растаял лёд вещей, предметности, будто так и надо в этих пределах — она стала свободной стихией, хотя в другом «агрегатном» состоянии её природа была той же, но свойства другими. В пределах истории и философии красоты это сказывалось, как невыразимость, и схватывалось чистой поэзией, причём во всём течении, это ярко выражено у Плотина, Дионисия Ареопагита, Августина Блаженного, часто как впадание в экстаз, впадение, возвращение в становление, в перво-

движение религиозности, и сдержанно, как у Кузанского, Спинозы, Шеллинга, Гегеля, Беньямина, Адорно, Канарского… Тут надо перечислять всех, даже тех, кого специально абсолютная красота не интересовала, потому что самая невзрачная фраза любого истового сочинения математики ли, биологии, физики, любой проблеск сознания вбирает целиком всё, что об этом написано и не написано, как музыку всеобщего развития, включая умирание. Вот это и удивительно, что этому имени нет, но эта суть движения присутствует везде, осознаём ли мы это или не осознаём.

Красота слишком разная в образе. От бытия истории к красоте заключить нельзя — можно лишь заключить последнее для самой истории, где она уже собой не является, утрачивая не понятие и определение, а своё время в целом. Понятие — самое последнее, что остаётся от истории — прежде она теряет сущность.

То же и со свободным временем. Оно — последнее время, время из времён, порождённое прехождением формы времени. Оно совлекает понятие, но остаётся в прехождении, достигнув имманентности, себеравности, опосредованное всем существом развития.

Исходя из философии красоты, полагая в основание признание её абсолютности, настоянное на беспричинной вере или сентиментальном доверии «чувствам-с» (которые при всей относительности дают нам о прекрасном вполне убедительное представление, минуя понятие, оставаясь равнодушным к предметности, тут же доверительно сообщая, что всё это видимость, — да и никто на этот счёт, кроме «чудаков», видящих в формах искусства больше, чем жизнь, не заблуждается, и самое интересное, что они правы, — можно из всего этого выстрогать только стенд, на котором будут развешены плакаты с очередной системой категорий красоты, таблицей её эманаций, схемы классификаций и типологий и прочих наглядных (наглых) средств (цель оправдывает средства, а средства порождают ложную цель, хотя все открытия совершаются в погоне за ложной целью) обучения, которыми, как решетом, пытаются исчерпать океаны движения.

Может быть, красота вообще тавтологична и есть противоречие самой себе. Красота — это Красота. Красота есть Красота. И потому все дальнейшие рассуждения — отпадение от первообраза, которого мы не знаем. Красота поддаётся анализу и определению лишь апофатически, через отрицание, сквозь «не-иное», «через не то и не это». Мы, наверное, можем сказать,

чем красота не является, по крайней мере, для нас. Когда анализируется мера — она безотносительна к красоте, как снятое противоречие.

Красота односторонне может быть (красота вся — не может быть!) целью, мерой, идеалом бытия, но бытию не принадлежать, и последнее не может являться ей основанием, как «наконец-то», но может принимать её произвольно, свободно, или так же свободно отрицать, может выдерживать красоту, становясь временным основанием, но не в силах удержать и удержаться, срываясь, оставляя в свободном падении. Её бытие внебытийственно.

Самое непонятное здесь то, что если бы я утверждал, что бытие — возможность красоты, а она — действительность бытия, которое мера красоты и её время, то это бы тоже отражало существо проблемы.

В свободе красоты есть много недоступного, «пальцам нашего грубого познания» (С. Булгаков) неприкасаемого.

Если немедленно (быстро), здесь же я буду утверждать, что красота, та самая, абсолютная, есть дело рук человеческих, и происходит в процессе доразвития бытия до своего (бытия? красоты? человека?) понятия, то я не смогу найти ни одного аргумента, ни одного контра-тезиса против этой неинтересной для меня идеи. Красота может и выражается в некрасивом мире, без-образном, безобразным образом, некрасивыми средствами, часто негодными, которые извиняет только то, что они — всего лишь средства и представляют нечто не по своему образу и подобию. Да и красота — чувственно-сверхчувственна. Так можно подразумевать красоту, имея в виду время, рассуждая о нём.

Когда я упоминал о единственном шансе, вероятно, упущенном человечеством, действительной возможности произойти и сбыться, именно это я и имел в виду. Красоту всегда имели в виду, не более.

У человечества есть всегда только одна возможность, и при том та, которая сбывается как единственная, фатальная постопределённость, экстерриториальность истории, как со-временность, которая пытается стать со-бытием, но всегда не-уместна и случайна, мета-исторична. Хотя и претендует на необходимость, пытаясь представить себя как «лучший из миров».

Прекрасное — максимум бытия, но минимум Красоты, со-

размерность и абсолютное неравенство, даже несоразмерность бытия и красоты, и как таковое есть «пустая мера», хотя максимум и минимум совпадают. Соразмерность, ничего кроме себя не выражающая и не содержащая, и потому не являющаяся приметой ни красоты, ни бытия. Она не знает другого. Время при этом, заимствуя терминологию Кузанского, «максимально», и потому в своей свободной форме есть точной мерой сущности, что воспринимается как максимальное бытие, во всей полноте, но таковым не является, становясь акцидентально, поскольку исток времени — в максимальной лишённости, исчерпанности, минимальности бытия, и делает всё остальное излишним и изгоняющим время.

Время — излишнее, оно — излишество исчезающего бытия, излишнее бытие, остаток его до максимума, до своего конца, до смерти, — здесь всё время, и прошлое, и будущее, как то, что осталось и порождено пустой формой предстоящего до завершения, предзаданное, но свершившееся.

Субстанция свободного времени обнаруживает себя основанием и мерой (почти по Аристотелю), но указывает на то, что прообраз времени — в другом. Становление — основание и конец всему. Поэтому время — не субстанция, а субституция, как ничто последней формы, кажущееся исчезновение и возникновение, видимость, но не причина. Время — отражение становления.

Как уже говорилось, процесс истории (и это не бог весть какая оригинальная идея) можно представить как имманентную борьбу за свободное время, будто за огонь в доисторическую эпоху. Свободное время — «огонь», и к каким последствиям этот «дар» приведёт, неизвестно. Но в ближайшем, в видимом этот огонь свободного времени — жизненная необходимость, а будет ещё страстью и роскошью, чувством, которым будут мучаться и тяготиться.

Свободное время в первом приближении представляет собой избыток необходимости, её перепроизводство. *Абстрактная* суть опостылевшей и исчерпавшей себя формы стоимости по А. Канарскому — в том, что она сверхнеобходима. (Абстрагирование — не только обобществление в односторонность, но и исчерпание всеобщности, единства в многообразии, исчезновении бесконечности в односторонности, универсальности в идентификации и унификации, хотя, возможно и обратнодвижение — развёртывание абстрактного в конкретное.

См.: Ильенков Э. В., «Принцип восхождения от абстрактного в конкретное». Состряпать из всего многообразия действительности абстракцию, лишив возможности действительность, развитие — тоже надо уметь, как и метафизически разделить-развести возможность и действительность в односторонности во времени, лишив времени, как обескровив, обезвременив). Она не может не создавать свободное время, создавая прибавочное, и тем упразднять себя, потому что свободное время — излишне. Оно — издержки производства.

Это перепроизводство обеспечивает развитие духа, и собственно человеческого, которое всегда противоречит истории, и вытесняется, изгоняется из неё, обретает принудительную свободу, на реальность не опирающуюся — придурь свободы. Это всё сверхпрагматичное (то есть не имеющее смысла, не употребимое, истребительное — потом приспособят, найдут применение, одарят потребительной стоимостью), не утилитарное время, которое ничего не стоит, хотя стоит человеческой жизни, и, с точки зрения обывателя, должно принудительно быть бесценным — абсолютной стоимостью.

Как мы, испытывая потребность в свободном времени, не представляем, какие на самом деле возможны последствия, и какие есть фантастические возможности, так в предыстории человек прошлого (то есть, все ныне живущие) в погоне за современной ему формой богатства (свободное время может выступать и в форме собственности, присвоения и потребления), на самом деле, не предвидел, что он способствует становлению свободного времени, как иной формы богатства.

Человек, противопоставляя себе природу в форме объекта, сам эмансипируется, становится в общественной сущности субъектом. А опосредующее это отношение орудие есть скованный целью модифицированный предмет преобразованной природы, который претендует на роль меры отношения человека и природы, и является местом слияния идеального, образующегося ускоренным деятельностью и материальным целесообразным естественным свойством, превращением вещи, вышедшей из себя к своей гибели и застывшей метафизической деятельностью схваченного дрессированного механического времени. Вещь испускает дух, как свободное время. Орудие развивается, превращаясь в систему машин, в саму технологию, как опредмеченное свободное время, но на этом не останавливается, и преобразует, снимая субъектно-объектные отноше-

ния, изменяя природу человека, так что человек не отличает себя от свободного времени.

Отсюда берёт начало история «по нужде» — складирование и накопление бесконечных однообразных способностей, власть числа, бухгалтерия.

Но в области свободы всё иначе, хотя и похоже тем, что человек вынужден противопоставлять и обосабливаться не в природе, но в истории, противореча необходимости и своей природе, и между собой и природой противополагать не просто модифицированный предмет природы, систему машин, науку, технологию, а форму движения, просторы свободного времени или историю, лишённую протяжённости в пространстве и во времени, своего рода квинтэссенцию, свободный дух, «эликсир вечной жизни», «философский камень», твёрдое время, исчезновение как таковое, свободное ничто, становление.

Не буду пересказывать историю (об этом достаточно написано, хотя и не исчерпывает всю поэзию и музыку), оставлю только схему.

Первоначально мерой общественного богатства является объект труда, и человек полностью зависит от того, что даёт природа, что он может сам, что даётся и насколько развиты его орудия труда, определяющие меру его беспомощности. Своеобразный паритет, хотя по отношению к природе человек ничтожен, и выступает коллективным, родовым образом так, что природа «не догадывается», что её уже втянули в некие сермяжные отношения.

Переход к следующему этапу развития, от натурального продукта к форме господства и подчинения, знаменуется в качестве меры общественного богатства ростом промежуточного звена — орудия производства (которое всё больше выступает орудием уничтожения как человеческих сущностных сил, так и этой формы богатства, которая, развиваясь от единичного орудия, через систему машин к технологии и политехнизму, к тому, чтобы саму силу природы, форму движения сделать технократически гипертрофированной, уничтожив человека, как бесконечно малую величину и изгнав из непосредственного производства, в качестве агента его, делает бессмысленным само развитие).

Человек на ранних стадиях является вполне реальной физической величиной. Его рабочая сила играет принципиальную роль, равно как его навыки и сообразительность. Он используется в качестве реальной производительной силы, не от-

деляясь (отдаляясь) от развития орудий труда, и сам являясь орудием, иной, вполне соразмерной производительной силой.

Труд ещё не дифференцирован, и воображение, чувствование, сознание здесь ещё рядом — полноценные участники самого процесса труда. «Человек-орудие» или орудие-человек, сейчас, в своей функциональности в качестве придатка машины воспринимаются вполне естественно, допуская некоторые фантазии в отношении машин, но это не ужасает и воспринимается как более или менее удачный симбиоз, не очень отличимый от взаимодействия, обмена сущностями вещи и человека.

И человек, и машина паразитируют на живом труде, как переменный капитал со стороны человека и собственность на средства производства со стороны машины. Но суть в том, что система машин, само производство в целом всё меньше походит на постоянный капитал, и само становится переменным, подвижным, буквально всё больше становясь наукой, технологией, которая сопротивляется институту собственности. Присвоить идею всё труднее. Интеллектуальная собственность — это нонсенс. Науке противен индивидуализм по природе, по всеобщности и коллективности. Применение персональных компьютеров, когда человек реально становится придатком машины, которая буквально вгрызается в человека, подменяя индивидуальность процессом унификации, сопровождается симптомом и необходимостью идентификации, как проблемой маркировки. Человек подключён к единому процессу функционирования. Он под током времени.

Избыток свободного времени, основанный на рабстве, даёт возможность развитию искусства, философии, культуры и т. д. Вслед за разделением труда происходит раздел сферы духа. Я, намеренно не обращая внимания на подробности, не конкретизирую, хотя здесь они бьют через край в свой художественной неприложимости, неприменимости и непреложности. Можно любоваться до бесконечности — это просто, элементарно, и важна сама интенция.

Далее между человеком и природой возникает относительно самостоятельная, самодовлеющая организация системы машин, почти цивилизация, механизм производства, что приводит к кардинальным изменениям диспропорции в первоначальном соразмерном соотношении человека и природы, хотя ни о какой изначальной гармонии речи быть не может, с самого начала история начинается с противопоставления человека природе, собственно, с этого всё и началось.

В самом деле, на первой стадии сотрудничества и взаимо-

помощи необходимое время было жизненным временем. Его нельзя даже назвать формой общественного богатства, которая появляется только тогда, когда есть избыток времени или прибавочное время. А это происходит лишь в период господства и подчинения при развитии частной собственности и государства. Так что необходимое рабочее время есть форма общественной бедности, крайнее выражение нищеты. Тогда и искусство, и свободное время, которое пропорционально прибавочному свободному времени, являются как предметы роскоши. То есть свободное время ещё не необходимо, оно назойливо, случайно, и потому отдалено своим произволом, видится призраком, видимостью свободы. Оно утопично. Но, с другой стороны, кажется изгнанным в предметность духа, нереальным, эфемерным, являющим утончённость, изысканность, а не мощь формы движения.

С дальнейшим развитием этой диспропорции, особенно при капитализме времён К. Маркса (который гениален в своей трактовке истоков свободного времени и его развития), увеличивается так, что остаётся сама диспропорция как субстанция. Происходят разрывы времени. Дискретность возводится в абсолют, и интересен именно разрыв и сейсмические бури пространства, которое корёжит, но об этом позже.

И как не называй это состояние: пост-индустриальным, пост-капиталистическим, империалистическим — суть одна: общество, основанное на форме стоимости и частной собственности, уже умерло и гниёт, оно нежизнеспособно, форма общественного богатства уже изменилось. Более того, успела изжить себя даже как форма общественного богатства, даже в форме свободного времени, и только клинические идиоты ещё пытаются проводить реанимационные работы, при помощи косметики пытаясь придать респектабельный, товарный вид этой падали. Она воняет.

Смена форм богатства идёт по-временно, от необходимого рабочего времени к прибавочному, и от него к свободному, но все эти «времена» не естественны и порождены принципиальным неравенством и нищетой. (Я не буду полемизировать с Н. Бердяевым относительно философии неравенства, но речь идёт об исчерпании времени вообще полнотой бытия, — никакой мистики в духе Майстера Экхарта или Отцов Церкви, — идея вполне здравая, даже не сумасшедшая, но потрясающая. Идея конечности и исчерпаемости времени, которая страшит и подгоняет, как боязнь не успеть, хотя гонит, как бытие к смерти. «Время оно», когда времени больше нет. Оно порождено свершением и стало в свер-

шении обессмысленным. Как душа неприкасаема для времени, так время не властно над становлением.) Время больше не участвует в развитии, которое становится становлением.

При «капитализме» и его производных существует необходимое рабочее время и прибавочное, за счёт которого производится прибавочная стоимость, и само неучтённое свободное время, которое оказывается «издержками производства», которые необходимо покрыть и свести к минимуму. Это можно сделать, как минимум, двумя способами: либо увеличить продолжительность рабочего дня, осуществив экспансию на всё время, оккупировав остаток, необходимый для простого воспроизведения рабочей силы, что и делалось первоначально в период очень кровавого накопления капитала (Роза Люксмебург вполне права, когда говорит, что это никогда не кончается, разве что вместе с капитализмом, и происходит всегда, как принцип, положенный в основание Капитала, правда, этим не ограничивается), либо за счёт интенсификации производства, скорости, когда машина, опосредствующая движение, обретает почти мистическую силу, мощь, по сравнению с которой человеке элиминируется как бесконечно малая величина, хотя стоимость и производится за счёт переменного капитала, так называемой группы «v» (можно, правда, за счёт применения новых технологий, принципиально новых видов энергии). По крайней мере, сила его и умение в качестве непосредственного производителя не играет особой роли, как «личные качества». Он сам встроен в механизм производства, как его отдельная, заменяемая, стандартная деталь (крайняя мера) абстракции, сводится к механической форме движения, но для которой время возрастает количественно, обратно пропорционально уменьшению человеческого в человеке, стремящегося к отсутствию. Аналитически расчленённый человек, его сведённые к элементарным операциям способности интегрируются машиной и могут легко копироваться (в том числе и формальное мышление, которое имитируется машиной, копируется-воспроизводится-«слизывается»).

Собственно, *одностороннее* и позволяет использовать систему машин (см. К. Маркс, «Условия применения машин»), бытие человека (одномерный человека Г. Маркузе — реальность), чего нет при ремесленном производстве, где преобладает синтетическое умение, граничащее с искусством. Фор-

мальная всесторонность, титанизм грезятся выходом из сложившегося положения. Но всё дело в свободном времени, как условии образования, в смысле, формирования всесторонне развитого человека, который может быть не как частное пожелание, а почти производственная необходимость и «условие развития каждого, как условия развития всех». То есть сотворение всесторонне развитого человека, в промышленных масштабах, не кустарно, как штучная работа.

Свободное время непоследовательно, а одновременно. Его синтез не постепенный, накоплением, а сразу. Его длительность по привычке, инерции. Свободное время не длится. Длятся следствия, которые тянутся вослед траекториями, фигурами, модусами, конфигурациями. Банальный пример: сперва было применение вращения от реки, которая крутит вал, а шкивы, передающие момент движения инструменту, оплетают пространство. Потом появляется паровая машина, и пространство производства льнёт к ней, как к своему центру, но когда появляется электричество, все остаётся по-прежнему: сперва по инерции в центре остаётся всё та же большая машина, от которой шкивы передают движение, и много позже додумываются изменить пространство производства, децентрализовав, сделав источник движения обособленным. Приблизительно так же инерция мышления действует и в случае с компьютерами, которые хоть и объединены в сеть, символизирующую формальное единство, но представляют собой распыление мощи единства. Это большая, грандиозная победа формальной логики, двоичной системы, формального мышления. Это сознательная деградация, но чреватая противоречием в основании, которое взломает систему, разрушит её, как противоречие свободного времени, и пока оно ещё свободное время, оно нуждается в необходимом и прибавочном, а чтобы освободиться и вполне стать собой, оно должно уничтожить себя, уничтожив, переосуществив необходимое и прибавочное рабочее время. То есть, свободное время ещё будет выступать, как консервативная ретроградная, «контрреволюционная» сила. Опять-таки, это противоречие производительных сил и производственных отношений, которое становится управляемым, движителем, движущей силой, когда всё поглощено основанием — всеобщим свободным временем, где и производительные силы (отношение человека к природе, своей природе, которая бесконечный процесс, постоянно изменяющийся), и производственные отношения (отношения человека к человеку, которые не формальны, и есть тот же процесс бесконечного становления). То есть трудно определить: где производительные силы, где производственные отношения, потому что это всё — трансфигурации свободного времени, ставшего общим местом, как своего рода «электрический ток», как энергия во всех своих превращениях.

Человек, таким образом, вытесняется из сферы производства, оставаясь наблюдателем, и либо занят в непроизводительной сфере сервиса, стремительно деградируя и тупея (причём к сфере обслуживания относится и весь офисный планктон, и айтишники, чем бы они ни занимались, и сфера дизайна, рекламы, искусства, которые тонут в сфере потребления и даже популяризации науки), что создаёт основу общества ещё страшнее, чем общества потребителей (см. «Общество потребления» Бодрийяра) — общество потребляющих друг друга. Каннибализм, в утончённой, изощренной цивилизованной форме, когда питаются не мясом белых братьев, но временем жизни.

Особенно, если человек «задействован» в сфере порабощённого, — науки, привязанной к кайлу, производству, её вкалывания в прикладной области, или, ещё страшнее, свободного духа науки, когда жизнь «тратится» невесть на что, и эта жертва не оправдана (всё больше современных исследований, и в математике, и в физике, и химии с биологией, направлены «в никуда», в свободном поиске, когда исследование сродни «чистой эстетике», от решения той или иной проблемы ничего не зависит).

Свободное время — образ, коим живут, временятся. Если бы окинуть эту картину «космическим взглядом», то открылось бы общество, заглатывающее, глодающее самое себя, порождающее само себя в чистой спекулятивности. Оно — как символ веры или жизнь, которой приносятся человеческие жертвы, похищающее у себя жизнь и испытывающее от этого удовольствие сродни экстазу. Формулой общественного богатства становится стоимость — гибкая и беспощадная. Она изменяет формулу крови.

Свободное время по-прежнему носит характер издержек производства, равно как и необходимое рабочее время, но появляется возможность его эксплуатировать, заставить работать, сделав инъекцию стоимости, инвестировать, как в науку, так и в искусство, и индустрию развлечений, путём внесения ложных целей и использования не по назначению (по крайней мере, игнорировав его историческую необходимость, как свободное время себе её представляет).

И свободное время, и рабочее нужно свести к минимуму за счёт прироста прибавочного рабочего времени и соответственно свободного для получения прибавочной стоимости. Но чем больше рабочее время стремится к нулю, тем больше свободное стремится к бесконечности, причём не обязательно к интенсивной, но и экстенсивной. Свободное время развивается в себя, сначала принудительно,

внешне, внутренне. Потом — свободно. Свободное время «встраивается» друг в друга, в себя, свободными временами, не смешиваясь, превращаясь.

Это достигается по отношению к необходимому рабочему (которое есть репродуктивное воспроизведение переменного капитала) увеличением производительности труда…

Но это, помимо изнашивания, интенсифицирования, уничтожения самого рабочего времени, увеличивает свободное время как общественно производимое, но узурпированное уже не собственником, а самой системой, стихийно распределяющей его до последнего времени. Его используют нехотя, «в нагрузку», в свободном времени нет ещё нужды. Лучшим решением было бы избавиться от него, а заодно и от науки, культуры, искусства и образования. Но его стихийно урывают, все, от профессиональных революционеров до занимающихся наукой не по принуждению. Оно — источник интернета, который тоже порождён свободным временем. Интернет его неуклюже копирует (35 лет назад, в 1986 году, электронные системы передачи данных использовались лишь в рамках очень дорогостоящих, громоздких и секретных правительственных опытов, понятия «интернет», конечно же, тогда не было. Первый опыт передачи данных на территории СССР между обычными пользователями — старт сети ФИДО в Новосибирске, произошёл в октябре 1990. — *прим. ред.*). Свободное время пользуют, гасят, убивают индустрией развлечений, упраздняют, элиминируют, утилизируют глазением, фланированием, поиском неведомо чего и прочими мелкими радостями, пытаясь сделать мелким, исчерпать, свести на нет, простым коллекционированием, накоплением (у меня есть знакомый, который собрал несколько терабайтов произведений, и не хватит сотни жизней, чтобы просто перелистать это).

Но важно другое — в действительности каждая форма времени порождает своё свободное время, диктуя единственный способ действия в нём.

Необходимое рабочее время предполагает воспроизводство способности к труду и бесконечную «ротацию» человеков, и даже, страшно подумать, превращение рабочего свободного времени, просто необходимого рабочего времени, в свободное. Причём с большим эффектом, чем свободное *свободное* время или прибавочное свободное время. Расстояние от необходимого рабочего времени до свободного времени «ближе»,

чем от свободного свободного времени, которое «застряёт» в определённости и испытывает «трение» самодостаточности и инерцию особенности.

Прибавочное рабочее время предполагает свободное время по своему образу и подобию — как использование(!) в соответствии с коллективным бессознательным, стоимость — время-препровождением, пустым потреблением времени, время провождением, издержанием свободного времени, что и закрепляется в сознании как единственный способ «человеческого» поведения и его мотивация. Быть как все.

Львиная доля свободного времени тратится и тратит человека впустую, как *необходимое случайное свободное время*. Часть потребляется наукой, искусством, образованием, но в «рамках разумного» привычных потребностей, как то, что нужно анонимной силе, и даже твоя собственная тупость, способность мыслить и понимать, диктуется извне, хотя, возможно, это правильно, иначе бы мы свихнулись, так что — простая защитная реакция, в том числе и от философии. Но это удручает.

Но противоречие в том, что наукой потребляется лишь необходимое свободное время. Подчинённое нуждам производства. Искусство вообще предпочитает не существовать, усугубляя коллапс, стискивая, замыкая время. Это выражается в том, что оно работает на потребителя, подвергнутого фронтальной лоботомии его единственной профессией, сквозь которую, которой, он видит и чувствует весьма специфическим образом (этого нет у Г. Лукача в его огромной и не умной работе «Своеобразие эстетического». Такое впечатление, что ему было просто некогда думать). Он однообразно потребляет и требует воспроизводства одного и того же образа в одной и той же определённости, к которой он готов и привык. Что приводит к вырождению искусства, в лучшем случае, ворующего свободное время, и использующего его природу как наркотик, для опьянения.

Однообразие современного искусства при формальной его пестроте — лучшее тому подтверждение, и представительница «свободной профессии», «торгующая телом», ничего о любви сказать не может, несмотря на опыт, так и любой «профессионал», от философа до посыльного, видят мир в одном измерении и высказываются «честно и откровенно», но с подтекстом, языком рынка, то есть выводят его из себя. Торгуются, а не пы-

таются понять сущность. Тут и азарт востребованности, и попытка «втюхать» подороже лежалый товар.

Готовность работать на заказ уничтожает было определившийся смысл искусства, как сверхчувственных, не по прихоти трансцендентных чувств человека, оказавшихся наедине с собой, своей сущностью, как чем-то, что превыше сил и существует объективно. Здесь — не готовность пресмыкаться и подчиняться, возможно, даже восстание против чувств, но изумление в невластности по отношению к ним, и в них, что приводит в смятение и заставляет впервые уважать их как самостоятельную самодостаточную силу.

Человек загоняется в индивидуальность, как в одиночную камеру, где ему устраивают промывание мозгов всеми возможными способами (было бы что промывать), и это ещё закрепляется в сознании, как правило «гигиены», (так, например, отец Микеланджело настоятельно советовал в своих письмах к сыну часто не мыться, поскольку наносится вред здоровью, «а велел себя очищать». Здоровое мышление современности требует стерилизованные, выдраенные, накладные мозги, эрзац-мышление, стандартное и соответствующее допускам сознание).

Более того, поскольку современный непосредственный производитель морально устаревает меньше, чем за три года, то образование тоже становится издержками производства, досадной необходимостью, но устаревают и его потребности, его желания, его (впрочем, не его, а всеобщая) нищета чувств. И при всём ученичестве и всё возрастающих усилиях, ты неизбежно опускаешься вместе с ординаром, отстаёшь не от какого-то мифического уровня, а от уровня по отношению к себе самому. Ты не поспеваешь за собой. Дело не в том, что ты неконкурентноспособный, просто это приводит к дальнейшему расщеплению по линии упрощения специфических функций производства, связанной со специфической погрешностью рабочего и по линии универсализации машин. Противоречие так называемого «человеческого фактора» и точности машины, которая узкоспециализирована.

Себестоимость переменного капитала растёт, машин — падает, и применение человека и быстроустаревающей машины становится тормозами производства, не успевающего за темпами изменения. Современные машины устаревают в течение года, а рабочие и того быстрее, тем более что личные качества в организации про-

изводства вообще уже не играют никакой роли. Происходит принудительная унификация и стандартизация, как введение наукометрических параметров и формализация науки, её бюрократизация, и, я бы сказал, принудительная стерилизация мышления «инструментальным разумом» (Хокхаймер), который, в его бесчувственности, сколько ни критикуй, всё без толку. Весь гудок уходит в методологии, и ложную мораль. Вроде Рорти или окрашенные политикой сетования Юргена Хабермаса, которому нечего сказать. Все это давно устарело, ещё до декларации, как и Попперовские с важным видом излагаемые принципы «открытого общества». На моей памяти было столько концепций, которые казались откровениями, и где они?

Машина начинает порабощать область «духовного производства», модернизировать её, изменять сам способ видения, слышания, осязания и чувствования, внедряться при помощи технологий *технологий* в творческий процесс, осуществляя экспансию на сущностные силы человека, подменяя их формальной коммуникативной сообщаемостью, информативной осведомлённостью. Инструкции к тому, как правильно чувствовать, слышать, видеть и обонять. Живой труд подменяется мёртвым овеществлённым трудом, и, хотя по-прежнему является сердцем производства, которое по-прежнему остаётся производством ради производства, в нём вовсю бушует осень, старость, ведь техника стареет ещё быстрее, чем человек — сердце изношено. Бытие отстаёт от бытия на целое ничто.

Для того, чтобы успеть, необходимо саморазвитие рабочего, универсализация его, больше всё возрастающего свободного времени, которое достигается за счёт функционального развития машин, посредством компьютеризации, отбрасывающей человека в формальное мышление, всё дальше от живого труда.

Непомерная новая технологическая волна накрывает человека с головой, превращает его в придаток компьютера, и, только прикидываясь машиной, человек может выжить. Он даже не знает, как это всё устроено, как это работает — чистый потребитель и пользователь, и то никакой. Он использует компьютер, как мотыгу или молоток для раскалывания орехов. Он уже не понимает, что возможны иные отношения, и, главное, не хочет и страшится их.

Техника достигла своего предела во времени, и либо уничтожит человечество, либо будет укрощена иной формой общественного богатства, которое укажет ей её (чуть не сказал, *своё* — может случиться и такое) место и вернёт человеческий

смысл, зачем, к чему? Бессмысленным становится само развитие в какой бы то ни было форме богатства, поскольку свободным временем исчерпывается и «дальнейшее», и «развитие», и «форма», и «богатство», где всё это различалось только властью самоотрицающего себя качества — пустого количества, величины, которая изначально пуста, но пытается демонстрировать в силу нищеты жизнь «по-богатому» в убогом представлении.

Беда бывшего (и любого) так называемого социализма (не важно, как это называть) именно в том, что это был типичный государственный капитализм с анонимным собственником — государством. Однако, в сущности, социализм есть ещё большая «свободная эксплуатация» (и самоэксплуатация) человека, и даже его сущности. Говорю это при всех своих симпатиях к социализму. Это переходная форма, которая совершается жертвенно, во имя. При капитализме этого не происходит, поскольку эксплуатируется человеческая способность, сущность его отчуждена в превращённую форму и обезразличена.

При социализме человек становится условием производства, в своей конкретности, и свободно, как субъект труда, и потому эксплуатация тотальна и добровольна, что и делает его человеком. Тут, будучи, по существу, существом универсальным, я должен сознательно исполнять узкопрофессиональную деятельность частным ограниченным образом, только потому, что «так надо» для всеобщего развития. Это подразумевает готовность отказаться от личного интереса во имя некой идеальной сущности всеобщности, общественности.

По идее, главное усилие приходится не на объект природы, не на саму природу, опредмеченную в качестве меры отношения человека и природы. Жутко сказать: производительной силой становится сам человек, субъект труда во всей конкретности, его свобода, его непосредственные чувства. Это трагедия, которую невозможно обойти, избежать, только принять, поскольку требует личного мужества каждого, а люди хотят просто жить, без всяких подвигов и катарсиса, и это справедливо.

При социализме прибавочная стоимость (виду декларированного отсутствия, отторжения человека человеком) не производится. Создается совокупный прибавочный продукт, который не нужно производить сверх меры, а ровно столько, сколько необходимо. Отсюда принцип планирования (которым

и при капитализме пытаются регулировать перепроизводство.)

Это значит, что необходимое рабочее время сокращается до минимума, сводится к жизненному минимуму, в то время, как и когда свободное время пытается расшириться до бесконечности. Может быть, преждевременно.

Прибавочный продукт как условие производства свободного времени противоречит себе, и противится возникновению и явлению свободного времени, которое вынуждено прорываться сквозь прибавочный продукт в его необходимых формах, то есть не непосредственное свободное время, а опредмеченное. Оно ещё только полуфабрикат — должно быть (но может и не создавать дальнейшее, не превращаться, не происходить, не видя в этом необходимости, хотя и осознает. Появляется выбор. Необходимость и свобода тут существуют как антагонисты) «обогащённым» свободой, освобождённым.

Свободное время, идущее на смену прибавочной стоимости как меры общественного богатства, вступает в яростную борьбу со свободным временем, которое Маркс гениально назвал «пространством человеческого развития». Проблема в том, что свободное время возникает и вследствие образования нового пространства в процессе производства, и вследствие уступания, оставления «территорий» необходимого и прибавочного труда рабочего времени, и вследствие переосуществления самого времени. (чем-то это напоминает использование старых брошенных заводов и промышленных зданий для фестивалей и театральных представлений, но суть не в этом). Это единые, по сути, времена, но они разнятся по происхождению, и, самое главное, должны быть освоены, переосуществлены в свободе, превращены в свободу, исчезнув.

Однако человек не готов к свободе даже в *форме* свободного времени. У него нет ни образа свободы, хотя он на него молится, ни образа, представления свободного времени, каким ему быть, — оно даётся ему впервые, как «Ничто», и даже как данность ему не дано, он не знает, что с этим делать — ни причины, ни необходимости, ни смысла. Сплошная «безобраза».

Свободное время активно, оно — агрессивное пространство, предполагающее, но не предопределяющее свободное человеческое действие даже смутным желанием. Свободное действие без него — ничто. Оно не превращается в свободное время.

Человек тяготится своей свободой, и не знает, что делать со свободным временем, рассматривая его по старинке, традиционно, как предмет для уничтожения (мелкая месть заботе и труду), испытывая смутное удовольствие от этой мстительности, мелочности, мести времени вообще (чья это месть: че-

ловека, или времени человеку? или временам? — в обоюдности этого выверта есть удивительный смысл: покушаясь на время, человек уничтожает себя, время своей жизни).

Принудить его иначе чувствовать себя в свободном времени невозможно. Это придёт со временем (но что делать сейчас?), как чувство свободного времени, привычное и повседневное, обыденное.

Свободное время — обводное, заставляет относиться к себе, ко времени и себе самому (нельзя приневолить человека и само время к свободе, и насильно осчастливить, — свободой можно убить).

Время и свобода образуют трансцендентные границы человеческого образа, который не позволяет быть собой ни человеку, ни образу времени, ни образу жизни и мысли. Более того, человек не ощущает себя субъектом развития, и противоречие становится вовсе невыносимым, когда человек формально и достаточно свободен, чтобы осознать, что процесс производства просто потребляет, употребляет, лишает его жизни, и, тем не менее, это и есть «осознанная необходимость» (понятая без понятия) и «действие в соответствии с ней», — та самая вожделенная свобода, и он удерживается от распада и дезинтеграции только усилием образа (то, чего лишён человек в непосредственном существовании, которому всё происходящее с ним, даже гибель, кажется вполне закономерным и естественным. Экзистенция, такова жизнь. Некое возвышенное холопское сознание, известное и в посконной «российской» истории, когда мальчиков отдавали в услужение за еду, и после пятилетнего обучения некоторые могли дослужиться до «полового», а то, глядишь, и «человеком» стать, или, как сейчас «президентом», «бизнесменом», «депутатом», суть-то господства — рабская.

Эта осознанная необходимость требует поначалу немалого мужества и даже героического энтузиазма, которые являются едва ли не первыми действительно человеческими чувствами первичной человеческой свободы, являющейся чистым незамутнённым отрицанием. Доколе? И «я не хочу», и «не буду». Анархическая имманентность. «Бунтующий человек». Потом это распространяется и на всё остальное, на все известные до сих пор эмоции, которые доразвиваются до чувств, даже ощущения превращаются в чувства, играют их роль. Вызывая гор-

дость, граничащую с гордыней, и чванство, хотя никакой особой заслуги человека в этом нет. Простое неприятие скотства.

Анархия чувства, непричастного ничему, но и не имеющего продолжения. Побег ради побега. Бунт. Который тоже может быть мещанским и благополучным, обживающим свой тупик и кичащимся своей безысходностью, любящим эту безнадёжность как смысл жизни.

Свободное время воспринимается как время, свободное от деятельности и даже от человека, а не время, которое уже не имеет трудовой формы и предназначенное для саморазвития, без особой причины, как простую мотивацию, прихоть свободного времени. Действую, потому что свободное время, потому что существую.

И многие это интуитивно чувствовали и понимали, рассматривая свободное время как время производительное.

Сам процесс производства развивался от необходимого, через прибавочное, к свободному времени, которое становилось производительной силой, и, в принципе, обращено на себя, чтобы стать саморазвитием. К сожалению, в большинстве случаев свободное время использовалось кустарно, по-браконьерски, не говоря о самозахватах, рейдерстве и употреблении его не по назначению, не соответственно его природе. Без знания дела. Оно сжигалось, как сопутствующий газ. Да и сейчас происходит то же.

Дело в том, что в процессе своего развития свободное время тоже прошло колоссальный путь от безделушки, безделицы, до необходимости и свободы, так и не успев стать свободной природой человека.

Спутанное сакральными отправлениями культа, поклонением творчеству (которое для творческих людей — не проблема), через убогие подслеповатые подвалы и романтизированные «возвышенные» мансарды искусства, где дух закрепощён предметностью (предсмертностью, предсметностью) и повреждён, повержен, опровергнут в вещи, представленной как «произведение искусства», восходило оно, возвращалось возвратной формой (можно книгу написать «Свободное время как возвратная форма»), к той стадии, уже было прошедшей, прошлой, где свободное время являлось необходимым и прибавочным, но ещё никогда — свободным.

Говоря не иными словами: являясь по существу свободным

временем, оно взваливает на себя роль необходимого для восстановления производительной деятельной силы, то есть репродуктивным, и дальнейшего потребления её в качестве необходимого свободного времени, правда, уже не для получения прибавочной или потребительной стоимости, а для собственного воспроизводства и произведения, как самоцель, без целеполагания. Своего рода, новая телеология, почти телеонтология произведения из ничего (это попытался исследовать Лукач в своих пролегоменах «к онтологии общественного бытия», но невнятно. Да и кто бы справился? Это невозможно в одиночку).

Производство свободного времени зависит от степени интенсивности свободной самодеятельности каждого, которая основана на чистейшем энтузиазме, однако производительно и материально не обеспечена, причём подчёркнуто независимо, демонстративно свободно. Беспечно и произвольно.

И даже это жалкое существование давало потрясающие результаты, поскольку всё, что составило славу технических достижений, откровений в науке, культуре и искусстве, всё сделано за счёт свободного времени, и, осмелюсь утверждать: «просто так», от себя и «для себя», по прихоти, как, впрочем, и глупости тоже. Произвольно, от избытка, полноты бытия, «от души». Но всё это делалось на свой страх и риск, полулегально, подпольно. Величайшие идеи рождались на кухнях.

Эти не фальшивили, и у них пробивалась та непривычная и даже резкая своей ошеломляющей резкостью, странная и старинная, и небывалая музыка чувств, как будто не вещи они делали, да и не собственно картины, конкретные произведения, не книги писали или создавали теории — интерес вызывали люди и их «будущие становящиеся чувства».

При социализме и появился этот вымирающий ныне тип людей, которые действовали просто так, бескорыстно, «ради интереса», что ни за какие гонорары не купишь (сколько не заплати, скрипач играть, как Ойстрах, не станет), а их упорно, тупо гнали по капиталистическому этапу развития, хотя какое там развитие, ставя в зависимость от материальных интересов, в зависимость от деньзнаков и формы стоимости, которая себя изжила и являлась помехой, вместо того, чтобы непосредственно обеспечить само жизненное пространство человеческих чувств.

Не последнюю роль в вульгарном падении сыграло унижение интеллигенции, которая зато сейчас отыгралась вовсю,

пиная своё прошлое с насаждением и страстью, откровенно возводя поклёп, как-то забывая о своём происхождении, и том, откель они все взялись такие умные и в таком количестве, самородки (самовыродки) земли русской. Интеллигенцию уничтожила сама интеллигенция, что не удалось сделать ни пулями, ни тюрьмами, ни концлагерями. «Баста. Хватит. Наигрались в гуманистов…», и со вздохом облегчения интеллигенция перестала мучаться судьбами мира, и ушла на покой, переквалифицировавшись в менеджеры среднего звена. Интеллигенции больше нет, она вся ушла в обслуживающий персонал, в мелкий бизнес, ну, очень мелкий. И ничего личного… Бросила уболевать за судьбы мира, но и по миру не пошла. Быстро переориентировалась, и стала профессионально каяться в чужих грехах, как плакальщицы за деньги, «путаясь в собственных соплях». Впрочем, такого явления, как интеллигенция, сейчас вообще нет. Околела. Одни легенды. Это даже не тема для разговора. Удивительно прозорливо писал Дон Аминадо ещё в 1926 году:

Предвижу день. Падут большевики,
Как падают прогнившие стропила.
Окажется, что конные полки
Есть просто историческая сила.

Окажется, что красную звезду
Срывают тем же способом корявым,
Как в девятьсот осьмнадцатом году
Штандарт с короной и орлом двуглавым.

Возможно всё на свете пережить,
Невольные и вольные бесстыдства.
Всего отведать и всего вкусить,
Хотя бы только ради любопытства.

Пусть трижды повторяется стезя,
И дедов сны пускай приснятся внуку,
Но только скуку вынести нельзя,
Тупую и торжественную скуку!

А между тем уже грядёт она,
Российская, дебелая, тупая.

Такая, как в былые времена,
Во времена Батыя и Мамая.

Придёт и станет каяться в грехах
Смиренно, унизительно и кротко.
И захлебнётся в прозе и стихах
По поводу любого околотка.

Она найдёт своих профессоров,
Чтобы воспеть парад кавалерийский,
Открыть, что зад московских кучеров
Не просто зад, а древневизантийский.

И прибегут из разных заграниц
Любители по-своему развлечься,
И упадут всеподданнейше ниц
С единственным желанием — посечься.

Редкий случай в истории: роль денег возрастала в обществе в результате идеологической пропаганды, а не соответственно реальному основанию и действительной потребности, и, тем не менее, большинство деньги считали мусором. При социализме деньги не имеют формы стоимости, они просто не подчиняются законам классической экономики (которая, к слову, может быть только «буржуазной». Каждый мог убедиться в этом — они не могли быть в полной мере обращаемы. В обращении они не возрастают, но не возрастают («возврастают», как возвратные формы) и в общении. И от того, что циркулируют по стране, государство не обогащают. Оно и должно быть бедным, сплошным общественным фондом потребления, а не орудием подавления. Вообще, после работы «Государства и революция» вопрос о государстве уходит в область школьного знания и как проблема не возникает. Тут работает иная форма общественного богатства, не стоимость, а свободное время. Государство должно исчезать, его функции отмирать, а не быть орудием для подавления меньшинством, кучкой отпетых мерзавцев и подонков, большинства, которое, впрочем, не является жертвой обмана, а охотно принимает это вполне добровольно. Можно много говорить об этом, но вопрос гораздо примитивнее, чем думается. Думаю — обыкновенное жлобство, которое

не требует никаких усилий. Опускаться легче, чем подниматься. К тому же, изложи самую истинную теорию, никто и не пошевелится, чтобы не то, что освоить её и воплотить в жизнь, но даже просто ознакомиться, поскольку она будет нарушать форму покоя.

Социализм использовали, но от того, что нечто употребляется не по назначению, оно от этого хуже не становится, хотя и уничтожается, например, в рояле картошку хранить можно, значит ли это, что рояль плох? Не деньги и не стоимость были формой общественного богатства.

Кроме того, естественный отбор в высшие эшелоны власти происходил чрезвычайно простым, восхитительно естественным путём. Ни один талантливый человек не бросит любимое дело. Только заведомо серые, несостоявшиеся, скучные, бездарные и откровенно подлые карьеристы рвались к власти и компенсировали свои комплексы неполноценности, предавали остракизму культуру, сводя её до уровня своего понимания и вкуса. Для того, чтобы возвыситься, надо унизить всех остальных. А поскольку в культурном отношении они были и есть «дно», какая-никакая, а константа, точка отсчёта, то вполне понятно, что жлобизм и хамство стали научной категорией. Страну погубила зависть и жадность. Никогда в человеческой истории подлость не творилась в полном сознании, свободно.

Провонявшееся свободой предательство — как первый сознательный выбор «человека». Предательство было и раньше, но всегда под давлением обстоятельств, или в сознании своей правоты, но подлость ради подлости — впервые.

(Это написано тридцать пять лет назад. Знал ли я, что будет дальше, что гнусность станет признаком хорошего тона? Понимаю, что сейчас вопрос о природе свободного времени не ко времени, и, может быть, никогда и не будет. И при социализме свободное время «без сознания, хотя и в самосознании», потому и кажется, что решение так близко. Казалось бы, что стоит перейти иной форме богатства. Создаётся иллюзия, что если свободного времени будет достаточно, то получивший его, не тратя времени даром, тут же будет развивать в себе человеческие способности и человеческие потребности. Вопрос о свободном времени — не теоретический, не философский, а предметно-практический. И главное, если ты свободно отказываешься от свободного времени и свободного действия (свободное время — неимоверно трудно), и будешь его убивать по старинке, то и так сойдёт.

Я уже думал бросить эту затею с давешним текстом. Не потому, что не-

актуально, а потому, что вырванная из контекста глава, помещённая в другую среду, иное, чуждое существование, выглядит фантастикой, но, с другой стороны, эта книга, возможно, никогда не увидит свет, и держится на том, что интересно мне, как личная актуальная и потенциальная бесконечность. Так что я ничем не рискую, кроме жизни, которую трачу на процесс написания. Кроме того, любопытно, как одна и та же идея ведёт себя в разных временах, даже в рамках одной жизни. Скажем, идея феноменологии духа у Гегеля в своём продолжении в философии духа или эстетики. Любой автор, несмотря на разброс тем и интересов, всегда пишет одну книгу об одном, что бы он о себе ни говорил).

Но я не об этом, всё подобное не поддаётся научному рассмотрению, поскольку мы по привычке ищем какие-то объективные причины, а их нет. Это всё равно, что изучать завшивленную действительность, изучая жизнь переносчиков тифа, вместо активных гигиенических мероприятий.

Я не знаю таких причин, которые могут заставить совершить сознательную подлость, кроме собственной, необусловленной исторически, самой индивидуальной субъективной подлости. Здесь нет зависимости, как нет зависимости между игрой музыканта и его гонораром. Плати ему хоть в тысячу раз больше — он лучше играть не станет, наоборот, нечто низкопробное может стать всеобщим эталоном. Поскольку будет пропиарено и импонировать публике, не желающей затрачивать никаких усилий для постижения происходящего, в культуре — никакой работы чувств, одно удовольствие.

Так что историческая подлость бессознательна, и оказывается подлостью лишь впоследствии, в культуре, а может и оправдываться той же культурой, поскольку бескультурье — феномен той же культуры. (Каким праведным гневом пылал Омар, сжигая Александрийскую библиотеку, хотя он только продолжил начатое христианами, уничтожавшими языческие тексты, как был благочестив Никон, исправлявший ошибки в традиции, как высоконравственен Савонарола… примеров не перечесть.) Современная подлость — вполне обдуманное, просчитанное действие, более того, претендующее на статус морали, и, в сущности, моралью являющаяся, даже государственной политикой, направленной на уничтожение нравственности. Она представляет определённую форму общественного сознания.

Мы имеем несчастье наблюдать это воочию, участвуя в качестве статистов, или, наоборот, испытывать полнейшее

счастье, исполняя роль погромщиков и творцов истории. Логика проста: если нельзя продажность, проституирование духа, предательство оправдать, по существу, обелить (всё существо восстаёт, но не у всех), то следует это сделать добродетелью и всеобщим идеалом, что мы и имеем на сегодняшний день.

Роль обезличенного субъекта, индивида настолько возрастает, что без видимых причин становится вместо исторической необходимости, по воле случая, как тотальный произвол, именно из-за гниения свободного времени, которое, грубо говоря, не используют по назначению.

Переход между двумя эпохами — безлик, вне времени, будто в расступившемся пространстве вечности, и потому за отсутствием (ввиду отсутствия) свободы действительно произволен, как волшебная лампа — кому попадёт, тот и будет иметь власть над миром. Вот попадает она как раз к отъявленным негодяям, полным ничтожествам. «Когда караван поворачивает вспять, хромой верблюд оказывается впереди.» (Конечно, может интересно, почему всплывают самые уродливые, низкие появления человеческой природы. Почему появляются такие уроды, что твари Босха кажутся ангелами, особенно, когда история идёт вспять, вернее, рушится в себя, но это копание в дерьме оставлю любителям и профессионалам политологам — это их работа и заработок. Хотя настоящего анализа ситуации ни от одного публичного комментатора я не слышал. Публичные — они и есть публичные. Шоу страдающих мелодраматизмом проституток.)

В этом — законы общественного развития, в замешательстве они смешиваются и не действуют до времени: ни законы экономики, ни законы морали, ни законы диалектики. Даже здравый смысл подчинён формальной логике. Всё рядоположено, эклектично, химерно, абсурдно. Время не исполнено, оно в параличе. Иными словами, не действуют законы жизни, но вполне — законы смерти. Они временены, как прививка чужого времени, которое вызывает отторжение.

Чтобы определиться, для тех кто ещё не понял, подчеркну: я настаиваю на том, что абсолютно субъективно подлым, со знанием последствий, действием был развал Советского Союза при росте производства, и теперь вся страна — один большой «толчок», ведь стесняться больше нечего, нет такой подлости, которую нельзя было бы оправдать. Вас тоже не поща-

дят, не пожалеют, и вы ещё проклянёте день, когда родились. Но суть не в этом, а в том, что человечество упустило единственный шанс на продолжение своей действительной истории, и теперь, как бы ни пыжилось, ни тужилось, как та человекообразная обезьяна никогда не станет человеком, так и история не станет человеческой.

Возможно, дальше текст вообще читать не будут, и скучно, и неинтересно (хотя неизвестно, что сейчас интересно). Кажется невероятным, ненаучным положением подобное утверждение при господствующем ныне экономическом материализме в своих самых примитивных, вульгарных формах. Такое впечатление, что это бред автора. Но нет. Не ради полемики со старой новой командой (зондер-командой) «специалистов», отрабатывающих свой нелёгкий хлеб и место у корыта, как прежде на ответственных постах в экономических журналах и в ЦК, в партийных и комсомольских органах, академиками и профессорами, творящими «новую как мир» идеологию, новый порядок, не с ними идёт спор и не для них проблема (тем более, что и повымерли они уже, а шедевров что-то не видать, ни в философии, ни в экономике, ни в искусстве). О грязи, которая во все времена была, говорить не будем, хотя именно она делает непролазным и без того трудный путь человечества, превращая любые самые чистые идеи в их противоположность.

Проблема в том, что идеалы не просто не сбываются, являясь реальным балансом, противовесом, контрфорсом одностороннего мира и его нуждой (да, идеалы — нужда), путь до идеала составляет ровно половину пути до человека, — они, вторгаясь, материализуясь как относительная возможность, являют не только надежду, но и всю горечь жизни своей несбывшестью, заставляя жалеть о несодеянном, как о катастрофе и поражении. Идеалы «перекашивают», искажают эту же возможность, оттеняя (отеняя) её негативно, в чёрном свете.

Являясь идеалами настоящего, они уже опровергнуты и соответствуют уровню сознания настоящего, подменяя сознание и искажая его, деформируя до неузнаваемости на целую действительность, так что сознание само себя в идеалах не узнаёт, не знает и даже стесняется, и стыдится, хотя напрасно. И эта напрасность заменяет надежду в безнадёжности.

Идеал — негативное бытие, положенное в качестве положительного ничто абсолютной нужды. Нужда принадлежит на-

стоящему, а завершает всё идеал, как надгробие, без эпитафии. Он светится своей недостижимостью. Правда, он может восприниматься как процесс, как имманентная и конечная цель, и много славных работ этому посвящены. Но он — настоящий идеал, делающий прошлым настоящее бытие ещё живущего человека, и человек не бывавший, но уже бывший, при жизни корректирует свой идеал соответственно своему образу, подгоняя его под образ (человек заключён в образе) в качестве положительного ничто абсолютной нужды, отступая во времени; тем самым он от своего настоящего всегда позади — на время идеала, на расстоянии — идеал маячит, как маяк, зовёт, предстоит ему, застит, застилает будущее, скрывает будущее видимым окончательным пределом — это время движения к бесконечной реальности и действительности, к развязке, и оказывается тенью свободного времени, занимающего место «между» настоящей его недостижимостью, но может проецироваться и на прошлое, вызывая полное затмение.

Идеал, отрицая человека, унижая его, оправдывает его низость и защищает унижение от разорения и неустроенности. Он бессмертен, покуда представляет, подставляет образ остановившегося времени воплощения, и временён идеальным временем, поскольку опровергается не непосредственно предметно-практически, а другим идеалом. Они как стоп-кадры, выхватываются моментальными снимками наплывающих времён в лицо, рядом, нечётко, мимо и вослед. Съёмка рапидом действительности, но в сущности. Сущность не похожа на действительность, а их взаимная деформация и есть идеал, которому закон не писан. Если ты сильный и можешь обойтись без идеала — обходись. Суть, конечно, не в идеалах, а в другом.

Обычно композиторы сочиняют либо сразу на нотную бумагу, реже пользуются своей записью-скорописью, либо сидя за инструментом. Долгое время я сочинял, будто импровизировал оркестром, и теоретически, не всегда утруждая себя записыванием, но сейчас я прикован к клавиатуре. Я будто вслепую проверяю сказанное на слух.

Это увлекательно, но глупо, как расшифровывать какой-то мёртвый язык. Когда-то Вяч. Вс. Иванов всю жизнь потратил на расшифровку коптского языка и стал единственным человеком, который мог письменность эту читать. Оказалось, что обычные долговые расписки. (Конечно, там было всё сложнее. Но чувство недоверия есть). Так и здесь. Вся загвоздка-загадка свободного времени в том, что на самом деле оно банально и обыденно.

Если бы я следовал перипатетической школе, приравнивая упрощённо и наивно её к «схоластике» вообще, я бы сказал, что в остановленном , метафизическом понимании свободного времени, в его опредмечивании, оно представляет собой «формальную реальность», находясь «формально в объектах идей», свободное время покуда является, как «идеат», обладающий объективным существованием, независимым от сознания, актуальным, обладающим осуществимым , и осуществляемым бытием, и в тоже время свободное время — как материя у Аристотеля, составляет лишь потенциальное бытие, представляя лишь материал будущей вещи. Оно не случайно относится Спинозой (и отчасти Декартом) к аффектам и сущностным силам, таким же, как воля и чувства, оно «эминентно», то есть, в высшей степени объективной реальности, формально, как её качество или свойство, причём объективно в схоластическом смысле, в представлении, в сознании в качестве объекта. Но свободное время — не вещь, и не может рассматриваться как «что». Оно бесконечно меняет своё-другое, себя, и вживе на себя не похоже, как и на своё представление. Оно может быть чувством, свойством, акциденцией, но никогда состоянием. Оно — и субстанция, и атрибут, и модус, и фигура, поэтому можно рассматривать (кто ж запретит) свободное время в любых конфигурациях, используя его не только как инструмент, но и как природу порождающую и порождённую.

Никакой загадки и никакого преимущества свободное время не даёт. Никакой проблемы в нём нет. Я бы сказал, что вся проблема в освобождении свободного времени — в распредмечивании опредмечивания, а это вопрос не теоретический, а сугубо практический. Ты как будто получаешь умение творить заклинания, и это всё. Как будто создаёшь-выстругиваешь волшебную палочку. Свободное время только усиливает твои способности и чувства, причём таким хитрым образом, что если чувства добрые, оно усиливает их, а уж если злые, то и их усиливает многократно. Оно мне надо? Поскольку там, где тонко, там и рвётся. Я становлюсь слишком уязвимым. Свободное время — это преждевременно. Чувства, например, уникальности уже есть, а музыки нет, философичности есть, но нет предмета, ну и так далее. Ты слишком сильно можешь чувствовать, но чувств ещё нет, только возможность, ну и так далее. Это всё равно, как в каменном веке иметь способность сочинять гениальные стихи, но нет ещё языка, которым это можно выразить, и письменности.

Как это всё медленно и почти мгновенно — смена оснований. Ведь великолепный принцип геоцентризма и антропоцентризма. Нет, надо было перейти к гелиоцентризму.

И ересь была не в том, что Земля вращается вокруг Солнца. Даже у Тихо Браге планеты вокруг звезды вращаются. А вот она с планетами, вокруг Земли, которая в центре. Ересь была в том, что орбиты не концентрические, а эллиптические, и Солнце в эксцентриситете. И Бог с ней, или чёрт с ней, с этой мно-

жественностью миров, и у Кузанского она предполагается, и в Античности, не только у Джордан Бруно, но это значит, что чудо воскрешения — частный случай, и не единственный, хотя и Христос этот трюк проделал не первый, а каждый раз, этот фокус проделывали Осирис, Деметра, Дионис, причём каждый год, и ничего.

Так вот, проблема в смене оснований. И Кант проделал свой коперниский переворот, даже не заметив, хотя знал, что Земля замедляет своё вращение. Приливы и отливы, и звёзды рождаются, живут и умирают, и движение противоречиво.

И вот когда на место вещи становится превращения, и потом становление, и само развитие начинается неимоверное, когда основанием становится становление, и даже свободное время смещается — происходит тектоническая подвижка оснований, смещение и превращение. Затрагивающее не вещь, а собственно вневременность.

Всё, что написал Михайлов о переводах, касаясь Хайдеггера, верно, но очень примечательно его замечание относительно вещи, с которой разобралась схоластика (помните *res* — трансценденталию). Так вот, цитирую для краткости: «По-немецки вещь Bedingung — условие, то, что в русском языке переводится от Слова, немецкий мыслит иначе, со стороны земного, со стороны осязаемой и замкнутой в себе, находящейся в распоряжении материальной *вещи.* Со стороны вещи просматривается устроение целого мира» и т. д. (Мартин Хайдеггер. Исток художественного творения / Избранные работы разных лет. М., 2008. С. 10.) Собственно, Михайлов приводит в качестве эпиграфа пролога-сентенцию самого Хайдеггера, с его знаменитой «Das Ding».

Как же всё это громоздко. Но я о другом. Это вопрос об овеществлении, и пока перейдут к опредмечиванию, пока временные основания (а основания всегда временные, временящие, преходящие) начнут видеть в свободном времени, как производную развития и вневременного становления (и для этого необходимо усвоить, уяснить противоречие становления и развития, хотя становление есть сердце развития, и всё такое — это станет банальностью, обыденностью, и никого не будет удивлять — вечность канет и развитие закончится).

Переход от овеществления к опредмечиванию, от становления к развитию, и утрата оснований, поскольку основания всегда покинуты, путь даже это покидание является просто уходом в основание (уходом за основанием, как за могилкой — пока понимают это так, замогильно), или уходом в абсолютное ничто, что одно и то же. Основание должно перестать быть, исчерпать себя, превратиться хотя бы в превращение, престать быть собой.

Конечно, чего проще, сменил основание, как немудрящую одежонку, ветхую одёжку, на что-то более приличное, и «ву а ля». Но не сменяется.

Вместо вещи, наличного бытия — развитие, или, какая разница, становление, и будет тебе счастье, но для этого надо хотя бы понимать, что происходит. Кант не подозревал, не хотел никакого коперниканского поворота — просто педантично был прилежным, традиционным схоластом. Его занесло. Может, он даже и не понял, что произошло, и ни о чём таком не помышлял. Кант критического периода в своей последовательности был прилежно догматическим схоластом. Не хочу унижать гениальность Канта, конечно, то, что он сделал, грандиозно, хотя бы эти сумасшедшие усилия и беспросветность искания, этот педантизм, мощь сумасшедшего, ничем не оправданного труда. Нет, он догадывался, но преследовал совсем другие цели.

Кого он пытался осчастливить? Человечество. Вся Немецкая классика и около неё проникнута пафосом окончательного решения. Откровением, «Ясным, как солнце» системосозиданием, светом Разума и Истины. Зачем вообще этим занимаются? И без Канта бы обошлись. Подумаешь, антиномии. Были они и до него, а апории так ещё и более впечатляют, гораздо эффектнее и краше.

И сейчас — эта масса аморфного массового мышления, которое и мышлением-то назвать трудно. Это невероятное знание, хотя бы о головном мозге, о нервной системе человека, знание совершенно неприменимое, как в современной астрофизике и математике, биологии или квантовой химии, но, тем не менее, головокружительное и по-своему даже неприемлемое.

Можно ли исповедовать принцип справедливости в истории? Надеяться на воздаяние, карму, или мифическую историческую необходимость? Или ну её, эту этику? Хотя как приём — вполне, но природа, в том числе и общественная, человеческая, никакая: ни злая, ни добрая, ни прекрасная, ни безобразная, никакая. Но хочется чего-то человеческого. Справедливости, победы добра над злом, причём неизбежной. Хотя ничего этого и в помине нет. А есть бессмысленное движение из ниоткуда в никуда. И у меня это вызывает восторг, и хотя я считаю, что этика высказалась окончательно и бесповоротно, и больше ей сказать нечего, и выступать от имени Необходимости, и как всё должно быть, нет никаких оснований — не считать же этикой плоские сентенции какого-нибудь Рорти, Мура или дилетанта Швейцера (хотя к нему снисходительно относились ещё при жизни, и как к врачу, и как к спецу по поэтике и культуре, памятуя о его заслугах как органиста — «чем бы дитя не тешилось»). Этика — нечто мемориальное, с мраморной слизью, а больная совесть к этой почтенной дисциплине не имеет никакого отношения. Скорее сам факт мышления можно представить как этическую проблему. «Думать надо», и пошло-поехало. Этика исчерпана поступком. И сражения за красоту тоже двусмысленны. Красиво, и только. Сейчас сражения за красоту — это не сражения за свободу, а скорее оккупация и завоёвывание территории чувств, а все разговоры об этике — это просто оправдание, апология без-образного. Да и борьба за свободу — форма порабощения.

Так что битва за красоту всегда против, и прекрасное — всегда в лоб и в упор — сопротивление красоте своей относительностью — только путь, причём против.

И это при том, что человек — в самом начале, едва-едва зацепил бесконечность, которая предстала в молчании, или как белый шум — кому что нравится. Вот это устрашает и вызывает моторошность, оторопь сродни ужасу.

Основания сменяются исподволь и едва заметно. Казалось бы, давайте перейдём к свободному времени, как пространству человеческого развития, и будет нам счастье. Не получится. Это всё равно, что строить в каменном веке ядерный реактор или адронный коллайдер. Не время. Не пора. Хотя, раз это мыслится, то уже опоздали, и может быть, навсегда, все условия уже перезрели.

И финалом может быть бессмысленное самоуничтожение социальной формы движения. И ничем его не остановишь. Только силой. Война войне, которая не менее тотальна и беспощадна, чем любая война, и никакой альтернативы. Это всё равно, что надеяться, что «можно договориться», «худой мир лучше хорошей войны». Сама попытка рассуждать на эту тему уже чревата. И проблема не решается на теоретическом уровне. Хотя, думаю, опасность будет всегда, поскольку коренится в насильном, неестественном, хотя и закономерном, закономерном характере самой преобразующей человеческой деятельности, как природы собственно человеческого. Поэтому всегда будет требовать корректировки, поправки на движение. Пытаться свалить всё на природу, дескать, ничего не поделаешь, такова природа человека, и припомнить «Об изначально злом в человеческой природе» Канта. Хотя там не об этом, для вящей учёности, любая попытка введения этики и рассуждения о природе зла всегда будет оправданием изначального неравенства и несправедливости, хотя природа — никакая. Но я не об этом (к слову пришлось), а о том, что войны не ведутся от нечего делать в свободном времени. Это уничтожение и времени, и вечности.

Военное производство тоже имеет отношение к свободному времени, но косвенно, как непроизводительная сфера, и как циничное «войны — локомотивы истории», выражаясь современнее — движитель истории, но только в условиях превращённой формы стоимости, или непрактичной, не меркантильной формы стоимости — праздной, но это бросовая проблема, мусорная, хотя и прибыльная. Войны — самая бредовая и бездарная форма потребления. Можно сколько угодно писать о «роли насилия в истории», и даже «учиться жить без войн», тратя усилия и ресурсы на более созидательную сферу, не дичая — это такая дрянь, которую никаким доводами разума, «трактатами о мире» не победишь, и войны, как и вообще фашизм, претендуют, чтобы стать, быть абсолютным злом и даже сущностью человека. А это не так. Хотя бывают войны «справедливые», но даже они — мерзость, хотя и мне знакома «благородная

ярость». Но всё это за пределами человеческого, хотя и сугубо человеческое явление, как и любое извращение.

Тут ещё примешиваются границы самого времени, когда понимаешь, что так нельзя, но тебя принуждает к этому то, что другого не дано. Я просто не дотягиваю, как будто современность, будь она неладна, сделала мне прививку тупости. Это тупость не моя, а эпохи, слабоумие времени.

Я бы уже и прекратил всё это, тем более, понимаю, что попался, и уже — в прошлом, и смысла в этом никакого нет, и всё происходит само собой. Влип в свободное время, как в сказке про соломенное чучелко. И отделаться от свободного времени уже нельзя, оно встраивается, как вирус, в жизнь, как в клетку, и, хоть и чужое, внося элемент отторжения, переформирует жизнь. Критика самого времени — все уже умерли. А концепции умирают, как и люди. И, думаю, подробности не нужны. Перлюстрация забвением уже произошла — никто не вспомнит, но ведёт какое-то упрямство, может быть потому, что это живёт только этим текстом.

Все это слишком сложно, и, пытаясь удержать равновесие в теоретическом описании, легко впасть в ругань, менторский тон, или того хуже, начать оправдываться, что я не то имел в виду.

Я действительно не «то» имею в виду, и вряд ли можно все эти превращения соответственно выразить, а тем более адекватно описать, чтобы они были адекватны неадекватной действительности. Сложность в том, что невозможно, пользуясь современными средствами, вывести не только будущее, но и настоящее, и даже бывшее прошлое из факта существования производства ли, общества ли. Все это изрядно тронуто ветхостью, покрыто налётом времени. (Уж очень не хочется когда-нибудь на старости лет (старость лет наступила) позорно отрекаться от собственной жизни, поливая грязью своё прошлое, как это делают шестидесятники, или каяться в прошлом своей страны, как нынешние, судить то, о чём и понятия не имеют, хотя они тогда ещё не родились.)

Где все эти десятники, «прорабы духа» и прочие представители свободных профессий, которым отшибло память от страха за свою шкуру, и они уже не помнят, как сами превращали философию в потаскуху, курву, пользовали, как хотели, а теперь очнулись от счастливого сна? Что же вы, дяди, так поздно поумнели (хотя, где они?) Приличные люди в таких случаях стрелялись. Они же предпочитают за собственные ошибки стрелять других.

Впрочем, мне ещё не приходилось краснеть за свои слова, скорее, им за меня.

Теории вообще перестали совершать переворот в душах людей, скорее, отворот, совращая, да и с душой как-то не очень: то ли некому продать, то ли архаичное и устаревшее, рудиментарное, как слепая кишка. Каждая идея бесится и вращается, как угодно, и отклоняется куда и кому угодно в своей магнитной аномалии, со своим индуктивным током. Сами категории несут на себе проклятие и угодливость (догадливость и гадливость) хорошо сработанной вещи (теперь поставленной на поток, одноразовой штамповки, которая не хуже ремесленной кустарной поделки) — их «предназначение» с трудом поддаётся переиначиванию, все время заставляя попадать в смешные ситуации. Каждая из них — священный предмет, древний и почитаемый, но годный для ритуального пространства, как «ковчег» со святыми дарами, который вполне заменяет «ладью Харона» (Дюла Ийеш), по преданию, из гранита, но совершенно не пригодна для плавания и переправы — только для перевозки теней умерших по Стиксу. Поэтому остаётся пользоваться словами, как языком жестов, на языке оригинала — в молчании, в безъязыкости.

В этом отношении повторы, как проведение темы в разных тональностях, в иных вариациях — просто необходимы, хотя бы для косвенного задевания сути, тем более в ситуации мёртвого молчания, в котором каждый из нас сейчас, и навсегда, завис в вязком и душном времени. Раньше созвучное нам тянулось к нам, отзывалось, хотя бы эхом, теперь удаляется от меня — никакой акустики, и слово, брошенное назад, не возвращается, и никто не знает, слышат его или нет. Разрывы текста не нарушали его единости, притягивалось всё, созвучное нам, звучало в нас и впадало, резонировало. Единственности не безразличен одинокий голос и его тембр. Одиночество в хоре, на хорах страстей. Слова произнесены самой идеей, проступают не линейно в необратимости, а то тут, то там, как сок граната в «Ашик Керибе» Параджанова, пятнами, пока не обнаружат свою сплошность и неоднородность и перестанут доверять конфигурации пятен, форму которых и скорость расползания ошибочно принимают за существо дела. Вряд ли я смогу продраться сквозь запутанность смутно ощущаемой проблемы, и я пытаюсь уговорить себя увидеть, а так ли это, или же это только мои видения? Судить не мне. У меня нет критериев.

Итак, мы остановились вместе с остановившимся временем на том, что свободное время имеет своё происхождение и начало в ограниченной человеческой деятельности, присутствуя всегда, сопровождая историю человечества (как её предел, волна, момент сопротивления — порой эта волна ударная. Этот предел, граница формирует общественное, социальное время, условно говоря, расслаиваясь на рабочее, прибавочное и свободное время в его тенденции к освобождению). Совершенно согласен с А. Герценом: «Слово “человеческое” препротивное: оно не выражает ничего определённого, а только к смутности всех понятий подбавляет ещё какого-то пегого полубога» (Герцен А. И. Роберт Оуэн // Соч. в 2-х т. М., 1986. Т. 2. С. 320). Свободное время является, с одной стороны, с-начала относительным свободным временем, принимая те или иные исторические формы, и абсолютным — с другой, то есть открыто-завершающим конечно-бесконечным. Оно бесконечно, хотя ограничено началом и бесконечно завершено, время, определённое собой, как самоопределение предела и собой сформированное — преодолённое, собой опровергнутое. Абсолютное время, как ни странно — предел Абсолютного, хотя оно пределов не имеет, и в своей сущности безразлично к формам бытия, ветвясь, как грозовой разряд, через «трещины», трещинами, в плотном, забитом, сверхплотном слежавшемся пространстве бытия вещей, как его антипод, разряжаясь (разрежаясь и принимая множественность от наличного бытия, угасая, как становление), хотя становление превращается в иное, форму оставляя «позади».

Поэтому есть свободное время от необходимого бытия, но то же, не-иное свободное время — от себя самого. И я не знаю, различаются ли они — наверное, по интенции, а не по фактуре. Скорее, даже по инерции и направленности.

Это следует из общей специфики времени, стремление которого не знает разрешения. Оно само — результат исхождения бытия, и потому — конечная форма бытия предшествующей истории никак не обусловлена «фондом» (Герцен) истории, и фоном. (Тут можно много говорить о нисходящих силовых линиях истории.)

Фактура свободного времени, формального, в пределах истории, в разные моменты истории по-разному ощущается, принимая причудливые конфигурации мысли, видения, фантазии, чувств, рознясь по модусам и фигурам, стремясь стать атрибу-

тами и акциденциями и материализуясь в бесконечных вещах, бескорыстных и превращённых, простирающихся далеко за положенные пределы, остановленных во времени, временем, а на самом деле — в непрерывном движении, изменении, живёт своей тайной жизнью в книгах, картинах, поэзии, музыке, философии, но и не только в них, даже в обыкновенных предметах быта, истёршихся (а часто истерящих), в работе вещей, артефактов культуры, и зачастую в ложном значении, эстетизируясь…

Только свободное время даёт меру самому времени человеческой истории, первоначально как бегство от рабочего времени, впоследствии — на неопределённую «глубину» переосуществления и роста, где бегство превращается в живой побег свободного времени, но всегда — как нечто необязательное.

Развиваясь, разворачиваясь в координатах прошлого, настоящего и будущего, время рапространивается, разливается «вширь», захватывая и превращая в общественное пространство всё новые площади и территории, не подчиняя, не покоряя их, а скорее оставляя, вдаль, как чистая деятельность, и ввысь, и вглубь, в котором тонет бывшая история, как легендарный «град Китеж», и вся она — о нём сказание, но почему-то как о Граде Божием. За этим завораживающем процессом не видно, как исподволь время интенсифицируется в своей напряжённой жизни и превращается, превращая всё в себя. Координаты существуют только для самих себя, как форма организации, самоформирования. Никто ещё не промерял глубину времён. Однако ясно, что времени стало «больше».

Развиваясь неравномерно и никогда не наступая, нарастая с каждым новым превращением человеческой деятельности, подобно тому, как первоначальное идеальное пространство человеческого духа отпускает на свободу вещи, а не только идеи и эйдосы, руководствуясь логикой дела, переставшие быть собой, так и превращённые идеи, в последствии порождают снятием идеи, снятием предметности, совершенно иные чувства, порой не логичные, и точно не привычные. Но сами чувства совлекают свою определённость, и по прошествии своего непрозрачного времени, всего времени, совлекают свою «лишённость» и происходят в иное, непредсказуемое бытие становления, а раз оно «так» (нельзя сказать о становление «такое», поскольку оно не имеет качеств и количеств), то любой его мель-

чайший осколок, отрывок, фрагмент, вполне и не меньше бесконечен, чем само становление, так же непредсказуем и не предречён, более того, не фрагментарен и тотален в своей единичности.

При производстве, основанном на стоимости и собственности, капиталистическом, лучше сказать, капиталистическом образе, а не способе производства, свободное время имеет другое строение, чем в античном, более того, оно окрашено в каждом случае оттенками, примесями, вкраплениями и покрыто (сокрыто) рисунками, зависящими от места формального времени, времени года, субъективного времени, исторического, короче, всей той освещённости, видимости, которая только в свободном времени обретает своё воплощение и неповторимость, как любовь к деталям. Свои очертания, ещё размытые, смазанные от скорости. Но то, на что обращают внимание, уже произошло, и след его простывает у нас на глазах.

Так, с одной стороны, не имея в виду историческую преемственность (дурную наследственность истории), с единственной стороны настоящего нарастает многообразие времён (безобразие, аморфность времён), обратно пропорциональное убыванию, разнообразию чувств, их формальное перечисление, обмеление, заиливание души, которая подменяется абстрактно-всеобщей констатацией даже не времени, а регистрацией способов его измерения (измирения, всем миром употребимого).

Все эти формальные «ложные» времена (рефлексы композиций времени сущего) от мощного основания истории принимаются или не приемлются свободно, без определения.

В основе такого ощущения-восприятия лежит чистая трансцендентальная иллюзия и способность суждения, но никак не критика способности суждения. Готовиться, но не существовать. Само ставшее время переживается (пережёвывается), и тем становится чужой собственностью, отчуждённым становлением, эстетическим чувством, которое тонет в предваряющих, всеохватывающих формах искусства. Искусство, по выражению Теодора Лессинга, является «преданием смысла бессмысленному». И под таким ракурсом Кантовское «целесообразное без цели» предполагает смысл, как цель, новая телеология, где роль целей играют их отсутствия — они же смыслы. Искусство является преданием и предательством.

В тот же момент ландшафты времени меняются, и не только потому, что продолжается тектоническая подвижка пластов истории, их вздыбливание, торошение, но и в силу моего изменения.

Неоднородность времён, их неповторимость, с повторяющимся круговоротом, воспроизведением, обретая в христианстве цель и готовность исчезнуть, «конец всех времён» стремится к механическому исчислению и исчерпанию. Это конец прежде всего механического способа мышления. Слова ошеломлены и отказываются служить, содействовать мышлению, отказываются мыслиться.

Впрочем, всё это так или иначе описано в литературе, и хоть и увлекательно, но не проясняет существа дела. Иными словами, проблема имеет следующие очертания. Как, каким образом происходит ускорение, сжатие времени? Откуда берётся свободное время? Как оно освобождается и опредмечивается (не овеществляется — точно)? Почему оно отчуждается, и отчуждается ли? Короче, что, в конце концов, происходит?

Изменяются даже слова, как будто всё пространство текста стало скользким, волнующимся, «колеблющимся» (как у Спинозы), марящимся, и каждое слово, а не только поверхность текста, ещё недавно такое гибкое и податливое, легко уязвимое и пластичное, вдруг, при приближении к чистой сущности времени, начинает возвращать себе свою архаическую силу, распрямляясь, противясь и стремясь занять свою первоначальную форму, временем армируясь, временами организуясь, образовываясь, пространствуя.

Слово устремляется к истокам и становится неприменимым, непременным, неразменным и неминуемым, неминующим, при этом переливаясь оттенками изменений, теряясь в них, как в своей неопределённости, будто сама изменчивость, «эволюционируя».

Слово, словно древняя вещь, во всех превращениях своих таит «сделанность», созданность, которая сопротивляется другому. Слово — дословно. Оно противостоит, перечит другому, — нахлынувшим, подступившим превращениям и смыслам бытия. Смысл бытия, полагал Н. Бердяев (см. «Философию свободного духа»), постигается только через вечность (при переходе через вечность), — в бесконечности он тонет, теряется. Однако смыслом он становится лишь изгнанный, отброшен-

ный вечностью в разрешённую, разрушительную смертность, где обретается, помещается, но не умещается, становясь (новясь) приобретением бытия, но не умещась, не устраиваясь. Скитается и существует, суще*е*ствует. Бессмертный смысл — не-мыслим.

Так любое произведение искусства уже относительно свободное, сохраняет потенциальную энергию своей овеществлённости, «вырванности» из безликого существования, обличённое «первым» лицом (теперь его начинают узнавать в лицо, им оно играет как смерть своего лица) обретающее лицо, лик, удерживающее свою предметность, как атмосферу «над» предметом силой притяжения.

Предметы, что приметы времени, по которым примечают путь идеи.

Это тяжесть смысла — грубого и неотёсанного, не истончённого, прописанного дальнейшими интерпретациями чувства, напластованиями, восхищениями, эмоциями — искажается ближайшее, близпротекающее, льнущее, свёртываемое пространство, и эта вновь обретённая кривизна — напряжение свода, будто в украинском барокко — выгнутый, натянутый лук, без стрелы, вместо которой — устремлённость, подчёркивающая и удерживающая, «принимающая» тяжесть всей остальной вселенной, и ей противостоящая.

И тогда против тяжести, клонящей слова к земле, прибивающей, угнетающей их, как ливень и град, заставляющий полечь, они, — тщедушные произведения человеческой истории, — внезапно восстают, словно трава, взламывающая асфальт и бетон, проламывают обретённую форму времени, ломают линию горизонта и ставят его вертикально, вздыбливая всё то, что впоследствии, когда кончается идеальность слова и возвращается, возвещает архаический смысл — что так же невероятно, как будто стрелка-указатель превратилась в летящую боевую стрелу, однако, происходит. И этой стрелой можно, конечно, помешивать крутой сбитень философии и маркировать прогулочные тропы разбитной эстетики, как конкур, но изначальный смысл её в другом. Главное, что она попадает в цель и может ранить и убить. Причём цель образуется попаданием. Она формируется вокруг.

В том всё и дело, что когда речь идёт о другом, то это другое — не последующее бытие, которое представляем мы, и не

прошлое, а первообразное, о котором мы ничего не знаем, как только сами перестаём по отношению к нему быть другими, равно, как и будущее не знает нас, хотя нас и ведёт влюблённость в иное, лишённое положительного образа. Его роль исполняет изначальность, к которой апеллируют в качестве истинного истока.

Основания, которым взывают, оказываются заведомо ложными в своей претензии на истинность, и слова, проистекающие из, несут этот тайный яд ненадёжности, неизбежного предательства, будто ловушки в старинных крепостях — ступил на надёжную, твёрдую, замшелую плиту, а она возьми, и повернись вокруг своей оси, и обходить их надо «кружной дорогой». (Причём это становится ясно, когда сам всё это прочувствовал и открыл, и советы и предостережения уже не нужны. А так — говори, не говори — всё без толку.)

Эти окольные пути никуда не ведут — они водятся. И словом, предназначенным для другого, нельзя выразить, а тем более «схватить», как и похитить, образ времени, о котором *идёт* речь (стоит речь, во весь рост, во всё движение).

Понятие необходимого времени непригодно для выражения развёртывания свободного времени, хотя категории свободного времени универсальны и пригодны для случайного и необходимого, но не невозможны для выражения его исчерпания, становления иного. Однако, попробовать стоит.

Бесчисленное множеств миров порождено ложным «местонахождением» (метанахождением), каждого, кто рассеян в этой вселенной, но сосредоточен в себе, и у каждого своё «звёздное небо над головой или «внутри тебя самого» (Парацельс), и всё промежуточное пространство сквозь тебя омывается «эфиром» времени, который ты сам создаёшь.

При этом для каждого из времён существует не просто изменение (измерение), а действительное развитие свободного времени, подобно тому, как акциденции времени развиваются по формам движения, и тем создают ощутимое многообразие времён, их разную «массу», «плотность», «разрежённость», «микрохроматизм», «направления», «свободы», «характера» «скорость», которые существуют только благодаря основанию, и имманентной цели любой формы, правда, осознаваемой «постфактум» — стать свободным временем, стекающим не с ограниченной, повреждённой, недостаточной, тронутой, ко-

нечной, незавершённой формы бытия, а с бесконечного, бесформенного становления, не опосредованно, претендуя на то, чтобы стать если не «формой» становления (что невозможно), то хотя бы формой его отрицания, придав видимость наличного бытия становления, его существования, или, хотя бы, потенциальностью, выраженной, как «чреватость», чтобы опять сорваться временем исчезновения этой определённости.

Становление всегда актуально, и эту его особенность наследует, как «его» природа, свободное время — это его (времени) «доминантный признак», хотя, если рассматривать его под углом: откуда берётся активность свободного времени, «внутренне беспокойство», то это выглядит «рецессивный признак» деградации свободного времени. Вряд ли с этим хоть кто-нибудь будет разбираться — это не инструкция по эксплуатации, но вот так это выглядит в первом приближении. Дальше знания нет — только сплошная импровизация, зияние, нет «правильно» или «неправильно» — есть только путь и пройденная траектория бывшего движения, как пересохшее русло. Любая остаточность счастлива своей сбывшестью.

В процессе увлечённости любой проблемой неминуемо рождаются «химеры» (Л. Гумилёв) — ложные, но удобные логические решения, наросты, опухоли, воспаления духа, языка и «буйства мышления» — оно сходит с ума, как с конвейера, штамповкой. Нельзя превратности метода принимать за превратности судьбы. А поневоле нечто абстрактное абсолютизируется, гипертрофируется и становится доминантой. Довлеет и навязывается, пытаясь превратится в метод, а поскольку не может, то становится методологией — катарактой, которая уничтожает саму жизнь проблемы. Воцаряется скука, которую никакой драматизаций, трагедизацией не расшевелить. Текст ставится непроходимым, трагедия — смешной, и вызывает зевоту. Как в данном случае. Читать невозможно, хотя это не развлечение, не монография, не анонимный трактат (но очень похоже), не повесть о «горе-злосчастии», а вне известных жанров, и чревато бесчисленными продолжениями в каждой точке своего «тела». Тут нет желания заставить читать — только судорожная попытка не забыть.

Помимо произведения, производства, творения собственно массы свободного времени в человеческой истории обнаруживается тенденция его (времени) интенсификации, как свёрнутая в интервал жизни история самого свободного времени, в каждом отдельном случае. Это, конечно, хайдеггеровщина, по-

пытка выкрутасами языка втиснуть смысл в одну фразу, но язык слишком неподвижен, упрям и тяжеловесен, медлителен, чтобы передать стремительность на самом деле происходящего, хотя он не «виноват».

Казалось бы, при ускорении времени должно быстрее происходить прехождение, и более стремительно вызревать смерть той или иной формы, но это действительно (и смертельно справедливо, опять вопросы этики).

Я много говорил о скорости, говорил бы и об ускорении, о скорости самой скорости, но эта тема скомпрометирована. Тем более ни скорость, ни ускорение не являются свойством или условием, даже характеристикой бытия, качеством тем более. (Это как скорость света — всё, что приближается к ней, само становится светом.) Можно говорить об «импульсах», причём не утруждаясь рассматриванием этого как метафоры, а прямо, онтологически, и это будет «работать». А если бы потратить время и связать скорость самого времени, в качестве замедления и ускорения: и с Ньютоновским механическим пониманием, и с релятивистской концепцией — тут всё просто, и с производительностью труда, которая заканчивается, когда всё время свободное — вопрос о производстве времени отпадает за ненадобностью. Перестаёт быть проблемой, как и вопрос об общественном развитии, становится безразличным — решён вопрос об эгоизме, универсальности, и снимается сама проблема свободного времени, да и времени вообще. Время теряет свою монополию, как и пространство. А пространство-время даже не является континуумом… Пространство становится «-транством», пребывая и в трансе. Хотя «про-», как «прото-,» «контр-» «пространствие» — «пространствование») и — временение и время как пост-времение, потому что время — всегда прошлое, и пространство-время — взаимопереход противоположностей и противоречие превращения, и никаких квази.

Тут речь может идти не об «убольшении» времени и пространства, или минимизации, а о скорости превращения, росте, не о производительности труда, а о «метаболизме», освоении, усвоении, органичности, хотя к биологии это не имеет никакого отношения, но свободное время — как время жизни.

Оно по-всякому: и «прямо пропорционально» пространству, и «обратно пропорционально», и вообще несоразмерно. Так, «чем больше свободного времени, тем больше пространства» — справедливо, но необходимо ещё и развитие, свободное действие, иначе избыток свободного времени начинает гнить. Обратная пропорциональность — сокращая пространство, тратя меньше времени на преодоление пространства, мы сводим всё к «минимализму» свободного времени, хотя никакой необходимости в этом нет.

«Про-изведение», даже если это человеческая жизнь, в этой экономии (икономии — в христианстве принцип богословия и решения церковных вопросов

с позиции снисхождения и практической пользы, удобства или акривии — ἀκρίβεια — «точный смысл, строгая точность, тщательность» — точный смысл, точность, строгость, соответствие букве закона; принцип решения церковных вопросов с позиции строгой определённости. Акривия означает неизменность догмата, внутреннего правила веры) не нуждается, как и в христианском смирении, но тенденция сохраняется, тем самым привычка к мере, к соразмерности начинает вовсю принудительно властвовать, хотя естественной границей является само свободное время, как смыслораздел вечности и времени, то самое «время — подвижный образ времени, вечность — неподвижный образ времени».

Таким *образом* вечность и время самоопределяются смертельной человеческой жизнью. И, тем не менее, вся эта муть, вроде четырёхвекторной (или многовекторной) системы координат пространства Минковского, зависимость от точки отсчёта и стороннего, независимого наблюдателя, и прочего даже в своей примитивной форме «срабатывает», даёт возможность зацепиться «за проблему», хотя бы отталкиваясь от «всё не так». Поражает, что физики даже близко не имеют представления о сущности времени, сосредоточенные на способах измерения, воспринимая скорость, как совокупность отношений метров и часов. Хотя они решали свои проблемы.

Тут важно понять и принять как данность, что время аналитическое, и дифференцированное, и синтетическое, интегрированное (интегральное) — не просто разные процессы, а одно и то же время, одно и то же пространство, не только одновременное и уж, конечно, не однонаправленное, но *однопространственное*, в чём-то даже гомогенное.

Так что правы и Ньютон, и Эйнштейн, и Аристотель с Августином, и Кант, и даже Хайдеггер, и все, все, все, и не прав никто. И все, кто касался времени, даже близко не понимали его природу, которая, как ни странно, не во времени, и ставится как проблема только с проблемой свободного времени.

Но лучше об этом не говорить, поскольку вопрос не в том, что такое время, в том числе и свободное, а в том, как в нём действовать, и как его создавать, осваивать, даже использовать как инструмент.

Даже если просто по аналогии проинтерпретировать это в уже достигнутых наукой понятиях, от занимательного «парадокса близнецов», до странностей, когда, чем больше тратишь свободное время, тем больше его становится, есть вопрос о расширении времени, независимого от пространства, так что сокращение пространства не увеличивает время количественно, а интенсифицирует его, а сокращение времени не становится обширнее и не связано с длительностью и протяженностью, и время перестаёт быть свидетельством развития и доказательством, критерием становления, что неверно, но как непонимание «неверное», «наверное» времени работает в любых отношениях.

И вопрос об относительности и абсолютности времени сродни с единственностью абсолютного, как движения. Все эти «флюэнты», «флюксии», законы сохранения движения, сохранения энергии, «импульса», материи, которая то же и тоже движение, «быстрота», скорость распространения гравитации, хотя никто не знает, что это такое, но пользуются, как заменителем, смутно догадываясь, что скорость света и притяжение как-то связаны — всё это имеет ограниченное значение, и не в физической форме, движении, препарирования её и расколупывании в ответ, а в понимании свободного времени и его применения к остальным «временам» в естественных науках, конечно, не в качестве кальки, а в качестве преобразований. Смутная догадка: свободное время «кумулятивно», и хотя и «причинно», но может выглядеть, как «природа порождённая» и «природа порождающая», «порода», «про-рода» ближайшая «у-рода» причина и основание, «потому что свободное время», и «следовательно...». И чувства охотно приемлют это «у-родство» как родство, потому что родовое проклятье быть «лишённостью» довлеет и над свободным временем, и — есть источник ущербности чувств, коль свободное время есть их бытие, предзаданность и направление. Быстрота вводится наравне со скоростью, и тоже может рассматриваться как эстетическая категория, с точностью метафоры.

Если принять сомнительные определения «быстроты», то они срабатывают. Даже для текста. Пишется по касательной, и срываешься с неопределённости в бесконечность, вплоть до исчерпания, как будто тебя ведут одновременно и ареатангенциальная, гиперболический арктангенс, и центростремительная скорость, но кривая не выведёт.

В релятивистской механике угол между касательной к мировой линии частицы и осью времени в базовой системе отсчёта носит название быстроты. Быстрота стремится к бесконечности, когда скорость стремится к скорости света (Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М., § 2. Интервал. § 3. Собственное время. § 7. Четырёхмерная скорость // Теория поля. Изд. 7-е, испр. М.: Наука, 1988. 512 с.).

В общем, что-то из общей теории относительности, четырёхмерная скорость, конус света, но суть не в этом — в том, что время понимают с точки зрения измерения, а скорость — как перемещение точки, и вводят понятие быстроты, как будто это решает проблему. Так что Аристотель ближе к пониманию сущности времени, чем современная квантовая физика, хотя она стремительно устаревает.

Я не посягаю на статус общей теории относительности, но даже такая формальная постановка вопросов заставляет думать о скорости самого свободного времени, которое стремиться к бесконечности, к скорости света к ничто, чтобы перестать быть собой, к нулю — и это одно и тоже. То есть все возможные определения времени можно воспринимать только апофатически, отрицательно, как «не то», «нетость». Оно стремится к исчезновению.

Более того, науки сливаются в единую науку, и не только науку технологию, «превращения всего во всё», как то, что *нужно* человеку, а в науку не по нужде, как свою трансцендентальную эстетику. Это произойдёт очень скоро, либо завязнет в изобретении координат и точек счёта, поисках «гравитонов» и «бозонов Хиггса» угасающим сознанием, впадающим в бодрую старческую деменцию протезов формальной логики, индивидуальных компьютеров, на использовании которых строится вся сеть интернета. Только не надо думать, что я дремучий, и против компьютеров и интернета — это свершившийся факт, и уже элемент быта, я против подмены мышления готовой продукцией, когда указывают, что считать знанием, истиной и даже жизнью. Я не за «назад к природе», а за «вперёд», к свободной природе человека.

Уже сейчас наблюдаются симптомы слабоумия, неумения мыслить, учиться, утрата остроумия и даже чувства юмора в массе своей, и это уже клиника. Мышление теряет стремительность и впадает в анабиоз. Но специально этим заниматься бессмысленно не только потому, что «чему быть, того не миновать», а и потому, что плакальщиков хватает.

Но инерция мышления и торможение скорости его таковы, что по-*прежнему* и время и пространство мыслятся чисто количественно, в лучшем случае как объем, а происходит качественно и не сводятся к способу измерения (изменения, потому что именно изменение является мерой изменения и относительности), к выбору координат, системы отсчёта, и вовсе не из-за погрешностей, которые предполагаются как допуски, а просто по недомыслию, попробуйте сами — это очень трудно, почти невозможно, и даже тошнотворно.

Когда обращаешься к своим старым текстам, то получается, что либо они не устаревают, либо ты не развивался, либо ни то, ни другое, или и то, и другое. Здесь нет тайной уверенности, что даже в таком затрапезном виде это достигло той кондиции вне языка, как, например, тексты Платона, когда, какой бы чушью написанное не оказалось, оно просто не может устареть, потому что не важно, что написано, а когда как будто оно достигло абсолютных значений, даже если прочесть не смогут. По сути дела, не узнают, что имел в виду Платон, адекватно ли он понят, но будут относиться с почтением, поскольку это написано, и тем свершилось. Здесь другое: интересно, как в рамках одной жизни всё меняется до неузнаваемости, и не факт, что поздние поправки намного умнее, чем первоначальный вариант. Такое впечатление, что предшествующее наследует последующее и является его следствием.

Только для форм овеществлённого необходимого времени, которое вполне может впоследствии превратиться, осуществиться в свободное, буквально, «кануть в вечность», или умереть, затерявшись во времени, которое поглотит саму форму, как временность, закон не писан. Но его напишут, и принудят к нему.

В свободном времени всё наоборот (т. е. правильно, так, как должно быть — хотя нет, просто «точно так же» — не рассматривается), при приближении времени к скорости самого времени, как к скорости света, имеющего сущностью времени, *свободное время*, как будто приближается к первообразу, и само по мере приближения встречает всё большее сопротивление времени, преобразуясь по образу и подобию свободного времени, хотя бы в чувствах.

Оно — лишь формальное направление и пространство, необусловленное к субстанции, как будто из неё никогда и не исходило, никогда не отпадало, теряя акцидентальность.

Времени оказывается, *случается*, выпадает «больше», чем есть на самом деле, чем может быть, и оно консонирует, впадает в резонанс со своей сущностью, теряя временность, но временя, вменяясь времени, временяясь в пространство, временяясь пространством, причём «клочьями». Тут чистая поэзия: «сгущения», «разряжения» времени, его неоднородность, все эти «клочки по закоулочкам», принципиальная, демонстративная дискретность при «сплошности», все эти «только и всего, что время», «чтойность» времени, мультипликация его и частотность — только видимость. Время — кажется во «всей красе», как исток «красы», со всей ироничностью, ненадёжностью, иронией. Неся в себе разочарование, досаду, недоверие и к Красоте, и к прекрасному.

Субстанция доразвивается до абсолютного, и всё, что ни происходит, происходит абсолютным образом. Чувства, освободившиеся от предметности, становятся по началу (по основанию, по свободному времени, им и в нём) органоном, но затем теряют свою органичность, «органность», прекращая быть *о*рганом (не органами, а единым органом), чья «отдельность» и самостоятельность (как часто каждый зависел от чувства, как много чувства зависели от каждого, и зависали, желая удержаться в «устойчивом неравновесии», пытаясь задержаться, остаться, и сколько сил тратилось, чтобы быть в ладу с собой, пребывая в мире и гармонии, и какие силы вызывались, чтобы нарушить покой, и прорваться неведомо куда, к иному, куда угодно, вплоть до того, чтобы не жить), чувства исчезают в непосредственном основании, и человек распахивается в вечность абсолютного, которое и чувством назвать нельзя — оно меры не знает.

Узнать, чувство ли — это невозможно, но эмпирически чувствую этим, как чувством: живописью, музыкой, философией — всеми формами, видами и оттенками, и не только искусства, в котором они, как в инкубаторе, вызрели, но распространяясь на весь Универсум — которые сами становятся чувствами и даже ощущениями в каждой малости и уникальности. Эти чувства не приспособлены, специально не привязаны к органам чувств, они сами — нервные окончания. Чувства, которые покидают чувства, рождают исчезновением время чувств. Дальше они на этом не останавливаются и, теряя предметность, уходят в основание, которое — свободное время — то есть сами становятся свободным основанием. Так что можно чувствовать всей музыкой, а можно только скрипичным концертом Сибелиуса, игрой Ойстраха. А можно каждым тактом, каждым штрихом, любимой картиной, строчкой, или всей поэзией, послевкусием какого-нибудь трактата Августина или фразы Паскаля, самим ошеломлением, когда тебе что-то открылось, обрушилось — это не важно, хотя именно только это и важно.

Хотя, как и говорилось, всё это не выражает истины, оно — сама эта истинность, даже в своей ошибочности. Слова отстают от этой немыслимости. Но тем самым в ней — объективный, реальный процесс немыслимости.

Так субстанция, если она абсолютна, не может доразвиться и впасть, стать абсолютной, поскольку для этого ей надо перестать быть собой, а значит, перестать быть вообще. (И это не только у Эриугены, Дунса Скота, вплоть до Суареса, но и у Спинозы, Шеллинга и дальше.) Лишь в той мере она есть то, что она есть, в какой она сама — фрагмент абсолютного и представляет абсолютное во всей полноте, как абсолютное абсолютного во всей тотальности, а потому любая последовательность времён условна и фатальна, и больше абсолютного на целую определённость.

Поэтому я и позволяю себе выводить действительность из факта бытия свободного времени, в независимости от того, какой эпохе это определение принадлежит и какой формой опред-*мечено*, хотя это не «по правилам», неправомерно и в какой-то степени нагло и самоуверенно, но хорошо приводит в чувство, показывает, что это не игра, и действительность необратима, даже «возращённой молодостью».

Это обеспечивает равнодушие, исчерпывающее вкус. Отношение к культуре в свободном времени, не отягощённой временем, снимает никчёмный, но «шикарный» вопрос о ценностях и их иерархии: что лучше, произведение Веласкеса или

Моцарта, философия или физика. Это делает тупыми глубокомысленные рассуждения, что лучше: произведение искусства или человек… «Всё едино, как сущее настоящее».

Меру всеобщности полагает абсолютное, совпадающее по фактуре с относительным, потому не имеющее к мере отношения, касательства, то есть *мера* оказывается *ни к чему,* сама по себе, и обретает самостоятельную сущность, как сотворённая субстанция, развивающаяся лишь в понятии, до-словно (хотя это не игра в слова, не игра слов, а игра деятельностей и «всех духовных и физических сил») — игра форм, но абсолютная по существу, с момента бесконечного *вторимого* творения (простирающегося в определённый момент времени, вторгающегося в момент, прививающийся к нему, к мгновению, к которому приурочено начало, привитое к вечности и сразу распространяющееся на целую вечность, воспламеняющее её. Поэтому поиски начала вечности — не такое уж пустое занятие. Спросите Канта).

Творение, кем бы или чем бы оно ни было или не мнило себя, живёт так, как будто оно было и будет всегда, разом исчерпывая все времена (осушая, осуществляя собой, как будто оно и есть красота, только смертная, смертельная. Красота, удалившись от мира на целую вечность, а значит, на бесконечность, навеки саму вечность делает миром (отпускает с миром), и оставляет его при этом во всей полноте (и ущербности), так, что даже чувство страдания не утеряно, но это уже страдание от красоты, ставшей обычной до отчаяния, и утратившей утрату, в ней обретая новый смысл. Было бы грустно потерять способность умирать от красоты.

Внезапно появляется опьянение самой мыслью. Это, как отравление кислородом или эйфория от азота. Мысль — как веселящий газ Упоение, приносит наслаждение мышлением, не важно, о чём. Те, кто мыслит, знают этот наркотический эффект наслаждения и самозабвения, и уже неизвестно, что это: сама красота или эффект гипервентиляции, притупляется чувство меры. Процесс мышления, как анестезия, а письмо, писание — чтобы не потеряться, волшебный клубок, в своей протяжённости — «нить Ариадны», хотя дорогу назад находить не хочется, да никто и не ищет — тут желание затеряться и забыться, забыть.

Думание, размышление приобретает характер раскручивания, распредмечивание превращается в процесс ломания и деконструкции, и чувство становится старческим ворчанием, и вообще неприличным. Ирония — брезгли-

вым отношением и к себе, и к философии. На самом деле, она оставила тебя (в живых), отцуралась, отреклась, предала анафеме (но, что примечательно, это — вечное проклятие, которое, как формула поимённого отлучения, вечно провозглашается в первое воскресенье поста перед Пасхой). И всё это потому, что ты не смог, и не справился с проблемой. Не проблема плоха — просто время жизни закончилось. На самом деле философия даже не помнит, что ты был, и был и вообще…

Но ты то не знаешь этого, и самозабвенно думаешь по-прежнему. Не в силах отвести взгляд от прошлого себя. «Возвышенное нас разводит с нами… потому, что «от прошлых нас всё глаз не отведём» (Рильке), поэтому с упоением, глаз не оторвать, смотрим на прошлое снизу вверх, и некоторым образом «униженно». Возвышенно — чувство прощания навсегда. Не спешим избавляться от философии, как будто она — наше оправдание. Она — оправдание современности, словно только благодаря ей оно наступило и сбывается, хотя и современность, и философия ложны в своих притязаниях на действительность и жизнь. Сплошное разочарование в происхождении, которого философия бесстыдно стыдится. Продолжаются по инерции в этой глуши форм поиски своего «я», хотя оно уже давно ушло в основание и снято всеобщность свободного времени и становления. Свободное время и становление в теории выглядит антиномиями, но в реальности — единое противоречие.

Тут впечатление, что вся история человечества до сегодняшнего дня — всего лишь предыстория (и так оно и есть), а вся настоящая история свободного времени — «после человека». Это не так, потому что свободное время перекраивает и превращает всю предшествующую историю в себя, но не к себе, не считая себя вершиной, и уж никак не полагаясь на эволюцию. Я вообще не признаю футурологов, считая их вроде гадалок и астрологов. И фантазии у них скудные, и мышление убогое, например, смешные книги Диксона Дугала «После человека. Зоология будущего» и «После человека. Антропология будущего», и всё такое прочее (при этом он хоть искренен, а остальные — просто шарлатаны. Но иногда читать такое надо, чтобы перед глазами был образец заскорузлого способа мышления по аналогии, чтобы самому не попасться).

При этом чувства занимаются мимикрией, точнее ,«мимезией» — покровительным сходством, хотя не следует это понимать буквально — тут не властвует «естественный отбор», потому чувства могут быть свободными и непоследовательными, не детерминированными, хотя могут и поражать, и быть невыносимыми и жестокими, подражая вещам и выдавая себя за чувства, выдаваясь за чувства, на самом деле не поднявшись даже до уровня раздражимости, как у амёбы, стремящиеся от света в тень, так простейшие чувства стремятся укрыться от красоты в тени вещей— «инстинкт самосохране-

ния», но это ещё и их нечеловеческое существование, до их природы, когда свободное время ещё случайно. Кода времени стоимости, клаузура собственности, в том числе и на чувства.

Сущность этого происхождения коренится в самом процессе деятельности, понятой как самосотворение и (самосознание) оснований человеческого бытия.

Когда природа становится природой в отношении человека (природой-при-человеке), уже сам процесс целеполагания, связующий её, ещё несвободную, видо-изменяет, превращая, приручая, порабощая, а надо бы освобождать, развивая, что тоже насилие, но хотя бы преобразовывая со знанием дела, сообразно с природой.

Дальнейшие «поступки» (проступки) проступающей, поступающей в процессе деятельности природы (которая больше за себя не отвечает), ограниченной объективной формой труда, представляют из себя переставание быть собой. (Природа начинает рассматриваться со стороны этики, в отношении к ней вторгаются чувства стыда, жалости, позора, несправедливости, безнравственности, и деятельность воспринимается как поступок и больная совесть. Хотя надежды на это мизерные. Скорее, поступками руководит страх выпустить силы, с которыми справиться не смогут, как в генной инженерии, а так — готовы на любое преступление и любой садизм, расширяя понятие моральности до бесконечности, хотя оно само — крайнее выражение аморальности и безнравственности. Но вопросы этики и природы это уже вопросы жизни и смерти, хотя этика не поможет.)

И в момент, раскрывающийся между собой и другим, объект труда, теряя свою определённость, уже обретает «промежуточную» относительную свободу, протосвободу чистой негативности, представляя зияющую прореху бытия, сквозь которую проглядывает, фонтанирует чистое ничто.

Оно может переживаться, но не видимой свободой, свободой исподволь (из-под-воли) невольной, не-на-видимой только за то, что она свобода — тревога, что бытие внезапно «отпустило», как боль, к которой уже привык, притерпелся и не ощущаешь — порог чувства ещё очень низок, и потому свобода ещё не имеет своего чувства, а прочувствуется, почувствуется ещё не свойственным ей чувством, уже выработанным, остаточным чувством несвободы, неволи, тоски.

Это уникальный случай, дающий искусству реальную возможность не имитировать жизнь, а быть ею, попустительствуя воображению и напрочь переориентируя историю. Тот же эффект, но обратный по «направлению», которое утратит становящаяся свобода, потеряв, забыв основания, отказавшись от себя. Тогда свобода начнёт создавать основания сызнова, с себя, соответственно переосуществив чувством свободы прошлые несвободные формы, делая их своим настоящим, даже будущим, пока сама свобода не преодолеет себя и время.

Ничто, его чистая форма свободы (вернее, не форма чиста — она сама очищена и произведена, совершена, изготовлена, явлена отрицанием, и преобразована, она для ничто не собственная, а вешняя, и потому — чистая неопределённость, неосуществлённость), заполняется, «подтапливается» необходимым временем, инородной сущностью, приговорённой к целесообразности.

Оно вторгается, отчуждая свободное время в немыслимое и недостижимое, отчуждая и оклеветывая его, как чуждое человеческой природе, как соблазн.

Но образ свободы совпадёт со стремлением предмета, вынужденного быть вещью, да ещё с чужеродной сущностью, бытием к смерти. Хотя он сопротивляется, но смерть, исчерпание сущности воспринимается как освобождение его и дальнейшее превращение. Образ — плацента вынашиваемой сущности, а не действительной, в расцвете, — в эмбриональном состоянии она не обладает действительностью — только потенциальность, в возможности, при безусловной реальности. Всё это не так загадочно, как кажется.

Все описания Маркса, Смита, Риккардо и прочих представителей классической политэкономии, безусловно, верны. Чтобы не повторяться, я буду их произведения, а также всё, написанное на эту тему, независимо от убеждений, заблуждений мнений и т. п., воспринимать догматом достигнутого, как будто они — единый и единственный взгляд на один и тот же предмет, исходя из достаточно спорного положения, что в истории никто никогда не ошибался, а ошибка — это просто не вся истина. В этом смысле вся история — одна большая ошибка, авантюра вечности.

Предмет труда, подвергнутый отрицанию отрицания, сам себя превращает, собой превращается. Превращается и орудие

труда, а оно — мера отношения, следовательно, изменяется мера, и превращается сам субъект труда, и, соответственно, сам труд. (Речь при этом идёт не о модификации орудия труда, старении человека, изнашивании, изменении условий труда. Всё находиться в изменении. Уравнение, в котором всё неизвестно.)

Превращённый вновь созданный предмет продолжает изменяться в своей ставшести, сталости, у-сталости, обладает новой сущностью, а старая его история — прошлое, имманентно содержащаяся в нем, как свойства, но уже не безразличные, а уже необходимые, причём необходимые внешне, для другого.

Сама же его сущность — прехождение в форме рабочего времени, порабощённого в нём и зажатого, будто боевая пружина. Смерть пройдена и поглощена. Наличное бытие отдаётся механическому типу движения, овнешняется. Привнесение механической формы движения, абстракции, какой является типология, возможно, если мир принудительно деградирован к абстрактному единству «одного-и-того-же».

Количество необходимого рабочего времени свёрнуто в пространственной форме предмета. Поступая во всё тот же процесс производства, в отношения человека к природе и человека к человеку, этот предмет опять подвергается отрицанию, используется по навязанному ему предназначению по идее, целесообразно по образу, логике дела, ускоряя предшествующий ему процесс и тем распредмечивая необходимое рабочее время, или, что то же самое, освобождая его. (Причём распредмечивание-опредмечивание, как субъектно-объектные отношения — это один и тот же процесс, хотя предмет и объект не одно и то же, но рознятся они по способу дела. Можно сказать, что предмет — это объект, взятый в единстве многообразия, конкретно, а объект — это абстракция, односторонность предмета. Поэтому объект у схоластов «застит предмет, он — «между предметом и человеком.)

Освобождённое свободное время, которого больше, чем достаточно, создаёт избыток свободного времени, так что, несмотря на то, что количество необходимого времени на сотворение одной вещи, овеществлённого, осуществлённого, уменьшается, его интенсивность увеличивается, изменяя плотность времени и скорость его прибывания (овеществление тождественно овеществлению, хотя и не равно ему).

Всё это, конечно, очень схематично. Избыток времени, освобождённый в процессе труда, за счёт уменьшения необходимого рабочего времени, то невозможности исчерпать его прибавочным временем, превращается в издержки производства — в свободное время, которое избыточно, сверхвремя, но ведь и существует гибелью времён, порождённых ограниченной формой, и поскольку эти времена были конечны, то само свободное время содержит, как начало, предел, навязанную отрицательную, уже преодолённую конечность — пребывать *вечным образом*, которым «о-долена», это доля его, судьба, быть в *конечной форме* свободного, но всё ещё времени. Свободное время катастрофично. Метастрофа — как катастрофа. Строфа — поворот, катастрофа — переворот, ниспровержение, смерть. Μεταδτροθέ. Оно бесповоротно. После произошедшего (не поручусь, что это — исключительно воображаемое свободное время, а не онтологическое, но только при «работе» со свободным временем можно сказать «вообразите», и это будет полноправным доказательством. Более того, свободное воображение — полноправный участник процесса. Это «более того» реально).

Оно ещё не в себе, в другом, — потому не в образе, а впервые и не единство, и не разлад — простая неопределённость, которой ещё предстоит доразвиться в противоречивости до последнего свободного времени, до разрешения, и произойти, пережив снятие.

Свободное время имеет уже принципиально другую природу. Оно изначально, по сотворению, бесполезно, но поскольку оно — время, то может быть опредмечено, явлено особым видом деятельности, которое ему сродни — эстетической, художественно, «творческой» (хотя это иллюзия, здесь вообще нет специализации деятельности): она так же бесполезна и безразлична к определённости, как свободное время. Количество времени имеет значение лишь по отношению к его лишённости, «нехватке», к отсутствию, — к самому образу деятельности касательства не имеет: процесс творчества не определяется количеством затраченного времени, и оттого, что Рерих писал 800 картин в год, а кто-то всю жизнь одну — сущность не меняется. Количество значения не имеет ни у композиторов, ни у философов, ни у поэтов и писателей, как и скорость, интенсивность, и даже истовость. Мерой является само свободное время, которое снимает вопрос «зачем?» и не имеет критериев, меры,

и даже смысла с точки зрения рациональности, как её себе представляет рассудок, да и разум.

Сущность свободного времени — не его наличное бытие, но его становление, осуществлённое деятельностью, где сущность и наличное бытие преодолевают неравенство, становясь моментами, атрибутами одной и той же субстанции становления, растворяясь в чистой негативности субъективного. Атрибут — это ***та же*** субстанция, однако взятая, схваченная, снятая как субъективность — со стороны.

Впрочем, искусство ещё долго будет побираться, прислуживая неумным и неуёмным людям, как предмет роскоши, как нечто декоративное, придворное (притворное, приторное, потакающее слабостям и прихотям, скрашивающее досуг), выполняет роль десерта или лавки со сладостями, «коричной лавки» искусства.

И хотя оно сохраняет странную блажь быть свободным, но больше ценит тоску по свободе, предпочитая свободу шута («Школа шутов» Мишель де Гельдерод, она же «Школа для дураков» (Саша Соколов), она же всеобщая история), которому позволяется (не всегда) говорить и делать всё, что заблагорассудится, пародируя даже божественную красоту. Искусство по-прежнему ходит строем, что не есть признак ума.

Хотя многие поражались дерзким взлётам искусства, использовали скрытую мощь воздействия для низких целей («тьмы низких целей нам дороже всевозвышающий обман…»), но, в сущности, оно имело прикладной (накладной) характер, без которого, конечно, человеческая жизнь была бы скучна и абсолютно неинтересна, безнадёжна, вообще — не жизнь. Искусство почиталось больше жизни, что точно выражает его суть. Искусство исподволь, вместе с философией, оправдывало свою, пусть условную, но истовую свободу, как имманентную и конечную цель человечества.

Да, откуда же свобода, когда стоит лишь взглянуть на историю — она сплошь и рядом есть издевательство над человеком, а искусство всегда продажно и страшно свободно своей оголтелостью. Натюрморт — мёртвая природа, мертворождённая вещь.

Тем и притягательна сила искусства, что она — видимость свободы и потому близка измученному человеку. На заказ, за деньги, циничным, спившимся мастером (или самодоволь-

ным, успешным, благополучным, не суть важно), из мёртвого вещества хамски и беспощадно, цинично, или благоговейно и религиозно, создаётся не вещь, похитившая лучшие черты человека, произведённая на продажу, нет — нечто, дышащее правдивым светом человеческой свободы. Любовь в публичном доме? Доме терпимости?!

Невозможность, непостижимость разгорающегося, рдеющего, колеблющегося свободного времени, исходящего из любого произведения искусства ли, философии ли (если это они), будто в горне на угли погнали воздух (или от кузнечных мехов в старинных, времён Баха, органах — это потом будут электрические моторы и воздуходувы, и искусственные лёгкие принудительной вентиляции — искусство очень похоже на аппарат жизнеобеспечения) — как единственную правду, которой веришь (или не веришь) сразу и без остатка. Есть от чего впасть в религиозный экстаз, усмотреться, уверовать в эту преображающую силу искусства.

Но нет, преображающая сила человека — в человеке, одолевает тёмную предметность произведения, проявляет, является в свете свободного времени, иначе коллекционеры были бы самыми прекрасными и одухотворёнными людьми, а торговцы искусством — эталонами нравственности и духовности.

К произведению, увидевшему свет (им увядающее) и тянущемуся к человеку, сам человек подходит уже преображённым. Преображение — как приближение.

Свободное время — атрибут, представляющий себя субстанцией. Как бог, сотворяемый человеком по своему подобию, свободное время наделяется человеческими чертами, что делает свободное время похожим на себя (как Бог у Спинозы — бесподобное подобие себя), ближайшим, близким временем, отчасти над- и вневременным, временем, наделяемым творческой способностью к сотворению, природой человека, «индексом» в спинозовском понимании (index — оселок, пробный камень, критерий самого себя и ложного). Свободное время проверяется самим собой, своего рода «порцией материи», квантом движения, природой, qualitates occultae — скрытыми качествами. Для свободного времени период схоластики неминуем, но схоластики, прозревшей Декартом и Спинозой, а может быть, даже Кантом.

Свечение есть бесконечность свободного времени, которое начинается в свободном человеке чувством необходимости, удушьем и голодом, жаждой, тоской по *своему* времени — свободному.

Распредметить произведение искусства (а уж тем более свободное время и свободное чувство) означает совсем не то, что обычно понимают под распредмечиванием, путая его с развеществлением, раз-облачением, рас-твариванием (растворением), совлечением тварности и наделением иной сущностью, переосуществяя и перерождаясь.

Здесь отчуждение преодолевается собственной свободой, и моё вторжение в переполненность искусства заставляет проливаться навстречу приливной волной, реальной полнотой чувств, выдерживаемых в основании, в подвалах истории, веками. Старое доброе перебродившее время, стиснутое обручами тысячелетий, свободно только моей свободой.

Если бы произведения искусства, философские тексты, литературу (да, те же чувства, самовидение) поместить в безмерность свободного времени (что мы и делаем невольно) то они растворились бы в этом чистом свечении абсолютной свободы вместе с человеком, в едином сияющем свечении другого (не заблуждаясь в дифференцировании и в нём не убывая, не теряясь), утратив определённость в бесконечности.

Ведь и так при непосредственном общении с произведениями искусства, загнанными на склады музеев, в запасник, хранящимися, как золотой запас, эквивалент духа, предметность властвует только в момент узнавания, в первый момент (который — как любовь с первого взгляда), дальнейшее безгранично и не имеет определённости в чистом происхождении духа, даже когда он не в духе. Так что жизнь произведения не в них самих, а в свободном времени и непосредственном общении.

Почему нельзя писать Музыку, как Бах или Моцарт, хотя перед их музыкой мы благоговеем, теряем сознание от восторга? Если бы кто-то рисовал, как Рафаэль, разве мы восприняли бы его? Ведь даже упражнения в духе Пауля Клее или Ф. Бекона, не говоря о Сальвадоре Дали, Василии Кандинском, сомнительном художнике, или выпендрежнике Казимира Малевича — вызывают почтительную скуку. О тех, кто сейчас в фаворе, и говорить стыдно. Да, как и обо всей современности. А все произведения нынешних композиторов кажутся пыльной архаикой, и надо доказывать их принадлежность к музыке, как теоремы.

А поэзия? Напиши сейчас кто-нибудь Одиссею, её бы и чи-

тать никто не стал, хотя: «И море, и Гомер — всё движется любовью // Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит. // И море чёрное, витийствуя, шумит. И с тяжким грохотом подходит к изголовью» (Мандельштам). (Хотя вспоминается анекдот: «знаете ли Вы, что Одиссею написал не Гомер, а тоже грек, и тоже слепой»? Сейчас даже «Феноменологию духа» Гегеля и «Критики» Канта никто не читает. То ли веяния времени, то ли времени нет, то ли веяний нет — полный штиль. Но мне это интересно, и я это делаю, несмотря на бессмысленность.

Нас отделяет от прошлого нечто большее, чем тяжёлое необходимое время, и весь смысл — в его одолении-освобождении, которое мы добываем, извлекаем, создаём, которое не дано, но для каждого из нас не существует в отдельности, требуя личного усилия. Это свобода, позволяющая быть в свободном времени без последствий и сопротивляться необходимому отработанному времени, пустому, мёртвому, рядящемуся в одежды свободного. Облачающемуся в оболочки брошенной предметности.

Ему, движителю, просто нечего делать, но оно обретает случайную, не присущую, не свойственную ему, дармовую свободу холостого хода, хотя от этого необходимое время не перестаёт быть необходимым.

Не столь необходимы произведения прошлого, сколько — отворение времени, свободного, открытого своей сбывшестью, и потому прошлое — в нашем чувстве, воспоминании о небывавшем, но и в своём онтичном бытии (бытия бытия, подтверждая, убеждаясь в повторах и кумулятивности тавтологии чувствуя себя таким). Оно действительно не является необходимым, но всегда — прообразом свободы, близкой по духу настолько, что мы (довольно, самодовольно, самоуверенно, без всяких оснований), считаем себя подобиями и даже наследниками свободы, или свободного времени, которое успели освоить, присвоить личным опытом. Довольно, в смысле, баста! Хватит! Изнемогая от вечного движения, хватаемся за первое попавшееся, первое встречное, первое, что окажет сопротивление, остановит, на что натолкнёмся, ошибочно (а может быть, и нарочно, намеренно) принимая свободное время за «реальную акциденцию» — за свойство вещей, а оно, как переход, превращение не может существовать как субстанция, само по себе, и в то же время как модус, то есть посредством другого и через другое.

Форма свободного времени, уже не как форма форм, осво-

бождает свободное время от формы, то есть минута свободного времени имеет только оболочку меры, «облатку» «скорлупу», «экзоскелет». То, что «внутри» — вечность.

Все это ещё имеет значение, как и условное разделение на внутреннюю необходимость и внешнюю, внутреннюю форму и внешнюю, но указывает на дальнейшее исчерпание такого разделения, различения, то есть историчность свершения истории и времён не только в «финале» и развязке коллизии, приведшей к разделению духа и материи и разделению в духе, но и на всем протяжении, в каждом мгновении сбывшегося бытия, в истории, когда каждая буква этого текста восстаёт из мёртвых и рассыпается в прах для новой жизни, сойдя на нет и исчезнув в превращении как миллионнолетней давности растения, растворяясь в вечном движении вечным движением.

(ή ὕλη — приписывают Аристотелю — грубая древесина, и в латинизированном «материя» первоначально — грубая древесина, строевой лес. Тоже сойдёт. Как воспоминание о росте и превращении в фотосинтезе в растение из света и воздуха. Эта поэзия во всём. Движение и материя — одно и то же, и, в данном случае, бросает свет материи на саму материю, превращая её в феномен, освещая, сияя в ничто, даже подбирая смыслы отцов церкви, рассматривая материю как ничто, из которого всё сотворено, свечение и сияние вплоть до изысков современной физики с её конусом света. Это можно опустить. Можно мыслить материю дубиной стоеросовой, но суть её не в этом. Хотя и пользуемся калькой, переводом слова с древнегреческого на латынь, определением, приписываемым Цицерону. Самое интересное, что с материей до сих пор не разобрались, и, думаю, не разберутся. Это не по силам всей истории человеческой мысли.)

При форме стоимости, частной собственности, капитализме, постиндустриальном обществе, — называйте, как угодно, этот период развития, который неизбежно заканчивается деградацией, — искусство превращается в нечто индустриальное, рассчитанное на массового потребителя (или элитарное, которое назначается таковым по прихоти заказчика). И, брезгуя собой, отрекается от себя, любя и презирая человека.

Став индустрией развлечений, с одной стороны, искусство призвано сократить издержки производства, выполнив поли-

тические, полицейские идеологические функции, в том числе и подпитывая моду, сыграть роль регулирующего клапана, стравить избыток свободного времени, чтобы общество не разорвало от бессмысленности существования, этой вакуумной бомбы замедленного действия.

С другой стороны (в другую сторону), искусство спасается бегством, отгораживаясь от непосвящённых «высокими технологиями», «правилами игры», образовательным и имущественным цензом, становясь не только избранной областью человеческого духа, почти жреческой (что постоянно разрушается толпой потребителей), но и затворником, схимником, но не аскетом, который не мог не избежать искушения воспользоваться для вящего комфорта достижениями техники и услугами технологий.

Всё, и литература, и музыка, и философия попали под власть машин, выполняя функции, которые эта развесистая техника, саморазвивающаяся и достаточная, доверяет человеку, потакая его слабостям — ничего нового, но под лозунгом «новинка». Его уже ничем нельзя шокировать — он всеяден. И то, что это скучно и невыносимо читать, и хочется «прокрутить», как неинтересный видеоряд, говорит само за себя.

Идеология механической формы движения, которая распространилась и вытеснила общественную, подменив её, и даже проникла в сферы духа, перемалывая, дробя и умерщвляя последний, употребляя последний дух, остатки его.

И не утешает, что он умирает, сопротивляясь у себя на родине, на последнем редуте, последнем издыхании, безымянно гибнет в поэзии, философии, музыке, они предают его, подчиняясь диктату технологии, даже не модернизирующей предшествующие формы духовности, но просто стирающей, сносящей пространства для нагромождения тотального единообразия, строго подчинённого идее сверхприбыли.

Плачевное состояние искусства и философии США и так называемых «развитых» стран — братская могила Духа, как бы не пыжилась старая, добрая, выжившая из ума Европа, прикрываясь ветхими декларациями анархической независимости творца от времени и места, или, напротив, бравируя тотальной востребованностью и ангажированностью. То, что это никого не волнует, очевидно. То, что этого даже не замечают, тоже. Я думаю, современная музыка не в состоянии не то, что рек-

вием или мессу создать, ради приличия, но не в состоянии разродиться даже похоронным маршем.

Абсурдность этого распада, безудержного гниения, выдаваемого за развитие, вполне очевидна и продумана, обглодана философами «новой технологической волны», всех «волн» тех, кто имеет с этого свой доход, и не малый.

Но есть ещё одна неучтённая особенность. Кроме негативного, что ясно видят, всё же есть ещё и положительная мёртвая негативность именно гипертрофированной полезности, которая, переходя всякие границы, сама превращается в бесполезное развитие «просто так». Искусство начинает основываться на чистом интересе, но чувства понижаются до статуса ощущения и абстрактного принципа удовольствия.

Полезность ищет критериев, и находит их в бесполезном же, неприменимом бытии красоты, которую, впрочем, тут же пытается приспособить в качестве «рефери». Эстетика, как эксперт, превращается в набор универсальных оценочных отмычек, акцизных марок, налогов на добавочную стоимость. Однако полезность дотянуться до красоты не может, и потому предпочитает конструировать свою «рабочую модель для сборки» прекрасного. С идеей тайной милитаризации прекрасного и эксплуатации его, то есть придания «наступательного», преобразующего, оккупационного, экспансивного характера самой вещи.

Независимо от того, что формой общественного богатства по-прежнему остаётся превращённая форма стоимости, этим живёт, мыслит и чувствует, тщательно культивируется агрессивность прекрасного, настигающая и порабощающая человеческую душу, которую потребляет, перемалывает, как средство своего существования. Прекрасное — вещь среди вещей, совершенная в своём роде вещь. «В крахе кто признается своём» (Рильке). То есть прекрасное всегда против красоты, даже когда объявляет себя как эманация, отпадающая от Абсолютной Красоты.

Избыток свободного времени, его парадоксальность вторгается в развитие общества, так или иначе переосуществляя, преобразуя его, но в уродливых (даже для самого этого общества) формах. И что считать уродливым? Представьте, какими уродливыми выглядят наши привычные до незаметности «образцы» красоты, да хотя бы той же техники. Можно сказать, что

в своём развитии свободное время ежемгновенно переживает рождение, расцвет и смерть сразу (и кряду). Оно в условиях современности эклектично, то есть содержит все стадии развития рядоположно, многоукладно, как разные сущности, рассыпаясь, расползаясь, насыпом. Время есть, а войти в него, в его свободу — всё равно что броситься в зеркало: отражение, зазеркалье видно, а проникнуть в него невозможно, только приникнуть, разбившись, насмерть об отражение, о поверхность, растёкшись кляксой — автографом удара. Свободное время блекнет и вянет, не в силах дотянуться до живого.

И, тем не менее, всё больше смысл производства смещается в сторону свободного времени, которая — основа и пространство основания, формирования воображения и чувств, но каких… Вселенная рассматривается как большой «работный дом» или биржа труда, в крайнем случае, как «казино», где властвует случай. Чувства прозябают в эмпирии несомненной нужды.

К тому же появляется несовместимость, противоречие между основанием и наличным бытием чувств, воображения и образования, — всем, что проявляет себя как «природа свободного времени, поскольку основания (как становление) уже покинуты, ставшее сорвалось по касательной, и действует так, как будто нет ни причины, ни условий, ни основания, будто «мировая линия», которую оно себе вообразило траекторией и «направлением» развития, и есть её (если бы) «природа», становление. «Между» становлением, природой и основанием тоже появляется «между», хотя это не разные сущности. Всё начинает крошиться.

А между тем, современное производство ради производства, как развитие производительных сил в никуда, натолкнулось на естественный предел самой необходимости (когда стало ясно, что она исчерпала себя, и *развитие в форме развития* больше не может происходить); упёрлось и в предел эмпирии (есть ещё эстетический предел, показывающий, что всё это просто «некрасиво». Я ёрничаю). Это тот же предел, так что предел красоты — это предел необходимости, и объективности тоже, но в форме свободы, когда человек стал иметь дело с воображаемыми процессами, косвенно зная об их существовании. Вся современная технология не может создаваться кустарными методами, а требует развития науки, которая становится отраслью производства, производства идей.

Но возможно это только на основе свободного времени

(бытие времени стёрто до чистой возможности). Время начинает зацикливаться и проходить тот же путь воспроизведения, что в своё время проходило рабочее время: расщепляться, «специализироваться», претерпевать «разделение труда», что противно его универсальной природе.

Время отчуждено (*отчудено*) в обобществлении, и потому является абстрактным основанием, к тому же утверждающим неравенство субстанции с самой собой, как сила, удерживающая мёртвое (Гегель).

Оно делится на необходимое рабочее свободное время, прибавочное свободное рабочее время, а это ведёт к свободному свободному рабочему времени («постсвободному», «метасвободному») современного индустриализированного, технологического искусства, где человек теряется в собственной крошащейся индивидуальности, среди многозначности дроблений и измельчений, а она и есть единственная невозможность становления. (Все эти «мета», «пост» — лишь бред растерявшегося рассеянного мышления).

«Мета-свободное» время самого свободного времени предстаёт необходимой границей, за которой красота «совсем как живая», но будто на витрине, «опытный», «выставочный образец».

Самодробление времени продолжается. Длится (duration) «временным продолжением», и уходит в дурную бесконечность аналитического саморасчленения, потенциально, поскольку выступает гипертрофированным чистым количеством (прости, диалектика) без вообще какого-нибудь качества, и то, что оно определено чистым количеством, — вообще, вотще качеством не является, — просто «много», «бездна», которая, впрочем «звёзд полна». Такое, понятное дело, может быть только в метафизике, но здесь диалектика не работает. Это метафизическое свободное время, и тут количество отделено от качества, пространство от времени, а дух от материи. Здесь — препарированное бытие отъединённое от ничто.

Несколько времени, число вместо сущности, которое эту сущность представляет, а потому — не время, а его отсчёт. Обратный отсчёт.

Свободное время — свободно, но качество его, образ навязаны ему извне способом производства, которое не соответствует (*соотсвечивает)* свободному времени, почти сочув-

ствует, безразлично, как рефлекс в живописи. Как яблоня не зацветает в мороз, в космический холод, так и свободное время, при всём изобилии, вернее, перепроизводстве его, только потенциально свободно, и используется в той мере, в какой простирается воображение общества.

Прикладной производственной науке оно прироста не даёт, не гонит её в рост, и неспроста.

Всё проще: оказывается, отказываться от усилий духа для светоносного общения с высоким искусством, менее «затратно». Искусство — искусственное дыхание человечества, где человек может отдышаться и прийти в сознание, и хоть приблизительно обратиться в человека, примерить образ человеческий, хотя это тоже невыносимо трудное дело. Скафандр-образ, который создаёт искусство, позволяет выжить в ещё чужой и агрессивной среде свободного времени. Он весь — из тяжести, но брезжит, угадывается, сковывается, не дан, не виден, только предчувствуется. Так глухой слышит музыку тактильно и, может быть, «истиннее», чем слышащий. Чтобы свободное время стало привычной средой, мало адаптации и декомпрессии, необходимо переосуществление и перерождение.

Но образ дан человеку временно, «на прокат». Он несовершенен. Уход, побег через это слуховое окно, отдушину, «техническое отверстие» в искусство, как барокамеру, чтобы забыться, невозможен. Побег в искусство — как потеря памяти. Тем более, оно бесконечно технологически модернизируется, упрощаясь. Усложняясь, становится доступнее потребителю, как готовые краски, готовые инструменты и готовые чувства.

Если искусство настоль высоко, что недоступно, то к чему тянуться, расти, проще его понизить, сделать доступным, потакающим незамысловатому вкусу обывателя, теша его самолюбие. Хотя Поль Валери и писал, что человек вкуса очень недоверчив, он не доверяет изумлению, которым руководствуется искусство, как всеобщим критерием.

Если искусство слишком глубоко, то при поднятии на поверхность его разрывает избыточным давлением. Проще его имитировать.

Чувства формируются расфасованными в красивые упаковки, по индивидуальным меркам и размерам. Всё, что воспринимается как свобода, оказывается ловушкой. Поэтому «свобода» выдаётся как очки в кинотеатрах искусства, где кру-

тят стереокино, хотя это устарело, как игровые приставки к искусству.

В самом деле, разве человеческое может быть трудно? Нет, оно естественно, природно.

Сколько писали Отцы Церкви тонко и одухотворённо о том, что душа должна быть простой. А в этом мире превращённых форм как-то забывают, что простая душа в искажённой, покорёженной действительности раздробленных форм — сложная душа — дьявольски трудное дело, и покуда требует нечеловеческих усилий и страданий.

Техника, потакая слабостям человеческим, «превращая слабого человека в машину» (К. Маркс), отнимает душу, поскольку в современной деятельности, при всей суете, человек абсолютно пассивен, и душа его мертва, заложена, растлена, и он с радостью её бы продал, да не берет никто (и некому), даже с доплатой. И противопоставить этому ничего нельзя, только волю как свободу.

Я не буду описывать эти круги ада современного искусства, адом нынче никого не запугать. Жизнь гораздо безобразнее и страшнее. Остановлюсь только на мгновение. Свободное время в его превращённых формах даёт власть превращать иллюзию в реальность. И потому здесь ничего нельзя доказать, — если человек не желает видеть, то он и не увидит.

Всё уже сказанное можно утверждать и в прямо противоположном смысле. Суть не изменится.

Ведь и впрямь наука принуждается к тому, чтобы стать производительной силой, а индустриальная Япония прагматически повсеместно вводит эстетическое воспитание, по системе А. В. Луначарского в том числе, которое даже в таком меркантильном, усечённом виде даёт колоссальный прирост производства, являясь «производительным трудом», правда, они не знают, почему, используя это интуитивно.

Но это свободное время ведёт к диспропорции самого общественного развития, поскольку вышвырнутые, исторгнутые вследствие развития науки огромные массы людей составляют не просто армию безработных, переставших быть «агентами производства», а ту группу людей, чей способ жизни — перемена рода деятельности, как «способ жизнедеятельности» (сюжет значительной части дорам последних двух десятилетий — возвращение японцев на малые родины, в сельские

местности, либо же так называемый дауншифтинг в поисках свободы от чувственного каннибализма больших городов, в попытке обретения утраченной способности радоваться, спокойно созерцать мир, в попытке нового открытия себя самих. — *прим. ред.*). Принудительная универсализация, самодеятельность, но без субстрата, оживляющего её — без живого труда.

Благотворительность жизнеподдержания развращает и уничтожает талантливость, разлагая эту энергию впустую, без применения — чадящая свалка. Гниение массы человеческого материала, разлагающегося в безвремении, приводит ко всеобщему бесчувствию и отравляет общественное пространство. Узкая специализация изжила себя.

Требование универсальности становится требованием времени — свободного времени.

В прагматическом плане это самообразование и саморазвитие, хотя и для производства, что составляет одно из трагических противоречий жизни.

При форме господства и подчинения оно случайно, даже если планируемо (скорее прогнозируемо), и безразлично, кто именно исполняет функцию труда, поскольку допускается только в ущербном виде, как воспроизведение нужды нужд, нищеты, которая избыточна, ограниченна, огранена целью, при котором наука не может быть самоцелью и хотя бы продуктивной *способностью* воображения. Она не *способна*. И, как следствие, не талантлива, рутинна.

Культура стала равноценной своей рыночной, завышенной цене. Общество построено на прошлом и само является неким прошлым по основанию, в том смысле, что возникшая потребность, спрос, который сменил бескорыстное вопрошание, вынуждает к производству соответствующего рабочего, формируемого образованием по узкопрофессиональному типу того рода деятельности, которому он предназначен. И потому образование становится де-образованием, или, по выражению Р. Генона, «формация сменяется деформацией», деконструкцией, дегенерацией. Искомое единство общества достигается тем, что любой человек в этом «обществе спектакля» (Ги Дебор) представляет собой «одномерного человека» (Г. Маркузе), объединённого со всеми одним сценарием.

Но ещё до завершения подготовки, когда его только напичкивают знаниями, как рождественскую индейку или «рыбу

фиш» специями, этот специалист морально устаревает, и потому используется или в убыток, или едва покрывая издержки, затраченные на его обучение и образование, а по сути, живёт в кредит.

Самое интересное, что неталантливость воспроизводится тоже, и тупость — во всём объёме.

В массе своей нечто подобное происходило в рабовладельческом Риме, когда огромная армия рабов сжирала все, что производила, а плебеи, требуя «хлеба и зрелищ», были чистыми потребителями и прожигали жизнь в оргиях (см., например, «Историю Рима» Моммзена). Почти то же происходит сейчас, с той только разницей, что теперь застит глаза забота и ненадёжность завтрашнего дня, и, в отличие от рабства, сегодняшнее слабоумие — дело добровольное, хотя и воспринимается как судьба.

Может показаться, что я отказываю буржуазному обществу в талантливости. На нынешнем этапе, да. Это носит случайный характер, и потребности в талантах нет, только потребность в серости. Серость и буржуазность — синонимы. По крайней мере, Сартр и Симона де Бовуар хорошо понимали это и страшились буржуазности больше, чем нищеты.

Современное производство предполагает планирование, прогнозирование тех потребностей, которые будут завтра, могут возникнуть, а могут быть сформированы — так происходит формирование универсального рабочего. Что чревато, поскольку предполагают универсального потребителя.

Универсальный носитель живого труда, свободно переходящего от одной деятельности к другой, но не «вширь», растаскиваемый в «многоумении» (многонедоумении) однозначных действий, как их собирательный образ «многостаночника», а в единой деятельности, которая оказывается разнородной во времени, что означает формирование самой универсальной деятельности, где она приближается к образу единой науки, и, наконец, такого производства, которое представляло бы собой не просто систему машин, а непосредственно форму, исчезающую в качестве меры отношения и природы, и оставляющую человека без посредника, то есть изгоняющую его за пределы производства в формировании человека в его сущности (у Маркса «отвоевание сущности человека»). То есть происходит не только универсализация человека в его конкретности,

но универсализация самой деятельности и универсума, которое не требует формального перехода от одной деятельности к другой. Теряется видовое различие, спецификация.

То есть, между собой и природой человек ставит не только силу природы, но и форму движения материи, в качестве силы природы, а не единичного орудия. Всё это очень сомнительно, но и не опровергнуто. При существующем положении вещей это невозможно. Возможным такое становится при коммунизме.

Я понимаю, насколько это сейчас непопулярная идея, но коль скоро речь идёт о профессиональных тонкостях, то позволю себе высказаться, хотя, может быть, и не стоило распинаться перед случайными людьми. Идея эта — камень преткновения, и по отношению к ней можно смело отличать философа от коммерсанта, учёного от торгаша (хотя я считаю, что именование философа или учёного уже устарело, как академические шапочки, кто отважится считать себя философом, поэтом, учёным? Но «направление» понятно).

Точно так же не следует долго говорить о поэзии, достаточно спросить человека о его отношении к Маяковскому, как сразу становится ясно, чувствует ли человек поэзию, или «кто по чём…». Тем более отказываюсь понимать, чем бытующее сейчас представление о необходимом неравенстве, с подачи Бердяева, усвоившего ницшеанские мотивы, несвободе, наслаждающееся сейчас собой холуйское, рабское мироощущение, — чем оно предпочтительнее, нежели торжествующий ныне жлобизм, хотя вполне допускаю «жлобизм» идеи «свободы, равенства, братства», которая была выстрадана буржуазной революцией.

Вопрос не в идее, а в способе её достижения и воплощения. Насколько мне помнится, нет такой идеи, которая не пострадала бы от неумных и неумелых последователей, хотя этой, пожалуй, повезло меньше других: идея Христа, идея коммунизма, идея языка, идея Красоты… Впрочем, я не оправдываюсь. Коммунизм ничего другого не означает, как непосредственное человеческое общение, которое есть основание и становление человека, — «энергический принцип ближайшего будущего» (К. Маркс) и всё, что по этому поводу написано, пересказывать не буду. Это тема отдельной работы. Коммунизм — единственный путь к абсолютной красоте. Другой вопрос — в сознатель-

ном отказе от Красоты, от человеческих чувств, свободное зло, откровенное предательство в себе человеческого…

Это написано более тридцати лет назад. Сейчас бы я написал книгу о коммунизме, потому что это не дело чувств, убеждений, не дело принципа. Это вопрос не необходимости, а свободы. Но мы настолько отброшены в дикость и варварство, что смысла нет: во-первых, не поймут. Не потому, что ума не хватит, но это всё равно, что объяснять неандертальцу высшую математику. Ну хорошо, Сократу или Пифагору квантовую механику или геометрию Римана, Лобачевского, заставлять Архимеда воспринимать современную механику, но дело даже не в уме, а в чувствах, попробуйте Фидия или Поликлета заставить полюбить Джакометти или Архипенко, Витрувия приучите восхищаться нынешней архитектурой (хотя, как знать, может быть, он был бы большим поклонником Калатравы или Колхаса)… Заставьте воспринимать художника Возрождения Поллака или любого из абстракционистов, втолкуйте Леонардо принципы аэродинамики, принудите Баха или Моцарта полюбить современную музыку… Это я ещё мягко воображаю. Не факт, что не удалось бы, но точно так, как они бы не поняли почти ничего, а только то, к чему готовы, точно так же и мы не понимаем их, а только думаем, что понимаем. Коммунизм — пока не дело нашего ума. Мы в своих представлениях ещё слишком убоги. Да он вообще не дело ума. Писали уже, но даже в лучших своих образцах это выглядит как похабное словцо, выцарапанное стилом или нанесённое аэрозолем в уличных граффити.

В общем, бессмысленно гадать, достаточно уже написано, и, хотя самим словом «коммунизм» гарантируется, что случайный человек этим заниматься не будет, слой поверхностных мусорных теорий таков, что докопаться до первоосновы трудно.

Коммунизм — не формация, именно поэтому политэкономия социализма по аналогии с классической политэкономией невозможна. Это не «форма общественного богатства», не «символ веры», это не форма общественного сознания, не идеология, это «не» …, а открытый процесс развития. Одиночке не справиться, да и толку знать, «что» это такое, если для применения время ещё не настало, и проекции наших домыслов только мешают видеть. Но косвенно, опосредованно, например, через, «сквозь» свободное время смутные догадки проступают.

При коммунизме стирается, разрешается противоречие между необходимым и прибавочным свободным временем и остаётся необходимое и свободное. Интенсивное расширение свободного времени обусловлено потребностями сокращения необходимого свободного времени до необходимого. (Поскольку необходимое время стремится к 0, а свободное время — к бесконечности,

но это одно стремление, одно противоречие. Они не могут полностью исчезнуть, но, как единая природа, могут становиться однородными, совпадая, как максимум и минимум во взаимопереходе. Думаю, отдельные случаи «передоза» свободного времени могут случаться, когда свободное время может быть «сверх-временным» и превосходить возможности своего освоения, но это не требует регулирования, хотя и будут проблемы. Свободное время в некоторых случаях может угрожать жизни человека. Оно опасно своей не привычной «чрезмерностью.)

Необходимое время становится совершенно целесообразным — ровно столько, сколько нужно (по-своему абсолютным), каким и являлось всегда. Но поскольку человек перестал быть, по точному определению Маркса, «непосредственным агентом производства», «мерой всех вещей», и полностью погружён в свободное время, сам становясь свободным временем, как временем жизни, то при развитии производительных сил абсолютного производства ради производства (что делает безграничными возможностями отношения человека ради человека) человек сам становится внешней целью производства. Человек нуждается в человеке. Тут возможны некоторые казусы, когда ни ты, ни твои чувства не нужны другому человеку, а они назойливо проявляются. (Напоминает Хармсовское: «Лев Толстой очень любил детей: поймает как-то ребятёнка, посадит на колени и гладит по головке. Ребятёнок, известно, вырывается. Толстой очень сердился. Мог и на конюшню отослать».) Тут — проблема самих чувств, но здесь кренится причина будущих трагедий. Но справляемся же мы сейчас, хотя и не всегда. А ведь есть ещё и противоречие в чувстве.

Обессмысливается саморазвитие производства, и оно из субстанции становится акциденцией человеческого творчества, полигоном науки, теряющей своё прикладное значение и развивающейся без видимых причин, по принципу: «а что, если…»

Не удержусь и процитирую Маркса, но следует учитывать, что это перевод, хотя даже если бы и оригинал, точно нельзя сказать, что имел в виду Маркс. Текст дышит: «Сбережение рабочего времени равносильно увеличению свободного времени, т. е. времени для полного развития индивида, которое само в свою очередь (в *своё* время — *А. Б.*) как величайшая производительная сила обратно воздействует на производительную силу труда. С точки зрения непосредственного процесса производства, сбережение рабочего времени можно рассматривать как производство *основного капитала*, причём этим основным

капиталом является сам человек» (К. Маркс. Экономические рукописи 1855–1859 годов // Маркс К. Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 46. Ч. 11. С. 221).

В этом — антагонизм между потреблением и производством. Творческое уничтожение человека эклектически нагромождает отношения, как бесконечные зависимости, связи ложного единства, и тем полагает отчуждение отчуждения, что не ведёт автоматически к возвращению сущности человека в её универсальности, а лишь в абстракции крайнего отчуждения в *видимости* основного капитала, который чувствует себя переменным, и тем «живым».

Это последнее неравенство, разность, исчерпывающая бесконечность противоречия общественной формы движения.

Такое единство представляется и является собственности её абсолютным отрицанием — отрицанием собственности, но то же единство существует становящейся чувственной всеобщностью, растворяясь в свободе, как непосредственном основании, в форме свободного времени, как своей предметности.

Свобода порождает безусловную свободную, а не детерминированную или казуальную возможность. Сущность более не необходима. Видимость свободы — прекрасное, теряет не только вещественность, но и предметность.

«Впрочем, само собой разумеется, что само непосредственное рабочее время не может оставаться в положении абстрактной противоположности свободному времени, как это представляется с точки зрения буржуазной политической экономии (которая точно отразила реальное положение вещей при капитализме — свободное время действительно абстрактно и противоположно. Оно действительно отражает «*положение вещей*». Действительно свободное время кажется «праздным» — *А. Б.*) Труд не может стать игрой, как того хочет Фурье, за которым остаётся та великая заслуга, что он объявил конечной целью преобразования в более высокую форму не распределения, а самого способа производства. Свободное время — представляющее собой как досуг, так и время для более возвышенной деятельности — разумеется, превращает того, кто им обладает, в иного субъекта, и в качестве этого иного субъекта он и вступает затем в непосредственный процесс производства. По отношению к формирующемуся человеку этот непосредственный процесс производства вместе с тем является формой

дисциплины, а по отношению к сложившемуся, в голове которого закреплены накопленные обществом знания, он представляет собой применение (знаний), экспериментальную науку, материально творческую и предметно воплощающуюся науку. И для того, и для другого процесс производства вместе с тем является физическим упражнением, поскольку труд требует практического приложения рук и свободного движения как в земледелии. (Способа движения в том смысле, что в земледелии оно не специализированно и более разнообразно, хотя об универсальности можно говорить лишь преодолев «идиотизм деревенской жизни» и патриархальную зависимость от природы. — *А. Б.*)» (Там же).

Мне кажется, что Маркс утрирует, дескать, «поймите хоть это», прельстившись «расхлябанностью» и буколическими представлениями о деревенском труде, его «неточностью», сознательно подменяя универсальность кустарностью. Аматорством. Но, может, это для наглядности.

Главное выражено: изменение не способа распределения, а способа дела. И вот как раз в сельском труде и применение машин, и технологий, промышленных методов и целиком «биологической формы движения материи» более заметны и впечатляющи, чем где бы то ни было. Здесь работает сама наука, хотя неизвестно, чем это кончится, и здесь свободное время наименее результативно, а необходимое время не нормировано, и дисциплина труда представляет дурную бесконечность. Вырастили — потребили. Всё подчинено расширенному производству, и угроза истощения самого времени постоянна и нарастает. В нынешнем же виде деревенский труд — это беспросветный кошмар, и никаким картинами его не эстетизировать, ни даже сделать приемлемым или терпимым.

Необходимое время теряет свою фактуру и сливается со свободным, поскольку перестаёт быть нормированной нуждой (нужда — норма), оно таже однородно, как необходимое и прибавочное, условно разделённое. И там, и там характер труда один…

Но точно так же наступает такое и для необходимого и свободного времён. Всё время становится свободным, по существу. Кажется, что это недостижимо, но уже сейчас в некоторых сферах деятельности и в «рабочее» время, и в «свободное» деятельность «одинакова», как одна — универсальная. Хотя деление и условно, но оно есть, делясь по «статусу» и «способам дела, ограничиваются предметом. Так чувства рознятся по предмету, но они об одном. Причём любые, всевозможные чувств, и даже те, которые только будут, могут и не могут быть.

Характер необходимого и свободного времени един, а участие человека в деятельности свободно, не принуждаемое внешней необходимостью — *необходимое свободное время.*

Но проблемы на этом не исчерпываются. Да, предметность уходит в основание и перестаёт быть целью человеческой жизни (цель — положительное выражение, проекция нужды, нищета настоящего, отрицание нынешнего в прошлое, удаление его на расстояние прошлого, унижение в прошлое, полагаемое возвышенным, достраивающее себя гипотетической возможностью отсутствующего будущего, до свершённости, и завершения, до «совершенства», свершенства), вещь теряет своё мистическое значение, а время — свою политэкономическую власть над человеком.

Иначе; человек живёт вечным образом, непосредственно погружен в красоту и соответствие, «соразмерность» (А. С. Канарский) чистой сущности человеческого бытия.

Однако свободное время требует адекватного воплощения (соответствующей деятельности, а не распределения), и что ему «надо» — неизвестно, мы не знаем, мы чувствуем, но чувствуем беспричинно, без нужды, тревожа красоту воображением, а оно — искушение времени временем, как мера отношения последнего (времени) и вечности, — вина свободы.

Это свобода в долг, заём свободы у будущего, и в то же время разрушение сбывшести, взламывание данности, своей определённости как «прекрасного». Всё бы ничего, если бы не «сусальность» написанного, какая-то елейная, умильная «благость», поучительная интонация, гладкопись, тогда как это путь над бездной и никакого достоверного знания быть не может. Это риск и адреналин, на грани мыслимого. Откуда скука?

Быть может, действительно современное изложение должно быть непродуманным, случайно схватываемым и преходящим, исчезаемым, и забываемым сразу, но в «массе» и плотности. Потом результирующая посредственность сложением выберёт среднее и серое общее направление. Может, это создание скоростного шоссе, без подробностей, на котором будет властвовать скорость и задача, чтобы всё сливалось в одной монотонности движения? В однообразии? На этом гладком шоссе современной науки действительно можно заснуть, и даже космические пространства и скорости навевают сонливость. В таком случае я о скорости света, сопутствующей красоте, которая не суммируется, не складывается. Монотонность не предполагалась, она — самозванна.

Тем самым наступает противоречие абсолютной свободы

и не абсолютной необходимости для человека (остановленное противоречие — антиномия, противоречие неистинное, неиствующее, — гениально компьютер подправляет — «действующее» вместо «неиствующее», «не живое»), которому предписывается действовать человеческим образом.

А где критерий? Красота? Но она — относительна, хоть трижды объяви её абсолютной. Абсолютно только движение. Неопределённа. Где та, *необходимая* красота? Почувствуешь, когда время придёт. Наступит. Но тогда будет поздно.

И здесь воцаряется неравенство чувств во времени, острота, которая необычна, необычайна, поскольку они обретают абсолютную мощь при освобождении от предметности в происхождении к абсолютному, в котором они уже безразличны и несравненны, заранее обретая абсолютную силу, становясь безусловными, и «только такими», только «этими».

Их подлинность и незамутненность оборачиваются настоящей трагедией. Они простираются на всё время. Эти чувства нельзя пережить. Их не переждёшь до лучших времён в анабиозе. Чувства нельзя переиначить, так как другого — не дано. Свободное время для них — чужое время, дающее почувствовать всю горечь утраты каждого мгновения, всю горечь поражения, потери, всю истовость творения, от которого нельзя избавиться, поскольку оно не имеет предела.

Каждое мгновение бытия переполнено временами, ставшими и материалом, и инструментом, и произведением, и деянием.

Всё будущее — здесь, как и всё прошлое, но и ты весь в будущем без ожидания, и в прошлом без воспоминания и сожаления. Жизнь в основании.

Свободное время уже не обладает временной природой, чуть не оговорился, «при условии», — в нём живут сообразно его природе, так что никаких условий. В свободном времени и свободным временем живут необусловленно и непосредственно природой человеческой — сущностью человека.

Хотя это ещё не свобода, а *свобода произвола.* Это тотальная любовь к делу, но не к человеку. Зло-радость красоты, её аморальность (безнравственность, нравственность стала норовом, и потому не проблема, которую скорбно диктует больная совесть), как воплощённая негативность, полнота отрицания в ином, в прото-движении единящей различные сущности

в сущности, а не на основе абстрактного принципа общеполезности, исповедуемого рассудком-интендантом размозжённого мира, не усматривающего красоты за равнодушием ставших форм, в том числе и самых строптивых — языковых. Полагаю, что возникает единый человеческий язык, обогащённый всеми языками, и мёртвыми, восстающим из праха времён, хотя лучше вопрос о языке не трогать. Все произойдёт само собой. Жаль, конечно. Но это не более болезненно, чем забвение-незнание шумеро-аккадского или коптского.

Более того, трансформируется сама форма «я». Оно уже не деформация, не предел меня в «оно» общества, и если не исчезнет совсем, то остаётся, как архаическое «спасибо» («спаси Бог»). «Я» оставляется, останавливается, успокаивается формой, остаётся формой отношения всеобщего, особенного и единичного, по существу, ничего не знача.

И ещё много других, вполне закономерных явлений, о которых не хочется писать, поскольку рассудку современного человека это вряд ли доступно и вызывает вполне понятное озлобление и неприятие такого будущего. Попробуйте крепостному холопу восемнадцатого века объяснить, что его ждёт, нарисуйте картинку нашего настоящего, как его будущего? (Хотя и сам содрогаюсь, видя то, что вокруг, но в крепостные как-то не хочется, да и вообще не питаю иллюзий относительно любого периода истории, как прошлого, так и настоящего.) Он с великим трудом будет понимать ваш изысканный русский язык (и любой другой), а, когда опишете прелести цивилизации, отмахнётся «чур, меня») и перекрестится, «свят, свят свят, нечистая сила», а ведь может и топором…

Мы нетерпимы по отношению к будущему даже на уровне поколений (кстати, не младшее поколение — будущее, старшее — будущее младших. Смотрите и ужасайтесь). Мы нетерпимы к прошлому даже в рамках одного поколения, что же говорить об идеальной возможности, тем паче, что мы хорошо усвоили русское: «Народ, что дерево: когда икона, когда дубина».

Но то, о чём я — не утопия. Любая утопия есть просто логичное теоретическое построение современного ему настоящего до совершенства. Ни одна утопия не вышла за рамки того времени, которое её породило как своё идеальное воплощение (хороший пример возможности вполне успешного существова-

ния утопии в реальности, в нашем времени — поселение «Twin Oaks» в США, которое, развиваясь с 1967, стало воплощением утопического общества из книги Б. Ф. Скиннера «Уолден Два». — *прим. ред.*). И антиутопия тоже. Здесь речь идёт о действительной, и, пожалуй, единственной возможности преодолеть отчуждение или хотя бы сделать возможность действительностью и перейти к развитию развития. Но этого можно и не захотеть.

Если нет, то просто ничего не произойдёт. И всё так же будет вращаться Земля, замедляя своё вращение, всё так же будет вершиться кровавая история, и одно поколение за другим будет сменяться, умирая, уговаривая себя потерпеть ради «лучшего будущего» и унавоживать собой землю. Гибель человечества — не обязательно физическое уничтожение в результате космической катастрофы, это ещё и чисто условное бытие, когда человек работает, существует, зарабатывая себе на «счастливую», «достойную», безбедную «жизнь», съедает положенное количество продуктов, выпивает по мере надобности до непотребности сколько-то декалитров «за всё хорошее», воспроизводит себе подобных, в меру живёт и благополучно умирает.

Всеобщее равнодушие, усталость всё равно наступят, как неизбежная рациональная старость убогой формы существования с флюсом техники, но это равнодушие не то, о котором говорилось выше, когда чувства в своей интенсивности и запредельности равны, а равнодушие всеобщей формы стоимости, ставшей эквивалентом жизни, которая — очень сильный и грубый наркотик.

Любовь здесь легко приравнивается к вещи, человек к деньгам (ведь деньги — время жизни в своём идеальном выражении), всё это приноравливается к существованию в разъятом мире, где деньги, вещь, обладают субстанцией, а человек нет, разве что с деньгами, которые он не тратит. Вернее, они — его. Всё взаимозаменяется, обменивается.

Но обмен этот не натуральный. Даже не как в уродливой, подложной любви, когда светят отражённым светом, питаясь чужими чувствами и шевелясь в ответ, хотя это «выше» продажной любви на целую бесконечность. Здесь жизнь обменивается, подменяется стоимостью, временем. Человечество целиком становится *временным явлением*, накапливая условия сохранения и воспроизводства собственной смерти, сохраняя

отработанное, прошлое время, которое не выводится, и непременно вырождается, утверждая своё преходящее существование, будто способ получение прибавочного времени (жизнь как пособие, подобие, подачка), эксплуатируя ущербность и односторонность свою. (И это не пустое время, с хорошей акустикой, где мы хотя бы слышимся. Мы не видим, не слышим, не осязаем, не мыслим, не чувствуем, и надо учиться заново.) И даже свобода отвращается от человека, как его невоплощённое небытие.

«Единственное произведение и действие всеобщей свободы есть поэтому *смерть*, и притом смерть, у которой нет никакого внутреннего объёма и наполнения; ибо то, что подвергается негации, есть ненаполненная точка абсолютно свободной самости; эта смерть, следовательно, есть самая холодная, самая пошлая смерть, имеющая значения не больше, чем если разрубить кочан капусты или проглотить стакан воды» (Гегель Г. В. Ф. Феноменология духа. М., 1959. С. 318).

Печать вырождения налицо. Не пужай, мы пуганные. Что плохого в наркотиках? Тем более, что этот наркотик, время, дарующее забвение — универсальное обезболивающее? Что за несовременный взгляд на насилие, проституцию? Оглянитесь вокруг, это то, о чём я говорю.

Мы сами не замечаем (притерпелись, понижен болевой порог?), что уже в попытках демократически бороться за права наркоманов, проституток, сексуальных меньшинств, в самих недоуменных вопросах: «А чё такого?» Что плохого?» и заключён типичный наглый имморализм морали. Не из узколобых морализаторских побуждений я это упоминаю. Я обвиняю не конкретных людей, а систему, при которой подобное возводится в ранг добродетели, и речь идёт только о том, чтобы облечь всё это в пристойную форму права. И тогда оправдать можно что угодно.

Издать закон, обосновать «научно», считать, что каждый имеет право на прихоть и дурь, на любой садизм, только не покушайтесь на систему и «священное чувство собственности», вот и нет никакой проблемы. Конечно, никакими запретами делу не поможешь. Пока есть собственность — будет воровство, а в безнравственности даже проще. Никаких сомнений. В этом ханжеском обществе даже распущенность приобретает форму ханжества и пуританского гонора. Сентиментальное и жесто-

кое, оно будет проповедовать о любви к братьям нашим меньшим, строить, на скорую и нечистую руку, храмы (каждому служителю культа — по приходу), а в это время сотни тысяч детей будут умирать от голода и эпидемий. Будет продолжать литься кровь. И это при современных возможностях, когда хватило бы тысячной доли того, что тратится на вооружение, презентации, парады, благотворительные балы, на содержании присосавшихся, кровососущих представителей власти, чтобы уже имеющимися средствами избавить человечество навсегда от голода, болезней, наркомании и прочего, и решать достойные мыслящего духа задачи. Но нет, проще отслужить молебен в госпитале для детей, больных церебральным параличом, чем их лечить. Да что же это за Бог такой!? Садист и убийца. А мне, как недоумку, терпеливо объясняют, что нельзя «милость Божию» понимать буквально, ибо сие есть метафизическая реалия, а потому «пути господни неисповедимы». Ещё как исповедимы.

Когда-то меня поразило заявление всемирной ассоциации по борьбе с раком, что мы могли бы уже сейчас с раком покончить, но куда девать клиники, персонал и всё остальное… То же и со стоматологией. Причём вполне серьёзно. Бжезинский говорил, что достаточно один авианосец не построить, и проблема голода будет решена. Я понимаю, что наивно уповать, что когда-то спохватятся, хотя на самом деле это так просто.

НЕОБХОДИМОЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

(Подробности и лишние детали. Продолжение)

Написанному тобой всё равно, что ты о нём думаешь
Иван Кулинский

Впервые за 30 лет перечитываю себя. Странное чувство. Конечно, лучшее, что ты можешь сделать — это напрочь забыть, не потому что приукрашиваешь и лакируешь, пытаешься казаться лучше, чем ты есть — помнишь всё: и по какому поводу написано, и эмоции, возмущения, и «побудительные мотивы». Но текст либо «сгнил», либо «высох» и превратился в труху. Люди давно поумирали, а подлость цветёт по-прежнему махровым, роскошным цветом. Смысл искажается.

Когда я писал, например, «памяти *российской* интеллигенции», я имел в виду интеллигенцию вообще, без национальной принадлежности: и украинскую, и русскую, и таджикскую с киргизской или там грузинскую, армянскую и проч. «советскую». На западе такого явления нет, всё это как «буддизм» для Китая, как индийская культура для китайской. Так что мои сентенции читаются, как «Записки о западных странах [эпохи] Великий Тан (Да тан си юй цзи)» Сюань Цзана, и, как и он видишь драконов, крокодилов и мифических чудовищ в озере Иссык-Куль — это ж надо, как его кружило и куда заносило по пути в Индию, и превратно читается его путь от ступы к ступе, как *ступа* с Бабою Ягой, а не буддийские монастыри. В простом отклонении от маршрута, когда джипиэс бессилен, подвержен всяким искажениям и ложным восприятиям, понимаешь, что, в отличие от прославленного китайца, ты не читал даже то, что он знал, привозил, добывал, переводил, например 164 сутры, а ты читал от силы три-четыре, да и то в переводах, и это не делало тебя умнее. Я к тому, что огромность уже бывшего неимоверна), или китайская для японской, но теперь мои тридцатилетней давности упрёки читаются, как гневные филиппики матерого националиста. Для меня вообще нет национального вопроса, а вся моя «ненависть» к интеллигенции — это критика за то, что обещали, но не сделали, критика «сверху». По ту сторону. Сейчас такой проблемы нет, потому что нет интеллигенции — только служащие, наёмники. Не просто разоблачение мифа, а по-

пытка напомнить о чести, и о том, что пора бы выпрямиться и не нести свой интеллектуальный горб, интеллектуальную сутулость, как оправдание предательства и подлости. Но что уже говорить. Все умерли, а новые… это не к ним, — они уже мёртворожденные.

И, к тому же, «сбой времени», стык прошлого и настоящего, непроницаемость даже ближайшего прошлого, и необратимость, ошибочное самомнение, иллюзии, что теперь-то уже, оглянувшись, ты действительно знаешь, что происходило, и как вносят неуверенность, вернее, уверенность, что сейчас ты видишь гораздо хуже и понимаешь много меньше, чем тогда, ведомый эмоциями и мгновенной реакцией чувств, и тут — не половинчатые решения, что тогда ты был прав по-своему, а сейчас прав опять же по-своему. Это не провал в прошлое или восхождение к настоящему, не ностальгия тем более, а просто «воздушная яма», когда дух захватывает, как на качелях или в самолёте, — болтанка, турбулентность времени, вихри, срывающиеся с несущей плоскости текста. И счастье, что не понимаешь ничего, и счастье, что ещё шевелишься и чувствуешь, хотя, повторюсь, забыть было бы лучше.

Вот этот тектонический разлом, опускание плиты, пласта времени целиком на чужие основания, сплошь и рядом создаёт ощущение временной опоры, заставляя чувствовать условно, как бы чувствами. И пользоваться общими местами, в которые превращается «природа», «свобода», «время» и вообще все категории, которые шелестят, как брошенные коконы, из которых уже вылупилось, вылепилось живое, как панцири ракообразных после линьки, и этими оболочками вовсю пробавляются имитаторы. Хотя и «живое», рациональное, игры «рассудка» и «разума» — всё те же погремушки, и не в качестве предупреждения, как у гремучей змеи, не в качестве перкуссии, подчёркивающей ритм, а просто пустозвонство.

Недавно случайно попались мне книжонки (и не лень же было переводить) «Кислый виноград. Исследование провалов рациональности» Эльстера Юна. Всё, как полагается, и даже упоминание на немецком и Рассудок, и Разум, но такая неграмотность, будто не было до него ни великих произведений, на которые он ссылается, ни проблемы рассудка и разума, в которой многие положили головы, словно в жестокой сече. (Да, Мамардашвили — верх глубокомыслия, по сравнению с этим бакалаврским, а то и школьным сочинением.) Сплошная формальная логика в плохом учебнике: ни драматизма идей, ни чувств. Педантичные глупости обыденного сознания, даже сравнить не с чем.

Или вот Вироли Маурицио, «знаменитый итальянский политичекий философ, профессор Принстонского университета», о как! Вироли Маурицио «Свобода слуг» — человек понятия не имеет, что такое свобода, но треплется вовсю.

И это я беру только то, за что зацепился взгляд, а остальное — вообще непотребство. Я не к тому, что писать не надо, умножая всеобщий маразм. Уже написанное не отменяет необходимость возвращаться к классике, но не для того, чтобы мутить пространство. Писать надо тогда, когда невмоготу, а не когда нечего сказать (хотя и пишут от нечего делать). Я о другом, категории девальвируются и становятся пустыми, не обязательными, их принимают за слова, а слова за вещи и действия.

И главное, этим трёпом бестрепетно подменяют философию и даже действительность. Не хочешь — не читай? Но трата времени происходит, хотя и впрямь кажется, что волен читать, что хочешь. Но это только кажется, причём таких же пустобрёхов, дутых авторитетов, как Исайя Берлин, Б. Рассел, Витгенштейн, Поппер (вижу недоумение) — я с удовольствием читал, но мог бы читать и более интересные работы, не тратя времени и не развращая мышление посредственностью, фастфудом мышления. Они — авторитетные обыватели, отягощённые званиями, формальным знанием, они просто являются носителями в науке обыденного обывательского авторитарного (не авторитетного) сознания как обязательного — уж не знаю, как это происходит, но догадываюсь.

Я беру лучший вариант. Но это убийство способности к мышлению. Да что там — к восприятию. Я не к тому, чтобы их запретить, ни боже мой — это зло необходимое, потенциальное. Это досадное недоразумение.

Недоразумения нужны, как среда обитания, как примеси в воздухе — чистый кислород может отравить, чистый азот сначала, закипая, вызывает смех, гелий погружает в сон, особенно на глубине философии, но речь о том, что разобраться трудно, и не будешь же к каждому слову писать комментарий, который больше, чем все книги, которые можешь не то, что написать, но и прочитать за всю жизнь, больше всех написанных, вместе взятых. Невозможно докопаться, о чём это на самом деле.

Поэтому я думал: а может, вообще не реанимировать и не воскрешать этот текст, не доводить до разрешения? Не разрешать?

Но заставляет колебаться сознание того, что складывается нехорошее впечатление, что тогда все молчали, и в едином порыве стали приспосабливаться, что внуки, не дай бог, спросят, а ты где был, и почему молчал, а не с гранатой в руках не защищал Советский Союз на последней баррикаде? Хотя очень хочется оставить беспристрастную суть дела, ограничившись сухой теорией.

Но проблема ещё и в том, что, пока телишься, суть худо-бедно, косо-криво пробивается, становясь из случайности необходимостью, проблема решается тем, что перестаёт быть проблемой, самим временем (и даже временем), перестаёт быть, пусть окольными, путями, пусть ракообразно, но решается происходить, и происходит, и этим происхождением решается, и решение это

страшное в своём предсказуемом виде, в теории, и не похоже на себя, и заведомо делает всё сказанное неприемлемым, даже того же Маркса. Это печалит.

Поэтому не убираешь подробности и заблуждения, бытовую сторону теории, потому что знаешь, что останется лишь это, как в мемуарах — все остальное не интересно. Но это не мемуарная стадия, не мемориальная. Хорошо бы всё забыть, и хорошее, и плохое. Так оно и происходит. Забвение как припоминание, память как забвение. Ты пишешь, даже переписываешь, перечитываешь всё заново, сызнова, но так всякий раз. И всё это существует само по себе, независимо от того, знаешь ли ты об этом или нет.

В свободном времени снимется вопрос и о так называемой удаче. Он, конечно, интересный, и можно вечно рассуждать о её роли, о том, нужна ли она, или удача — продукт обстоятельств, а всё решает «совестный дёготь труда», целеустремлённость — это просто совпадения, случайное стечение обстоятельств, и воля, и суровый труд, даже книги пишут (например, некий Френк Роберт «Успех и удача. Фактор везения и миф меритократии», хотя, действительно, меритократия — миф, в уничижительном смысле слова, но миф ироничный, «риторический», «меритократический»).

Постановка вопроса глупа — толку тут рассуждать. Но, в сущности, ведь вопрос не об успешности, карьере и прочих мелочах, а о самой проблеме. Когда человек не спит ночами, и он увлечён делом, меньше всего его волнует удача. Это скорее — суеверие. Всё равно, умирать от любви или от тоски — это одно и то же. И пусть потом ставят памятник погибшим от любви (Сидур), и рассуждают, удачно ли кто-то «попал», или удача «отвернулась». Удачно ли, что вообще родился и жил? Или удача в том, что вовремя умер? Вопрос действительно сводится только к деянию, как факту биографии, а повезло или не повезло, что родился именно в это время, не имеет смысла, как и вопрос «успеха». Кроме того, «удача» освобождает от совести, тщательности и сделанности. Делая бессмысленным любые усилия в силу их тщеты.

Это как проблема «творчества» или «свободы». Только тот, кто никогда не знал творчества и свободы, может решать вопрос о том, что это такое. Для человека, который поглощён этим — проблема не существует. Он полностью растворён в деятельности. Нельзя сказать даже, что он во *власти* её. Это как судьба, но свободная, хотя и без выбора. «Не властны мы в своей судьбе…» (Баратынский). Но и она не властна в нас, когда это — дело всей жизни. Независимо от результата. Для того, чтобы Эйнштейн открыл теорию относительности, необходима вся история природы и общества, даже та, которая произошла после Эйнштейна и ещё только будет. Для того, чтобы родились строки «Звезда со звездой могучий стык…» необходимо не только, чтобы были звезды, но и видеть их.

Я к тому, что свободное время даёт другой способ мышления и даже ви-

дения. И это уже случилось в истории, правда, до сих пор рассматривается как диковинка, аскеза, подвиг, чудачество, одержимость, инаковость, а не норма, особенно когда нет никакой выгоды, никаких преимуществ и преференций. Но главное, что удача всегда связана с сокращением времени, с преодолением пространства. Удача, если можно так сказать, мгновенна, почти как чудо. И подлость её в том, что неизвестно, везение это или нет.

И ещё побочная назойливая мысль: почему внезапно стареет удивление, и то, что раньше восхищало, теперь раздражает? Закономерно ли это? Всё это вызывает глухую досаду своей неизбежностью. Надоедливостью и неприемлемостью, непримиримостью, хотя, повторюсь, чувствуешь острее, но «удалённее», — издалека, и ярость благообразнее, и возмущение благороднее. Вопрос об удаче ближе к зависти, к ревности. Оседлать волну и на гребне…, но это иллюзия. Удача, когда не считаешься с усилиями, в самозабвении, не считаясь с потерями. На удачу надеяться не стоит. Но она не помешает. Шучу.

Читать это скучно и неприятно, и хочется вздохнуть с облегчением, избавившись. Проще объявить всё это «ненаучным эссеизмом».

В «современном обществе», несмотря на то что искусство заполонило, забило всё, проникло в область производства, само стало производством с претензией на высокие технологии, но с глубоким налётом кустарщины и самодурства, которое принимают за «волю творца», искусство — вроде «нахлебника». Оно упорно желает казаться больше, чем оно есть, занимая явно чужое место, но по «праву», всюду вторгаясь и действуя как «заменитель». (Якобы ведая чувствами, без которых действительно невозможно единство самосознания. Наступает «энтропия».)

Так в своё время Палехская роспись возникла из оставшейся иконописи, которая оказалась «не у дел», но только хуже и гаже. Она использует живой порыв рождающихся чувств, как дизайнер, принудительно прихорашивая их (охаживая и охорашивая), систематизируя и придавая товарный вид. То, что считается в современности искусством, назначается на должность менеджера, исполняющего обязанности художника, пользуется прекрасным, как хорошей косметикой, но она уже не помогает — сквозь грим благопристойности всё более проглядывают старческие морщины и дряблая кожа стареющего человечества, его ветшающего замшелого мышления, заменённого протезами, вставными челюстями компьютеров, жующих жвачку формальной логики.

И не с целью омолаживания его «молодильными яблочками» (раздора) с очередного «древа познания» (кислицами, дичками) — оно же «древо жизни», я рассматриваю идею развития в свободном времени, как единственную возможность сотворения и обретения вечной юности. Речь идёт не об идее, а о действительном свободном времени, пространство которого на идею, «эйдос» времени непохоже. Семенной вытяжкой из обезьяньего прошлого человечеству не поможешь. Диагноз установлен давно, и мы веселимся, забыв обо всём или пробавляясь суетной повседневностью именно потому, что время стало очень значимым и ограниченным, отмерянным, посему «гуляй, однова живём». (Время стало однозначным в своей многозначительности, разноформенным, и в «то же время» — одномерным. Его длительность сродни «стоимости» — это протяжённость — иноформа «стоимости»).

У меня, как у человека «своего времени», нет ни одной причины вообще упоминать о красоте, и только эта беспричинность заставляет меня говорить о том, что возможно, о красоте не как явлении, а о ней, о сущности человека. Это — «невозможная красота», в превосходной степени, хотя только она и возможна.

Всё это уже было пережито, и мне не хочется возвращаться в этот ещё более невыносимый мир. Тут даже самые ярые сторонники субъективности ополчаться «супротив» такой аргументации. Мало ли что тебе не нравится, а где объективные основания?

Объективные основания в том, что мне противно. К этому миру я испытываю не чувство презрения (слишком много чести, чести — не чести, он — всё нечисть), а чувство брезгливости. Человек привыкает, согласно своей универсальной природе, к чему угодно, благо универсальность у него в крови (она и происходит из неприспособленности и ни-к-чёмности), и при желании (а желания с избытком) любая дрянь будет ему доставлять «неизъяснимы наслажденья».

Бобровая струя прогресса и процветания ведёт человека по чисто количественному пути накопления и потребления. Общество, основанное на потреблении, само себя переваривает и превращает в соответствующий продукт, которого даже больше, чем позволяют возможности, только все делают вид, что их сие не касается, объявляя благовонными и благоухаю-

щими дующие ветры перемен. Но потребитель свёртывает пространство, не зная и упраздняя, не допуская «иное», довольствуется формальной «новизной», потакающей его «законодательному» вкусу. Ему так «ндравится», и чувства — абсолютны (а развивается лишь предмет, предел их, придавая необходимую окраску под цвет, в цвет, в масть, необходимости). Чувства обывателя ничуть не хуже, а порой «добротнее», чем у самых изощрённых эстетов — вкус поплоше, и то, как сказать, а чувства добротные. «Скромное обаяние буржуазии». Происходит расщепление, растаскивание произведения по времени, по кусочкам, по мотивам. Вот мы слушаем концерт, Страсти по Иоанну или по Матфею, и один пришёл ради престижа и вообще ничего не чувствует, а другой весь там, и Бах для него — вся Вселенная. Ничего больше не существует. Кто-то наслаждается формой, ещё один — игрой оркестра, следующий — хором, а очередной мечтает, когда всё это кончится, кто-то вообще не пришёл, никогда не пойдёт и не узнает.

Многие заметили, вероятно, как изменилась публика на серьёзных концертах (где они, серьёзные концерты) по сравнению с той, которая была раньше (лишний билетик за два квартала от филармонии, пожилые люди с партитурами, билеты по 50 копеек, студентам консерватории бесплатно). Ойстрах, Ростропович, Башмет, Стерн, Менухин. Рихтер, Гилельс, Гутман, Мравинский, Темирканов, Гергиев… Куда пойдём: на дрезденскую штатскапеллу или на Мюнхенский? Да что говорить… Я могу книгу воспоминаний, перечислений написать о том, кого я слушал. Какие люди сейчас посещают музеи (взрослые 20 коп., студенты 10 коп., художественные училища и институты бесплатно).

Скажут: и хорошо, что не ходят. Никакой фальши, значит, неинтересно, как и театры, а кому надо, никаких денег не пожалеет. Да, дело не в деньгах, хотя я и считаю, что всё искусство должно быть бесплатным, не связанным стоимостью, хотя никого никакая музыка не сделала лучше, никакие музеи не сделали человечнее. Вопрос в том, что убивается сама возможность и потребность становиться человеком. А зачем? А что я буду иметь? Я даже доказывать ничего не буду, бессмысленно, как в анекдоте: «это нельзя понять, это можно только запомнить» — только почувствовать.

В своё время приводили блестящий (лоснящийся от долгого употребления) контраргумент, дескать, вспомни ещё колбасу по 2,20 за кг., а что? Лучше свобода умирать с голоду? Стано-

вятся в позу борцов за свободу и гордо провозглашают, что свобода выше колбасы (хотя размахивают, как знаменем, всё той же колбасой). Верно, свобода лучше, но, следуя «здравому смыслу», к которому взывают и от имени которого распинаются сторонники «лучшего будущего», всё лучшее будущее сводится опять-таки к доступной колбасе, и потому лучшее будущее — в прошлом, как и пустяки в виде доступного искусства, книг, образования и медицины.

Я только потому упоминаю подобные «аргументы» с той и другой стороны, что всё это зримая философия здравого смысла, к которой не подступиться логикой «субстанции», сущностей», «абсолютных форм», «красотой», «добром» и проч., и даже «счастье», «свобода» и всё такое здесь бессильны.

Я намеренно, для контраста, ввёл этот эпизод, чтобы показать, что суть не в фактах, которые можно интерпретировать как хочешь, а совсем в ином, когда современный псевдо-интеллигент (а хоть бы и настоящий или числящий себя в таковых) на деле полностью идеологизирован, ангажирован, и служит, хотя его никто не нанимал (на Руси, если за деньги — потаскуха, когда ради удовольствия, то…), и тогда бесплатное образование — очень плохо, бесплатная медицина — ужасно, дешёвые книги (том Канта 1,80) — безобразно. (Знал бы я, что будет дальше.) Кстати, по прошествию времени, мне до сих пор не понятно, отчего всё то, что выходит, нельзя было издавать раньше? (Впрочем, что касается философской литературы, я читал почти всё во времена застоя, кто хотел, тот читал, а «новое» в процентном отношении не превышает литературы тех лет, поток даже уменьшился. Сейчас вообще мало публикуют. Выпускается гораздо меньше книг, не говоря уже о тиражах, — вообще читать стали меньше. То, что меня в своё время не печатали? Если бы это могло спасти хоть одну жизнь, загубленную за годы беспредела, я бы сам отказался писать. Да я и не уверен, что кому-то это интересно. А вот почему те, кто считал себя «философами», гнали «халтуру» и жили на широкую ногу? И пользовались кормушкой, корытом — ужели не ясно, почему? Какой наивный. Это ещё вопрос. Впрочем, ничего не изменилось. И не стоит валить всё на систему. Подлость — своя, кровная, своею же и остаётся, системы меняются, а результат тот же. И потом, где обещанные шедевры?

Это не передать, и можно только ощутить. Следующему по-

колению этот пассаж будет непонятен. Уже сейчас приходится объяснять, как можно было спонтанно вечером, после занятий, ехать из Киева в Москву, смотреть спектакль в театре на Таганке, в театре Вахтангова, во МХАТе, и ночным поездом возвращаться обратно, на занятия, или просто так летать в Ленинград, бродить по Петергофу, Павловску, летать за казённый счёт на международный симпозиум в Алма-Ату, будучи ещё студентом, или ездить в Крым на «школу молодого философа» (вот уж «научная необходимость»), и вообще мотаться по всей невероятной стране, ходить в горы, сплавляться на байдарках, и всё в пределах студенческой стипендии в сорок рублей. Пусть всё это не «научно», но самым научным аргументом было то, что я чувствовал. Это не ностальгия по прошлому — если бы всё вернулось на «круги своя», так же не было бы, даже если бы было точно так же — вот в чём свинство, так, наверное, погубленные динозавры вздыхали о хвощах, в которых они паслись.

Музыка и поэзия не определялись потребительной стоимостью, как сейчас, и только потому мы не понимали Маркса, его теория была делом давно минувших лет, «окаменевшим дерьмом», ещё бы, пыльные законы политэкономии уже не работали на практике, чувства нельзя купить, продаваться — пошло, и вообще, родились люди, которые деньги не просто презирали, а они для них ничего не значили и не определяли — теория Маркса казалась грубой и не утончённой, архаичной, зато теперь она работает как часы (отсчитывающие последние часы человечества, и в самый раз, в самый последний раз). Может быть, сказанное плохо и банально, но банальная и плоская жизнь требует и рождает банальные и плохие теории. Маркс устарел не в теории — он и подумать не мог, каким дерьмом на самом деле это все обернётся, — фантазии и ума не хватило, — всё гораздо пакостнее, чем он предполагал.

Как изменилось отношение к самой музыке, и она из грозной освобождённости и почти абсолютной красоты вновь стала невинным развлечением, служанкой, девочкой по вызову, наяривая в нашем огромном кабаке Моцарта, как шлягер, а Баха, словно очередной хит на фуршетах и презентациях. Да мы какого-нибудь ресторанного лабуха вроде Шандора Лакоташа воспринимали как откровение! Теперь всё стало на свои места: музыка полезна для пищеварения.

Как изменилось отношение к поэзии (многие сборники пе-

переписывались от руки за одну ночь, на стадионы ломились слушать всякую дрянь, вроде Евтушенко, залы, где читались стихи, были переполнены). Святое онемение прошло, теперь это просто хобби, рифмоплётство для чудаков, так, пробавляются некоторые, и никто ею уже не бредит, доживают последние стихослагатели. Сама поэзия удалилась (удавилась), не прощаясь.

О киноискусстве и говорить не приходится. Какое было «кино». И если для поэтов достаточно бумаги и карандаша, то кино просто так, по случаю, не снимешь. Я к тому, что режиссёры, поэты и художники спонтанно не самопорождались «из гниения, как мухи», — так полагали в средневековье, — их рождала «среда» чувств с необходимостью. Рождала необходимость из свободы случайно.

Всё это можно почувствовать, и чувства — единственный аргумент (не в «пользу», какая «польза», там, где чувства) там, где свободное время — форма общественного богатства. Жаль, что его воспринимали как возможность валять дурака (вот и доигрались в подкидного) и ничего не делать, но даже это *ничего-неделание* было на голову выше всей западной мишуры (поэзия и музыка и там обретала свободу, рождаясь во временных разрывах, вопреки существованию, только как катастрофа), мишуры и современной суетливой деловитости, поскольку «от нечего делать» порождало поэзию, музыку, живопись, вопреки условиям, и потому как нечто безусловное, абсолютное, по свободе. *Страна была свободной*, что бы там не говорили. Единственная страна, где можно было ничего не делать, оставаясь один на один с искусством. Что там с искусством, наедине с красотой. Запреты существовали для тех, кто глупо и тщеславно желал именно официального признания. Судя по нынешним временам, главными страдальцам были не те, кто по тюрьмам сидел (талант определялся количеством срока — выпендрись, сядь в зону и сразу станешь великим писателем), а те, кто гнил в кабинетах ЦК, сажал конкурентов, издавался миллионными тиражами, умирал от непосильных банкетов.

Напомню. Это писалось ещё до развала Союза. Сейчас вообще не о чем говорить. Тут доказать надо: либо свободу понимают неправильно, либо она и не нуждается в доказательствах, что свобода не доказывается. Не потому, что недоказуема, а потому, что очевидна, хотя очевидность — самое плохое доказательство. Лучше у Жванецкого: «всех покрыл матом, напился, облевал все вокруг, в общем, ушёл от ответа».

И есть ещё одно, что противоречие свободы и свободного времени — вполне действительно, и первоначальное его разрешение в чувствах, которые «выше» и снимают это противоречие. Поэтому, хотя это и отдаёт софистикой, я и утверждаю, что момент свободы может быть в себеравности, в любом тождестве, не потому, «что дальше некуда» или «лучше не бывает». И мерой здесь — ощущение, чувство. Не в том смысле, что можно себя чувствовать свободным и в тюрьме, в возможности или в «бывает хуже». Я проверял — это не субъективность, не тоска по молодости, когда всё кажется краше и лучше. При самом придирчивом подходе в той стране возможностей было больше, и они были несравненнее с сегодняшним днём по «качеству», по фантастичности, настолько они непостижимы «для сейчас». И дело тут не в образовании, которое было много выше тогда, не в фантазии и воображении, которые отсутствуют сейчас, не в скудости желаемого, а и в мышлении, и в чувствах, в способе достижения и осуществления (опредмечивания, воплощения) свободного времени и рапредмечивания человеческой сущности.

Поэтому с удовольствием повторюсь, это была страна свободных людей, несмотря на завшивленность большими и маленькими начальниками, и партия «образцов» была не помеха. На начальство смотрели, как на неприкасаемых, но шапки не ломали. Пресмыкаться или нет было личным выбором каждого, как и подхалимаж. Только в этой стране могла людям приходить блажь сочинять стихи просто так (самому странно. Сотни тысяч людей брали этюдники и в свободное время уходили на пленэр. Не рисовать, не играть на чём-нибудь было просто неприлично).

И в те легендарные времена люди ещё пели. Многие занимались музыкой, театром, сочиняли песни, поскольку возможностей было хоть отбавляй. Одолела страсть учиться — учись. Динамика была феноменальной. Купил скрипку, ноты, краски, холсты, и вперёд… А уж детей учили всех поголовно.

Учили плохо? Действительно, если выучили таких подонков и подлецов, грабящих страну и обгаживающих прошлое с наслаждением — само совершенство. Но, кто мешал учить лучше?

О чём спорили? О сущности человека. О педагогических тонкостях. О будущем искусства. Да много о чём. Ночи напролёт, взахлёб, «до хрипоты, до драки».

Весь ужас того общества заключался в личных качествах человека, в личной мерзости, точно так же как слава — в личной саморазвиваемой способности каждого. Толпы не было, массо-

вого сознания тоже — «каждый был выверен каждым», даже если он не понимал этого. Так что подлость творилась свободно, со знанием дела.

Я к тому, что свободное время таит в себе заряд «безразличия». Ему «всё равно». Оно может усиливать «творческий порыв», но может катализировать и фактор деструктивности, которая автору «Философии человеческой деструктивности» и не виделась. К тому же, побочным эффектом является «ложная ирония», ядовитая и беспощадная, скепсис, как сепсис аналитического сознания, везде видящая «наивность», так что даже простая правда воспринимается с подозрением и недоверием.

Напомню, на всякий случай, моим возможным критикам, которые не преминут за умеренную плату высмеять сказанное (кстати, над тем, что видел, ещё можно смеяться, тогда много смеялись, самому странным кажется, что рабочий, слесарь, — была встреча, в вагоне поезда, — всю ночь читал стихи, переводил с фарси и китайского поэтов, с удивительным чувством поэзии, видел старика колхозника, который писал картины маслом, причём начал писать на пенсии, архитектора, сочинявшего музыку — такое было сплошь и рядом, и это были не единичные случаи — воспринималось обыденно, «а как же иначе», а вы попробуйте посмейтесь в нынешнее время тотального «жлобизма». Хотя последнее время я только и делаю, что умираю от смеха.

Кто предавал, доносил, запрещал, доводил до самоубийства? Кто в парткомах и на партсобраниях калечил жизни, не давал развиваться всё тому же многострадальному искусству и философии? Вспомнили свою биографию?

Нет, не КГБ, не партийная верхушка, продавшая страну и откровенно предавшая, хотя и это тоже. А всеобщее массовое участие, когда каждый ответственен за то, что произошло: и тем, что не считали нужным развиваться, и тем, что искренне пытались в новых отношениях свободного времени, превращающегося в «форму общественного богатства», действовать по лекалам формы стоимости, как капитала, и частно-собственных интересов, или вообще не действовать.

Я не знаю, знал ли Маркс о том, что если брать свободное время с точки зрения общественного богатства, то оно неизбежно будет реанимировать отношения собственности и реставрировать капитализм, а с ним «первоначальное накопление капитала» — это так «благообразно» называется воровство, разбой, основанные на праве сильного (правда, право появляется

позже.) Так что Роза Люксембург не так уж и была не права (её ещё обвиняли в ревизии марксизма), когда доказывала в своём знаменитом двухтомнике «О первоначальном накоплении капитала», что первоначальное накопление капитала — не временное явление, как думал Маркс, вернее ему приписывают), а всегда лежит в основе капиталистического производства, и не сменяется расширенным воспроизводством, производством, которые первоначальное накопление не отменяют. (Интересно, что и Маркс, и Роза Люксембург, по сути, следуют за Адамом Смитом — оба: и Маркс, который считает, что это временная, историческая форма, а дальше она развивается в более прихотливые, не нуждающиеся в воровстве, основания, и Люксембург, которая полагала, что кровавое накопление капитала во все времена сопутствует капитализму в его поздних формах, как не называй: пост-индустриальным обществом, империализмом или эпохой пост-модерна. Как бы там ни было, кого волнуют эти тонкости? И тогда не волновали, а зря.

Именно в силу возросшей силы субъективности (центр тяжести смещался от объекта труда, через рост объектно-субъектных отношений человек-природа, то есть производительной силой именно к субъекту, который становится «надзирательной», а не производительной силой, стремящейся к нулю) эта субъективность не обладает сознанием, выступая догматом и, как саморазрушающееся формальное мышление, в своей посредственности ничего не знает, кроме разрушения, что и позволило развалить страну без всяких на то причин (если не считать причиной личную выгоду, но ведь предупреждал же Маркс: «Люди преследуют личные цели». Кстати, великий экономист может выступать обывателем, смотря как посмотреть). Но, когда развитие музыки, философии, развитие общественного производства становится личным делом каждого и личной целью, тогда… разрешается проблема объектно-субъектных отношений, но это уже не важно, и безразлично, как и вопрос отвоевания и развития человеческой сущности, и образование универсального человека.

Вся восстающая серость, которая наконец сейчас обрела свободу быть серостью, не испытывая комплекс неполноценности, скромно носит серый цвет, именует его «шаровым». Недаром моден стиль «милитари» и цвет «хаки». Это цвет воинствующей серости. Одно дело, когда общество порождает вариант без альтернативы, и тогда человек не виноват (хотя всегда есть выбор), и совсем другое дело, когда альтернатива есть, и какая!

Подлость здесь творилась по вдохновению, сознательно,

была и остаётся призванием, талантливой и воплощённой свободой зла.

Но всё можно валить на «систему», и что «время было такое», и «никто не виноват».

Хотя сейчас я так не считаю. Я полагаю, что коммунистическую партию, если и судить, то за развал Советского Союза, за то, что не смогли. Ну, так и я «не смог». Хотя проблема в том, что свободное время изменяет видение, появляется несколько «систем отсчёта», и в первую очередь само свободное время. Я, как «хватанувший» свободного времени, всё время превращаю в свободное, а оно допускает сосуществование взглядов. Поэтому мои претензии «социализму» могут быть несправедливыми, «с той стороны», «потусторонними», «сверху», и потому ригористичными, не «гибкими», «метафизическими», или могут допускать некую «примиренческую диалектику», оправдывая слабости свои, а не социализма. Ну, например, зная, что «личная свобода» не существует, а как в игре в шахматы с самим собой, всё же подыгрываю личной свободе — своей склонности, прихоти, и не могу быть объективным. Хотя пристрастия только и делают меня объективным.

Сейчас можно ясно видеть не только то, что произошло при «социализме», но и то, что не произошло. А произошло следующее: выбив настоящую интеллигенцию, выслав, уничтожив, задавив, государство монополистического капитализма (монокапитализма) обрекло себя на развал. Свято место пусто не бывает, поэтому сурдо-интеллигенция стала выполнять функции духовного цементирующего раствора, хотя и в массе своей была бетонной, — ею же и остаётся.

Вся страна стала огромной номенклатурой, и всё бы продолжалось, если бы не противоречия в основании, оставшемся беспризорным, но поднадзорным, как нечто ненужное в безнадзорном свободном времени, которое «проглядели», которое нашло своё проявление естественно, и за счёт этого (за свой счёт) давало с точки зрения логики необъяснимые феноменальные результаты в науке, технике, искусстве, которые никакими условиями не оправданы, и никакими «моментами» необъяснимы, кроме свободного времени. Неучтённое свободное время само просочилось и оформилось иногда в смешных, иногда гротескных, а то и трагических формах, как сверхтекучесть, проникая всюду, формируя иной способ жизни буквально по-настоящему.

Вопрос в другом: почему поэты, писатели, академики, профессора, режиссёры и художники считают теперь, что им

«не дали»? А теперь, надо полагать, «дали». Да ещё как! Так где же шедевры, хотя бы шедевры? Не будем вспоминать, за что звания академиков давали, степени, премии и награды, по крайней мере, в философии — за то же, что и сейчас.

И можно подумать, что все были на подпольной работе. За народ все «уболевают». И что-то не слышно голоса «интеллигентов» нынче, как будто не льётся кровь, не убивают детей, не голодают беженцы. Где все эти вещатели и умельцы рассуждать о «единственной слезинке ребёнка», о страданиях детей? (Недавно слышал в новостях, в очередной раз: «Ребёнку требуется операция, у него лейкемия, если не соберёте деньги, врачи спасать ребёнка *не будут*». Да, вот так.) Где же им быть, как не в кабаке, в коем и произошёл достославный разговор между братьями Карамазовыми. Бунт в трактире. Исконно российское решение проблем. За рюмашкой о муках человеческих, о страдании, о совести. О Добре и Зле…

Тут дело в том, что «капитализм» не «должен» никого спасать, а социализм именно «должен», и никакой благотворительности, никаких «если», никаких одолжений, он именно «должен», люди должны, врачи обязаны, даже, когда не «могут» спасать ребёнка, человека «до последней капли крови», «до последнего патрона», а дальше в рукопашную, и так и было. Скажут: сколько предателей было. Да, было, но не система в этом виновата, и сейчас есть массовое предательство — даже если не хочешь, опускаешься вместе с ординаром, чувствуешь себя коллаборационистом, но живёшь, по инерции, принудительно, «в долг», хотя никому ничего не должен, предавая себя, хотя не надо бы, так это всё хлопотно. Был шанс, но упустили. А дальше — нет «дальше».

Вся наука шла, вершилась мимо «науки», равно как искусство было впервые ради искусства, и когда «духовность» обрела «критическую массу», земля стала неустойчивой, «уходить из-под ног», стало ясно, что, если нельзя подавить и уничтожить, остаётся одно — возглавить. Ведь все, включая грудных младенцев, понимали, кто в стране лишний: те, кто бредит поэзией, музыкой, философией, живописью, живёт образом свободы и красоты, не ожидая пришествия «светлого будущего», или зажравшаяся партийная верхушка, ретивые комсомольские работники и министерские крысы.

Всё осталось по-прежнему.

Но дело не в этом, а в том, ***что*** удалось изменить, и оно изменилось именно в силу *беззащитности* пространства свобод-

ного времени, его открытости, а потому произвол, как суррогат субъективности, вполне может превращать его (свободное время) в нечто иное — в орудие самоубийства путём недеяния — которое тоже путь в форму принуждения и насилия. Свободное время может быть несовместимо и с жизнью, и с красотой. Свобода убивается произволом, смещается, замещается. Кроме того, в отличие от поэтов истории, самодуристые, рвущиеся к власти, и ею компенсирующие свою никчёмность, извлекли из истории уроки, прекрасно понимая, что достаточно отобрать возможность заниматься философией, музыкой, литературой, живописью, как не надо будет никого сажать, тратиться на строительство и содержание тюрем, стоит извести искусство, как каждый сам станет себе в своём одиночестве заключённым своей личности, будет и заключённым, и надзирателем, и концлагерем.

Это и произошло. Когда партийные работники разделили страну на поместья, вотчины, заключив «конвенцию», как «дети лейтенанта Шмидта», «внучата Ильича», «правнуки Карла Маркса», на самом деле это пошаговое избавление от человеческого вообще, и от такой устаревшей рухляди, как совесть. Смысла возмущаться, негодовать и переживать нет. Но поражает, что купились, повелись на схему для идиотов, и с восторгом занялись реставрацией капитализма, возрождением нацизма и реанимацией фашизма.

Как бы там ни было, свободное время — форма общественного богатства — перестало существовать (и, в отличие от свободного времени, исторически исчерпывающего себя, выработавшего «ресурс вечности», оно всё равно когда-нибудь кончается, как форма, чем и порождает время, не говоря уже, что форма общественного богатства — это форма нищеты и нужды), и перестало принудительно, уничтожено насильно. И продажность, пример которой показали «лидеры», заменила чувство собственного достоинства, чести и порядочности. Почему за ними пошли? Да потому, что так легче. «Невыносимая лёгкость бытия». Так проще. Только и всего. Однако это ещё не все. Я не грожу воздаянием, кармой и эффектом бумеранга — спокойно, как многие нацистские преступники, нынешние доживут свой век, и никакого наказания, они не будут знать даже никакой кары, никакого чувства вины, и то поколение, которое уже не будет иметь к этому никакого отношения, будет расплачи-

ваться, не зная, что они потеряли, в безмозглости, по неведению. Эти орлы никогда не блистали умственными способностями, но за что такое возмездие другим?

Возврат к превращённым формам собственности вместо развития к беспредметному свободному времени как пространству человеческого развития и его единственному критерию, красоте — не просто произвольный широкий жест и доброе пожелание «хочу, чтобы все». Свободное время не может вернуться к предшествующей форме, как горящее пламя, выпущенное из каменного угля, не может вернуться в слежавшиеся пласты, хотя мы можем освобождать остановленный свет, выпуская на свободу, когда время настанет, или до времени. Мы можем его создавать в превращении, но не «заталкивать» обратно. Насильно загоняемое в то, что уже было, освобождает смертоносные силы и ведёт к общественной психопатии.

Неестественное возвращение заставляет время обращаться вспять, против себя, но уже не пространством развития — болезнью без противоядия — «бешенством истории».

Заставленное вещами время не свёртывается к рождению, как будто стремится свиваться к началу, к зародышу, оно прорывает, разрушает пространство, как геморальный инсульт, как инфаркт мозга, разрыв аорты, времяизлияние — результат «давления времени» (П. Валери) при закупоривании сосудов тромбом из него же. Время обращается в свою противоположность. Нет, не в пространство, Валери называл «опространствование» времени «времяолизом» — это было бы естественно, когда время и пространство — одно-единое.

Время обращается в превращение — в отсутствие и лишённость времени. Казалось бы, ничего страшного ведь время и просходит только благодаря этой «лишённости», — но порождается «хронофаг», пустой символ самого времени, пожирающий само время — бессилие движения без происхождения, становясь абсолютно тупым умоисступлённым отчаянием, беспросветным чувством избытости, безрадостной бездарности, ставшестью, усталостью времени.

Нечто подобное чувствуешь, когда исписался, но вынужден, принуждён к дальнейшему бессильному «творчеству». Время становится непроницаемым, непроходимым, и противится своей природе.

Если при естественном ходе развития оно было «акциденцией акциденции», явлением формы прехождения бытия до его свершения, то в реверсе оно возвращает бытию его избытую во время (и во времени) смертность, нападая на него и уничтожая, «наполняя» его, навременением перевыполняя и делая «время от времени» жизнь невыносимой.

Если в «нормальном времени» оно само есть результат прехождения определённой формы бытия к своему концу, то в «возвратной форме» (М. А. Шкепу) оно становится *причиной* прехождения бытия, и всенаправленно торопит его уничтожение, «зряшное отрицание».

Одиночество, которым в прежнюю пору упивались, как проблемой, становится страшным сейчас, когда каждый сам по себе, и всё дальше и дальше даже от себя самого, не в себе, во множественном числе. Разбегающиеся галактики, распад, дезинтеграция на элементарные частицы, подчас не понимая ничего, и в стадном порыве сбивающиеся коалиции, военные формирования объединяются по формальному признаку, инстинктивно, как косяки, с рыбьей кровью и рыбьими мозгами, усиленно изображая, имитируя жизнь во внешне объединяющей корпоративной суррогатной коллективности, «тусне», и, ослепнув окончательно, бросаются во всеуничтожающую резню.

Жизнь сегодняшним днём, не тем, настоящим, за который я ратовал — полнота бытия его сворачивала прошлое и будущее и довершала свершение всех времён, открывая человеку вечность вечным образом, а тем днём, который своей беспросветностью страшнее ночи, который не имеет ни прошлого, ни будущего, от которого отсечена вся человеческая и одухотворённая, и вдохновляющая, вдохновенная сущность. Не жизнь, а смерть сегодняшним днём непосредственно в сущности.

Сущность, которая была не «присвоена», не «отвоёвана», не «преодолена» в отчуждении отчуждением же, не «возвращена», а только начинала смутно образовываться, прорастая, пробиваясь сквозь исторические, «в три наката», напластования становящейся, светающей, светящейся истории, была опровергнута в самой сущности.

Человек без сущности и даже утрата сущности не становятся самой сущностью, отсутствие «вместо» сущности. «Человек без свойств (Р. Музиль), буквально, «двуногое животное…,

но без перьев» (с перьями только члены пен-клуба). Осталась голая физиология, грубая, недоразвитая физическая реальность, свирепая своей похотью. Как будто умерли в одночасье от неизвестной болезни, от тоски, три кита, на которых держалась Земля, и теперь — радостный ажиотаж червей. Бенефис. Пришло их время. Что ж, жизнь продолжается.

Весь этот распад можно долго описывать, смакуя подробности и наслаждаясь картиной гниения. Оставим это любителям. Единственный вывод, который следует сделать: двадцатый век, эта огромная «тусовка», породил любопытную ситуацию, когда свободное время было подпольно, невзначай, нехотя освоено, и показало иные, новые «кормчие звёзды», которые те же самые, но с «подробностями», не как «гвоздики» на небосклоне, а во всём многообразии ядерных процессов, не забывая о поэзии, и что вселенная не ограничивается одной галактикой и даже дурацкой теорией «большого взрыва», а много загадочней. И каждый —непосредственный участник этого развития, притом и случайный, и необходимый, и свободный. Даже в такой случайной, эмбриональной форме свободное время породило *иные* желания человека и восходило к *иной,* неведомой красоте (которая «не-иная», но не узнанная), а не к той раскрашенной кукле, которую усиленно подсовывали в «качестве» заменителя предмета поклонения, как само это «качество». Субъективность, развитие личности или хотя бы «имитация» развития стали (и здесь антагонизм) условием развития производительных сил, а воля человека превратилась в материальную силу, стала волей к воплощению. Воля сталкивается с желанием.

Иными словами, чувство обрело в своём бытии индивидуальное — «чувство самого чувства» — чувство — имеющее «статус» реальной силы, от которой нельзя отмахнуться, ссылаясь на его необъективность и несвободу, аффективность и пристрастность, но сам порыв, и непосредственное переживание становятся едва ли не единственными движущими силами эпохи, ближайшими «причинами» и самоощущениями (чувства как ощущения) времени. При этом, с этим «чувство самого чувства» путается, забывается, увязает в противоречии, словно в силках, без разрешения, как чувство человека к самому чувству — «кажется, я чувствую», и чувство самого чувства (в котором он запутывается), присущего человеку, но так, как будто

оно никакого отношения к человеку не имеет. Чувство, не доведённое до разрешения, освобождения — как связанность отказом, отрешением от свободы. Невозможно уяснить, какой из этих оттенков ложный и кажущийся — может быть, третий, когда чувства в своей объективности и чувства в своей субъективности некоторое (свободное) время пребывают в этом «волнении» воления, как в прихоти, прихотливо играя всеми оттенками, как «ни то, ни другое». (Даже в такой мелочи, как чтение текста, единственным аргументом будет не логика, а просто «нравится» или «не нравится». Настроение, «погода», которая, как известно «не бывает плохой», однако, «и в сердце отрава, и дождик с утра, откуда же, право, такая хандра…». Настроение как «ненастье» или «вёдро», но как будто зависящее от барометра.)

Чувство самого чувства, чувствующего человека и человеком. Страшновато.

«Hostinato rigore» — «упорная строгость», девиз Леонардо — не для меня. Но, тем не менее, точность и строгость в мерцании чувств, их ригоризм и незыблемость, при всей сверхтекучести и сопротивлении насмерть, здесь, при кажущейся размытости, переданы с математической выверенностью.

Здесь разлад человека с самим собой достигает последней черты: на одном полюсе он свободен (человек или разлад?), и устремлён к образу человеческого, эти образом живёт и дышит, развёртываясь в свободном времени, на другом — он тяготеет к необходимости — его свобода зиждется на своей несвободе и грубом тотальном развитии материального производства, на насилии над человеческой свободой «духовным производством» и производством духа.

Настоящим противоречием является не свобода и несвобода, а свобода и необходимость. Но во времени они могут становиться антиномией или даже антагонизмом, аннигилируя, или вообще выступать, как разные сущности, хотя их «полярность» порождена удалённостью (как и удалённость — разностью) во времени, особенно свободном. Это ошибочно так же, как полагать человеческую природу в виде «биосоциальной», — как якобы «диалектическое» противоречие общественного и биологического. С тем же успехом можно говорить о химико-социальном, физико-, механико-социальном, хотя в известном смысле такое тоже может быть. Человек от несчастной любви пускает себе пулю в голову — чем не противоречие социальной и механической формы движения? Шучу. (Но это эклектика.) И можно было бы ликбезом не заниматься, не вступать в пустую полемику, а просто написать: я считаю,

что человек — сугубо социальное существо, социальная форма движения материи, и противоречие духа и материи всецело в деятельности, как необходимости и свободы, и пространства и времени. Волнует?

Его свобода вступает в противоречие с сущностью производства, производящего иную форму общественного богатства — свободное время, и приводит к антагонизму, как моменту разрешения противоречия: либо моя свобода будет потреблена (как, впрочем, и воспроизведена) в непосредственном механизме труда, и тем уничтожена, либо она переосуществит сам процесс труда, приведя его в основание, упразднит его тесную предметную предназначенность (сделает праздничным), предопределение, и тем исчерпает «моральную телеологию» истории нужды и необходимости. Стоимость и свободное время не совместимы.

Капитал сам выстраивает эту «лазейку», поскольку для необходимого производства стоимости и создания пространства обмена между трудом и капиталом, необходимо, говорит Маркс, «*отделение собственности от труда*».

Тогда: «Труд, положенный в качестве *не-капитала*, как такового, *есть*:

1. *Не-опредмеченный (не овеществлённый труд), рассматриваемый негативно*, сам есть ещё нечто предметное; само непредметное в негативной форме. Рассматриваемый таким образом, труд есть не-сырьё, не орудие труда, не полу-фабрикат: труд, отделённый от всех средств труда и предметов труда, от всей своей объективности. Живой труд (точно так же и не стоимость) существует в качестве *абстракции* от этих моментов его реальной действительности; это полное отсутствие всего необходимого, лишённое всякой объективности, чистое субъективное существование труда. Труд как абсолютная бедность: бедность не в смысле недостатка, а в смысле полного исключения предметного богатства. Или можно сказать ещё и так: в качестве реально существующей *не стоимости*, а потому чисто предметной потребительной стоимости, существующей без опосредствования, эта предметность может быть предметностью, которая совпадает с непосредственной телесностью личности. Так как это является предметностью чисто непосредственной, она столь же непосредственно является непредметностью. Другими словами: она не является такой предметностью, которая существовала бы вне существования са-

мого индивида, которая не совпадала бы с ним. (Чистое становление как единство бытия и ничто — *А. Б.*)

2. *Как не-опредмеченный (не овеществленный) труд, нестоимость, рассматриваемые позитивно*, или как сама к себе относящаяся негативность, труд есть *не-опредмеченное*, а стало быть, непредметное, т. е. субъективное существование самого труда. Труд не как предмет, а как деятельность; не как то, что само есть *стоимость*, а как *живой источник* стоимости. В противоположность капиталу, в котором всеобщее богатство, в качестве *всеобщей возможности* богатства, возможности, которая как таковая реализует себя в действии (т. е., может быть источником любой формы богатства, его последней неопределённой, непосредственной формы, адекватной живому труду — свободному времени, как последней меры, но форма всегда будет *прошлой*, запаздывающей и опровергнутой, остающейся, отставшейся, отставшей. Здесь явное противоречие между стоимостью и капиталом, что тоже интересно. Как и противоречие между живым трудом и свободным временем, хотя, казалось бы, такого не может быть, — это узнаваемое, классическое противоречие возможности и действительности, которое даже не удивляет, но является выражением перехода и превращения, любой стороны противоречия в своё-другое, и в распредмечивании-опредмечивании, и возможности и действительности, и пространства и времени, овременении, развременении и т. д. — *А. Б.*). Таким образом, отнюдь не являются противоречивыми, или, вернее, являются во всех отношениях противоречащими друг другу положения, что труд, с одной стороны, в качестве предмета, есть абсолютная *бедность*, и с другой стороны, труд есть *всеобщая возможность* богатства как субъект и как деятельность: оба эти положения взаимно обусловливают друг друга и вытекают из сущности того труда, который *предположен* капиталом в качестве его противоположности. В качестве противоположного капиталу существования и который, с другой стороны, в свою очередь предполагает капитал. (Это касается формы труда, но не его сущности. Труд не обязательно воплощается в капитале или его предполагает. Хотя, если считать, что труд теряет свою трудовую форму вместе с эксплуатацией капиталом и собственностью, то вполне может быть, как «бытие-возможность» — *А. Б.*)

Последний пункт, на который ещё следует обратить внима-

ние при рассмотрении того, как труд противостоит капиталу, заключается в том, что, являясь потребительной стоимостью, которая противостоит деньгам, положенным как капитал — труд представляет собой не такой-то и такой-то определённый труд, а просто *труд*, абстрактный труд, труд абсолютно безразличный по отношению к своей особенной *определённости*, но способный к любой определённости. (И тем не находящий применения своей универсальности, взращиваемой в свободном времени, и потому вынужденный от всеобщности отчуждаться в единичной, — хотя отчуждаются первоначально к всеобщности, — определённой, особенной форме существования, которую он необходимо осуществляет, наделяя абстрактной всеобщностью и относительной свободой. Тут множество оттенков отношения универсальности и всеобщности, и этим тоже много занимались, и отношение единого и многого, и споры номинализма и реализма, и споры Советской Философии, там, где она была, философия — *А. Б.*) (Маркс К. Экономические рукописи 1857–1859 годов // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Изд. 2-е. Т. 46. Ч. 1. С. 246–247).

Конечно, есть принципиальные различия между опредмечиванием- распредмечиванием и овеществлением-развеществлением, материализацией, объективацией, «втіленням», «оплотянением», воплощением т. д., и можно было бы великолепно упиваться этой утончённой игрой форм и их переливами, фонтанированием. Тут просится от восторга вспомнить и архитектуру фонтанов, и игры упоминаний во всех смыслах, Рильке, его дополнения к Сонетам к Орфею, его «Римские фонтаны», стихотворение на французском, со всеми переводами и оттенками смысла, даже будущими, и можно вечно искать в этом беге времени, беге воды, кружась в тихой заводи и отражаясь, и в этом утонуть, прекратив думать о времени, успокоившись:

«Aus den Sonetten aus dem umkreis
der Sonette an Orpheus»

VII
Wir hoeren seit lange die Brunnen mit.
Sie klingen uns beinah wie Zeit.
Aber sie halten viel eher Schritt
mit der wandelnden Ewigkeit.

Das Wasser ist fremd und das Wasser ist dein,

von hier und doch nicht von hier.
Eine Weile bist du der Brunnenstein,
und es spiegelt die Dinge in dir.

Wie ist das alles entfernt und verwandt
und lange entraetselt und unerkannt,
sinnlos und wieder voll Sinn.

Dein ist, zu lieben, was du nicht weisst.
Es nimmt dein geschenktes Gefuehl und reisst
es mit sich hinueber. Wohin?

Rainer Maria Rilke

***

Подстрочный (приблизительный) перевод:

Мы издревле прислушиваемся к фонтанам.
Они звучат для нас почти как время.
Но они скорее держат шаг
с поступью вечности.

Вода чужая и вода твоя,
отсюда и всё-таки не отсюда.
Ты немножко камень на дне фонтана,
и вода отражает в тебе порядок вещей.

Как всё отдалено и родственно,
и давно разгадано и неведомо,
бессмысленно и снова полно смысла.

Тебе выпало любить, но что/кого — сам не знаешь.
И подаренное тебе чувство забирается и вырывается,
и уносится кем-то. Куда?

(Пер. Ольга Славянка)

Или: «Если у тебя есть Фонтан — заткни его...», и можно сугубо эстетически «наслаждаться» этой поэзией, но главное — процессу решительно всё равно, как это называется. И хорошо бы покопаться в этимологии на разных языках, но даже у Маркса все это неопределённо. По смыслу понятно, но терминологи-

чески не вполне. И как раз самое впечатляющее, что то, что открывается тебе, не только резко контрастно, диссонирующе и резонансно не совпадает с предшественниками, но зачастую прямо противно им, как «не то, что ты думал» и «оказывается...,». И весь смысл в этой «,», даже двойной, тройной запятой (,,,) хотя ты стремился к уточнению, докопаться до первоначальности.

При «этом» не скажешь, что это особенности перевода. Иногда перевод лучше оригинала, и допускает неисчерпаемые смыслы. Например, перевод Пастернаком Гёте или Шекспира. Бесчисленные трактовки, в которые перевод вносит ещё не один оттенок. Причём при каждом прочтении. Трудности перевода рождают мысль не хуже, чем прочитанный оригинал, и глупо пытаться выяснить, «что вернее?».

В своё время советская философия очень тщательно разбиралась с вопросом опредмечивания, овеществления, идеальным, в общем, всем компендиумом исторических категорий, субстанцией, свободой, диалектикой (о которой знали больше, чем она сама, но пользоваться не умели) Кто знает это — тем бессмысленно перечислять имена, а тем, кто не знает, и тем более. Могу сказать только, что такое даже не снилось западной, а тем более, американской философии. Я могу вечно перечислять славные имена, но это будет похоже на мартиролог.

Насколько была утончённой и изощрённой схоластика, до сих пор любуюсь, как и ранним христианством, а потом является какой-нибудь грубый мужлан, вроде Лютера, и оказывается, что он и есть выразителем «необходимости». А ещё раньше — утончённая античность и немытые христиане, правда, не христиане погубили античность, а сама античность умерла, потому что пришла пора, пришло время.

Уже Риму было нечего сказать ,и появление вульгарной латыни, как и кривого современного замусоренного английского — не только проявление всеядности и дурновкусия, и симптомов гибели, даже не скажу культуры, а космоса, вселенной, универсума — это исчерпанность жизни, что-то такое происходит сейчас. И это не предчувствие. Так, что это не внезапно, не «вдруг», а вызревает, как старость в себе, в юности, как смерть. Надвигается безобразно и пошло, и никакого личного мужества, и «чести», «личную свободу» и «гордость» этому противопоставить невозможно. «Оно» этого не заметит. Так что всё это — для самого себя, и не в утешение, а просто так. Доказывать, что спасение — в переходе «к иной форме общественного богатства» глупо, как и уповать на «свободное время» — всё обошлось без участия. «Но мы лишь созерцать обречены, и видеть всё, но видеть безучастно» (Рильке). И всё. Глаза б мои не глядели.

Я могу, конечно, оплакивать искусство, скорбеть над наукой и сетовать об упадке нравов, но не хочу. И в этом «не хочу» — всё дело. Так же, вроде Дэвида Энгельса, и многих других (только ленивый не плюнул в дорогих покой-

ников), воспринимать упадок Европы (тоже мне, Шпенглер, кстати, с образованием у бельгийца не очень), воспринимать как личную трагедию, да и конец всего мира. Вы этого хотели, вы это получили. Я не злорадствую, но, по-моему, все испытывают какое-то облегчение, и правые, и левые, ну наконец-то, как будто их от совести освободили. Но поминки ещё продолжаются, при живом покойнике, а ведь ещё девять дней, сорок дней и годовщины.

Это негативное безразличие, воспитываемое капиталом, абстрагирование труда в свою сущность, лишённую дальнейших определений, в собственно живой труд, который может существовать в подобной неопределённости, не отчуждаясь только в пространстве свободного времени (снимая абстрактное в конкретном, в единстве многообразия), осуществляет ещё и развитие его как абсолютной субъективности, едва только противоположность живого труда — капитал, снимается, определяется в качестве формы общественного богатства. (Но это уже безразлично, как и то отношение субъекта и объекта, которое так волновало и занимало Немецкую Классику. Знание об этом потеряло «магию». Этим больше не живут. Теперь это — «прихоть и причуда».) Причём не уничтожается во имя всеобщей бедности труда и абстрактной возможности, но сам он (капитал) становится сперва не целью, а средством, опосредующим отношением к свободному времени, а после исчезает, как нечто незначимое, не стоящее, ненастоящее (нестоящий капитал).

Свободное время форму сохраняет лишь по видимости, происходит конвергенция времени и живой деятельности, но ещё не слияние сущностей. Поскольку время по-прежнему остаётся формой общественного *богатства,* т. е. продолжает подчиняться законам производства, существовать по этим законам, и воспроизводить себя в форме времени, но в общественной форме, хотя и стремясь вернуться к своему физическому субстрату, стать просто временем, «подвижным образом вечности». Время как пространство — это негативный остаток, разность между живым трудом и его сущностью, когда «объём» порождается «всем», даже тождеством с собой (которое — возрастание, «удвоение», утроение времени, которого становится «больше», что заставляет пространство интенсифицироваться и «увеличивает» скорость прехождения времени, его стремительность. Удваивается, потому что тождество и противоречие самого времени безотносительно к своей противоположности — пространству, абстракция «моновремени», видимость «стрелы времени» (К. Ясперс много тут наследил), «необратимости», неповторимости, направленно-

сти, линейности определённости и т. д. «Утроение» времени, по вообще множественности, потому, что время = не-времени и отношению тождества меду ними, а ведь ещё «маячит» и «мается», «томится» пространство в «ожидании» и «надежде». Это всё химеры разума и чувств, но химеры реальные, такой вот бестиарий «кажимостей», любезных воображению. На самом деле, всё гораздо фантастичней и многообразней, так, что временно и помыслить (помацать) грубому рассудку нельзя. Ещё не время. Можно только догадываться.

Предвремененье. Предчувствие, Предвосхищение. Время остаётся «онтичной» метафорой видимости подлинного бытия, декоративным орнаментом происхождения иного, последней бескрайностью, бескрайностью последнего времени, трансцендирующего в основание свободы и свободой. И эти основания трансцендентальны. «Априоризм» Канта, в его последнем «сомнительном», декартовском смысле вновь «вспыхивает» с новой силой. Действительно, нет не то, что в «ползучей эмпирии», но в никаком, даже воображаемом опыте, предстоящего нет, а чувства есть, и «как возможны синтетические суждения априори» — не вопрос, и «суждения» ни при чём, проблема в их действительности, как происхождения в чувствах.

Что примечательно: чувства не стерильны. Иных оснований чувств, кроме самого чувства, не может быть, чувства их не признают. Они не бывают чистыми, по преимуществу, они хотят быть собой. На них всегда налёт нечистой силы, дьявольщины, чертовщины, и «без примесей» они не бывают. Сами чувства в своей специфике простираются в свободном времени, как его нервная система (простираются, стираются, исчезают и очищаются, простирываются), которой всё едино, что чувствовать: любовь или ненависть. Эти чувства не обусловлены, безусловны, и потому не срабатывают такие привычные оправдания, дескать, время было «такое», а значит, мы вправе совершать именно такие, а не иные поступки.

Вспоминается мудрая сказка Евгения Шварца «Дракон». Когда Дракон был побеждён Ланцелотом, то «любимым Президентом, оплотом демократии» (сейчас бы сказали «гарантом конституции») стал Бургомистр, продолжая подлое дело, превратившись, по сути, в Дракона. Вернувшийся Ланцелот с горечью говорит: «я вас освободил, а вы что сделали?». Сын Бургомистра отзывается: «Я могу предоставить полный список преступлений, который не попали в жалобную книгу, а только намечены к исполнению». И дальше примечательный диалог. «*Ланцелот*: Замолчи! *Генрих*: Но позвольте! Если глубоко рас-

смотреть, то лично я ни в чём не виноват. Меня так учили. *Ланцелот*: Всех учили. Но зачем ты оказался первым учеником, скотина такая?» Зачем мы оказались первыми учениками? Каждый знает сам. Но, что замечательно, дальше Ланцелот говорит: «Работа предстоит мелкая, хуже вышивания. В каждом придётся убить дракона». Жутью веет. Ведь убитый в каждом дракон ещеё и разлагаться начнёт. В «Дневниках» Шварц упоминал, что, по сути, не счастливым концом (да, и счастливый ли это конец?) он хотел завершить пьесу, а тем, что в финале Герой, победивший дракона и отстранивший, «освободивший» от власти Бургомистра (то есть вернувший ему свободу), сам становится диктатором, по сути, драконом. Но не смог, рука не поднялась. У Чайковского в «Лебедином Озере» в первоначальном либретто гибли Одетта и принц, наказанный за предательство, гибли все. Побеждали силы тьмы. Но не разрешили, заставили переделать финал. (Впрочем, поправку сделали за Петра Ильича.)

В том-то красота и мерзость этой эпохи, что нет объективных оснований поступка, совершаемого свободно, нет иных оснований чувства, кроме самого чувства, условия формирования не имеют ничего общего с тем произвольным следствием, существующим, будто самостоятельная сущность, акциденцией, модусом которой как раз и является то, что претендовало на основания. Претензия на основание и основание — не одно и то же. И часто чувства не готовы чувствовать то, что им неведомо, и попросту они не могут, не воспринимают, отказываются воспринимать и чувствовать. Люди, как и во времена Маркса, во все времена, по-прежнему вступают в независящие от их воли производственные отношения: они должны есть, пить, одеваться и проч., но никто не обманывается на сей счёт, как и насчёт собственных целей, хотя бывают состояния, когда сами не знают, чего хотят, и прекрасно осознают всю пагубность такого положения (потому, что необходимость в виде свободы и в виде голода — разные необходимости), однако идут на унижения по преимуществу охотно, свободно, добровольно, отдавая себе отчёт, что их эксплуатируют (но радуясь «востребованности»), счастливо желая этого и воспринимая почти «смыслом жизни». Наглея, вырабатывая хамскую, развязную профессиональность, подобную умениям проституток.

Нелюбимый мою В. В. Розанов, *когда* ещё писал: «Учёный,

насколько он *публикуется*, писатель, насколько он *печатается*, — суть, конечно, проституты. Профессора, всё конечно, и только prostitutes peaches. Но отсюда не вытекает ли, что с "проституцией нельзя справиться", как с государственностью, печатью, etc., etc.,...!... И, с другой стороны, не вытекает ли: "им надо всё простить и... надо их остановить". Проституцию, по-видимому "такую понятную" — на самом деле невозможно объять умом по обширности мотивов и существа. Что она "*народнее* и *метафизичнее*", напр., "ординарной профессуры" — и говорить нечего... "Орд. Профессура" — лёгкий воробышек, а проституция... черт её знает, может быть, даже "вещая птица Гамаюн"». (Розанов В. В. Сочинения. М., 1990. С. 35).

Двойная жизнь, двуликая свобода. Поэтому нелепо искать основания красоты в действительности, которая мне не принадлежит, хотя в «при-над-лежности её и ищут, заведомо желая пасть, унизиться и подчиниться диктату красоты. Красоту следует создавать (хотя потрясает именно объективная, не созданная, по крайней мере не нами созданная красота). Основания красоты — в самой красоте, основание чувства — в самом чувстве.

То есть, если предположить, что красота есть и ожидает нас в будущем, — красота никого не ждёт, — то я непосредственно в своём прошлом вовсе не являюсь субстанцией и даже автономией, — а лишь модусом красоты и её явлением не от сущности к бытию, а от бытия к сущности (на самом деле и то, и другое, и ни то, ни другое. Сущность и бытие нельзя метафизически разделить как сущность и явление — то есть только метафизически и можно, ведь любопытно, как это явление может не являться, сущность — не существовать, а ничто — бытийствовать, и так далее). Феноменология — в сущности. Сущности является моё бытие. И я — «постав» красоты, как её неведомое и отчасти невозможное воплощение. Возмущение и невозмутимость. Предел красоты и её «пролом», на который «я иду», «ведусь», «тащусь», «влачусь», «сволочусь». Субъективная объективность моих чувств не имеет причины во мне, а только — *самопричинна*.

Повторюсь, подлость и предательство в наше время, что его и отличает от исторического бытия человечества, и не позволяет проводить параллели, знают, что они — подлость и предательство (сколько бы не говорили, что *предательство* — это

предвидение), и творятся осознанно и сладострастно, с холуйской страстью, чего избегали прежде.

Камю нисколько не преувеличивал, когда отмечал в своих дневниках, что «холуйство — самая сильная страсть двадцатого века». Цезарь Борджиа и Савонарола — ангелы по сравнению с мелкопакостностью нынешних. Всё было: коварство и любовь, ненависть и кровь, но во всех случаях в истории не было той фальши, которая появилась сейчас, когда все, и предметы, и люди выдают себя за другое. Ковыряться в этом, при всей интриге, не очень интересно, хотя есть любители «разоблачений» и «клеветы» на историю. Боюсь, что вся философия и так называемая социология, выродившаяся психология, бредовая, маразматичная «политология», слабоумное искусствоведение и ещё три десятка, если не больше, ублюдочных «наук» превратились даже не в фельетон вроде «Истории Сатирикона» или «Голубой Книги» Зощенко — в пошлый скудный анекдот, клевету, хорошо, что не донос.

Предмет исследования в другом. Но именно в наши дни умер последний миф об интеллигенции. Все эти «неприличные» подробности в работе, посвящённой свободному времени, можно было бы опустить, иначе они опустят тебя, если бы не один момент. Я опускаюсь до всего этого не в силу эмоциональной неуравновешенности, а потому, что хочу показать то, что обычно игнорируют, как нечто случайное, наносное, а случайностей в философии не бывает, если я не захочу.

Свободное время в «ставшести» готового результата (а этот «результат» — сущностные силы человека) представляет собой становление, и само, в сущности, как будто вспоминая пройдённое ставшее, наличное бытие, опять «бывает». Бывает случайным, необходимым и *свободным свободным* временем, когда оно *уже не-время*, «*сейчас-не-время*», и «дано» уже не в последовательности, а сразу, «куском», будто необработанная, но великолепная глина, мрамор, со всеми возможностями в своей невозможности, сохраняя в свёрнутом виде всё движение, всю сверхтекучесть, все отношения. Но и тогда оно продолжает эманировать в мир, природу, его породившую, случайностью, свободой и необходимостью, которые уже не обусловлены, обращены и отпадают от «первообраза», «эйдоса», «материи», движения, становления и развития свободного времени, в нём же и происходя. Однако свободное время просто

«занимает место», вытесняет себя, ставит на «место», выступая как нечто инородное. Мир ещё не переосуществлён. Он — в прошлом и существует прошлым, но не знает об этом, и не понимает, как не понимали и дивились на Франциска Ассизского, который принимал подаяние не деньгами или хлебом, а камнями («время собирать камни»), из которых он строил «храм», не понимали Сократа, да вообще всего человеческого, или принимали слишком поздно, посмертно. «Потом», которое не наступает никогда — это и значит «никогда». Но я не об этом, не о том, чтобы строить, а о «превратностях и судьбах свободного времени». Так, свободное время до сих пор принимают, как милостыню, подаяние, дар судьбы, во время, когда оно становится основанием и энергией развития.

Свободное время, как в сказке, выполняет все желания, и любые, не только три, но оно — не судит. Оно не имеет интенции к безусловно доброму. Поэтому этому Джину, Ифриту, Золотой Рыбке всё равно, на кого работать, создавать или разрушать. Но обратного «хода» не имеют. Нельзя передумать. Метод «проб и ошибок» неприемлем. Только — начисто (даже если забыть — то начисто), и при этом ты не знаешь, что именно ты желаешь — воплощение не похоже на замысел, оно не такое, каким ты воображаешь *в-дальнейшем-происходящее*. Кроме того, ты не ведаешь, какие колоссальные усилия потребуются — всё ведь происходит не само собой, и как у Фауста, нельзя отречься: «Ты вправе, Дух, меня бесславить, я смог тебя прийти заставить, но удержать тебя не смог». Желания, идеи захватывают и подчиняют человека демонической силой. Свободное время — всецело настоящее.

Гений созидания или разрушения, любой, независимо от умственных способностей (умственных, и не только, *свободностей*), может трансформировать его, превратив в страшное «Абсолютное оружие» (Шекли) уничтожения человечества путём превращения людей в безумную толпу, может уничтожить умственные способности человека, выкашивая и не давая родиться живым человеческим чувствам, именно способом узурпации свободного времени, то есть заполняя, закладывая его пространство, его же превращёнными формами в стандартной упаковке.

Или уничтожить человека «для его же блага» во имя его же «свободы» или «лучшей жизни».

Действительно, способности — «свободности». В своё время уже говорили о «разумных потребностях». Сейчас прогнозируют грубее, о «рационализации потребления», и ведут людоедские неомальтузианские разговоры о сокраще-

ния населения на Земле. Вам запросто докажут, что людоедство — это нормально. И самое главное, что Вы согласитесь. Мальтузианцы, кретины из Римского клуба, контроль над рождаемостью — всё это натуральный фашизм, который будет сопровождать нынешний способ производства до самой его гибели, и даже свободному времени достанется в наследство, как СПИД или сифилис.

Недеяние — тоже деяние, и потому с помощью новейших технологий массовой информации (политиноформации, дезинформации, просто «формации») тысячам и миллионам прививается заменитель мышления и чувств. Вживляются протезы ощущения и эмоций. Человек начинает жить чужой жизнью, которую ему выдают, как способ потребления.

Подобно тому, как техника вытаптывает человеческое сознание и тем готовит его уничтожение (но техника не виновата), точно так же и свободному времени всё равно, как его используют, однако, когда его используют не по назначению, оно становится на себя непохожим (виолончелью тоже можно голову проломить): канцерогенным, и опасным, как радиоактивность.

Ни свободное время, ни техника сами по себе не есть зло, которое относительно и может быть просто чистой негативностью, без которого движение невозможно. Зло, как смерть в жизни. Но при «порядке вещей», особенно нынешнем, только тогда можно совладать = овладеть этой внезапно открывшейся созданной мощью, претендующей на самостоятельность, не уничтожив себя, когда технология и свободное время обретают подчинённый характер приручённого пространства человеческого саморазвёртывания.

Тут ничего страшного нет, мы испокон веков пользуемся огнём, хотя он может и убить, электричеством и всякими разностями, не менее опасными. Оперируем приспособлениями, машинами. Потребляем яды в качестве лекарств и т. д. На каждом шагу нас подстерегает гибель, глупая и нелепая. Так и свободное время может пришибить невзначай.

Свободное время здесь ещё представлено, как чистое количество, в *качестве* чистого *количества,* поэтому и невозможно на слух воспринимать то, о чем идёт речь. Журчит себе, и ладно. Я намеренно пустился в поверхностные рассуждения об убогости нынешнего бытия человечества, чтобы попытаться преодолеть пропасть между действительностью и теорией, когда случайность и нелепость происходящего врывается

в красиво выстроенную «научную» картину, и напалмом абсурда выжигает пустоты смыслов, как «вакуумный взрыв» бинарного заряда — «действительности и возможности», «актуальности и потенциальности», стремясь к однозначности и принудительно, и насильно. Всё, что говорилось здесь не специальным философским языком — пустое, мёртвое пространство. (А то, что пытаешься изложить неведомое философским категориальным — герметично и непроницаемо.) Язык свободного времени ещё только в процессе создания, и меньше всего это искусственный язык, вызывающий изжогу.

Читать подобное неинтересно, и это неувлекательное занятие хорошо передаёт моё отношение к действительности, которая такая же постылая и неувлекательная. Жизнь нынешняя тоже неинтересна.

Как говорил Гёте: «Кто набрасывается на негативное, тот разрушает и распаляет самого себя в чаду. Ни слова больше об этом скверном предмете, не то, борясь с неразумием, я сам в него впаду». В философии прежде не было недостойных предметов — теперь есть. На фоне *лжи* лживо выглядит любая идея. Сама современность стала неактуальной, как и сама жизнь, но от этого она не перестаёт быть жизнью.

К тому же, такие на первый взгляд наивные изложения существа дела очень точно предают сам дух происходящего, но не удовлетворяют мышление и разум своим скудоумием, своей явностью и лишённостью интриги. (Лишённость походя порождает время спектакля. И тут действуют законы драматургии. Вспомним Ги Дебора, да кого угодно. Нарративность сродни очевидности в нормативности.)

Сложные спекулятивные построения мало что говорят, намекая: «в этом что-то есть», за этим «что-то скрывается». На самом деле сами по себе спекулятивные конструкции есть заменитель действительности, поле теоретической свободы. Поэтому разум так охотно, с наслаждением и облегчением, обращается к темным философским построениям, к зауми, где он не может устоять против искушения почувствовать (по-предчувствовать, предвосхититься, как в вечность или в «нечисть», питая слабость к чертовщине, хотя бы запустить чернильницей, — заключить сделку на крови с очередным Мефистофелем или даже с «мелким бесом») прежде всего себя в качестве первого и последнего предмета философии, заменяя человеческое бытие собственным (именем собственным), и так неохотно, по принуждению воли касается дей-

ствительности, которая ничего не скрывает, но всегда уныла и плоска — скучная убогая равнина, «скудоумная местность».

Это сродни скуке, и это не скука «Зимнего пути» Шуберта в богатстве исполнения Фишера Дискау, а скука трансконтинентального перелёта со всем возможным комфортом. Как скука бесконечных похорон. Нудность быта. Ждёшь, когда реакция произойдёт. Такая же тоска сопровождает транспереходы, транскреации свободного времени. Их приходится терпеть, потому что процесс преобразования долгий, даже если мгновенен. Ожидание всегда мучительно, особенно когда ждать нечего.

Здесь даже речи нет о красоте, она витает где-то на периферии сознания, подразумевается. Здесь только «о красотах», красивостях.

Субъективность, которая упоминалась в связи со свободным временем, трансформируется вместе с последним, как его единственная и естественная форма. Оно действительно — последнее время. И как *времяраздел* времени и человека. Свободное время — способ жизнедеятельности человеческого, вынужденного стремиться, льнуть к нему (к человеку, и ко времени. Времени к человеку и человеку ко времени) и не достигать в изнурённой бесконечности, уходя сквозь расселины человеческой растерзанности, и тем обеспечивать вечное движение.

На самом деле свободное время и человек могут диффундировать в друг друга, проникать друг в друга, дополнять, взаимодействовать, расслаиваться и не смешиваться, или создавать симбиоз, паразитируя друг на друге, быть «трещинами» друг для друга, и, главное — превращаться в единое. Всё это — различные формы превращений, которых может быть великое множество. И, как ни странно, это не имеет никакого значения. Эта специализация безразлична, как для человека цвет глаз или любой другой признак.

В свободном времени субъектно-объектные отношения, порождённые мерой несвободы человека, которая сама есть только следствие реального отношения человека к человеку (предполагая возможность свободы в обществе, но не в общении), обусловлены отношением человека к природе в процессе деятельности, и потому вся история и процесс практики стоят между человеком и свободным временем, отделяя человека от него. Иногда это отторжение кажется «естественным», иногда это «стояние насмерть», в самом деле — живое превращение. (Это похоже на отношение Абсолютной красоты и человека, но свободное время выступает чистой негативностью. Их с красотой роднит беспощадность.) Зрение ещё не прорезалось. Оно порезалось о «плоскую» двумерную про-

екцию меры, пресечено, усечено и обожжено мёртвыми формами, обложено мёртвыми вещами, причём вещью выступают и чувства, имеющие «меновую стоимость».

Представьте, что вам никогда не видеть и слышать, но зрение и слух для вас существуют знанием.

Так же трудно говорить об открывшейся картине, пейзаже времени, как пересказывать слепому от рождения, как выглядит цвет и так далее, через опосредствование в длительности причин, простирающихся во времени — в свободном времени эти отношения исчезают, в том смысле, о котором упоминал Гегель, когда говорил, что субъективность лишь в ставшем отношении к объекту встык, всупречь, само это отношение есть действительно субъективное, оно зализано и не упирается распором, снимая отношение в себе, собою само это отношение (как форма) вполне объективно, а за пределами его вопрос вообще не стоит.

Говорят, не слышащие слышат музыку, например, непосредственно, ощущая колебания, и, наверное, образы у слепоглухих такие же многообразные, как у слыше-зрящих. Может, воображение у них работает лучше, компенсируя? Как знать? Во всяком случае, всеобщность зависит ещё и от коллективности, от причастности к человечеству. Полнота общения тут не в количестве контактов. И речь о другом, что мы — в очень ограниченном диапазоне возможностей, и, в сущности, ничего не меняется. Перед нами бездна неизведанного, мы даже поверхность «ничто» не пошкрябали, не поцарапали.

В данном случае субъективность приходит в себя, и процесс её самоформирования становится самообразованием, являясь единственной причиной, словом, развивается до всеобщности, пока только словом, языком.

Смысл субъектно-объектных отношений ещё и в том, что человек отделён, отд*а*лён от себя на ***все времена.*** Здесь не только время рабочее и свободное «прежде», чем обретает сущность, здесь человек опровергнут в прошлое и вынужден его изживать, перерастать. Он прошлым отстаёт от соответствующего настоящего, которое всегда наступает «потом», т. е. слишком поздно, и тоже является прошлым, после прошлого, при этом предстоя, как будущее. И здесь же время опосредования, время превращения, «время — в течение которого», нечто, в том числе и время, становится собой (жизнь всегда только ожидается в «будущем», а настоящее происходит до происхождения, постоянно и «всегда», так что будущее и прошлое — око-

лица, они окружают «около», вокруг. Будто то, что видно с городского вала, с границы греческого полиса) — своего рода производственное время, которое — не рабочее, но в его течении завершается становление продукта, он «доходит», а время «выдерживается».

Классический пример: производство (рабочее время) вина и выдержка (производительное время) вина, не говоря уже о времени созревания, которое безразлично самому превращению (но небезразлично виноделу, и тем более потребителю), не безразлично к самому человеку («прекрасно в нас влюблённое вино» (Гумилёв). Стоит пересмотреть фильм «Истина в вине» Иоселиани, хотя бы в его документальной части, чтобы понять, о чём я — о небезразличии в процессе труда. Свободное время взращивается, как лоза. Я бы не стал предаваться этим сентиментально-патриархальным речам, если бы не ярко выраженный оттенок человеческих чувств, возникающий в небезразличии к самому живому труду в самых неузнаваемых и страшных формах, которые отделяют человека от сущности пустой формой самой деятельности. Согласен, пример неудачен. Снятие этих кустарных (даже в поточном производстве), форм само собой порождает «дробное» время, мелкое и моросящее, ненастье времён, создающее непроходимость и излишнюю «вязкость» пространства, и вся энергия свободного времени уходит на сопротивление сыпучих времён, распыляющих свободу в нечто незначительное.

Свободное время вынесено за пределы производства и само является пределами и производства, и человека. Спасает только природа свободного времени, которое невыразимо в привычных категориях. Оно, вращаясь, проступая в человеческой деятельности, имеет тенденцию к возрастанию по мере обобществления живого труда, так, что в конце концов совпадает с живым трудом, когда он теряет свою трудовую форму — ту ограниченность неестественным, искусственным пределом, формой общественных отношений, которую пытается пределом вычерпать, исчерпать, а они вполне могут быть приведены в соответствие с возможностями человечества. (Хотя коварство этой фразы очевидно, возможности могут быть приведены в исполнение, и тогда: либо усекновение действительности в соответствии с ними, либо ограничение возможностей. Поэтому возможности должны быть невозможными, абсолютными.)

Это тот грустный случай, когда мера несвободы человека в свободном времени становится единственной причиной, противостоящей развитию производственных сил общества и, соответственно, пространства в форме свободного времени. Оно уже есть, но нежилое, выставочное. Как арендованное, но пустое помещение выставки достижений. Одни границы, абрисы. Свободно время — мерой невозможности, мерой свободы.

Все коренится в природе самого живого труда, его живого противоречия, который есть полное развитие универсальности, некогда вырвавшей человека из биологической формы движения и наделившей его собственной универсальной историей (историей свободного времени), создав сущность и действительность всецело общественными, сверх-историческими.

Может ли быть форма универсальности полной? (Полным может быть только дурак, и круглым.) Нет: и как форма, и как универсальность, которая не только тень, или проекция, но и само это абсолютное движение. Как становление, — оно всегда в своём роде, ни больше, ни меньше, хотя рода и не имеет, и может быть неполным, незавершаемым в себе самом, как форма, но абсолютным, как становление, которое к форме безразлично, и равнодушно к пространству-времени, даже свободному, особенно к свободному. Которое ощущается, как «ничего особенного».

Живой труд — основание, та всеобщность, во что *должна* превратиться актуальная бесконечность очеловеченного пространства, которое *должно* потерять свою абстрактность, стать безразличным к способу производства и к собственно трудовой форме, растворившись в бывании (становлении) без спецификации. Должно отвлечься на человека. Должно, но не обязано, и вполне может игнорировать необходимость случайностью. При этом всеобщность взаимозаменяется бесконечностью, а абстракция мерцает с конкретностью. Особенно это зримо, показательно в искусстве, когда вечность играет со временем.

Произойти это может только тогда, когда перемена рода деятельности становится способом жизнедеятельности. В своём негативном, формальном варианте такое происходит при капитализме, когда труд представляет собой потребительную стоимость со стороны капитала и абсолютное безразличие к собственной определённости и предметному воплощению. «Особые навыки труда все более становятся *чисто абстракт-*

ной деятельностью, деятельностью чисто механической, а потому безразличной, индифферентной к своей особенной форме; становится всего лишь *формальной* или, что то же самое, всего лишь *вещественной* деятельностью, деятельностью вообще, безразличной по отношению к форме». (Маркс К. Экономические рукописи 1857–1859 годов // Маркс К., Энгельс Ф., Соч., Т. 46. Ч 1. С. 248). И в то же время, в *свободное время,* есть ещё безразличие в самом труде, сверхразличие, когда всё едино, чем заниматься, и дело не во многоумении игры на инструментах, владении многими языками, многими науками или видами искусства — всё равно, чем заниматься, лишь бы заниматься.

Универсальность живого труда, возникающая на прехождении формы, снимается в вещи, она в вещи гнездиться, но ограничена логикой дела, целесообразностью. Вещь присваивает универсальность и наделяет формальностью человека и его отношения, которые не соответствуют ему, не соразмерны, ему тесно, или он страдает от открытых пространств. Поэтому он и считает, считывает *соразмерность* объединяющим общим признаком красоты, пытаясь всё загнать под представления «гармонии», понятной ему, хотя *гармония* — выражение противоречия в его видимости, откровении.

Но, в сущности, «гармонизация» вполне согласна способу производства, превращаясь в простые формы обмена и согласования, подменяя гармонию *консенсусом,* общественным договором и простым надувательством (как в случае с современным искусством, наукой и философией. Хотя тут и наука, и философия, и искусство — самое последнее дело).

В противоположность этой не радующей картине, в самом существовании живого труда, как потенциальная бесконечность, коренится возможность сбыться. Бесконечность, загнанная в теснины производства, имеет благодаря этому избыточную энергию, способную сбываться «во что бы то ни стало», стремясь и всё превращая в утерянную универсальность, пренебрегая определённостью труда в своей безбрежности. (Есть опасность в этой катастрофичности и неудержимости, но никакой теорией катастроф это обуздать и укротить нельзя — только оседлать волну и удержатся на гребне).

Согласно блестящему анализу Маркса: «Безразличие к определённому виду труда предполагает весьма развитую совокупность действительных видов труда, ни один из которых уже

не является господствующим над всеми остальными. Таким образом, наиболее всеобщие абстракции возникают вообще *только* в условиях наиболее богатого конкретного развития, где одно и то же является общим для многих и для всех. Тогда оно перестаёт быть мыслимым *только* в особенной форме. С другой стороны, эта абстракция труда вообще есть *только* мыслимый результат некоторой конкретной совокупности видов труда. (Выделено мною. Видимо, неудачный перевод. Это «только» употребляется, чтобы подчеркнуть особенный характер труда, уникальность всеобщего. Можно видеть в этом диалектику абстрактного и конкретного, можно — единого и многого, всеобщего и единичного, всё, что угодно, со всем по этому поводу и независимо от этого написанным. Как не вспомнить потрясающую работу Ильенкова «Диалектика абстрактного и конкретного в научно-теоретическом мышлении», все его работы. Единственное, что можно робко предъявить такой философии — это оскорбительную ясность, делающую излишним дальнейшее, и осмысление вообще, которое — без вариантов. Если и возникают вопросы, то только в силу собственной неграмотности. Лишь потом, если повезёт, возникает ощущение трагизма, и книги Ильенкова становятся непонятными и неисчерпаемыми, они прорастают и не повторяются, «дважды» теряясь в бесконечности, но тогда такими становятся все книги истории философии, замеченный и незамеченные, они становятся непостижимыми, как жизнь вообще, и нельзя выяснить: это твой опыт «шалит», «чудит», или это вообще свойственно книгам — *А. Б.*) Безразличие к определенному виду труда соответствует такой форме общества, где индивиды с лёгкостью переходят от одного вида труда к другому, и при которой данный определённый вид труда является для них случайным, и потому безразличным. Труд здесь не только в категории, но и в реальной действительности, став средством создания богатства вообще, и утратил ту сращённость, которая раньше существовала между определенными индивидами и определенными видами труда» (Там же. С. 41).

Как только живому труду перестаёт противостоять капитал, навязывающий механическое безразличие, тотчас же тенденция изменяется. Развивается сам способ деятельности, вплоть до универсальности формы, когда он становится безразличен к своему предметному, вещному воплощению (вещность меняется на «вешность», вечность, и это не «цветение вещи» — такое тоже может быть, — её «цвель» вещных отношений, а пора, свободные времена), т. е., целью становится не вещь,

а сама деятельность. Причём возникает безразличие неопределённой и пространством, и временем однородной субстанции, когда времена «выравниваются», становятся незначимыми. Последней формой общественного богатства образуется свободное время, совпадающее с живым трудом, как жизнедеятельность, самодеятельность, не обладающая стоимостью и не ограниченная её превращёнными формами.

Свободного времени, попадающего в общественное распределение, недостаточно для всеобщего преобразования, развития и превращения, и оно узурпируется в качестве необходимого свободного времени с одной стороны и *прибавочного* свободного — с другой. (А ведь есть ещё *свободное свободное время*). Его ограниченность, вторгаясь в качестве субъекта труда, в виде живого труда, ограничивает производство свободного времени в качестве простого воспроизводства, что поддерживает дефицит и стоимость, в превращённом виде, цены свободного же времени, но не его сущности, а цены измерения, по форме. По сути, становясь ценой свободного времени.

Издержки на содержание, образования, науку, искусство, культуру растут в то время, как эффективность производства свободного времени падает. Ведь форма общественного богатства, по-прежнему принудительно, насильно — прибавочная стоимость, она же — цель производства.

Свободное время вступает в антагонизм с прибавочным рабочим временем, и в результате производительное усилие общества заставляет самоуничтожаться, обессмысливая и без того не очень разумное бытие. То есть, сначала свободное время по инерции следует за привычным политэкономическим делением. Только потом оно спохватывается и становится «сплошным», а пока привычно принимает «разделение труда» самоотличая (самоотлучая) себя, как рабочее и прибавочное, пока оно не тотально.

Беда социализма, если бы он был, в том, что в своей переходности ему приходилось бы затрачивать основное усилие на преодоление *формы* свободного времени, на собственное нежелание и добровольность. Ну не лежит душа, и надо себя заставлять усилием воли. Покуда время — форма общественного богатства, оно несёт на себе, в своём течении, как мусор, черты эпохи, и воспроизводит её статичное состояние, как бы не заявляли о процессионности и прочих атрибутах, уверяя, что

форма — процесс. Форма свободного времени, как условие всеобщности, — условие развития каждого, как условие развития всех, и наоборот, — порождает пустое время, пусь даже оглушительно свободное, притом, напомню, что само время есть «лишённость», отсутствие, «определённое ничто». Оно акустически может «отзываться» гулко и отчётливо, но ему «всё равно»: что Бах, что «малый матерный загиб». Оно только «опредречено», «приговорено», «приречено» речью. Наличие свободного времени формально.

Но даже в своём формальном, недоношенном виде, свобода отражается во всём, куда только ни попадает свободное время в своих оттенках. Это как волнение, когда среда бьётся от предчувствия чего-то необычайного и замирает в ожидании сроков. «Свободу», «вольность» обретают и идеи. Сначала в растерянности, «оглядываясь», словно проснувшись, очнувшись в изумлении, «воспрянувшие ото сна», от слепоты, прозревая, теряют точность, «выпадая» из гнёзд, становятся на «крыло», лишаясь «у-местности», «выламываясь» из ритмов, связей, направлений, логики. Они «вывёртываются» из себя, обращаясь вокруг. Утрачивают целесообразность, становятся произвольными, «обращают» на себя своё внимание, обретая чувство «полёта ни к чему», становясь неоправдываемыми в изумлении, неупотребимыми. Лёгкость и дыхание, чувство полёта., парения.

Метафорой становятся не слова, а идеи, теории, независимо от правоты и смысла, например, «тектологии» (А. А. Богданов), «тектоники», самоформирования, самоорганизации. (Тут можно утонуть в самой истории вопроса, перечисляя имена, их окисляя, хотя я не о «эволюции понятия», а о самой науке, как «форме общественного сознания», о «феноменологии духа», хотя и не об этом. Не о системе наук, и даже не о «науке, как производительной силе», — о том, что любая теория может быть «ни к чему», как та же Хайдеггеровская «онтология времени», которая не Бытие и Время, а время в бытии, бытие времени. «Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать…», не приспособить, и идея не приспосабливается, не следует естественному и искусственному отбору, а развивается, как будто живёт настоящей (это верно), но объективной жизнью, «независимой от сознания ощущений», но в чувстве и ощущении. Мыслью можно ощущать, и сама она ощущается, как счастье в его изменчивости, но ничего не значит, кроме себя во всех оттенках.

Они могут быть, а могут не быть. Они не одержимы необходимостью явления, несокрытостью. Идеи не подчинены, не «руководствуются», не сообразуются принципом экономии. Никакой «Бритвы Оккама», хотя, казалось бы, лаконичность и краткость, нехватка свободного времени должна заявлять свои права. Но нет, буйство и бесполезность, цветение во всю мощь.

Эстетизация без принуждения. Хотя идея может, вольна не следовать этой избыточности. Это ничего не решает, а решало бы — не обязательно к исполнению. Тут проявляется «бытовое, обыденное отношение (что неожиданно) к свободному времени, красоте и «гениальности» — «жить без этого можно», но «жить без этого нельзя» — *незаинтересованность*. Не «прогресс» и регресс», а «эгрессия» и «дегрессия», «депрессия» и т. д., хотя это выпендрёж. Но период, когда «всё дозволено», необходим. Потом всё станет нормальным, все войдёт в берега.

Идея может быть нелепой в самом зародыше, как и в «старости». Можно её не увидеть, не узнать, она может быть смешной в явлении — по видимости. Становясь зримой, но, когда она во-время, во времени, временем — становится не смешно. Я не знаю, как к этому отнестись, я не знаю, как сама идея отнесётся в своём самомнении к тому, что она явилась.

Для того, чтобы оно стало действительно свободным, оно должно быть потреблено, опредмечено свободным действием (безразличным к этой определённости свободного времени, которое в себе не завершаемо), а этого как раз и не происходит, потому что вульгарное использование, потребление разом сминает свободное время. Парадоксально: его следует производительно потреблять, так, чтобы оно возрастало, то есть потреблять не потребляя. В свободном времени нет субъектно-объектных отношений, они снимаются, разрешаются «активностью» — плохое слово, но «беспокойство» и «самодвижение» мало что объясняют. Это не внешняя сила, а болезнь роста, то, что «прёт», несмотря ни на что.

Свободное время должно быть активизировано, активировано, приведено в действие тем, что я создаю своими возможностями его устраивающее пространство. Отсюда режущее слух: «Необходимо», «должно», которые только усугубляют плачевное положение человека, не готового к свободе и не привыкшего к действию «от себя», без причины и мотивации. Даже если он действует сам по себе, то на самом деле он —средство для самореализации цели, деятельности, и тем раздвоен на время бытия и время ничто, рас-троен на прошлое, настоящее и будущее, пребывая одновременно в трёх ипостасях, распылён по формам движения во множественности «я», а в том редком случае, когда он самоцель, — отчуждён в иное и другим живёт.

Но даже если он приходит в сознание, в чувство, и понимает, что свободное время нельзя использовать, и не потому, что «будет плохо», — никакой угрозы, — а потому, что им можно

только становиться, сокращая и умножая его природу свободной деятельностью, условно назовём её творчеством, то и тогда положение отнюдь не улучшается, поскольку человек впервые оказывается перед «свободным» выбором (хотя какая свобода в выборе?): собственное самосохранение или самоуничтожение в необходимом и прибавочном труде. В ходе которого степень и сознание эксплуатации возрастают в бесконечность. Сознание — как противовес, контрфорс, может не выдержать нагрузки. Отчуждение при социализме ещё больше непереносимо, поскольку оно осознанно, и я должен «*добровольно*», сознательно свои так тяжело доставшиеся сущностные, творческие силы (сущностные выше творческих) принести в жертву абстрактной цели всеобщего равенства, именно тогда, когда причина неравенства имеет субъективный характер. Это невыносимо и сродни ощущению, когда ты ждёшь с нетерпением, «когда же это кончится?», и хочешь, чтобы жизнь никогда не кончалась, хотя это одно и то же.

Ещё Ф. Шиллер и Кант полагали, что подобный поступок *морален*, но *безнравственен.* Он продиктован только долгом по отношению к нравственному закону, но неживым чувством нравственности, хотя я знаю этот экстаз долженствования.

Основное противоречие социализма выражается в универсальном, всеобщем, непосредственно общественном характере труда, и частном, ограниченном, формальном способе его воплощения, хотя это имеет свои неповторимые особенности — непосредственной «клаустрофобии» всеобщности, когда тесно во всеобщем, а не единичном, в котором уютно и просторно. Или, что то же самое, свободное время вступает во внешнее противоречия со способом жизнедеятельности. Отчуждение здесь — *необходимость свободе.* Отчуждение отчуждения.

Индивиду, на первы порах, его самоформирование в свободном временим представляется самоистязанием, аскезой, схимой, подвигом, его деятельность — веригами, а вовсе не естественным самобытием, времяпрепровождением, времяпровожанием. Проводы времени, как похороны. Время язвит его. Свободное время — в тягость.

Его творчество больше похоже на самоубийство, да таким и является. Человеку кажется, что всё возможно, что он может всё (он чувствует дух потенциальной бесконечности, который, как озон во время грозы, избавляет от духоты ожидания и пред-

грозья), и он действительно впадает в эгоизм творчества, когда его исключительность воспринимается как его личная заслуга, наполняет, опоят его гордыней.

Так бывает, но даже когда это становится нормой, то творчество всегда мучительно. Это адские, нечеловеческие муки, и страх, что всё это «не то», и может кончиться в любое мгновение. И я ещё не видел человека, который был бы доволен тем, что он делает.

И это действительно во многом личная заслуга, так оно и есть, но не дай бог осознавать это. Большинство человекообразных такое же свободное время проводило как часы досуга, «забивая козла», занимаясь времяпрепровождением, убиванием свободного времени — что и говорить, сладко убивать время.

При этом следует помнить, что само это презрительное противопоставление есть результат всё того же ограниченного разделения по принципу производительного и непроизводительного *использования* свободного времени, что лишний раз подчёркивает его формальный характер.

По сути, игры в домино, шашки, го, маджонг, карты, или «кабаки с зелёным штофом» ничем не отличаются от чтения книг, и научных в том числе, поэзии, живописи, музыки, просмотров артхаусных кинофильмов… Чистое потребление.

Вот когда будет всё равно, чем занимается человек, тогда это будет означать, что проблема свободного времени решена, и не имеет политэкономической подоплёки экономии и сохранения времени и его превращений, — свободное время становится простым временем жизни, норовом, нравом. При этом совершено всё равно, решена проблема или нет, смысл — в решаемости в каждый данный момент.

И действительно, современному человеку творящему, производство показывается недостойным его свободного человеческого сознания (поэтому следует либо переосуществить производство, либо долой сознание, можно, правда, создать химеру сознания, и даже пожертвовать познанием). По сравнению со свободным временем этот тупой, превращающий в машину труд, ничуть не похожий на схожий с экстазом живой труд и чувство творчества, эта тупая машина производства, делает человека несчастным, действительно выступая источником всех бед (именно поэтому вся дальнейшая философия может

быть, и является, трансцендентальной психологией, комедией положений, историей души, и лишь в очень отдалённом будущем может трансформироваться в эстетику, — единственную науку о том, как *бывают* человеческие чувства.

Добавлю, и этими чувствами живущую, не эстетику, а саму жизнь. Хотя теперь я вижу иначе. Одно не заменяет другое, и если кажется, что нечто доминирует — то это иллюзия. Всё равно, как оно называется: психологией, эстетикой, философией, педагогикой, важно, что оно не обособляется в отдельную чванливую, назидательную «науку» со своими предписаниями и канонами. И всё это благодаря свободному времени.

Но философия, которая и так стала слишком стремительной, мелькающей, мельтешащей, примелькавшейся, тяготеющей к миниатюрным формам, коротким фразам со смещённым центром тяжести огромной убойной силы, микрофилософия, мірофилософия, микроцефалия, должна покинуть «альмонашество», почувствовать свободу, в том числе от себя самой). Я вовсе не имею в виду обязательно определённую сферу, — любую, производство вообще. И ставится вопрос: кто кого. Здесь может быть множество решений. И я не уверен, что свободное время неминуемо — его могут страшиться и сознательно избегать. Но, главное, что ни о каком человеколюбии, гуманизме говорить не приходится (вернее, приходится только говорить).

Поскольку дифференциация труда, разделение его (разделывание в прозекторской формального мира вещей, основанного на потреблении) делает возможным, с одной стороны, субъективное существование труда, а эта непосредственная предметность труда не отделима от личности, совпадает с её бытием, и потому предметность одновременно выступает непредметностью: человек загоняется в своё исключительное содержание. С другой стороны, это содержание выступает как мёртвый предмет, а не как живая деятельность. (На самом деле «сторон» нет, предмет, деятельность и субъект — это один и тот же процесс. Он рассыпается на отдельности, только в своей прошедшести, «прошлости», как прошлый труд). Всё большее абстрагирование в системе машин превращает мир в мёртвый часовой механизм, отсчитывающий время до затянувшейся гибели, и живёт по законам механической формы движения, т. е., невозможный, по существу, но он существует другим, как порождение общественной формы.

Становясь формальной, абстрактной деятельностью в своей

механичности, она парадоксальным образом безразлична именно к форме, что заставляет человека обезразличиваться в репродуктивной, функциональной деятельности по контуру машины, но в тот же момент освобождает человека от предметной зависимости, делает невозможной дальнейшую дифференциацию и абстрагирование у последней черты. (Смерть — последняя абстракция. И не надо ждать ужасов, чтобы, ужаснувшись, спохватиться. И что можно сделать? Неумолимая, мертвящая власть машин происходит «по согласию» и даже оживляется азартом не только у игроманов, заражаешься от самих компьютеров, от которых отказаться невозможно. Проблема, как к ним относиться: как к орудию, средству, усиливающим твои возможности, или как у способу отмены, подмены мышления? Это незаметное всеобщее отупение происходит при применении интернета. Устанавливается власть механической системы машин. Механичность не в том, что что-то вертится, крутится и гудит, а в самом принципе «формальной» логики «или-или»). Человек — мера, цель и абсолютная бесчеловечность, производит сея как последнюю грань и подводит черту истории. Происходит переход от производства предметов к производству деятельностей, безразличных к определённому виду труда и превышающих потребности, нужду общества, «потребность в потребности», превышающей необходимость, как её же возрастание, возраст, но ещё не свободу. Мучительное состояние, когда «ничего не хочется», «чем бы заняться?» исчезает, но и в этом есть «нужда».

Либо человек переосуществляет производство по образу свободного времени, либо производство уничтожает человека и поглощает, втягивает обратно, порабощает свободное время, заставляя его работать в качестве стоимости, этой изрядно обносившейся, обнищавшей, истрепавшейся форме общественного богатства, возвращаясь к репродуктивной, меркантильной основе неклассического капитализма, измывающегося над свободным временем, питаясь его кровью и превращая свободное время в «ценность». Свободное время исполняет ***функцию стоимости.***

Не качестве прорицания, однако наступает период, когда не просто форма стоимости вступает в противоречие, уже конфликт, антагонизм с новыми вызревающими отношениями, но при дальнейшем развитии исчерпывается и сама стоимость, а вместе с ней и развитие (,) в случае (,) если стоимость будет упорствовать — не стоимость источник развития. (Стоимость

и есть развитие «в случае». Необходимость в ней отпала, но если не станет свободой, то и случай, и необходимость начнут гнить заживо. Это как гангрена времени. Причём и свободного тоже, сколько его там в эпохе стоимости и капитала, причём, распространяясь на прошлое, настоящее и будущее.) Время стоимости прошло. Всё уже ничего не стоит. Пустота. Коллапс. Это кажется невероятным, но такова тенденция, естественная (или искусственная?) скоропостижная старость человечества в случае, если не произойдёт смена общественного богатства, и старая форма задушит жизнь, ведь свободному времени *недосуг*. Оно не будет заниматься освобождением.

Не хочу малевать апокалиптические картины — они происходят на наших глазах, не буду прорицать, предсказывать и кликушествовать. История, при всей своей ошеломляющей гнусности и бездарности, очень успокаивает. Ну, развалилась и сгнила Римская Империя, так жили же, рожали, соловьиными языками питались, и ничего, ну, была Античность, Греция, были Вавилон, Ассирия, Междуречье, Урарту, культура Тель-Хассуна, Элама, Китай, Корея, Индия, Камбоджа, Япония, десятки, сотни различных царств, культур, цивилизаций, эпох. Их нет, но мы-то есть. Всё это так. Есть ли мы — это ещё вопрос. Однако специфика нынешнего времени в том, что мы, на свою беду, стали человечеством, и у нас уже единая история (а может быть, нет уже никакой, по крайней мере, будущего-то нет), поэтому дисбаланс, разложение в одной части планеты выведут всю систему из равновесия (так что, если Россия пьёт беспробудно, то цирроз будет у США). Посмотришь на двадцатый век, поужасаешься, содрогнёшься, и продолжаешь мыкаться дальше, понимая, что сейчас не намного лучше. По-другому, но так же. Передёрнет от омерзения, и тащишься по-прежнему, дескать, «спектакль надо досмотреть до конца».

Дело не в том, что третья мировая война уже идёт вовсю, но прежде всего в абсолютной бессмысленности происходящего, когда никто уже не живёт, но всё справно и функционирует (как «фабрика смерти»). Не человечество, а заводная игрушка в виде глобуса, у которой скоро кончится завод или лопнет пружина. Свободное время уже не выдерживает и разорвёт это запаянное пространство, но тогда оно уже будет диким. (А может, оно удерживается внешним давлением, как Магдебургские полушария вакуумом?) Но больше это похоже на под-

критические объёмы свободного времени. Оно, как множитель, в количественном мире увеличивает количество, как волшебный горшочек, который варит кашу без остановки. Но он умножает то, что попадает в него, и если фекалии, то миру не отмыться. Да и само время деградирует, поскольку, согласно Канту, если дано обусловленное, то ***задан*** (предзадан) и регресс в ряду условий для него, как следствие прежде причины.

При социализме противоречие свободного времени становится движущей силой только в ограниченном смысле, как острая недостаточность времени. (Как становление свободного времени, это действительно движущая сила, а как форма общественного богатства, тормозящая и регрессирующая форма наличного бытия — консервативная и «традицирующая», трансцендирующая. Это противоречие «внешнее», хотя уже нет внешнего и внутреннего. Человек в свободном времени не свободен, предпочитая двигаться наощупь, по его пределам, контурам, границам, и часто с внешней стороны, просто наталкиваясь на свободное время и необходимость что-то с ним делать. Всё впервые, и не становится обычным.

С другой стороны, а это та же сторона, только в свободном времени, свободным временем человек и свободен, он отодвигает пределы в бесконечность, не задумываясь об актуальности и потенциальности. Действует безусловно, но не знает, что это такое (и правильно, не пытаясь выразить это как «чтойность»), сугубо доверяясь своим желаниям и прихотям, чувствам), не чувствуя свою несвободу от свободного времени. Две стороны одного противоречия, и обе недоразвиты. Удивительно: неразвитые формы свободного времени, предшествуют более изощрённым, детальным, мелким. Можно наблюдать эти игры, как игру воды, до бесконечности, но вот действовать придётся единственным способом, допускаемым и возможным в данный момент свободного времени, что раньше и позже — невозможного времени, причём твоё действие тоже пребывает в этом становлении.

Пределом свободного времени становится само рабочее время, которое приобретает характер издержек производства. То есть свободное время ограничено началом, с одной стороны, а другая сторона — оно само, как движение в бесконечность, и только это предельное начало делает его временем. Происходит «натуральный обмен» сущностей сущностями, как будто рабочее время производится свободным, а не наоборот. Оно и в самом деле *становится*, создаётся свободным (временем). И отчасти это так, поскольку рабочее время, его необходимость дик-

туется теми потребностями, которые продуцируют свободное время, руководствуясь чистым, беспричинным и беспримесным чувством, которое может оказаться и ложным. Но трудно различить здесь, да и не надо, где рабочее, а где свободное время. Различение произвольно, и свободное время «провоцирует» к «целесообразному без цели».

Я могу делать, что хочу. Вопрос в том, что именно я хочу. И здесь я, сформированный миром вещей, опять ставлю мелкие *конечные цели* в пределах достижимого, поскольку, согласно современным представлениям, взывание, скажем, к абсолютной (абсо*лютой*) красоте, без компромиссов, ничего не прощающей — уже не более, чем риторическая фигура, устаревший приём провинциального проповедника. Заклинания красотой уже порождают неловкость, «нам бы что попроще». Заклинания красоты, заклятья, заговоры, ворожба, клятвы уже не действуют. «Конечная цель есть не что иное, как всё предназначение человека…» (Кант) превращается в подчинённую, далеко не высшую цель, несущественную, но осуществимую... Достигнутая имманентность застит мне взор, заволакивает взгляд. Избавившись от *предназначения* под тем предлогом, что его не существует, вздохнули с облегчением, жить стало легче.

Однако, если я, начиная в соответствии с ограниченной свободой свободного времени, которая ещё ***форма*** общественного *богатства*, и ***время***, и ***форма*** общественного самосознания, и «***форма*** внутреннего созерцания», и значит, зиждется? Покоится? На обмене чистых сущностей, и как форма, и как богатство основывается на нищете человеческих чувств, нищете, тщете, недостаточности духа, если, зная всё это, я сознательно жертвую собой, полагая свой (жалкий) живой труд во временную несвободу необходимого труда (который этим усиливается до всеобщности), то производство для производства становится производством производства, исчерпывая применение человека (который перестаёт быть непосредственным агентом производства) и теряя самостоятельное значение субстанции. Развитие становится бесцельным, потому что всецело, тотально цельно, универсально. Свободное время становится трансцендентальным прототипом свободы, не дожидаясь её.

Согласно великолепной логике Маркса: «*Кража чужого рабочего времени, на котором зиждется современное богатство*, представляется жалкой основой, в сравнении с недавно раз-

вившейся основой, созданной самой крупной промышленностью. Как только труд в его непосредственной форме перестал быть великим источником богатства, рабочее время престаёт и должно престать быть мерой богатства, и потому меновая стоимость перестаёт быть мерой потребительной стоимости. *Прибавочный труд рабочих масс* перестал быть условием для развития всеобщего богатства точно так же, как *не-труд немногих* перестал быть условием для развития всеобщих сил человеческой головы. Тем самым рушится производство, основанное на меновой стоимости, и с самого непосредственного процесса материального производства совлекается форма скудости и антагонистичности. Происходит свободное развитие индивидуальностей, и потому имеет место не сокращение необходимого рабочего времени ради полагания прибавочного труда, а вообще сведение необходимого труда к минимуму, чему в этих условиях соответствует художественное, научное, и т. п. развитие индивидуумов благодаря высвободившемся для всех времени и созданного для этого средствам (Маркс К. Экономические рукописи 1857–1859 годов // Маркс К. Энгельс Ф. Соч. Т. 46. Ч. 2. С. 214).

Производство непосредственной человеческой сущности в свободное время превращается в поле испытания человеческих сущностных сил, преобразуясь в научную лабораторию и в художественную мастерскую, где науки опредмечивают идеи, приобретающие всё более эстетический характер. И определённое безразличие: есть, и ладно.

Свободное время обретает одновременно, единовременно, разом, мгновенность, сразу становясь прошлым, и характер вечности, длясь до изнеможения. Оно никак и ничего не может забыть. Так пишущий редко обращается к написанному собой, художник не возвращается к картине, композитор не переписывает произведение, а архитектор не переделывает построенное, хотя возможна реконструкция и переделывание, но я не об этом, а о неповторимости, и что смысл в том, что ты встроен в это всеобщее движение непосредственно. Раньше это называли «коллективностью», «политехнизмом», сейчас — не важно имя, как ни именуй, ни зови, вопрос — в реальном становлении, в его обращении в виде свободного времени.

Я упомянул о неповторимости? Но столь же необходима скорость воспроизведения, не так же, — иначе. Разница в эмпирии неуловима, но она принципиальна. Это как понять, что постоянная приложенная сила по Аристотелю сохраняет постоянное движение (представляю, сколько дерзости по-

надобилось для этого, какой восторг, и что это — форма покоя, а покой — тоже движение), а уже у Ньютона постоянно приложенная сила вызывает ускорение, изменение скорости, в том числе и скорости обращения, а в общей теории относительности ещё виртуозней, но это не история изобретений или открытий — развитие, становление во времена Аристотеля, Галилео Галилея, Ньютона, Эйнштейна — одно и то же, а вот свободное время — «разное», и скорость обращения иная. И главное — это не имеет никакого значения. Ну и что?

Скорость обращения свободного времени не постоянна, но имеет эффект гирокомпаса, напоминает процесс простого и расширенного воспроизводства. Своего рода «инерционный двигатель», производительная сила. Ну и что? Даже не удивляет. И как это мне поможет жить? Да никак. Это просто есть, как галактики, звёзды, всеобщее развитие, жизнь и смерть. В конце концов, предел теории — быть неупотребимой. Это просто красиво.

Свободное время различно на разных ступенях в разных степенях развития производства, хотя оно всё равно — свободное время и в-себе, и для себя, во всех отношениях, но может подвизаться в несвойственной себе, чужой роли.

Сложность в том, что может быть момент, когда это, возможно, было упущен. И это может быть, и, может, будет, но может и нет, и никогда не произойдёт. Мы отброшены на сотню лет, нет, в каменный век, в иное измерение, и это не символ веры. Я пишу в никуда, вполне уверенный, что мы потеряли свой шанс стать людьми, и пишу, как это могло бы быть, но развитие пошло другим путём, и как будет называться «коммунизм» по-другому — неведомо. Вернуться и начать сначала сил уже не хватит, а «вперёд!» бессмысленно в бесконечности, как и «даёшь!» или «банзай!» «На ура», наскоком проблему не возьмёшь, хотя лихая кавалерийская атака не помешала. Но, может быть, ещё не время решать такие вопросы? Это тоже одна из особенностей свободного времени: могу позволить себе задумываться и создавать проблему там, где ещё и вопросов не возникает.

Можно было бы витиевато назвать раздел в духе Маркса «Рост производства в результате производительности труда. Свободное время в капиталистическом обществе и при коммунизме», но поздно. Можно было бы главу обозначить «Искусство и коммунистический идеал», но это уже сделал Ильенков. К тому же, искусство вообще отказывается от идеала (отказывает, как орган), или избывает идеал. В конце концов я просто пытаюсь выяснить «дух времени», хотя это напоминает «Дух форм» Эли Фора, и сбивается на «Феноменологию духа». Вспоминается расхожее Гётевское «а то, что духом времени зовут, есть дух профессоров и их понятий…» Об этом можно написать целую книгу, а если приплести сюда Гуссерля, Хайдеггера и Юнга… У меня нет

корпоративной, цеховой солидарности с профессорами, хотя мне понятна ирония Гёте, но написать о «Духе времени» можно очень занятно, тем более что чувства и время — это неисчерпаемая проблема. Хотя и опасная — можно неосторожно не то, что заиграться, а просто исчезнуть для себя, потерять себя в выяснении, какие они, чувства во времени, потерять способность чувствовать. Это всё не о том. И как интернет не похож на самые смелые фантазии прошлого и ковёр-самолёт, побитый молью, на современный самолёт, ступа и метла Бабы Яги на самонаводящуюся ракету, так и все попытки заглянуть за горизонт бессмысленны.

Но меня интересует не будущее, не прошлое, а настоящее, которое появляется и исчезает каждое мгновение, мерцает, «бликует, «мерехтить» в обозримом пространстве. Свободное время не в своём теоретическом, «вяленном» варианте, во все времена — свободное время. И лишь «со свершением всех времён» перестаёт быть, уступая место непосредственному становлению, когда времени больше нет. Нет свободы, развития, которые уходят в основание и обессмысливаются, становятся обыденными, ничего не представляющими.

Сюжет здесь драматизируется тем, что из непосредственного, вполне обусловленного экономического факта производства необходимого свободного времени вовсе следует, что это время автоматически становится пространством человеческого развития.

Конечно, оно совпадает с формой развития общественного, общественной формы движения материи (по «контуру», по «объёму», по «динамике» и «скорости»), и впоследствии является единственной мерой целесообразности развития материи вообще, доразвиваясь до последнего предела развития, которым выступает настоящее, по крайней мере, мнит себя таковым), и исчезает, растворяя последнюю форму таким образом, что снимает вопрос о времени, пространстве и форме развития.

Но как свободное, оно необусловленно, неопределённо, и даже сама свобода развития, которое принимает свободу, как должное, естественное своё свойство, атрибут, не в силах сделать свободное время свободным и устоять против времени, хотя оно оказывает времени сопротивление, и в этом его смысл. Время против времени. Исчезновение «со временем».

Политэкономическое свободное время — лишь известная предпосылка свободы, но не является ею даже на уровне чувств, овладевая, поглощая человека не только в сущности, но даже

в бытии. Чувствам можно противиться из упрямства, но сопротивление бесполезно.

Свободное время может быть, но не освоено, оно может оставаться в представлении, быть не явным, не чувствоваться, или теряться в ожидании, как в догадках, не соответствовать своему образу, быть неузнанным, даже враждебным, не дотягивая до себя в понятии, но даже в таком бессознательном виде оно, хоть и пассивно, бессознательно, но действует, изменяя «фактуру» бытия (равно как и ничто).

Известная двусмысленность всеобщего, не отвечающая однозначно, одноразово на однозначные вопросы. Так, «жить воображением» может означать, что воображаемый мир человеческого бытия становится действительным миром и, наоборот, что человек становится воображаемым человеком. Можно обнаружить много оттенков, и они могут не сочетаться. Воображение «достраивает» мир и воображение, подменяющее его, и даже само воображение.

В самом способе действия по отношению к свободному времени заключена его общественная фактура — всеобщность, позволяющая этому времени превышать данность его бытия, которое не в нём самом, и таким образом само время диктует логику распредмечивания его сообразно своей объективной (единственной и неповторимой) природе, как будто оно и есть объект деятельности, преобразующей пространство. Преобразование времени непосредственно, без изменения пространства. Как будто изменяя природу времени, его дух, что может мниться, но не реально, хотя и искажает действительность. Получается не то, что хочется и ожидается, а совершенно невообразимое.

На одном этапе главная задача — уничтожить это пространство (при «попытке к бегству»), а на другом — сделать его бесконечным по форме («жилы мотать»), так как по существу оно и так бесконечно и, наконец, обратить в основание, превратив в ничто, а уж затем созидать из ничего заново свою человеческую сущность по образу и подобию вновь обретённой свободы, похищенной у ничто, из ничто (свободного времени) созданной, сделанной, а не отмерянной несвободой, чтобы преодолеть время.

Для этого, перефразируя Маркса, требуется, чтобы общество могло ждать, чтобы значительную часть свободного времени (любой формы богатства) оно могло изымать из непосредственного, как индивидуального, так и общественного потребления, и употреблять на труд «*не являющийся непосред-*

ственно производительным». Производительность свободного времени иного рода. Оно производит себя «дважды» — и как производное от прибавочного, и от себя «лично». Оно замирает в ожидании и нетерпении. Оно сплошно и дискретно и аккумулируется перед порывом, броском исподволь. Поэтому оно может быть катастрофично, сжимаясь в малые объёмы энергией веков, и неуправляемо, необузданно.

И поскольку нет этих ориентиров, в свободном времени, которое кажется аморфным и не имеющим тектоники, ритма и интенций (на самом деле он неоднородно и всё из сгущений и разряжений), то мерой оказывается красота, вернее, её бесконечно меняющийся образ, выраженный «абсолютным» чувством, для каждого времени «своё-чужое», но на «все времена».

Самовоспитание чувств, непосредственное общение как предметное выражение всеобщности и *чувственно*-сверхчувственное бытие красоты — всё это принадлежит не будущему, а настоящему.

Будущее предполагает снятие всякой меры, а не отодвигание её «на время», на неопределённый срок, в виде меры человеческой не-свободы, а не развития свободного времени как формы общественного богатства, что идеально ре-производит, перепроизводит, ре-эволюционирует формы неравенства, каким является, например, само равенство, свобода красота, чувство и т. д., и делает эти формы безразличными, снимая, исчерпывая не только понятие свободного времени, но и само свободное время, которое само есть последняя форма неравенства, *последнее время*, им порождающаяся мера, уже скорее, как ориентир, по которому можно «засекать время», скорость, определяться в бесконечном пространстве движения, и уходит в скупо прикладную сферу, выполнив своё предназначение, исчерпав, разрешив противоречие. Здесь то, что происходит в бытии — совершено безразличный факт, главное — чувство.

Предположим, я сажаю дерево: одно дело, когда надо мной стоит надсмотрщик с плетью, другое дело, когда я совершаю этот акт по найму, как «рабочая сила», ещё другое — если я исполняю общественный долг, как моральный поступок, и совсем иное дело я совершаю этот поступок из своего простого и даже толком неосознанного желания, по прихоти, только, чтобы доставить себе удовольствие, потому что я так хочу. Дело во всех случаях одно, дерево и способ действия одинаков, но всё совершенно несравнимо по чувству и образу чувственности и чувств,

которыми проступает «субстанция в явлении» (шучу). (У Фромма в «Иметь или быть» недвусмысленно проанализирован опыт созерцания цветка, срывания или выкапывания его для пересадки в свой сад, чтобы показать разницу между удовольствием и радостью, чувством, — так и здесь, посадка дерева может быть ещё и беспричинным и актом *видения*, как актом бытия. — *прим. ред.*).

Точно так же и в отношениях к свободному времени: его мера при рабстве, капитализме, социализме, коммунизме, может быть одинакова в процессе труда, но фактура и сущность разная.

К свободному времени можно принудить, и тем уничтожить, его можно заставить работать, приговорив к долгу (свободное время за долги, оно само может быть долгом, и чувством долга), и лить время на самовоспроизводящуюся, вращающуюся цивилизацию, и использовать, как природную силу, но оно в предмете потеряет свою мощь и особого эффекта не даст (а какой, собственно, нужен эффект?), и, наконец, в нём можно пребывать свободно, но тогда оно не отделено от меня, т. е., свободное время, я и деятельность, чувство и переживание теряют свою значимость и определённость, врастая в бесконечность и безразлично к ней. Свободное время — как повседневность, о нём не думают, как о бесконечности и вечности, разве что, когда мы смотрим на звёзды — животные звёзд не видят, хотя они есть и для них.

Ходя в основание, свободное время уже не отличает себя ни от красоты, ни от свободы — всё безразлично, во всей полноте и конкретности (как её понимает диалектика), хотя освобождённые сущности, ничего не теряя в своём превращении, становятся атрибутами непосредственно человеческого бытия. Мы начинаем видеть звёзды, воспринимать свободное время, и обретаем чувства, прежде неведомые. Невидимость становится видимой. И даже очевидной.

Путь к красоте может быть и некрасивым. Совершается переход к свободному развитию материи, руководствуясь и определяясь единственной причиной — красотой (хотя она об этом не знает), поскольку у бесконечности нет причины быть бесконечностью, вечность безусловна сама по себе, не «потому что…», и потому только беспричинное бытие Красоты побуждает действовать в никуда, тогда, когда смысл времени исчерпан, и завершилась история необходимости и развития по нужде.

Хотя возможны рецидивы и отступления (на то она и свобода), атавизмы, рудименты прежнего, как и в обыденной жизни — дурные привычки. И свободное время может тяготеть к сброшенным, оставленным формам, и быть архаичным. Это бывает, когда стыдно тянет на безобразную уличную шаурму, среди изысканной высокой кухни и деликатесов. (Шучу.)

В свободной истории можно действовать, а можно и не действовать. Становление не длится историей. Действие ничего не прибавляет, недеяние — не отымает. Чувства не поддаются модернизации и усовершенствованию.

Единственным смыслом есть сотворение красоты просто так, проецирование образа человеческого на весь универсум, как простое утверждение человеческим образом «мы существуем», «мы есмь», и чувства мои — единственные и неповторимые чувства, которые я вношу во вселенную, развивающуюся во мне мною и ради меня, вселенную — до меня и после. Я — разделительный и связующий, объединяющий, охватывающий принцип, единящий прошлое и будущее. Всё прошлое становится узнаваемым, возможно, потому что мы близко, любая, выстраданная идея тут же узнаётся в любом старом тексте, независимо от удаления, а сколько неузнанного? Неизмеримо больше, но пока этого не видно.

Две красоты: абсолютная, которая существовала всегда в виде развития и пантеистически растворённая в бесконечности, пришествия которой мы подспудно ждём, хотя себе не признаемся, живём ею, ничего о ней не зная, и не менее (как будто можно умалить сущее) абсолютная красота динамического становления, выраженного живой человеческой деятельностью, которая достоверна своей сотворённостью, но красота ли она — тое неведомо (и эта неведомость, невыразимость — единственное условие, сохраняющее её пространство неприкосновенным), хотя игра сущностных сил удовлетворяет *чувству* красоты, как будто это и есть сама красота.

Красота здесь умалчивается, двоится, временится, (со-временится) не декларируется, её присутствие незримо, тем более что речь идёт о формировании её необходимого основания, но не свободы её. Ей не хватает видимости, будто воображённой негативности, преображающей действительность в свободу, предопределяющей, предваряющей бесконечность «возможности свободной причинности».

Как в хороших стихах образ *неименуем*, неназываем,

но встаёт по ту сторону текста, так и контекст этих грубых экономических пассажей призван своей шершавостью оттенить другое, ради чего всё это приходится произносить.

Тяжёлое время, эмоции, бессильные чувства, бессмысленность тех или иных исторических событий, стыд от всего происходящего — только контрастный фон, впрочем, поглощающий идеи. Это спасение, когда порог восприятия и боли понижен, и идеи не воспринимаются, как и красота, спасаясь от случайных взглядов. Здесь уместно говорит не о личности в истории, а о роли истории в личности (была бы личность — история найдётся) — и то, и другое исчезает в своей формальной неопределённости.

По сути, вопрос о роли личности в истории давно снят и более-менее понятен, но иногда вздрагиваешь, когда наталкиваешься на описание эпохи глазами обывателя, как, например, у Хаффнера Себастьяна «История одного немца. Частный человек против тысячелетнего рейха», его же «В тени истории», да всё, что он написал, не переставая быть обывателем. Это совсем другая история. Чудовищно, но очень впечатляет, как примитивно мыслят, хотя всё очевидно, особенно когда всё очевидно, независимо от образования и опыта. По неволе оглядываешься на себя и своё время, и испытываешь ужас и отвращение, и даже фантомные «муки совести», и даже «чувство вины», как Хаффнер, который эмигрировал из фашистской Германии, потому что «если ты не сотрудничаешь, то — всё равно участвуешь в этом», хотя вины твоей нет, но чувство вины есть. И испытывать его даже местами приятно, как чувство порядочности. Вполне понимаю Хайдеггера. Что толку каяться? Вопрос в том, знал ли он, что сволочь? И вот то, что происходит, разительно отличается от восприятия.

И если возникла история, в её случайных формах, как припоминание норм и образцов, прошла через лихорадочное желание удержать мгновение, теряясь в подробностях и деталях, заведомо цепляясь за случайные события, пытаясь удержать, отяжелить, промедлить, замедлить, отдалить время, или ускорить до беспамятства, уничтожить, как будто вообще ничего не было, то ныне трансформировалась в метаметафору, являясь чистым «переходом», листанием страниц, заглядыванием в конец, престановлением, трансцензусом.

Переход всегда метафизичен, поскольку «заключён», «стиснут» *между* сущностями и происходит в ставшем, когда уже произошёл, репродуктивно производя видимость от бытия к ничто, от ничто к бытию, от времени к вечности, от вечности

к времени и т. д., как совершенная метафора превращения. Свобода метафоры — относительный образ формы превращения между бесконечностью и конечностью. История более не объект действия, и уж, конечно, не субъект. Она низложена. Причина её в инобытии, которого ещё нет. Она сама — причина инобытия. Случайность превращается в свободу. Произвол — в деспотическую необходимость. Поэзия обретает реальную весомость, слова — зримую тяжесть. Преодолевая метафору метафорой, наделяем мифы истории, («начиняем») полнотой бытия, как реальную сущность, «ибо сущее есть прошедшее, но вневременно прошедшее бытие (Гегель). Я не о пресловутом «конце истории» — о переходе от предыстории к «действительной истории». Но этого может и не произойти, не быть.

Здесь уместно задаваться не только вопросом, как возможна история, но и как она невозможна. (При этом я не касаюсь плоских сентенций Фукуямы и ему подобных.) Случайность, необходимость, свобода и природа истории — суть лишь атрибуты прошедшего становления, схваченные как действительный переход, действительный своей произошедшестью, ставшестью, павшестью, падшестью, — снятое бытие, разрешённое противоречие, обретённое и уже покинутое основание.

История предстаёт, предстоит видимостью и взращивает условия своего опровержения, развёртываясь воплощённым отрицанием, и по существу, являясь всегда, как устремлённость к иному (и в том случае, если это попытка вернуться), даже если это подспудная тоска о «золотом веке» или о «царстве земном» свободы. Восстание против времени — отрицательность с собой и в себе.

История является сущим несущественным, но несущим в своей непосредственности, и более не исторична. Ничто не забывается, но помнится ложной буквальной памятью, и в то же время не помнит ничего, существуя сегодняшним днём. Абсолютная свобода немыслима, так как не обладает самосознанием, она невозвратима, но не-отразима, и это не значит, что её нет вовсе.

Свобода — граница, грань, «окоём, грань из граней, кайма из каём» (Цветаева). Но она ломается, дробится, комкается, и потому необходима единичному, конечному, особенному. Она случайна абсолютному, являясь воплощённым переходом, «после которого начнётся», его действительной невозможностью,

и свобода — предел, и тем последний предел, уничтожение в достигнутой завершённости, настолько совершенной, что исчезают его основания, простирается бесконечное безразличие, стирающее определения самой свободы, действия, покоя и созерцания со становлением. Сама суть дела — в другом.

Всё вышенаписанное — сознательно организованная скука в противовес современному, «под философию», щебетанию и чириканью. Увлекательность подобного докучного занятия равна интриге, заложенной в инструкции по эксплуатации и принципиальной схеме телевизора, подсунутого любителям детективов.

Интересно, как быстро всё устаревает. Какие телевизоры? Но напиши я «персональный компьютер», да ещё «сделай сам и напиши программу», мало что изменилось бы. Вот если бы создал принципиально новое устройство, вроде «квантового компьютера», тогда да, и то, принцип остаётся неизменным, «пары кубитов» и прочие, простые, как топор, моделирование формальной логики, как ни называй, но уже есть азарт и элементы игры. Причём, вопрос не в том, что «лучше», формальная логика или диалектика, «круче» Хайдеггер или Ильенков — философия вообще уходит на задний план, который «вечность», фон, «задник», как в театре, и становится «анонимной», а всё происходит непосредственно в самой деятельности, а не просто созерцании.

Для того, чтобы смотреть, нет нужды копаться во внутренностях, понимая, как всё устроено, не следует восхищаться оригинальными техническими решениями, знать законы физик и математики, и, если идти дальше, историю природы и общества, породивших такой феномен, как телевидение, играющий значительную роль в конвейерообразной обработке масс, подстригая и подготавливая мышление обывателя к зомбированию и употреблению.

Точно так же с готовностью получить лёгкое «чтиво» о «красоте» и «свободном времени», что тоже нелегко, ведь задача сводится к чисто художественному, красочному, выразительному описанию явления, наотрез отказываются сделать элементарное усилие и своим движением привести мёртвую массу текста в исполнение, не просто раскрасив, расцветив, как книжку-раскраску, но заставив произрастать в ином пространстве, перенаправив усилие. Тут недостаточно знать, что такое свободное время, а надо научиться им пользоваться, хотя бы как живой и мёртвой водой.

Этот текст предполагает автора в читателе (соавтора даже во мне самом), сам по себе оставаясь «средой обитания» без обитателя (без обывателя). И вот почему.

Все охотно, без особого протеста (если не полные идиоты), привычно принимают мысль классической политэкономии (не пишу Маркса, поскольку эта идея встречается в десятках источников, использованных им), что переход к иной форме богатства может совершаться лишь на основе доведённой до совершенства прежней, предшествующей формы общественного богатства — в форме собственности и присвоения, которые должны быть доразвиты до своей абстрактной противоположности — отрицания стоимости, капитала и всеобщей актуальной бедности, но потенциальной бесконечности — живого труда. (А это не так. Совершенство к дальнейшему развитию неспособно в своей завершённости. Лишь промежуточная форма неразрешённого противоречия может в своём несовершенстве выбросить «побег-направление» «в сторону», «в обход», быть непредсказуемым. Совершенство может только увядать.)

Действительно, полнота прежней формы, периода расцвета, «акмэ» происходит в иное, но это означает, что не совершённая, несовершенная форма пускает «побег» становления сущности, а не та завершённая, законченная форма, что при смерти, форма наличного бытия, которая может быть вечной, но в её бесконечном самовоспроизведении так же мало жизни, как в функциональной вещи, она, словно пиявка, живёт жизнью другого. Превращённая форма стоимости не может быть основанием для иного, не репродуктивного воспроизведения. Она не отпускает человека в другое и не выталкивает его за собственные пределы и за пределы предусмотренной и предполагаемой формы, воспроизводя его как условие нормы и «совокупность» всех общественных отношений «своего времени» (осуществляя даже собственность на время и усиливая его временность своей частичностью, создавая сумму, а не единство времён, «жмых» выжатого, *выжитого* движения, «макуху» чистых форм «*временей*»).

Другими словами, формируя «среду» и принципиально отстраняя свободу в возможность, прежняя форма не в силах преодолеть свою формальность, которая уже не только успела сбыться, но и стать прошлой и породить собственно свободу, выпустить свободу на свободу — только свободу функциональ-

ную, представляющую, олицетворяющую ту степень несвободы, которая необходима для функционирования производства прибавочной стоимости, и носителем этой свободы является живой труд, в котором она, как узник, заключается и содержится содержанием. Осуществляя на свободу право собственности, общество её превращает, связывает её целью. Остороняет направлением, «отстраняя» возможностью быть иной — и всё это «о-существление».

Из экономического состояния общества, его господствующей экономической формы богатства невозможно путём интеллектуальной селекции вывести бытие духа, а если оно и выводится, то только как принудительная ссылка в бытие духа, выведенное за рамки общественных отношений. Дух выводится из-под динамического удара времени. Отсюда его «на все времена», вневременность, как со-временность и «актуальность», хотя это иллюзия. В идеальности дух темнеет, исчезает ещё стремительнее, чем фрески по вечности. Дух состаривается в чувстве. Казалось бы, дух неподвластен времени — это вечная молодость становления. Но это не так. Даже в рамках одного поколения меняются приоритеты, что там поколения, в пределах одной жизни, на моих глазах превращается в труху все, что, казалось, навсегда. Тут всё дело в чувстве, которое бессмертно, но умирает, исчезает, уходит «со временем», оставаясь собой. Оно покидает тебя, ты ему не интересен. Чувство, повторюсь, даже мгновенное, бессмертно, но ты-то обречён, хотя смерть — источник жизни.

Собственность воспроизводит отчуждение (в том числе и дух становится отчуждённой формой), которое этот саморазрыв общества пытается преодолеть безудержным присвоением. Но из факта полного материального потребления вовсе не следует развитая универсальная духовная потребность. (Духовная потребность — абстрактна, и вообще потребность — выражение нищеты. Это для побирающегося, клянчащего милостыню мира, в рубище и веригах, во власянице, истязывающего себя духа. К тому же, «отчуждение» — это абстрактное «обобщение», а не обобществление.)

Подобное порождается подобным, и изгоняется тоже, и потому чисто количественная материальная потребность, необходимая и даже свободная, не восходит к духу или не снисходит, а, напротив, пытается дух расчленить, приготовить к замене, сменив библейское «дух дышит где захочет» простой-сложной «технологией» «духовного производства», именно по-

тому, что только в таком виде может его потребить, ассимилировать, угробить, упразднить.

Для саморазвития человека необходимо саморазвитие не только его объективных оснований, но и субъективных, как объективных, хотя бы потому, что сама субъективность символизирует следствие тождества и разрешённого противоречия, как уже оставленного, сбывшегося основания, которое тем самым обретает заведомую объективность. Понятно, что субъектно-объектное отношение предполагает взаимопереход, и неразрывность — это одна сущность, но должно быть время, позволяющее ещё и освоить возможность, время сбывания, освоения — свободное время, как время развитых способностей, чтобы смочь хотя бы увидеть эту возможность — не то, что освоить и выработать умение, которое запаздывает даже в теории. При этом преувеличение, гипертрофия объективных оснований не страдает «перепроизводством» этих оснований, всё равно предполагает паритет материи и духа, своеобразный дуализм, где материя и дух — *одна граница и предел* человека и красоты.

Более того, человек должен быть к этим основаниям безразличен, т. е., они вынуждены существовать как само собой разумеющееся *самособойсуществующее* пространство его саморазвития. А избыток материального основания только распаляет жажду к поглощению и чисто количественному накоплению способности к развитию, но в качестве *«сокровища»*, т. е. изымает свободное время из обращения.

Тут надо заметить, что это частный случай. Это происходит при нехватке свободного времени, хотя его много не бывает, но совершенно невозможно, когда его с избытком и оно не является драгоценностью. Когда есть жажда, ты не будешь пить до изнеможения — ровно столько, сколько нужно. И свободное время нельзя накаливать и изымать из обращения — оно перестаёт быть собой, его можно замедлять, но не накапливать, аккумулировать и даже трансформировать, меняя его интенсивность, но сделать его недвижимостью нельзя.

Развитие, ускоряющееся в рамках формы наличного бытия, ведёт к ускоряющемуся движению (к) смерти без превращения, поскольку происходит в пространстве и времени, порождаемых этой формой наличного бытия. И только становление, которое в каком-то смысле противостоит развитию, которое *вне времени* (по крайней мере, в момент замирания зависания, когда время противоречит пространству, как сдвоенный удар бытия-ничто, пространства-времени, сущности-явления и т. д.,

любых противоречий, которые — единое), выдерживает натиск развития, поскольку (количественно) не нормировано, и скорость, темп, качество для него безразличны. Оно не может потерять оснований, потому что их у него нет, но и для них становление не существует, хотя они сами им живут, но не воспринимаются как становление, а видятся основаниями. По аналогии так поступают и с духом (как хорошо звучит «поступают с духом»), пытаясь его обосновать, но безуспешно.

Сложность, неудобство в том, что «иное» возводится на основании, которое не лежит, не коренится в прошлом, «*не-опрошлено*», а положено в качестве конечной цели, как свобода, являющаяся мерой несвободы человека. Т. е., основания не предшествуют, а следуют. Они не статичны. Их незыблемость в движении. Они — как фонтаны, как рост растений. Потому то, что обосновывается, взращивается этими основаниями, которые не столько почва, грунт — бегущий поток, а и превращение, свет, к которому тянется живое, и эта тяга — тоже основания.

Поэтому саморазвитие человека не основывается ни на чём. (Основывается ни на чём.) И сущность человека не определена как *основание и обосновываемое* в виде формы и материи, она не опосредована даже рефлексией, и не обусловлена, если не отчуждена. Как становление, она не знает дальнейших определений и не помнит предшествующих, хотя думает, что их знает и из них исходит, как из своеобразных *опреде-леммий.* В своей непосредственности сущность есть единство бытия и ничто во всей безграничности. Становление не переходит, поэтому сущность человека — всего лишь момент видимости, самоотрицание, которое лишь отсвечивает красотой, бросает на неё тень затемнённой формой и её затуманенными, помутившимися отражениями, как живописный «рефлекс» красоты. Можно утверждать, что становление «не угасает в наличном бытии, подобно огню, пожравшему свой материал», а просто бросает, оставляет (на произвол судьбы, и этот произвол — остаточная инерция свободы) формы наличного бытия, которые отпадают, но тянуться за становлением вслед, со временем увядая и сокрушаясь, кружась, как опавшая листва, в турбулентностях времён. Хотя это на самом деле не так красиво. Свобода противоречия и есть непосредственность абсолютной необходимости, безразличной к человеку, и потому при всей устрашающей и неимоверной мощи, по всей видимости, сугубо бессодержательна.

Даже свободное время, дарующее человеку эту возможность свободы (хотя никакого дара и позволения нет), есть ничто, и тем более не является необходимостью. В поле действия необходимости оно абстрактно выступает как возможность прибавочного свободного, и только потому выступает как возможность прибавочного рабочего времени, и только потому представляет прагматический интерес для материального производства.

Это то самое время «ожидания», «*время избыточного производства*», которое позволяет создание за пределами необходимого рабочего времени. Создание либо основного капитала, либо свободного времени, — всё это есть у Маркса. Нет у него двух моментов, поскольку это о свободном времени, и они не обязательны, это вопрос «надежды-ожидания» и момент «запаздывания-накатывания», который наступает, как звук «схлопывания» при сверхзвуковых скоростях, немного погодя, отставая, когда свободное время «изымается» из непосредственного *индивидуального* потребления, и это изъятие очень болезненно, оно — «изъян», метафизическая рана. Но это не сейчас, а когда свободное время станет природным и привычным. Это перераспределение необходимого свободного времени, его потоков, даже если оно направлено для развития всех производительных сил одного человека, каждого — воспринимается, как личное оскорбление и насилие.

Этой иллюзии, обаяния идеи, обаяния исторической необходимости, не избежал никто. Очень соблазнительно: если историческая необходимость существует, то рано или поздно, спотыкаясь, кривая вывезёт, поэтому не следует суетится. И так оно и было, пока история не приобрела всемирный характер, когда, оказалось, она, в сущности, никуда не развивается (никакого предназначения, имманентных целей), а историческая необходимость в рефлексии схватывается как пройдённый путь, траектория, трек, и не даёт никакого исторического опыта, рассеиваясь по воле случая, и «прогресс» касается в лучшем случае технической стороны дела, и он же регресс, да и то, прогресс ли он, а нравственного совершенствования общества, развития сущности не наблюдается.

Более того, историческая необходимость является (независимо от того, есть она или нет) своего рода апологией безнравственности, оправданием любых преступлений, обессмысливающих любые нравственные ориентиры. Из этого делается вывод, что следует создать такое общество, в котором у человека нет выбора, быть ему или не быть человеком. И призвуком,

обертоном — «цель оправдывает средства». При этом не оставляя выбора, в любом случае, желаемое может перейти в свою противоположность, «благими намерениями…», причём, если стоит задача сформировать последнюю сволочь, то это однозначно удаётся, а вот если сформировать Человека, то, как правило — нет. Поскольку в любом случае формирование идёт по меркам своего времени, и идеал всегда — нуждающийся. Для «одномерного человека» это всегда «всесторонне развития личность», для слабого — сильный, труса — храбрый, и т. д. Пожалуй, только для тупого — умный не идеал. Поэтому так много недоумков у власти, компенсирующей недостаток ума. В любом случае, удаётся сформировать серость: человека без вариантов в его самой вариабельной модификации. Страшно звучит, но не страшно создаётся, как по шаблону штамповка. По крайней мере, качества человека производятся отдельно, и, как протезы, используются по мере надобности, даже без участия самого носителя.

Вопрос об отвоевании человеческой сущности оказывается единственной жизненно важной проблемой философии. Иначе она рано или поздно сама подпишет себе свой смертный приговор, объявив, что рассматривать вечные проблемы она больше не будет, ввиду пустопорожности этих занятий, по аналогии с проектами вечных двигателей, и, отказавшись от мышления, займётся безотходными экологически чистыми технологиями по переработке, обратившись в простую прикладную текстологию. Так произошло: и приговор подписала, как исполняющая обязанности философии, и привела в исполнение, но, поскольку у философии не девять жизней, а столько, сколько живущих, живших и прозябающих в будущем, сколько мыслящих, то ритуальные самоубийства в каждом отдельном случае стали её любимым развлечением, только разнообразнее, чем в фильме «Тот самый Мюнхгаузен».

Но сущность человека — не мемориальная табличка и не медицинская карточка с физическими параметрами и описанием стандартов, каким ему надлежит быть, чтобы быть человеком. И уж, конечно, не паспорт с антропометрическими данными и идентификационным кодом. Хотя, как технологический паспорт вещи, вполне заменяет человеку сущность.

Он не поддаётся программированию (поддаётся не человеческая, формальная сторона существования). Не то, чтобы я был наивен — просто судил по себе. Но если ты и оказываешь сопротивление, то тем самым втянут в это «бодание», и, значит, косвенно признаёшь, что с тобой можно делать, что хочешь. То, что все силы уходят на сопротивление, напряжение, впустую — то всё равно опускаешься вместе со всеми, с общим

уровнем. Твоё сопротивление — оправдание того, чему ты сопротивляешься. Можно, по принципу Дзюдо или Айкидо, использовать силу противника, его усилие, как самооборону без оружия, можно, в конце концов, применять против него его же оружие, те же компьютеры и всё прочее, но это только откладывает твоё «переустройство» на время. Ты в одиночке своей индивидуальности, личности с порядковым номером, идентификационным кодом, и главное, тебе это нравится. Ты хочешь бесконечные возможности: читать, смотреть, учиться, писать — на тебе, играть на любых инструментах — на, заниматься наукой — пожалуйста, сколько хочешь, всё, что угодно — а жизни нет, общения нет, да и не о чем, и ужас от того, если бы общество состояло из таких же как я. Ты просто пользователь, потребитель. Так что свободное время — последнее время, но это ещё не всё.

Сущность человека есть не только «ансамбль общественных отношений», но и сущность этой формы движения — становление, а потому человек соответствует своей сущности даже тогда, когда он её лишён и о-бесчеловечен, т. е., не соответствует образу человеческого бытия, принятого в данном обществе. Иными словами, *необходимо* не только бытие, но и *ничто*, как возможность, иноформа свободы, и их единство.

Материальная основа в виде развитого общественного лишь одна — и не самая главная — предпосылка возможного становления свободного человека.

Но захочет ли удовлетворённый наличным бытием человек погружаться в полую опасностей, авантюрную жизнь духа? Что может его побудить покинуть удобное и роскошное бытие в рамках старой формы общественного богатства? (Напомню, речь идёт о свободном времени, как уже устаревшей форме общественного богатства, и не в духе смысл, который, извините за каламбур — не в духе, а в том самозаводе, азарте, интересе, самопорождении, фонтанирование которых сопровождает само свободное время, и всё, что сопутствует становлению: чувства, игра, энергия, динамика…) Да и зачем? От скуки? Или, может, от лени? Рационального ответа он никогда не получит, и вопрос этот не задаст. Некогда искать. Не время получать ответ и его осмысливать. Скорее дальше…

В свободном времени он должен действовать не логично, с точки зрения прежней логики общественного богатства, и даже бесчеловечно по меркам старого мира (например, не пороть детей, не пользоваться правом первой ночи, не пользоваться случаем, не предавать, не доносить о политической неблагонадёжности имеющих иные точки зрения, да мало ли как

можно противопоставить себя обществу, не воровать, не быть карьеристом, не стричь газоны, не мусорить, не потому, что штраф, не сморкаться в занавески, хотя, как знать, Есенин у Гиппиус в скатерть… очень даже к месту, и т. д.).

Активность субъекта ничем не обусловлена, она безусловна, представляется абсолютным порывом, и делает дальнейшее развитие невозможным. Невозможным — в смысле, всецело действительным и бесцельным. Когда нельзя иначе. Только так. И в поступке снимаются все возможные решения, хотя по-другому можно всегда, но это неприемлемо…, и безразлично, рассматривается или нет, осознаётся или не осознаётся.

Нечто подобное, в виде бессильного бунта и эпатажа — частое явление у истовых непродажных художников и поэтов. Дуновение страсти как способ бытия, отблеск красоты, предчувствие чувства свободы, когда хочется хватить через край. Самоубийство от избытка чувств, тоска по несказанному, как у философов, «гражданское общество» обывателей и тут защитилось, узаконив бунт, уценив, легитимизировав страсть, установив твёрдую таксу и сейсмическую шкалу.

Это норов, нрав, который нравственен не потому, что существует запрет, угроза расплаты, возмездия, наказания, кармы, «эффекта бумеранга», «ответочки», совести, стыда, похмелья, свободного выполнения нравственных норм. Морали и нормы, совести и стыда для него нет — они могут быть потом, но тот или иной поступок, даже мысль о нём, невозможны в непосредственной форме бытия, просто потому что невозможны. Но если появится такая мысль, то возникают тысяч аргументов в её защиту, даже, если она прямо противоположна. С той же страстью и убеждённостью в желании оправдаться. Так предатели и палачи считают себя глубоко порядочными людьми. И это всё тщательно культивируется, достаточно вспомнить бездарного американо-французского «писателя» Джонатана Смолетта, разродившегося позорным романом «Благоволительницы», написанным от имени офицера СС со всеми натуралистическими подробностями о холокосте в Украине и Кавказе, хотя автор еврей, но уж постарался. 720 страниц убористого текста, получившего Гонкуровскую премию и Большую премию Французской Академии. Это просто нечистоплотно, даже обсуждать бессмысленно. Проследив всю деятельность этого персонажа, его другие романы и фильмы его, дневники, однозначно могу сказать, что он подонок и обыкновенный извращенец, даже скучно. Ну, так и делалось это не только для эпатажа — типичная

халтура, да ещё попытка апологии нацизма. Простая патология, и смысла упоминать об этом нет, если бы не стойкая вонь таких поползновений. И потом, я же терпеливо это читал, пытался разобраться, а значит, тратил время своей жизни. Зачем это дерьмо вбрасывается, мне хорошо известно, но ведь время же не вернёшь.

И это нельзя описать, как нельзя описать то, что в голову не может прийти. Впрочем, ведь не потому мы не бросаемся друг на друга, чтобы вцепиться в горло, что есть законы, нельзя, опять же, заповедь, а как-то не тянет, к тому же, вопрос не в том, почему не тянет (может, заболел?), а в том, почему в этом обществе такое ещё возможно (одних тянет убивать, других не тянет), и, естественно, оставляет равнодушным или возникает полноценная ненависть, — не ужасает.

Однако, как только это не нормированное бытие провозглашается запредельным, так тотчас же принимает вид и облик предела настоящего, поэтому что все приписываемое будущему оказывается просто не настоящим. Потому-то свободное время можно рассматривать в категориях современного представления, как оно кажется и видится, — от него не убудет, оно послушно, последовательно, податливо, развивается вплоть до исчерпания своей исторической формы, уступая, соглашаясь, пока в «антагонизме» не становится насмерть. (Маркс говорил, что свободное время может впадать в антагонистические отношения с прибавочным рабочим временем, но здесь — с самим собой.)

Оно исторично, и, значит, преходяще, поскольку его фактура, «состав» диктуется в обществе, по «моде» времени, соответственно духу времени, но рождается произведённым временем социальной формы движения материи, и потому оказывается формальным бытием духа, его обиталищем, заповедником (хочется написать, заказником, охотничьим хозяйством, помните «охоту за мудростью», где сушатся выделанные шкурки поражённых не в бровь, а в глаз редких идей, занесённых в красную книгу).

И в тот же момент свободное время — *а-исторично*, и, как время — вне времени (эту способность оно наследует от становления), не подвержено изменениям формы производства, пребывая в равнодушии, которое пластично и легко, играя, поддаётся «упаковыванию» и «складированию» в «предметность» единичных произведений, легко сносящих и допускающих ин-

терпретации, какие угодно толкования и комментарии, сохраняя в этом некоторую независимость, безотносительность Но только до той поры, пока в нём не начнёт сопротивляться «логика дела», восстанавливающая «разность и саморазличение (саморазложение) свободных времён. Свободные времена-то разные, но разняться они по форме, по способу производства. Саморазличаются они по лику, а не по облику. Форма наличного бытия порождает время, но, когда исчезает форма свободного времени, и порождает время свободного времени, вот тут начинается совершено неведомое пространство, которое пока только предчувствуется.

Главный смысл свободного времени ещё не произошёл — это человеческие чувства, которые освободят, освобождают время от скованности формой и определённости материи (определённостью материей), вызывая его к жизни, оживляя всё. (Даже тридцать лет назад это было сомнительно, поскольку и материя, и форма — это единое движение, действительно, всё дело в чувствах, которые крайне консервативны, и именно их скованность и определённость замедляет движение, заставляя воспроизводиться становление в форме наличного бытия, но это подробности. Торможение и ускорение — такие же условности, как сжатие-разряжение, прерывность-непрерывность, сплошность и дискретность, которые тут неотличимы, например, с формой и содержанием, сущностью и явлением, и т. д.)

Но это всего лишь превращённая форма, чисто поверхностная связь.

Производительное потребление, присвоение свободного времени — ложное суррогатное его использование не по назначению. Экономия времени — в его активном целесообразном потреблении.

Нет, свободное время, конечно интенсифицирует производство, и функционирует в нём так, как ему принудительно предписано, но в конечном счёте уничтожается в формальном потреблении, как аналог необходимого рабочего времени, в течение которого воспроизводится и производится переменный капитал, и потому, как издержки производства, должно покрываться интенсификацией производства и экономией времени, и воспринимается, словно нечто вынужденное, полезное, искусственный дефицит.

(Избыток населения — ещё не избыток переменного капитала, только в наёмном труде он становится источником стоимости, как товар возникает в условиях обмена.)

Интересно рассмотреть условия недопроизводства свободного времени (вот где действительная необходимость у рахитичного общества) и его перепроизводства, когда оно избыточно и начинает переосуществлять себя, увеличивая «плотность» и «давление», изменяя время (оно — на себя не похоже), которое начинает двигаться быстрее, и его становится «больше», но не становится «теснее», как и пространство, встраивающееся в себя, не умаляется. Времени становится «больше», но проживается оно «быстрее», пространство расширяется, но сжимается, — всё как всегда: максимум и минимум совпадают (Кузанский) одновременно.

Но свободное время-в-себе — нечто, этому миру не принадлежащее, и хоть подчиняющееся законам распределения, но так бесстрастно, как будто оно здесь не при чём, не раскрывает своей природы, но оттеняет (отеняя) чужую форму.

Обществу следует переосуществиться, сделать полное и прямое переливание времени, которое заструится в артериях и капиллярах малых форм, но это вряд ли поможет — атеросклероз сосудов, обызвествление, *овременение* движения, и вообще несовместимость свободного времени с обществом, основанном на прибавочной стоимости.

Многоукладность времени, в том числе и свободного, говорит о том, что оно не *выводится* эволюционным путём из истории, в которой, как канцероген, накапливается слоями. Это враждебно ныне существующему, гибельно. Свободное время сохраняет пройдённый путь в свёрнутом состоянии, но не помнит его, на самом деле — тотально и монистично.

Оно в своём происхождении необязательно должно проходить все стадии развития, как организм, может и пренебречь.

Подобно тому, как само время развивалось по формам движения, точно так же оно *революционирует* в собственной истории, которую ещё предстоит пройти, вслед за временем, человеку, до тех пор, пока само *свободное время* — внешняя сущность, условие, сила, причинность, форма не утратит определённость вечностью и не потеряет *самообладания*.

Время было и натуральным продуктом, и меновой и потребительной стоимостью, и ценностью, и прибавочной стоимостью, чем оно только не бывало, но всё это — пребывание не в себе. Наконец, оно стало собой, свободным временем, и ждёт человека, чтобы опрокинуть последний предел, последнюю форму богатства, последнее время, и вернуться в непосредственность становления.

Поступая в обращение, оно лишь отдалённо напоминает то свободное время, которое есть-в-сущности, увеличивая, ускоряя процесс, как катализатор, интенсифицируя любую форму общественного богатства, не оставаясь *временем* (времени не осталось, цейтнот), действуя, как наркотик, исчерпываясь. Хотя даёт временной прирост, привыкание, разрушает основание, дозируется, квантуется. Оно больше время, чем само время.

То есть оно не есть результат разделения труда и не определено полностью производством, как прошлый, овеществлённый труд.

Свободное время — не результат предшествующего развития, а онтогенез времён, доразвивающихся до свободного времени, которое — последнее снятие формы времени как таковой, и потому прехождение формы — всё ещё время, но как исчезновение времени вообще — переставание им быть. Времена впадают в свободное время и переиначиваются, но сохраняют игру оттенков.

Его формы в различные периоды человеческой истории — нечто привнесённое извне, зависимое от бытия, *времясодержащее*, заражено бытийностью несамобытного времени, которое им отрицается, но тем принуждается к отношению, оно является как внешнее и внутреннее сразу, и эта его «внешность», когда одна граница очерчивает его черты, открыто являя форму и созерцание — лик духа времени, который отражается в бегущем потоке изменения.

Сама сущность, как исчезновение времени, его превращённая вечность, вечное «здесь», остаётся нетронутой — местом ожидания человека и красоты. Но лишь отдельные, отрешившиеся, прорвались сквозь предметность и бытие сюда, в параллельный мир со-временности, такой, каким он может быть, и, застав на месте встречи лишь отсутствие красоты, — абсолютной надежды-в-отсутствии-красоты, которую тоже утрачивают, —сами собой подменили её, полагая, что они и есть «преображённый эрос», безнадёжная красота, находя её в своей собственной Душе, при этом нимало не ошибаясь на свой счёт.

Путь назад был им заказан, и выжить в *обратном* мире, только что покинутом, они не могли. Да и напрочь забыли дорогу, и неспособны были быть проводниками других, хотя и оставались в пределах видимости.

Они обречены вечно скитаться, быть в непрестанном дви-

жении. Стоит остановиться, и всё — «смертию умрёте». (Так что надо всем этим — не бравурные марши, а, невольно, оттенки веры: «Жертва вечерняя», «Да возносится молитва моя, исправится, поставится…» и «Покаяния отверзи ми двери…», что, по сути, верно, если очистить от клерикального оттенка и запаха ладана, но носит характер поминальный, о несбывшемся и не бывавшем свободном времени, ушедшем без возврата.)

Эти люди, вырвавшиеся из плена времени в освобождённое пространство, предчувствовавшие красоту сквозь «соблазны» прекрасного, спелёнутости которым избежали и отринули, не стали разменяться на то, что застит просторы, бездны (может быть, напрасно, потому что красота тоже сиюминутна и мгновенна, невыносима и трудна), эти рискнувшие, дерзающие, решившиеся, не выдерживали внезапный, никак не ожидаемый рост своих чувств; они не успевали за ними, а чувства росли, чтобы успеть, посметь и быть навстречу красоте (то есть красоте противореча). Чувства росли, опережая и превышая возможности человека, вне времени, из «инстинкта самосохранения».

Чувства хоронили человека, для которого сбыться было равносильно умереть, а умереть значит обрести свободу и лишиться её, и этой лишённостью породить время, сдавшись судьбе, приемля смерть, как расплату **не** за сопротивление и борьбу против рока, необходимости, предопределения, а как «*кару* за свою гибель» (Шеллинг). Человек погребён осыпавшейся вещностью прекрасного, под завалами «лепестков» опадающей предметности, перед суровой красотой.

Человек в своих чувствах сам становится объектом свободы, её смертельной судьбой, не прощающей трусость и измену. Красота выбирает долю смертных, как в мифологии, отрекаясь от вечной жизни.

Свобода — всё возможное, и потому не допускает красоту в эмпирический мир, где буйствует, бесчинствует воля и стремление, не пускающие свободу к свободе.

Она для себя недостижима, но — достигание, дозревание, *укр.* «достигла», «стигла» красота, её кровавые игры и есть ход истории, как след свободы, и путь её — к себе, к красоте. Свобода — путь красоты, и она тянется, вослед красоте, свободным временем (которое может оказывать сопротивление).

Навстречу красоте — это против красоты (то же прекрасное, как путь к красоте). Но всё же, не убоявшись красоты, предчув-

ствуя, что немощным, жалким росткам (отросткам) человечности, порождённым их бесчеловечным миром, не выдержать её облика.

Они не то, что воспринимать, но чувствовать и ощущать не могут: нечем чувствовать. И будут сметены, как обгоревшие, обожжённые бабочки «мусорным ветром» (Платонов), если не сумеют доразвиться, пресуществиться, по веществу, по фактуре, природе, *за вещественность*, по материи сравнявшись, сроднившись с красотой, как крохотные языки пламени.

И красота сама станет пространством вечности человека, а человек — пространством и многообразием красоты, которая для того, чтобы быть полной и абсолютной, должна пронизывать всё, и имманентно, эминентно содержать все возможные и невозможные формы бытия и ничто в полном их совершенстве, что возможно лишь в непосредственном общении, в коее эти формы превратились, а значит, в потоке становления. Но так оно есть уже сейчас.

И сущности формы наличного бытия есть только моменты одного и того же, субстанция которого в превращении. Становление сущности, становление субстанции, становление наличного бытия, становление времени, становление становления — суть разные становления, но теряют неравенство и равенство в себе тождественности взаимопревращения, и тождества тоже, одного и того же становления во всем безразличии, неразличимого в себе самом, и не имеющего границ сущего.

Красота здесь не встречает препятствия и пронизывает всё свободно, не находя, не встречая пределов, не препятствует.

Однако столь стремительный рост чувств, за которым не поспевает ни душа, ни сердце, ни разум, сходящий с ума, ни сами чувства взахлёб, — это не развитие, а взрыв, вспышка сверхновой, которая разносит, разобщает человека, разлучает с собой, превращая в свет, в туманность, но человеком он перестаёт быть в своей устремлённости.

Стремясь к общению, становится тотальным одиночеством, сообщая человеческое другим.

Случайно открывшееся свободное время преждевременно его эпохе и не уравновешено таким же свечением, рдением навстречу и всеобщностью красоты, которая невольно оказывается жестокой, каким порой бывает огонь, согревший человека, но огонь здесь не при чём.

Взрыв кажется неизбежным до тех пор, пока реальное время не сравнятся со свободным, доколе ***все времена*** не превратятся в свободное время.

Красота здесь случайна и абсолютно непоправима. Она воспринимается, как катастрофа, грехопадение, гибельный экстаз, — один раз увидеть и умереть, — избавление от тварности, и вскипающие от света глаза, привыкшие видеть в темноте, теперь сами испускают, излучают пронзительный сущий свет (его отрицательную тяжесть, но это давление непреднамеренное). Это высыхающая, свёртывающаяся, шелестящая, шуршащая кровь, болезнь красоты.

Человек не может ничего видеть, хотя глаза в порядке, света достаточно, и зрение готово, но он не узнаёт. Для него красота — мгла непроницаемая.

Чувства настолько опережают себя, что человек не успевает ничего почувствовать, нечем чувствовать и некому, не только в смысле, что его *уже* нет, — ***ещё*** **нет** (не сформировано восприятие и представление, но их противоречие уже есть).

Ещё нет этого человека в чувствах — только устремлённость в никуда, сгусток энергии, но некому чувствовать, поскольку нет того, на кого эти чувства направлены, нет предела, на который они могли бы натолкнуться и обрести сопротивление возвращения к себе, и потому они — в никуда и «***потом***», на целую вечность опаздывая с возвращением. Им не на что привычно бросить свою тень, не на что упасть, зайти, закатиться, испытать затмение.

Теряя объект, они утраивают объективность, и больше не являются рефлексами, отсветами возвращённых форм объективированной, претерпевшей сопротивление объекта деятельности, отторгнутой в себя. Где нет объекта, становление не возвращается и не претерпевает дисперсию на свободу, красоту, добро, зло и т. д., — не расщепляется на бесчисленное множество форм и отношений, теряет направление.

Свободное время историческую последовательность не соблюдает, в очереди не стоит, и в антагонистическом обществе обладает странной особенностью предметного интегратора и усилителя, компенсирующего центробежные общественные связи, которые, как и любая связь, есть живое противоречие, а значит, не только связует, но общим разделяет, пребывая в развитии. (Так бессмысленно выяснять капитализм это, или нет, социа-

лизм это, или нет — они себе не равны, и всякий раз другие. Не бывает социализма самого по себе, а только в отношении к другой форме. Поэтому выяснять, был ли социализм в СССР — глупо, как будто есть эталон). Общество от распада удерживается только «силой духа», основывающегося отражённым, отбойным течением, но духа производительного и пребывающего исключительно за счёт функционального использования, выступающего здесь в своей жёсткой роли — подавления духом. Конечно, не о предметных формах общественного сознания повествуется, хотя такая аналогия возможна. Здесь всё гораздо глубже.

Свободное время здесь, с одной стороны, используется в производительном смысле, как производство смысла, и представляет собой бытие идеального, с другой стороны, оно ещё не свободное, хотя и является производным от реального времени. Свобода и время вступают в противоречие.

Свободное время производится свободным, но всё же ещё ***временем***, и потому представляет собой пустое время без исполнения, как вакуум, не позволяющий обществу распасться, создавая «избыточное давление». Из него «выкачена» предметность. Прибавочное время — избыточное, которое лишили предметности — превращается в «первичное» свободное время, испытывающее давление извне отношений, стремящихся занять его, заставить предметностью. «Природа не терпит пустоты», «свято место пусто не бывает». Свободное время и кажется «святым местом» — отсюда мистика и фетишизация свободного времени в его чудодейственной силе, которой *мироточит* его образ.

Свободное время здесь ещё *представляет собой.* Оно ещё обеспечивается формой общественного богатства, которую застаёт, и опосредуется формой же, представляя предмет роскоши, приложение к необходимости, время праздное, время досуга, и лишь случайно попадая (выбор этот очень произвольный, хотя бои за свободное время уже не шуточные) специально организованной (дрессированной) группе людей, используется для развития искусства, науки и философии, которые, как и оружие, тоже относятся к издержкам производства, не производительной сфере, и вовсе не свободной, но принудительной, которая, как дизайн, подчинена функциональности и эффективности.

Но это прикладное развитие — не самоцель. Оно — просто блажь тех, кто, оплачивая эту форму (причём либо в форме

стоимости, либо свободным временем — временем жизни, либо чувствами художников, музыкантов, философов или нанятых в этой сфере), не подозревают, что тем самым развиваются сущностные силы всего человечества.

И даже сама эта блажь ближе к свободному человеческому чувству, чем принятые в этом обществе его нормы, хотя блажь, самодурство, просто так, ни для чего — это тоже норма для избранных людей искусства, что-то вроде опознавательного знака рода войск, лычки на погоне, шеврон, аксельбанты или мишени на спине у арестантов-смертников, или группа крови на кармане, номер в концлагере.

Развивают дух, хотя и абстрактным, односторонним образом, расщепив и развив, разведя единство человеческого чувства по профессиональным мастерским, где этот образ протезируется, так что заведующий человеческим слухом напрочь ничего не видит, занятый музыкой, формируя слуховой аппарат, поглощённый живописью, ничего не слышит, создавая стеклянный, искусственный глаз (который не видит), и оба не могут мыслить, как и искусственный интеллект.

Но разделение труда этой сферы касается в меньшей степени, по самому ремесленному характеру его самореализации. И потому в цельной природе суррогатного свободного времени (как суррогатное материнство с искусственным оплодотворением) универсальность остаётся условием развития узкоспециализированой области применения. (Думаю, что я ошибался. Теперь это всецело область высокотехнологичного производства, которому противостоит только кустарное сознание одиночек, но они не конкурентноспособны со своим «хендмейдом» (хэдмэйком, головы из тыквы с горящими глазами на Хэллоуин) и «артхаузом».)

Здесь существует высшее разделение, когда специализируется дух, материя и действие.

Если время свободное — материал, то станком, «каркасом» будет способ производства с силовыми узлами необходимости, образ от духа. Необходимо *живое* действие, действие *живого* труда. Он разомнёт глину свободного времени, набросает её на станок, и лишь в отдалённом будущем будет ваять (а может, валять дурака), но и то, всего лишь модель, которая может и не получится, а о том, чтобы вдохнут жизнь в этого «голема», так ещё следует подумать, как, и надо ли подобное делать.

Это развитие ещё не свободным временем, а в свободном

времени-пространстве, и потому возле сущности, вокруг, о-коло формы предметности, окутывая, обволакивая её, искажая пространство, имеющее условное наименование, *рабочее* название «свободного времени».

Всё по-прежнему основывается на обратимости и замещаемости, превращённости друг в друга в мире вещей, качественно одинаковых во времени, и лишь в момент превращения, время от времени, времени во времени, открывающих в представлении, репрезентируя другое, обнаруживающих, что они ещё и в своеобразности являются мерой друг друга.

Можно сказать, что происходит натуральный обмен временами, которые становятся гарантией и условием бытия другого. Времени для времени. Эквивалентом этих овеществлённых времён является их стоимость, (которая не при чём при натуральном обмене, отсюда изначальная абсурдность стоимости), распространяемая на свободное время. Здесь происходит раздвоение сущности всего и обретение меры, так как делимость свою время получает от количества уже опредмеченного = определённого в нём времени, неделимость — от свёрнутого живого труда, сохраняющегося во всех превращениях и метаморфозах (Гёте), «псевдоморфозах» (Шпенглер) времени.

Т. е., время одно и то же, «такое же» во всех превращениях и формах-вехах-существованиях, формах-сущностях, и разное, когда представляет ту или иную ставшую потребность.

Неповторимость времени не преодолевается, а продлевается, поскольку применение системы машин в условиях господства прибавочной стоимости и прошлого труда не сокращает необходимое рабочее время, а увеличивает за счёт массы овеществлённого труда, втянутого в процесс, и делает саму жизнь человека, его чувства, сущностные силы, издержками производства, а само время просто теряет свои свойства, определённость, становясь повторяемым, повторимым, и тем превышающим себя в каждый отдельный момент.

Его величина возрастает в каждом случае сокращения его же затрат, материализованных в продукте, что не удивительно, но возрастает независимо от количества затрат — что неимоверно.

Здесь производство и потребление времени естественны и соответствуют тому уровню производительных сил, которые застают.

Происходит превращение качествований природных времён: механического физического, химического, биологического, социального, психологического, физиологического, времени жизни и т. д., в общественное, — производное от живого труда к живой самодеятельности, и стремится возвратиться, но в свободное время, которое основывается на прибавочном труде, независимо от того, производителен ли этот труд в прибавочное время.

Стоимость или прибавочный продукт оказывается чистым временем потребления, уничтожающим прошлое овеществлённое время и опредмечивающим его в субъекте только как удовлетворение его воспроизодящихся в одной и той же определённости, обладающих наличным бытием потребностей.

Проще говоря, появляется противоречие свободного и прибавочного труда, свободного и прибавочного времени. Хотя это уже не имеет никакого значения. Свободное время начинает создавать свои собственные основания. И эта «собственность» на основания, это «себя», «свои», как возвратная форма, будет не позволять свободному времени уйти в основание, напоминая о том, что оно временно.

Нельзя не привести здесь рассуждения Маркса полностью, хотя, по совести, надо бы переписать весь «Капитал» с подготовительными рукописями, и всё, что издано не только им, и даже не издано, а только помыслено, и это не фигура речи:

«Обмен живого труда на овеществлённый труд, т. е., полагание общественного труда в форме противоположности капитала и наёмного труда, представляет собой последнюю ступень развития *стоимостного отношения* и основанного на стоимости производства. Предпосылкой этой последней ступени является и продолжает оставаться масса непосредственного рабочего времени, количество затраченного труда как решающий фактора производства богатства. Но по мере развития крупной промышленности созидание действительного богатства становится менее зависимым от рабочего времени и от количества затраченного труда, чем от мощи тех агентов, которые приводятся в движение в течение рабочего времени и которые сами, в свою очередь (их мощная эффективность), не находятся ни в каком соответствии с непосредственным рабочим временем, требующимся для их производства, а зависят, скорее, от общего уровня науки и от прогресса техники, или применения этой

науки к производству. (Само развитие этой науки, в особенности естествознания, а вместе с тем и других наук, в свою очередь находится в соответствии с развитием материального производства.) Земледелие, например, становится всего лишь применением науки о материальном обмене веществ, регулирующим этот обмен веществ с наибольшей выгодой для всего общественного организма.

Действительное богатство предстаёт теперь — и это раскрывается крупной промышленностью — скорее в виде чудовищной диспропорции между затраченным рабочим временем и его продуктом, точно так же, как в виде качественной диспропорции между сведённым к простой абстракции трудом (который, благодаря этому анализу, абстрагированию в разделении труда может быть заменён системой машин, механизмом и вообще процессом превращения, которым занимается единая наука — технология, и другая сторона противоречия политехнизма со всеобщностью-во-времени «коллективностью» — закон сохранения и превращения энергии становится законом «экономии силы» — *А. Б.*) и мощью того производительного процесса, за которым этот труд надзирает. Труд выступает уже не столько как включённый в процесс производства, сколько как такой труд, при котором человек, наоборот, относится к самому процессу производства как его контроллёр и регулировщик. (То, что имеет силу относительно системы машин, верно так же для комбинации различных видов человеческой деятельности и для развития человеческого общения). Теперь рабочий уже не помещает в качестве промежуточного звена между собой и объектом модифицированный предмет природы (в этом принципиальное саморазличение объекта и предмета — *А. Б.*); теперь в качестве промежуточного звена между собой и неорганической природой, которой рабочий овладевает, он помещает природный процесс, преобразуемый им в промышленный процесс. Вместо того, чтобы быть главным агентом производства, рабочий становится рядом с ним» (Маркс К. Экономические рукописи 1857–1859 годов // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. Т. 46. Ч. 11. С. 212–213).

Маркс давно должен был устареть, и он был преодолён, в том смысле, что всё, написанное им, уже было естественным и принималось как данность, но поскольку нас отбросило в прошлое, опустило настолько низко, то он стал недосягаемо актуальным и современным.

Все эти рассуждения о том, что в превращении в «качестве главной ос-

новы производства выступает не непосредственный труд, выполняемый самим человеком, и не время, в течение которого он работает, а присвоение его собственной всеобщей производительной силы, его понимание природы и господство над ней в результате его бытия в качестве общественного организма, одни словом — развитие общественного индивида» (Там же. С. 213–214), уже в Советском Союзе было трюизмом, банальностью и риторикой, вызывающей скуку, само собой разумеющимся, и воспринималось мелодекламацией — а как же иначе?!

Ненужный пафос слов «*Кража чужого рабочего времени, на котором зиждется современное богатство*», казался излишним, напыщенной подробностью. И дальнейшие рассуждения о том, что эта кража (опять институт собственности) «представляется жалкой основой в сравнении недавно развившейся основой, созданной самой крупной промышленностью» (Там же. С. 214), вызывало почтительную скуку, и что труд в его непосредственной форме перестаёт быть «великим источником богатства», и «рабочее время перестаёт быть мерой этого богатства, и «меновая стоимость уже не мера потребительной», и, наконец, что «прибавочный труд перестаёт быть условием развития для развития всеобщего богатства, точно как не-труд не многих перестаёт быть условием развития человеческих сущностных сил и мышления. И вообще развития, поскольку «условие развития каждого становится условие развития всех», — всё это уже не воспринималось, как и свободное время в качестве формы общественного богатства (слово «богатство» коробило — было безотносительно к форме стоимости, которая уже рухнула, а не, как во времена Маркса, «рушилось», — производство, основанное на меновой стоимости — «с самого процесса непосредственного материального производства совлекалась форма скудости и антагонистичности», — это всё Маркс, понятное дело, свободное время чувствовалось и понималось «выше», «многообразнее», «конкретнее» Маркса, в непосредственном переживании, как свободное время, а не какая-то там «форма богатства».

Не все это понимали и знали, но вопрос том, что в непосредственном чувствовании и знать — не обязательно. Вопрос был только в том, как помочь свободному времени избавиться от временности, не в смысле «продлись, продлись очарованье, продлись, о дивный сон», а сделать его постоянным, не зависящим от формы распределения. То есть само свободное время — не в знании о нём, а в превращении в непосредственную производительную силу реального жизненного процесса, не просто овеществлённая сила знания, а как «непосредственный орган общественной практики». В результате мы до Маркса не дотягиваем, и всё это болтовня — раньше надо было думать, а теперь это — мелкая дрожь.

Свободное время здесь существует как потребность, нужда,

а не как живое пространство, основание развития сущностных сил. Нестача свободного времени, а не оно само, в сущности, является пространством развития, и, как следствие — действие по законам необходимости, некое «вместилище», «чувствилище» становления в явлениях, как в маскарадных одеждах происходящего.

Лишь косвенно, поскольку свободное время предполагается, оно выступает как смутное «иное», тоска по чему-то не молвленному, несбывшемуся, «этот смутный объект желания», как не случившаяся нечаянная, случайная потеря, утрата, — потеря произошла без обретения, когда нечего терять.

По сути, даже потребность в свободном времени ещё не сформирована. Скорее, потребность в желании иметь свободно время на «карманные расходы».

Беспредметность свободного времени воспринимается как средство, при помощи которого можно ублажать себя временем овеществлённым.

Тем самым развитие не случается — происходит только прехождение ставшего наличного бытия в форме покоя, воспроизводящего себя в одной и той же определённости, как простое «изменение», а порой и «перемещение», как предел движения вообще, что позволят перемещать и перегруппировывать «тектонические» пласты свободного времени, но и только. Путь этот тупиковый. Вывести потребность в свободном времени из наличия производительных сил «потрясением» основ — невозможно.

Создаётся только *не-рабочее, анти-рабочее время,* а для того, чтобы стать свободным временем, ему ещё необходимо превратиться, обернуться, хотя бы прикинуться таковым, доразвиться до собственной свободы, и иметь в основании свободного человека, т. е. такой ансамбль общественных отношений, который не опосредован формой производства и, следовательно, не пребывающем во времени. Иными словами, свободное время не должно быть прикладным, пристяжным, на подхвате.

Круговращение в развитом современном производстве сначала порабощает свободное время, пытаясь приспособить, эксплуатировать его, по существу, и использует как *производительный непосредственный непроизводительный рабский труд*, в его прошедшем времени. Как тягловую силу, а потом во всех

исторических воплощениях. Все исторические опровергнутые виды труда никуда не уходят, и свободное время тоже пытаются сделать «чёрнорабочим», разнорабочим, используя универсальность, «ручным», неквалифицированным.

Если бы была возможна эстетика рабства, то она была бы такой. Традиционная «историческая» эстетика и является идеологией обладания, формовладения, присвоения, даже если эти формы — разобщённые чувства. Трансцендентальная эстетика — о чувствах и их развитии в пространстве и во времени, которые сами же этими формами порождаются, и ничего больше. Все эти «своё», «моё», «другое», собственные чувства, собственная сущность, которую надо присваивать, отвоёвывать — отношения собственности, которые присваивают и свободное время, как пространство, местоимение, частное владение — вся та провинциальность, которая преследует прекрасное, как частный случай.

И это свободное время, без которого современное развитие не может обойтись, обретает антагонистический характер с самим способом производства, вызвавшим его к жизни.

Однажды оно начинает разрушать известный способ производства изнутри, заклинивая механизм производства своим перепроизводством (кризис, но не овеществлённого, а свободного времени), угрожая стагнацией самого производства обществу, не готовому к свободе, и всегда готовому принять тоталитарные формы. Да оно и так тоталитарно, потому что демократия — это форма диктатуры. В случае же недопроизводства свободного времени общество начинает задыхаться, и оно недополучает основной капитал.

Выход ему видится в тотальной войне, и никакие доводы разума его не остановят. Опять-таки, даже наука питается кровью. А искусство — вообще «Спас на крови», где охотно служит философия, имея свой маленький гешефт. И сколько было певцов войны — не счесть, да и психоз масс, готовых к каннибализму, всегда к услугам. Не вдаваясь в подробности, капитализм, империализм, постиндустриальное общество всегда готовы к войне, они всегда чреваты фашизмом, нацизмом, как это не назови.

Быть может, современное западное общество вообще проскочило тот поворот, когда можно было предотвратить катастрофу, и теперь оно превращается в черную дыру, сворачивая

и превращая (прекращая) человека в один механический поглотитель, утилизатор, мусоросборник, а так называемую цивилизацию — во вселенскую свалку?

Ведь можно же предвидеть (и каждый второй об этом пишет, предупреждает со времён Маркса и даже до него), что потребление, этот негласный идеал, само по себе (само собой) не развивается, чисто количественно распространяясь, а для того, чтобы создать удовлетворённого обывателя, следует оставить ему только одну потребность — потреблять, что ведёт к тихой смерти от энтропии желания и ожирения сердца, если выражаться красиво. Никакими ограничениями и запретами, или отказом от потребления, не поможешь.

Да, смешно, что решать чужие проблемы? Нам бы потребителями стать, но вырождение, дегенерация человеческого налицо.

Давно одинокие вопли зрячих (а сейчас уже массовый вой) сотрясают воздух. К ним мало прислушиваются, считая, что работа плакальщиков уже оплачена. Всё происходит незаметно, исподволь (а сейчас уже внаглую, нахрапом, рейдерским уголовным захватом, права была Роза Люксембург, в третий раз подчёркиваю, что разбой, первоначальная борьба за первоначальный капитал, кража — всегда в основании капитализма — это его сущность, фашизм и бандитизм, хоть прикрывай его благопристойной «буржуазностью» или легитимной «священной частной собственностью», хоть нет, призывая к спасению «отечества», «человечества». Всё ясно. Спасайся, кто может!)

Всё поражает своим однообразием, автономной автоматичностью. И выхода нет, поскольку вырождение культуры в цивилизацию — процесс необратимый. Да и культура — убогая ширма: всё в открытую, без стеснения.

«Ампутация души — это, надо полагать, *не просто* хирургическая операция вроде удаления аппендицита. Такие раны имеют свойство гноиться» (Оруэлл Дж. Мысли в пути // Эссе. Статьи. Рецензии. Пермь. 1992. С. 136).

Всё буднично, никакой трагедии, хотя человек уходит навсегда. Ведь дело не в многообразном потреблении, а в том, что происходит окончательное потребление человека, «человечинки», ещё до того, как его человеческие способности обрели сознание.

Всё созданное — опредмечено и создано из краденного времени человеческих жизней. В каждом предмете — чья-то погибшая жизнь, дыхание, чувство.

Бессознательная (не такая уж она бессознательная, вполне управляемая и представляющая чьи-то интересы, никакой анонимности, теневых правительств, масонов, тайных обществ, всё на виду) машина производства уничтожает, утрирует пространство человеческого развития, и когда-нибудь уничтожит человечество (уже разъедает), сделав его колонией одноклеточных, используя так, как используются бактерии в производстве сыра или дрожжи в пивной промышленности.

(Что же, с точки зрения бесконечности человек ничуть не более совершенен, нежели инфузория туфелька, бабочка-однодневка, живёт двадцать минут, и, подымаясь в лунном свете, погибает, успев передать жизнь другому. Много ли видно в лунной мгле сегодняшнего? Но проблема в том, что нарушен «естественный» ход вещей. Нет у нас двадцати минут. Исчезла преемственность, да и чёрт с ней. Старшим нечему учить младших, но самое главное, что человечиной начинают питаться все, это стало нормой, а если ты этого не признаёшь, то ты отстал от жизни и несовременен в своих консервативных принципах.)

Поэтому «примат» свободного времени как пространства человеческого развития над производством, вторичность бытия человека по отношению к живой деятельности, без толкающей взашей необходимости — основывается только на самом себе, на своём образе.

Свободное время имеет двойную природу: оно не является следствием самого процесса производства, но противостоит ему, при этом, как его произведение, вступая в противоречие с общественной формой движения вообще, вплоть до её полного пере-осуществления.

Способность времени стать формой богатства, производительным временем — просто косвенный, побочный эффект его развития, не самоцель, «ему это не нужно», нужды в этом нет. Его саморазвитие просто преодолевает разорванность человеческого мира как абсолютная возможность деятельности, и значит — всецелая действительность, но может и сохранять этот разрыв в основании, в силу, например, художественности, где эти прорехи, складочки бытия не несут никакой смысловой нагрузки.

Это свободное время не-субстанционально и развивается от самого начала, от деятельности во всех формах отчуждения, имея такие же черты, как и любой продукт самой деятельности, и потому собственного саморазвития не имеет.

«Другое» свободное время развивается «навстречу», «против течения», с «конца к началу», пытаясь отделаться от образа и уйти в основание — в ничто живой деятельности, совлекая и время, и свободу. Это время, срывающееся с формы свободы и её (формы? свободы?) отсутствия. Мера происходит, форма, даже бесконечная — преходяща, и своим исчезновением порождает время. Оно и есть исчезновение предела свободы, его степень, коль скоро свобода возможна как мера несвободы. Необходимость составляет внешнее основание, которое эклектично. И свободное время тоже становится таким сосуществованием времён, суммой их.

В нём времена себя свободно чувствуют. Здесь дышится легко. Хотя его замусоренность и засорённость, замутнённость порождены его неспособностью к регенерации и очищению — поэтому любое время, даже нечистое, в свободном времени получает желаемую свободу зла, не связанного пространством.

Свободное время — бытие-возможность (Кузанский) — пространство необходимой свободы. Преодолевая сопротивление чужого по природе пространства, властвует свободная воля: во-первых, словно моё непосредственное действие в обретённом (обострённом), но чужеродном пространстве, режущем и враждебном, во-вторых, как пресловутая сила духа, и, в-третьих, как нечто, в первую очередь преодолевающее, превозмогающее себя. Это борьба с собой. Причём и в свободном пространстве, как в превращённом свободном времени, так и в пространстве порождённом, скажем, любым другим временем, случайным или необходимым — любой «конфигурации фигуры и формы». «Фигуративное» пространство образуется «турбулентностью» движения, сопротивлениями времён, создающие «вихри» «воронки», «протуберанцы» произведений.

Свободное время, его временная вечность, сопротивление оказывают разве что своей ограниченностью, но творческое действие, наталкиваясь на моё собственное «я», сдерживающее меня, и эта форма «я», выкованная как активная страдательная и неэффективно защищающая «броня», хоть и многослойная, композитная, динамическая в ограниченной человеческой деятельности, сама есть всё то же «овеществлённое рабочее время», однако потребляющее человека. «Я» преодолевается чистым интересом, «тотальным экстазом» и эгоизмом творчества.

Так что «я», скорее, подчёркивает уязвимость. К тому же, оно громоздко и неповоротливо, инертно.

Поначалу, когда речь ещё не идёт о другом, по крайней мере, под другим понимается и принимается как себе подобное, аналогичное, принадлежащее смертной и бессмертной природе, хотя предполагается «что угодно», только не ***это***.

Начало и конец совпадают, однако по свободному времени, которое пока ещё «сфера» (афера) деятельности самого времени, но не человека, можно утверждать, что «расстояние» между двумя основаниями свободного времени (они сводные времена) составляют пространство человеческого развития.

Человек сам становится разделительным принципом, основанием противоречия. Ему хочется упразднить «личность», и тем двойственную дуалистическую природу свободного времени, и это верное, но формальное решение. Устранить личность и не мешать. Преодолеть личность необходимо, как разрешение противоречия, а не наведение мостов и переправ через бездну.

Лежит это разрешение в преодолении саморазорванности земной основы материи и духа, пространства и времени, сущности и явления, словом, дихотомии всего сущего», и вопрос этот практический. Хотя мне жаль дуализма свободного времени, но оно всё равно обречено исчезнуть, уникальность и саморасщеплённость личности (хотя наличие личности — уже свидетельство, симптом раздробленности, мозаичности в претензии на целостность), противостоящей вселенной, хотя только кажется, что страдания — источник человеческих чувств, только некоторых, но не хочется лишаться даже ненависти. И вообще наше время, как и каждое, неповторимо. Преодоление этой единичности, объединяющей, объективирующей, единящей особенности — желание слиться с вечным движением.

Развитие материального производства стремится вольно или невольно расширить свободное время до бесконечности, изгнать в вечность, само же свободное время стремится к исчезновению, к уходу в основание, и тем предотвратить (отвратить) собственно пространственность, пространность свою, которая есть мера расставания человека с самим собой, и находит своё отражение, воплощение, и в рефлексии, и в любом удвоении, дихотомии, в сдваивании бесконечности или антиномии.

Пространственному разделению-объединению подвергается лишь совершившееся. Совершаемое не двоится — оно раздваивается. Свободное время, которое таковым является лишь потенциально — есть ещё ограниченное бытие человека, его относительная самостоятельность по отношению к ограничен-

ному образу «своего-другого». Образ его репродуктивен. Он сам требует бесконечного превращения, застит, мозолит глаза, и в *конечном* итоге времён, вменён, временён бытию.

Образ свободного времени не имеет критериев, насколько он приближается к сущности и является ли он вообще масштабом человечности, лишь подтверждая наличие пространства, но заключён не к свободе — где он свободное пространство, простор, а только к возможности свободы. Тенденция необходимо стремится к максимуму. Эта максима проявляется во всём. Чувства — на пределе, жизнь — на пределе, если человеческое — так в бесконечности. Несравненное развитие, которое невозможно ни с чем сравнить. «Не сравнивай — живущий несравним».

Само свободное время как пространство, — будущая свободная субстанция и единственное место человеческого развития, — стремится к исчезновению, словно «свершение всех времён» это оно и есть, к исчерпанию временности вообще, — попытка остаться навсегда, и сознание, что это невозможно, — тогда любят невозможное. Всякая любовь невозможна. Актуальная потенциальность свободного времени в том, что оно, тяготясь временностью, обращается в «местную» вечность, уходя в основание, скрывается в вечном бытии, в вечном движении, оставляя человека (не в смысле покидая, а как бы задерживая в бытии — ещё не всё), который тленное разрешает в нетленное, непреходящее, уже не являясь для себя предположением, что «я, может быть, человек?». При этом все такие значимые для нас различия делаются формальными и затем обитают только в памяти, обретаются в интеллектуальной области человеческой мысли, сохраняя предания о своих истоках, в основном в качестве легенд и мифов.

Проще сказать, в ложной памяти, но в моём понимании, человечество становится беспамятным, не потому что ничего не помнит, страдая временно́й амнезией, рассеянным склерозом, а потому, что память всецело настоящая, и проблема как раз в забвении. Искусство забывать. Время делается не мыслимым пространством, а реальным. Со-творяется, творится реальным современным движением.

Можно сказать, что свободное время привито, прищеплено к стволу истории, и имеет другую природу, которая, прежде чем стать естественным временем человеческой жизнедеятельно-

сти, невозможна для последней, хотя и отвечает ей, выражает её наиболее полным образом. Свободное время кажется несовместимым с жизнью, не от мира сего, чужой природы, настолько оно необычно. Его невозможно вывести селекционным путём — всегда есть разрыв, перерыв постепенности перед его явлением, перехватывает дыхание, хотя оно порождается тем же развитием. Это как жизнь: не было, и вдруг.

Поэтому у свободного времени «инаковость» не обязательно устремляется к красоте, но может иметь и «низменные» тенденции, мотивы и желания, — в падении тоже дух захватывает, — всё зависит о человека, чья «добрая» и «злая» интенция *возрастает* безмерно, как потенциальность. При этом надо помнить, что красота не дана в качестве эталона, к ней не нужно, не должно стремиться по мере надобности — она в непосредственном становлении. Добро без зла тоже не бывает — только зло самодостаточно, и то эта отрицательность есть основа жизни.

Говоря «архаично», в «нижнем мире» всё может быть соразмерно, гармонично, благопристойно и по-своему совершенно, равно как и в свободном времени — «серединном мире» — есть момент абсолютного тождества, равновесия, когда свободное время из всех возможных времён есть самое свободное время, а пространство его лучшим способом соразмерно, сочувственно, приспособлено человеку, — бывает гармоничный ад. Сущность человека — процесс, и таких совершенных отношений — бесконечно много. И меряются они не самой красотой (якобы принадлежащей к «верхнему миру»), пробуждаясь к развитию, но образом её и собственной деятельностью. Вся гармония коренится в этой триипостасности, старой, как мир, но которая должна быть одолена, хотя и не палаческими методами.

Тем самым по достижении (причём, компьютер услужливо подсказывает, что «достижение» — «провал, поражение», когда это писалось, ещё не было интернета, я пользовался печатной машинкой, сначала от руки — подумать страшно!) освобождённого свободного времени и действия в нём по самопричинной красоте, мы опять попадаем в простую негативность, понимая, что не в свободе дело и не в красоте, ставшей привычной природой, а в том последнем ином, после которого нечего желать и некуда стремиться, поскольку это и есть абсолютное стремление, как таковое, «без заранее обусловленного масштаба».

Здесь не получается это показать с той степенью внушения и гипноза, свойственное киноискусству, вколачивающему в зрителя готовый образ. Это напоминает принудительное кормление. Никакого усилия от объекта внушения не требуется (кроме того, вовсе не значит, что внушение действенно, но даже сопротивление ему — уже пагубно).

В данном случае я только воспроизвожу, обрисовываю образ возможного свободного пространства, и надеюсь на синтезирующую силу разума (воображения) другого, того, кто в нем заблудится, дерзнёт потеряться.

В сущности, этот текст — действующая модель свободного времени, которое сплошное, сверхплотное, сверхтекучее, сверхпроводимое, труднопроходимое, непонятное и безразличное к человеку. Оно мало осуществимо, и не имеет ничего общего с собственностью, хотя находится в зависимости от намерений человека, степени его развитости и свободы, но сопротивляется, как безучастная инертная масса, как будто обладает своей несокрушимой волей, и его «агрессия возрастает в ответ усилию преобразований его». Потому оно может быть разным: и враждебным, и пасмурным, и просветлённым в ответ, как чистое пространство жизни.

Свободное время ещё не жилое, необжитое. Оно — просто нечто впускающее, манящее, приоткрытое, преддверие, притвор. Самому пространству свободного времени-пространства необходимо нечто иное, дающее этому пространству качество, «присущее присутствующее». Тенденция же принуждает к тому, чтобы исчерпать и пространство, и присутствие, сделать человека не просто помещённым в обиталище, в барокамеру, где уравниваются «давление» человека и времени, а и человека, и свободное время сделать «не иными» друг другу, и *времяобращение*, времяток *самопостранства* — произведение, и только пребывая в его созданности, как его сущее, можно с ним ужиться, но время на компромиссы идёт неохотно.

В очищенном виде процесс развития формы общественного богатства представляется всецело отрицательным процессом, «узловые линии мер» («перемёты») которого порождают специфические времена и поставлены на «человецы» — формы и отношения, имитирующие пространства, но создающие вполне реальную его дробность, частотность, частность и частичность местоположений. Тут возникает ощущение некоторого за-

паздывания, тягучести, тягомотности происходящего. Его метафизичности. Хочется, в нетерпении, скорее дальше. Но «дальше» не пускает.

Развитие формы от бытия, распадающегося в общественной практике на бытие и не-бытие, объективное и субъективное, свободу и несвободу, форму и бесформенное, сущность и не-сущность, время и не-время и т. д., «натурального продукта», «натурального ряда», под определение которого, в перечислении, попадают все категории, в том числе и «натурализированное пространство и время, мера и качество, и т. п. — результат этой достигнутой частичности в отдельности общественного развития. Его данность, положенность сама по себе представляет наличное бытие, форму покоя, которая не является роковой. Свободное время здесь, как идеальный эквивалент этой пасторали, идиллии, вполне пластично, естественно, многообразно и покойно остывает в гармонии созерцания. Буколики.

Дальнейшее развитие деятельности в форме господства и подчинения приводит к изменениям экстенсивного характера, слиянию, вернее, половодьям, разливам времён, которые отделяются в сущности от непосредственной формы бытия и являются не свободным пространством ничто, а как принципиальное небытие, чистое бытие, в котором отражается совершенный человек. Происходит экспансия свободного времени, которое захватывает, оккупирует территории, вызывая сопротивление, даже войну против свободного времени, как сопротивление вторжению красоты. Этот отсвет показывает, что развитие человеческого здесь идёт за рамками человеческого, а времена — свободное, рабочее и прочие — лишь эманации абстрактного, армирующие, как крепи, предохраняющие от обвала босховский земной мир.

О ТОМ ЖЕ

СТИХИИ СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ

Происходит теоретическое разделение свободного времени на двуосновность (со-предельность во взаимопереходе, как потенциальная и актуальная бесконечности, которые одна, единая бесконечность движения): одна основа — по-прежнему форма обобществествлённого (как обызвествлённых сосудов, чреватых тромбом) богатства, другая — форма общественной бедности, полагающаяся (располагающаяся вольготно) на формальном отрицании тщеты этого мира. Свободного времени как такового здесь нет вовсе. Оно полностью поглощено сакральным актом самоудержания хотя бы в формальном единстве, компенсируя собственное ничтожество грандиозными откровениями-обещаниями пространства, его «недержанием». Оно — метафора, метаформа свободы.

Но откровение — унижение Абсолютного, его невозможный предел, анти-основание, множественность содержания, образовавшаяся вследствие овнешнения основания в другое, образования другим.

Вопрос о сдвоенности, двуедности оснований интересен тем, что непонятно, действительно ли они двоятся, или это метафизическая уловка рассудка. Вопрос о скорости выглядит жалко и невнятно, явственна относительность: в самом ли деле это скорость превращения противоположности в своё-другое — в противоположность же? Или это скорость разрешения противоречия, происхождения, возникновения, скорость снятия, прихождение (приход, явление, возникновение), прехождение (исчезновение, переставание быть), прохождение, происхождение к своему концу? Скорость смерти? «Быстрота?» Быстрина времени…

И они есть «совпадение», сложение скоростей, или это как со скоростью света, не складываются и не вычитаются? Нет вектора сил, и это двоение — один процесс, который просто видится свойственным, свойством, потому что так удобно «схватывать»?

Чувствую, что вопрос чисто спекулятивный. Как и «рабочий» вариант гипотезы, кода становление воспринимается как движение от ничто к ничто, а переход — это от одной стороны противоречия, к своему-другому, к своей противоположности; это «срабатывает», «работает», но ровным счётом ничего не объясняет. С тем же успехом «переход и превращение» можно объяснить как становление от наличного бытия к наличному бытию, происхождение в наличном бытии, наличным бытием движения, но для «проброса» к иному, минуя доказательства, кроме факта «чуда», «возникновения ниоткуда», как «сокращения» Лоренца (шучу), вполне допустимы. Но если кто-то возмущённо скажет, что такое недопустимо, «ибо абсурдно» — возражать не буду.

От него никакого толку, но это — противоречие (не могу написать «есть»), которое «существуется», и вообще рассматривает себя, свою двуединую природу, как причастную к происхождению чувства, чувство рождается в противоречии, противоречием, но вне его, не снимается им и не воплощается, как будто «между сторонами» — противоположности в отношении антиномии, сдерживаются тезисом и анти-тезисом, но их не касаются. Это как корпускулярно-волновая теория света. Есть какой-то подвох. В русском языке есть хорошее, хотя «затёртое» слово «убиваться» — чувства убиваются по себе, убиваются собой. Стоит ли так убиваться? Надо ли так убиваться? Сдваиваются, резонируют. Взаимопогашают, затухают.

Всплеск этих двойных оснований: противоречия в себе с одной стороны, и скорости разрешения с другой. Скорость перехода противоречия в себе, причём одновременно и навстречу, начинает навязчиво захватывать представления обо всём, как будто всеобщая повинность. Это как третье явление второго действия у Лессинга в «Материалах к Фаусту»:

«С е д ь м о й д у х. Тебе, смертный, нельзя угодить, если и я для тебя недостаточно быстр!

Ф а у с т. Скажи мне, насколько ты быстр?

С е д ь м о й д у х. Не более и не менее, чем переход от добра к злу.

Ф а у с т. Да, ты — мой черт! Быстрый, как переход от добра к злу! Да, это быстрый переход; нет ничего, что было бы быстрее! (Лессинг Готхольд Эфраим. Материалы к «Фаусту»).

Да, ты — мой черт! Быстрый, как переход от добра к злу! Да, это быстрый переход; нет ничего, что было бы быстрее! — и я познал его. Эта скорость быстрее скорости света. И поражает насмерть.

Удивительно, что Фауст у Лессинга призывает семь духов и спрашивает их о скорости: «достаточно ли вы быстры?». Один быстрый настолько, что его не успевает обжечь пламя свечи. Однако проскочить через адский огонь он не рискнёт. Другой быстр, как острие чумы. Третий — как ветер, «на крыльях ветра», четвёртый — словно свет, его имя Ютта — он летает на солнечных

лучах, пятый стремителен, как человеческая мысль. И это уже что-то, — говорит Фауст, — но отчего же так медлительны добродетель, справедливость и совесть? Шестой дух — как месть мстителя, — так почему же я ещё жив и грешу? — вопрошает Фауст, — то, что ты грешишь и жив — уже месть. «Уйдите прочь, “улитки ада”».

Не случайно эти слова взяты одним из эпиграфов к замечательной давешней статье о фильме Сокурова «Фауст» (Антон Долина. Фауст. Пациент. Тезисы к трактату о десяти главах // Искусство кино. 2011. Октябрь), где, помимо очень внимательных аналогий, не замечено только, что Зло аморфно и неопределённо, в чём гениальность фильма. Зло — бесформенно, оно никакое. Серость.

Ничего не берусь утверждать, но вопрос о монизме и дуализме не имеет значения. Двойственность основания и конца создаёт некоторую кумулятивность, проникновенность, проницательность, — намеренно употребляю слова не в их привычном значении, — и вопрос переносится в этическую, нравственную область, о мгновенности перехода от добра ко злу, который — как разрыв, перерыв постепенности, «интерраптность», «раптовість», не грядёт, не наступает, а обрушивается, как возмездие, и это присуще любому чувству. Оно — всё сразу, а не постепенно. Нестерпимо: не стерпится, не слюбится. К чувству не привыкают, оно невозможно, к нему нельзя притерпеться. Чувства нестерпимы.

Тем самым в бесстрастие развития вносится идея справедливости — совершенно напрасно, безнадёжно и безо всяких оснований. От отчаяния. Пристрастное отношение к становлению рождает и интонационное небезразличие ко всему остальному. Причём остальным, оставленным, оказывается вся вселенная, хотя правильней писать «оставленной». И всё приобретает оттенок прощания и разлуки. Почтительной скорби. Растерянности. Основание действительно противоречиво? Или это противоречие покинутых, как гнёзда, оснований? Всё это — чувства «по желанию».

Но в целом вопрос о том, что времена, само развитие могут быть как гетерохронными, так и асинхроничными, ахроничными, «автохронными», автохтонными, страдать «психическим дизонтогенезом», как наше время.

Неравномерность развития приводит к несогласованию и гипертрофии времён, диспропорции. Времена разнятся и по степени развитости, и по скорости происхождения, и вообще «по всему». Но является ли это повсеместным свойством, или пороком («сердца») — ещё вопрос. Ретардация или акселерация свободного времени, или его дегенерация — процессы ещё не изученные, и относятся они к патологии или особенностям развития — неведомо. Может быть, для современности само свободное время — аномалия и смертельная болезнь, но то, что оно не безусловное благо — очевидно. И что свободное время — не навсегда.

Было бы наивным всё это выводить, пестовать, взращивать и лелеять даже имея факты реального бытия, а не факты сознания, поскольку всё это «фикция» (Гуссерль), вымысел, основанный на канве истории, реальность его — лишь в движении моего воображения по «захиревшим» формам свободного времени, по его следам, ещё сохранившимся в современной многоукладности, «поликультурности», «мультикультурности», как её ни называй. С бороздки воображения я считываю, заставляю звучать, колебаться его ушедший голос. Ещё реальность может быть в рефлексии наличного бытия, исчерпавшего способность к самовоспроизведению в одной и той же определённости. Когда звучат складки океана, борозды вселенной, воспринимаемые браздами, но это всего лишь наше робкое сознание, познание, воображающее себя в стихии и буйстве. (И то это так же, как во время звучания фонограмм на восковых валиках, и какими бы ни были совершенными звукозаписи на пластинках, на виниле, приходит пора устаревания, исчерпанности, как раньше — других, лазерных и цифровых технологий, и даже если звучание будет хуже, то будут приспосабливать слух к новой слышимости. Создавать новый слух.) Предел и есть основание беспокойства, разрушившего покой ставшего, преходящего, приходящего, привходящего в себя становления, в воспроизведении и исчезании теряющегося в себе, собою, без следа.

Свободное время так же непохоже на себя, как коллоидные растворы, простейшие на динозавров, а динозавры на своих теплокровных потомков.

Кроме того, время здесь обратимо, и способ его пространствования можно вполне изобразить в общих чертах. Однако важно, что между свободными временами общественного богатства и общественной нищеты простирается бесконечность (хотя это одно и то же, бесконечность не заполнена ничем, кроме акта творения), так что эти миры движутся в творении и самосотворении, превращаясь или испытывая страсть к превращению друг в друга, в другое-себя, и творчество развивается до бесконечности, экстатируя в себя, и тем — в иное, а форма общественного богатства оказывается вообще ни «чем», не при чём, и ни о чём.

Можно узреть здесь что угодно: отголоски античного скептицизма, моменты стоицизма, можно видеть «пневму» — огненное дыхание, «лектон»,

которое (лектон неопределён и среднего рода, вообще без рода) выше всякой оценки, или ко всему безразличный и вне оценок, нейтральный (adiaphora) «техникон» — изначальный художественный огонь, Аристотелевскую «энтелехию», да всё, что привиделось, показалось. Всё, что видится в истории, то и кажется; то, что кажется — то и знается. Но знание это ассоциативное, не то, чтобы совсем пустое — здесь есть личные пристрастия, чувства, переживания, но ничего утверждать нельзя, конкретно лишь само мышление во всей фантазийности.

Тут в каждой строчке главным оказывается только твоё отношение, потому, что язык ты не изобретал, ты его заимствовал, мышление не твоё, жизнь — взаймы, ты связан с определённым временем, пространством, «хронотопом», а твоими, в разрыве между двумя бесконечностями, прошлой и будущей, в кратком миге между вечностями, как вспышка — есть только мысль и чувства, которые не так уж уникальны и оригинальны. Только многообразная однозначность твоей жизни, которая предопределена. А теперь оправдывайся перед собой, что ты «не то хотел сказать», «что тебя неправильно поняли».

Причём это верно не только для трудов, касающихся истории философии, что было бы понятным, вспоминая Хайдеггера, Лосева, даже Платона и Аристотеля, да кого ни возьми, любого, кто ссылается на любого. Всё, что утверждается. В конце концов, все имеют дело со своим восприятием. Это даёт некоторую степень, бесчисленное число степеней свободы, даже в так называемых «точных науках», которые не однозначны, но «знание» кажется чрезвычайно болтливым, а на самом деле оно неразговорчиво. Этим существует любая красота, которая расцветает на безразличии («апатия» представляет собой «триумф воли», что опасно, и «моральный ригоризм», что чудовищно), а вообще позволяет чувствовать идее и идеей, как само небезразличие.

Этот творческий порыв не ослабевает, но обретает иное направление в себя, пожирает себя, самосовершенствуясь, но *унижая* человеческую личность на недосягаемую *высоту*. В гордыне человек осознаёт свою творческую способность лишь потенциально, но способствует только развитию тотальной власти мёртвого мира механизмов (с которым справиться не может, при этом к механической форме движения относятся и компьютеры, как репродукция, реплика формального способа мышления) и обретает титаническую мощь в пределах положенного ему свободного времени, устремляясь к себе-другому.

Совершается отрицание натурального свободного времени, как непосредственного следствия перехода к универсальной, гибкой и хищной форме общественного богатства. Всеобщий

эквивалент стоимости в своём формальном, механическом, выражении — утверждение существования, наличности, при отрицании бытия и жизни. Свободное время «понижается», «опускается», обесчувствливается, становясь механическим и, как следствие, обыденным, как серое, аморфное, ничем не примечательное зло в своей абстрактности.

Уничтожаются чувства и краски, и совершенно прав Маркс, когда говорит о единственном чувстве — обладании. Но суть не в этом.

Свободное время впервые становится самим собой по форме. Не человек его присваивает, а оно человека. Оно производится как форма пространства, но остаётся как форма времени, остаётся формальным, поэтому оно так трудно, т. е., имеет трудовую основу. Оно манит свободой и только. А на самом деле выступает как соблазн, приспосабливаясь к слабостям человека и следуя его прихотям, делая его ещё более слабым и безвольным, потакая лишь волей к праздности и лени. Однако, это только вначале, позже оно будет толкать на безрассудные поступки, почти безумные, так как представляется всё беспричинней.

Иными словами, его бесконечное количественное увеличение, разбухание представляет просто изменение, равно как и превращённую форму стоимости, и есть плоский, чисто количественный процесс. А поскольку свободное время — избыток бытия (есть ещё отрицательное свободное время изъятия, нехватка, недостаток, изъян), к тому же вынужденный существовать формально в мире стоимости, без исполнения, то время «задыхается», «потухает», «протухает» в спёртом состоянии собственного образа, не превращаясь. Правда, наполняясь в привычных отношениях, оно создаёт избыточное давление и тем создаёт «критическую массу», деформируя и делая критическими пределы, изменяя «удельный вес» и «плотность», но это носит непродуктивный, стихийный характер. Время становится если не стихией, то своего рода «пятым элементом». Оно — нечто непредвиденное, неожидаемое и не необходимое, моё хотение, прихоть и соизволение. (Об этом особо.)

Переход к иной форме общественного богатства, отрицание и снятие стоимости не спасает, как полагают многие существа дела, существо деятельности само порождает условие самоуничтожения. Так человек, запертый в ограниченном, герме-

тично закупоренном помещении, «выдышал бы себя». Так свободное время, возрастающее лишь количественно, «прибавочно», развращает, дегенерирует, разлагает себя, загнивая. Оно не регенерирует, дезинтегрирует, деинтегрирует, если не получит смыслового центра, меры хотя бы в выдуманном, вымученном ответе «для чего?», изобретении вешней причины и создании внешней цели.

Переход к свободному времени в качестве формы общественного богатства по-прежнему стремится к количественному увеличению свободного времени, которое стремится стать «всем», представляясь «первичным накоплением свободного времени», что невозможно.

Но, если, основываясь на форме стоимости, это время сводилось к форме потребления, и самоцелью была стоимость (как, например, узкая специализация, принудительно вводимая в образование), это обернётся принудительным целеполаганием, являющимся одним из целесообразных, *целеобразных,* целеобразующих способов потребления свободного времени, путём создания потребностей, в том числе и во времени, и распихивания, распределения его по целям, что приводит его к очередному противоречию.

Страсть к распространению его на всю оставшуюся вселенную приводит к тому, что свободное время освобождается и от человека, становится всецело объективным, и избавляется от субъектно-объектных отношений, заполонив всю реальность, сделав всё действительным.

Став самоцельным, но не самодеятельным, самодеянным и самонадеянным, оно не престало быть формой общественного богатства (и формой, и временем, и свободой, и богатством, и тотальным отсутствием сути, потеряло смысл, уступив место пустым определениям), которые диктуют прежние взаимоотношения на основе прошлого труда, основанные на превращённой форме стоимости, но стало формой изменившегося пространства, хотя и обожжённого, обугленного светом красоты, в превращении. Время и пространство уступают, но оказывают сопротивление, создавая напряжения, «сгустки» времени, изменяющие свойства самого времени.

Иными словами, может быть такой период, когда само время — исчадье нужды и необходимости, даже свободное — станет лишним, и восстанет пределом развития, во всей своей про-

странности, как форма форм. Избыток свободного времени, втискиваясь в старую форму, обретает «сверхдавление», встраивается в пространство, становится больше себя, и свободное время превращается, трощится, «не выдержав» своего бытия, и становится враждебным человеку. Происходит последнее отрицание формы общественного богатства — отрицание времени и пространства.

В случае, если общественные отношения не изменились — это простая гибель человечества, его духа, в случае развития в форме свободы — «свершение всех времён, как полнота бытия» — начало действительной истории человека. Это уже не просто изменение, которое по «составу» одно и то же, и лишь количественно «опухает». Здесь превращение обретает сверхтекучее состояние и как превращение самого превращения становится преобразующей силой.

Отчаяние, которое при этом охватывает, сродни, наверное, отчаянию, которое вызвал «Гераклитов поток», и против этого выставлялись заслоны в виде «adiaphora», лектон, апатии, «атараксии», причём, как художественное произведения, что произвольно по отношению к античности, так же, как «страсть» или «относительность», «релевантность» по отношению к «лектон», и, тем не менее, такое вполне возможно. Почему нельзя, например, рассмотреть отношение «космоса и лектон»?

Хотя время-пространство в своей иррелевантности само есть следствие в непоследовательности, а не первопричина, появляется, нет, не необходимость, а «прикладная свобода» считаться с некоторыми историческими особенностями и изменениями времени. Его стремительностью, турбулентностью, сопротивлением времени и плотностью пространства, возмущениями, состояниями, изменчивыми как погода и так же трудноуправляемыми. Задача быть готовыми ко всему, а лучше предвидеть и управлять.

Своего рода прикладная наука о времени: хронотопия, хронология, хронотипия, считающаяся с особенностями сиюминутного времени, требующего не столько понимания, сколько реагирования. Скорость реакции на реакции времени, мгновенное реагирование на изменение.

«Вихри» времени, которые на допускают линейность, тоже обладают закономерностями и стремятся к «выпрямлению», «спрямлению».

Ввиду изменения стремительности и скорости, это своего рода аэродинамика, электродинамика, хронодинамика, хотя бы по аналогии. То есть появляется «магнитная» составляющая времени, его «временное поле», статика времён, его аномалии. Хотя это может быть от бессилия и соблазняет на аномалии и исключения: всё списать, свалить на нетипичность, ведь свободное

время действительно, кажется, и культивирует свою особенность единичность по видимости. Но это уловка, чтобы проскочить, не зная, — и так сработает, — независимо от нашего сознания.

Неповторимость и необратимость, как свидетельство уникальности, хотя в своей всеобщности оно стремится к посредственной всеобщности, стремится считать все обыденным: обетованная посредственность. Его соразмерность граничит с безмерностью, соразмерность тождественна с сопряжённостью. Напряжения времени — это силовые линии свободного пространства. Возмущения времени не являются его причиной.

Всё это прикладное и перестаёт играть значение по мере того, как свободное время перестаёт быть. Свободное время перестаёт иметь, играть смысл, разыгрывать, как по нотам, смысл, или, импровизируя. обессмысливаясь, как беспомощное наблюдение, и переходит к действию, теряясь в нём. Оно, обретая историчность, действует «играя на интерес», хотя у истории интерес пиковый и прагматичный. Потому, при всей фантазии, косвенно всё же можно себе представить, что на самом деле было, происходило, хотя это и не совпадёт ни с истиной, ни даже с правдой, но может быть, как это ни парадоксально, и истиной, и правдой. А может и не быть.

Не каждому удаётся бесстрастно наблюдать своё исчезновение, и при этом не чувствовать обречённость. Свободное время существует только когда есть не свободное время, которое — несвобода. Но речь не о коррекции времени и его всплесков, резонансов. Потом этим всем можно будет пренебречь, как притяжением дальних звёзд, слабыми соотношениями, но пока свободное время находится в переходном состоянии, само есть явление бесконечного перехода, и этого нельзя избежать, хотя можно с этим и не считаться. Скорее всего, это всего лишь проблема психологии. Недаром Карл Юнг бился в истерике, пытаясь в своей знаменитой «Красной книге» хоть как-то сориентироваться.

О Юнге говорить смешно, ещё более потешно, чем о Фрейде. Однако его «Красная книга»… Понятно, что она не предназначалась для печати, но многое ставит на свои печальные места. Можно было бы, чтобы укрыться за авторитетом Карла Юнга, лихо использовать его для маскировки (маркировки), но, боюсь, Юнг уже давно не авторитет, и для меня никогда не бы, хотя спасал психологию от фрейдизма. Просто больной невротик. Чтение Юнга показательно ещё в большей степени, чем Фрейда — настолько чуждая, скомканная, затёртая, пакостная жизнь индивидуальности: жалкие идеи, примитивные эмоции, скучные реакции, и, главное — заразно. Нечистоты духа. Но под некоторыми его сентенциями я бы подписался, имея в виду другое.

Цитирую просто так, не в качестве академической ссылки, да, в общем-то, при современном развитии сети — это и не имеет смысла: во-первых, пере-

вод, во-вторых — это ничего не доказывает, в третьих, это просто совпадение, я произвольно выбрасываю те пассажи, которые мне не подходят, и сохраняю то, что впечатлило, а цитаты найти можно, включив поисковик.

Кроме того, даже если ни одной цитаты не приводить, то в любом случае ни у кого нет ничего оригинального, по замечанию Умберто Эко. Всё — не то, чтобы плагиат, но язык и идеи — как воздух: хуже, когда его нет. Чтобы точно процитировать, нужно точно указать, какая была погода в момент написания, какое настроение было у Юнга, воспроизвести все обстоятельства, изобразить «дух времени», «дух эпохи», и всё равно точно продекламировать нельзя, потому что интонация будет другая. Так что даже если я перетасую все высказывания, они при любых комбинациях сложатся в определённую композицию, и косвенно передадут и мысль Юнга, и то, о чём я — это «интонационное волнение души», как музыка, которая звучит молча, как настроение времени.

Можно Юнгу при переписывании даже приписать что угодно, и можно доказать, что при копировании дословном ты не то имел в виду. Эффект омонимов. Паронимы, «опуты», омоформы, омографы, и вообще оговорочки: всё, что говорится, вообще о другом и даже не то, что хотелось сказать. Скажут, что ненаучно? А Юнг «научен»? И потом, такая же, но не демонстративная избирательность, свойственна любому самому серьёзному исследованию. А в случае со свободным временем, так это «веяние, требование времени», «остановка по требованию».

«Если говорить в духе этого времени, я должен сказать: никто и ничто не может подтвердить то, что я должен вам объявить. Подтверждение для меня излишне, поскольку у меня нет выбора, но я должен. Я познал, что вдобавок к духу этого времени трудится и другой дух, а именно тот, что управляет глубинами всего современного».

И дальше: «Духу этого времени понравится услышать о пользе и ценности. Я тоже так думал, и моя человечность всё ещё так думает. Но иной дух заставляет меня говорить, несмотря ни на что, превыше подтверждения, пользы и смысла. Исполненный человеческой гордости и ослеплённый предубеждённым духом этих времён, я долго пытался удержать тот иной дух подальше от себя. Но я не предполагал, что дух глубин с незапамятных времён и навсегда обладает большей властью, нежели дух этого времени, что сменяется с поколениями. Дух глубин покорил всякую гордость и заносчивость силой справедливости. Он унёс мою веру в науку, он лишил меня радости объяснять и упорядочивать вещи, и дал преданность идеалам этого времени умереть во мне. Он принудил меня к последним и простейшим вещам. Дух глубин взял моё понимание и всё моё знание, и поставил их на службу невыра-

зимого и парадоксального. Он лишил меня речи и письма обо всём, что не служит ему, а именно сплавив вместе осмысленное и бессмысленное, что производит высший смысл. “Черновик” продолжает: “И тогда тот, кого я не знал, но кто определенно владел таким знанием, сказал мне: “Какая у тебя странная задача! Ты должен раскрыть своё сокровеннейшее и нижайшее”. Этому я сопротивлялся, ибо превыше всего ненавидел то, что казалось мне непристойным и надменным».

Без комментариев. Не хочу выглядеть цинком в современном понимании, но это истерика. Метание между «духом времени» и «духом глубин» волнует только того, кто хочет воспринимать, кто способен — без этого можно вполне обойтись. А можно и не обходиться. Можно взывать к «духу поверхности», как дающему опору. «Духу высоты», как чувству полёта, да мало ли?

«Высший смысл — это не смысл и не абсурд, образ и сила в одном, притягательность и сила вместе. Высший смысл — это начало и конец. Это мост для пересечения и исполнения».

«Но бессмыслица — это неотделимый и неумирающий брат высшего смысла. Люди растут, как и растения, некоторые в свете, другие в тени. Есть многие, кому нужна тень, а не свет. Образ Бога отбрасывает тень, которая столь же велика, как и он сам.

Термины hinubergehen (движение через), Ubergang (переход), Untergang (гибель) и Brucke (мост) используются в “Заратустре” Ницше в связи с переходом от человека к Ubermensch (сверхчеловеку). Например: “В человеке важно то, что он мост, а не цель: в человеке можно любить только то, что он переход и гибель. / Я люблю тех, кто не умеет жить иначе, как чтобы погибнуть, ибо идут они по мосту” (слова подчёркнуты в копии Юнга)».

Можно и так: человек действительно переход, но не в сверхчеловека, и он не мост, хотя мост — это «третий берег». Он — превращение бездны в бездну, становление «от ничто к ничто».

«Высший смысл велик и мал, он столь же широк, как пространство звёздных Небес и столь же узок, как тюрьма живого тела. Дух времени во мне хотел осознать величие и размах высшего смысла, но не его малость. Дух глубин, однако, победил его надменность, и мне пришлось проглотить малое как средство исцеления бессмертного во мне. Оно полностью выжгло мои внутренности, поскольку было бесславным и негероическим. Оно даже было нелепым и отталкивающим».

«Дух нашего времени заговорил со мной и сказал: “Какая страшная необходимость заставляет тебя говорить всё это?” Это было ужасное искушение. Я хотел поразмыслить, какие внутренние или внешние путы принуждают меня к этому, и не найдя за что зацепиться, я был готов выдумать их. Но так дух нашего времени почти привёл меня к тому, что вместо того, чтобы говорить, я снова думал о причинах и объяснениях. Но дух глубин обратился ко мне и сказал: “Понимание чего-либо — это мост, возможность возвращения на путь. Но объяснение вопроса — это случайность, а иногда даже убийство. Можешь ли ты сосчитать убийц среди учёных?”»

«Жизнь — “питие горького отвара, приготовленного одиночкой” (Liber Secundus, гл. 20). “Черновик” продолжает: “Пьющий это питие никогда больше не будет жаждать ни этого мира, ни посмертия, ибо он испил переход и завершение. Он пил от горячей плавящей реки жизни, которая застывает в твёрдую руду в душе и ожидает новой плавки и смешивания”».

«Если мы обладаем образом вещи, мы обладаем половиной вещи. Образ мира — половина мира. Тот, кто обладает миром, но не его образом, владеет только половиной мира, поскольку его душа бедна и ничего не имеет. Богатство души состоит в образах. Тот, кто обладает образом мира, обладает половиной мира, даже если его человечность бедна и ничем не владеет».

«У мыслителя никудышные страсти, поэтому он не получает удовольствия. Мысли того, кто чувствует, плохи, поэтому у него нет мыслей. Тот, кто предпочитает размышления чувствам, оставляет свои чувства гнить в темноте. Они не дозревают, а в заплесневелости дают больные побеги, которые не достают до света. Тот, кто предпочитает чувства размышлениям, бросает в темноте свои мысли, где они прядут свою паутину в мрачных закоулках, унылые сети, в которых запутались комары и мошки. Мыслитель чувствует отвращение к чувствам, так как чувство в нём в основном отвратительно. Тот, кто чувствует, думает о раздумьях с отвращением, поскольку мышление в нём в основном отвратительно. Так змея лежит между мыслителем и чувствующим. Они есть яд друг друга и целебное средство» (Юнг. Красная книга).

Глупость несусветная, но вполне ясная для европейской традиции, которая не знает и не желает знать, что такое чувство, путая его с чувственностью. Вообще поражаешься, когда читаешь психологов — отечественные тоже научились, набрались, как вшей, этого. Ну не снятся такие сны, не испытываю я Эдипова комплекса, «страха кастрации», и все апелляции к ощущению, комплексам неполноценности — просто больные фантазии. А Юнг с его «архети-

пами» просто плохо учился, у него неразвитое восприятие, но по нему можно изучать природу заблуждений. Да таких много: Мирча Элиаде, Фромм, Адлер, Франкл — при всём уважении к личному мужеству — перечислять придётся всех подряд во всех видах. Я к тому, что всё это имеет право на существование, как особая область литературы и даже поэзии, но к науке имеет не больше отношения, чем мушка дрозофила к генетике. Это к тому, что я опрометчиво заявил, что дальше всё равно, как называть: «психология», «феноменология», «философия», «педагогика». Уж слишком много мусора, даже в лучших образцах, и муть эта не осядет, она — среда обитания. Я сам пережил увлечение Юнгом, и до сих пор почитываю, но философии трудно будет «отмыться», даже в лучших своих проявлениях. Имена Выготского, Лурии, Рубинштейна, Леонтьева и тех, кто действительно занимались психологией как наукой — скорее исключение. Сейчас психология — сплошное надувательство. Можно было бы дать развёрнутый анализ современной психологии, но она не годится даже на анализы. Тут парадоксально, что начинала она многообещающе, и наука-то есть, а психологов нет. Одни торговцы блефом, паразитирующие на действительных проблемах психики. Они как эпидемиологи- регистраторы, обнаруживают вспышки болезни, но не лечат, в лучшем случае объявляют зоной бедствия, установив кордоны (так свободное время может быть очагом истребительной болезни, если оно не ко времени), не занимаются профилактикой, развитием психики, а живут за счёт болезни, страданиями других. Поэтому я вопросы свободного времени рассматриваю сугубо онтологически, и психологии не касаюсь.

И клятвенные заверения: «Тот, кто знает, понимает меня и видит, что я не лгу. Пусть каждый познает свои глубины, если ему нужно то, что я говорю». Смесь Фауста и Ницше со сверхчеловеком, и Богобразом, он же первообраз с тенью. А если намешать сюда страдания новой музыки, которые выглядят благородно, а на самом деле достаточно трусливы, и всю эту мещанскую обывательскую возню в науке, то лучше уйти и не позориться (https://web.archive.org/web/20130426132035/http://castalia.ru/books/liber_novus.pdf).

Как человек, я ему сочувствую, но, видимо, человеческого во мне мало, всё это жалко выглядит — это истерия и прочее, но подозреваю, что все изыскания и порывы мысли, спустя сто с лишком лет выглядя не лучше. Познавать свои глубины можно, если они есть. В случае со свободным временем приходится создавать бесконечности и бездны, которые мелеют на глазах и становятся смехотворными, что вызывает уныние. Это похоже на издевательство. Никаких «Апофеозов беспочвенности», «Эссе об Абсурде». Экзистенциализм для меня — чистая литература: «над вымыслом слезами обольюсь», но момент остервенения есть в любом исследовании, когда ты уже в нём не властен, и оно превращается в невроз. (Шучу.) Хотя это только твоя

беспомощность, твоя неспособность и отчаяние, даже просто изобразить проблему, а не сама проблема свободного времени.

До тех пор, пока есть свободное время как иноформа свободы, её предметное поле, до тех пор (до тех мер), пока есть пространство человеческого развития, форма богатства, свободное время безразлично к своей судьбе, изредка просачиваясь сквозь предметность, через поры овеществлённого времени, и человек, обретая идиотическую способность к непроизводительному потреблению, убивает свободное время ради сомнительного удовольствия, затрачивая своё творческое усилие на обратное превращение свободного времени в овеществлённое, заставляя *разсвиваться*, ре-эволюционировать, ре-революционировать вспять.

Другими словами, человек должен развиться до свободного времени свободно, прежде чем преодолеть последний предел, меру развития, и не отделять себя более ни от красоты, ни от свободы, ни от истины, ни от развития.

Но даже здесь мышление не справляется с диалектикой, не в силах понять, что ни предел, ни истина, ни красота, ни развитие не существуют по отдельности, и никаких «прежде чем…», «развиться свободно до свободного времени», когда ещё нет ни свободы, ни времени, а «предел» — это не «забор», который надо перемахнуть, сигануть, а развитие, коее, как и движение, «то же» и «иное», а всё это — единое становление, и происходит всегда и сейчас — это всего лишь моменты, и ничего, как «мгновение», остановить нельзя, хотя прекратить и уничтожить — вполне. Это почти невозможно понять, а поняв, выразив в логике понятия, не получается привести в движение, заставить «работать».

Сознание услужливо дробит процесс на фрагменты и заставляет решать ложные вопросы. Так, действительно странно, что свободное время должно доразвиться до своего понятия, что кажется тавтологией. Идея «тождественности» схватывается уже, но другая сторона противоречия остаётся в тени — это тождество не равно самому себе, поэтому никакой «другой стороны» нет — это одна и та же «сторона». Так что вопрос о «диалектическом способе мышления» остаётся открытым. Хорошо, если, уповая на диалектику, ты отдаёшь себе отчёт, что мыслишь метафизически, и, по сути, непротиворечиво, в лучшем случае антиномично, хуже, когда это выдаётся за способ мышления (хотя это «способ»).

Нельзя сказать, что человек должен действовать так или иначе: заниматься творчеством, а не без-делием, устанавливать такую, а не иную меру «пресечения» себе, действовать так

или иначе, жить по тем или иным канонам, всё это — идеология свободного времени, остатки торга (правда, с самим собой: как будешь себя вести, соответственно и получишь).

Сам переход к свободному времени человеком (переход свободного времени и человека, их превращение и трудный путь осуществления себя) в этом непривычном и опасном пространстве, граничащий с самоутратой и мучающийся от непонятных, незнакомых, непостоянных чувств, которые этим непостоянством живут, каждый момент возрождаясь и умирая (в том числе и чувства свободы) — может совершаться только свободно, и даже за свободу, по ту сторону свободы, не *подгоняя время*, превращая его в среду, но, увы, используя его в опредмечивании своих человеческих способностей, в развитии «способности-возможности», по аналогии с «бытием-возможностью» Кузанского. «Подгонять» время — не в смысле «подделывать», хотя это происходит, а в смысле «ускорять к своему концу», как это делает практика с наличным бытием. Только приходит черёд времени, а не предметности, «мелькать в исчезновении».

Времени всё равно, какую из способностей ты развиваешь, быть может, очень человеческую способность убивать или пытать себе подобных.

Поэтому там, где время определяется, пусть временной мерой красоты, оно уже не время. В превращении превращения само время — уже простор, содержащий вечность, и потому человек не может быть обусловлен иным, которое побуждает его к действию во времени нечеловеческим способом, чужим свободному пространству и вызывающим его отторжение. Свободное время, интерес и «абсолютное беспокойство» для него — одно и то же. Хотя это уступка и слабость. Никакого «интереса», «потребности» в становлении нет — это компромисс, примирение со смертью и временностью, торговля «бессмертной душой», которой нет для того, кто уже «хватанул» становления. Для него нет привычных разделений и категорий.

Здесь человеку ничего не остаётся, кроме полноты абсолютного человеческого бытия и непосредственного общения. Время и пространство в их свободном возвращении человеку — более не предпосылки человеческого бытия и не возражения против человека и красоты, тем более не следствия: и красота, и время, и пространство остаются (*отстаются*) как игра человеческих сущностных сил, свободная жизнь которых безусловна и не может быть утрачена, как ни одна из красок зем-

ного бытия. И это естественно, как музыка Баха. Как вся музыка, поэзия и философия, которые никогда не имели условий к существованию, и потому являли прообраз красоты своей безусловной свободой без причины, а не подобострастно согласовывая свои отношения с разумом, как полагал восторженный Фихте.

Уже сейчас, при всей пошлости происходящего, чувства превосходят себя, — там, где они есть, а заодно и музыка, и поэзия, и философия, и всё, что угодно. Не по «результату», не по достижениям, — тут они мелочны, — а в возможности, потенциально. Но «стесняются», в буквальном смысле «теснятся», «толпятся», да, и то «не в себе», предавая себя и своё «предназначение». Никакой «миссии», конечно, нет, но есть свобода развития, а её избегают, от неё избавляются. И в философии — всеобщее унылое нудное слабоумие.

Но речь не об этих профессиональных мануфактурах, цеховых организациях, которые производят поделки (подделки, подлянки вместо подлинников) — речь идёт о живых чувствах, которых нет, их даже не ждут, они растут исподволь, вызревают, и на себя непохожи. Они могут не случиться, потому что это не дело случая, и свобода может быть для них убийственна, как и они для свободы.

Они — симптомы свободного времени, которое пока — синдром, но по своей природе противоречит затхлому миру. Они — антагонисты. Каждое из произведений человека, и он сам, переосуществляются уже сейчас, хотя это больше походит на самоуничтожение, и «вмещает» больше, чем может «вместить», выдержать. Выдержка свободного времени — это не выдержка вина. Это выдержка воли, терпение и «сопротивление материала», предел разрушения. Свободное время может превратиться в разрушительную, катастрофическую силу. Пока это заметно только в отношении к поэзии, музыке и философии, в том, что человек — «микрокосм» и содержит в себе бесконечные миры, но, может быть, эти чувства хлынут через край, а может, благополучно погаснут. Как знать.

Частично переосуществить свободное время можно уже сейчас, хотя это будет не свобода, а усилие воли.

Общественное переосуществление свободного времени таким образом, чтобы у человека не оставалось выбора, свободы выбора: быть ему человеком или нет — это *дело* будущего, но *образ* настоящего, превращающий действительность в исправительно-трудовую колонию. Ведь выбор — уже несвобода, даже самый богатый, абсолютный. Свободное время может быть не только пространством развития человеческих сущностных сил, развития к абсолютной всеобщности красоты,

но и пространством истощения человеческой природы, бегством от красоты к исчерпанию человеческой сущности, утомлённости, усталости самого пространства, и убежища в безобразном, которое покойно и соблазнительно, не суетно. Бежать суеты. «На свете счастья нет, но есть покой и воля», «которых, к сожаленью, тоже нет» (Губерман). Человек загнан в угол: позади прошлое время, и выбора у него нет, но выбора нет и в свободе, в желаемом будущем. И там, и там он не выбирает. Это свобода *выбора*, а не *человека.* Только в нынешнем и бесчеловечность и человечность творятся сознательно, со вкусом, по выбору, по природе, по сущности.

Настоящее, как сиюминутное разрешение противоречия прошлого и будущего, является несовершенной свободой, мукой о красоте, временем упущенных возможностей, временем несбывшегося, тоской по недостижимому. В какой мере становление свободного времени есть само свободное время? В какой степени свобода есть разрешение и снятие противоречия? И будет ли она свободой, разрешившись? Наконец, что происходит с противоречием, когда оно перестаёт быть собой? Это — непротиворечивое противоречие? И получается, что «снятие» всегда абсолютно. Оно не абсолютно, потому что не «разрешается», не происходит и представляет утраченное, уходя в прошлое навсегда, но кажется абсолютным, потому что мы не знаем, что утратили, и что утрачено как возможность прошлого, но оно «было», не взирая на наше незнание об этом, и может в любой момент вспыхнуть случайностью и пойти в рост. Это не вопрос теории, а практический вопрос. Хотя занимательно подумать над тем, что мы действительно «знаем», что нам известно?

Но, по крайней мере, относительно свободного времени могу утверждать, что оно всё время пребывает в становлении, и одной с ним природы, независимо от предметности, от воплощения, форм наличного бытия и совершенства форм, в которых является. Оно всегда на пределе, само предел, и его «не похожесть», не соответствие ожидаемому делает его «неожиданным». Оно всегда «вдруг» о чём уже писалось.

Безобразность красоты на одном полюсе и безобразность как таковая — на другом, а между ними — свободное время — предел, полынья, всё расширяющаяся, растущая бездна (это страшно, потому что бесконечность не может расти), где распят, растянут человек на длину своей и чужой жизни, подлость которой не в действии, не в совершаемом поступке, а в расстоянии должного, между идеалом и сущим, между тем, каким бы я хотел быть и ***чем*** являюсь на самом деле, между тем, каким бы я мог быть, и тем каким до времени стал, во «что» превратился.

Распалина, расселина этого ничто — мера свободного времени, сокрушающегося о человеке (мера, сокрушённая о человека). Она гнусно этична, патологически нравственна до тошноты, но при этом абсолютно безразлична к человеку, который агонизирует в заданных пределах должного надлежащего сущего.

Поэтому мера — пора, расстояние, пространство, «объём» предела, вбирающего в себя и исчерпывающего всё человеческое, данный момент времени в данном моменте времени, обесчеловечивая (обесцвечивая, обессвечивая) его своим присутствием и уходом.

Это своеобразный «микрохроматизм» мгновения, который своим дроблением рождает всё новые и новые подробности: и идеал не похож на своё воплощение, и желаемое выдают за действительное, и в этом банальность происходящего, и самый потрясающий поступок, жизнь как подвиг, может выглядеть не так, как представляется, и невесело быть нелепым и смешным, хорошо, если в чужом представлении, а если в своём? И речь не о муках совести или стыде («стыд не дым — глаза не выест», но ослепить может), но помимо этого, есть ещё страх непоправимости и ужас от напрасности жизни — это не для слабых. Так что не знаю, что лучше: всё понимать, следуя Спинозе, или ничего не понимать, пребывая в счастливом неведении. Это как нелепый вопрос, что лучше: знать дату своей смерти или нет, пребывать в сознании или нет.

Свободное время первоначально становится как негативная величина, пространство без сущности. Сущность здесь присутствует (вернее, отсутствует), как выразился бы Плотин, лишь потенциально, не имея энергии для своего осуществления, и потому представляет лишь демоническую волю желания, вожделения иного. Но, когда оно случается, не достигаясь, не вызревая, чисто произвольно впадая в мир, то другим, иным, желанным становится тот другой, покинутый и оставленный.

При этом сущность нельзя мыслить, как некую отдельность, определённость от её происхождения и энергии. Поэтому первоначально в свободном времени, в его начале, которое уже есть, времени нет, начало (по Максиму Исповеднику) — не время. Свободному времени — ещё не время. Всё иное, другое, инаковое — только память о небывавшем, а чувства мечутся в ограниченной бесконечности между забвением и памятью, как чувства вообще (вотще), и потому бесчувственны. Я могу о чувствах не знать, но они уже есть. Я могу их никогда не узнать и не дога-

дываться об их существовании, не освоить, а они не явятся мне в жизни, но они есть объективно. Это как со знанием (со-знанием) — не тем непознанным универсумом, неведомым, которое мне пред-стоит, не бесконечным, непостижимым, о котором я даже не подозреваю, а тем «домашним», «ручным», приручённым, составляющим историю и культуру, и тоже непостижимым в каждом фрагменте, живущем своей грозной тайной жизнью, пока однажды не восстанет откровением, не распахнётся во всей бесконечности, во весь рост. И чувства, и память, и опыт существуют вне меня, иногда до меня снисходя.

Эти чувства — абстрактны и заняты собой. Любовь вообще — когда безразлично кого любить, и любить ли, но это выше собственности на целую любовь. Любовь вообще никакая. Все человеческие чувства сгущаются, клубятся в свободном времени, склубляются в себя, но сам человек их всеобщности ещё лишён, улавливая лишь одну сторону, пытаясь дотянуться до запредельного пространства по этим ниспадающим плетям, будто по струям дождя (столь стремительный рост), подняться чуть выше, идя на свет и потому обвиваясь вокруг лучей. Но историю развезло, как осенние дороги, и хляби времени разверзлись, не катастрофой, ливнем, грозой, а мелким, обложным, моросящим дождём. Время в своей абстрактности обрело абсолютную полноту и простоту бытия. Время — не человек. Но оно полегло, прибитое временем. Оно больше чувствуется, чем мыслится.

По крайней, схватывается чувствами, которые тонко перенимают направление времён, его рисунок, правда, и в «ту» и «другую сторону, как пересохшие русла.

Тем самым чувства превращаются в категории, которые изгоняются в сверхбытие, и тем бытие обнаруживают в его изначальности, нагой неприкаянности. Чувства жестоко подавляют человека, образуя некий «сонм» эйдосов, которые «прежде» себя, прежде времени, и являют свою двойственную природу, полностью идентичную природе свободного времени, которому временены, привиты, присущи, прищеплены. (Существенный вопрос: каким образом? — Образом дела.) Они временнее, чем кажутся.

Подобно тому, как эйдос человека предшествует рождению ребёнка, и тем делает целесообразной, телеологической всю его дальнейшую жизнь, превращая её в жизнь «по образу», и тем самым в подобие жизни, точно так же по аналогии происходит

развитие человеческих чувств, которые всю жизнь развёртываются к уникальности и неповторимости, и всё равно аналогичны, но свою «сдвинутость», «смазанность» выдают за алогичность и непредсказуемость.

С одной стороны, они превышают моё существо, как чувства всего человечества на всём протяжении их становления, но с другой стороны они со-ставляют, оставляя мне то, что осталось — не мои чувства, заведомо, даже если я ничего не чувствую и не следую никакому образу, порабощая меня отсутствием этой ущербной, частичной, но при-частности, частности и ничтожности моей жизни. Свои силы чувства черпают от всеобщего бытия совокупного чувства, где они не определены — растворены в безразличии духа, и собственно чувствами, которые — мои сущностные силы. Вот эта нетость, лишённость, отсутствие чувств (но они «должны быть» — это я усваиваю из опыта человечества, отсюда чувство надежды и ожидания, но могу не знать в личном опыте) порождает временные, временящие чувства — они могут являться, а могут и не являться, и в этом не-явлении — анти-феноменология их очевидности. Это бывает со всеми, например, с чувством музыкальности, художественности, философичности, чувством свободного времени, и даже с чувством любви. Разность потенциалов всеобщего и особенного. Чувства, которые я чувствую, и которыми я чувствую.

Время, даже свободное, может иметь временные основания, хотя время и вечность не противостоят друг другу, а идут своим чередом. Существо этой антиномии объясняется не природой свободного времени, а тем, что свобода и время антагонисты с разными сущностями, которые, тем не менее, вынуждены существовать в едином пространстве, образуя его и удерживая, тем лишая его неисчерпаемости и бездонности, делая его обжитым, но по ту сторону времени свободы. (Вечность и бесконечность — с ними поступают, как с вещами, только очень большими, как некоторые в Античности дерзко думали, и это был верх фантазии, почти сумасшествие и кощунство, что Солнце очень большое, огромное, почти как Греция. С ними нельзя действовать, как с чем-то соразмерным, хотя они и граничат с нами, но это мы так думаем.)

Кроме этих пределов есть неведомая *кромешност*ь (старорусское слово, имеющее значения «другости», посторонности и граничности. Кромъ — край, окраина, за которой потусторонность), и эта кромешность основанием своим имеет «другую»

сторону свободы и времени. (Что-то подобное происходит в опрокинутых друг в друга отражениях добра и зла.)

Это отношение кромешности и свободы, свободы и времени, порождает форму, живущую противоречием порождённого времени как меры движения, и движения как меры времени в порожнем времени. Время обретает видимость самостоятельности и пространство выступает простором, самим по себе. Но это иллюзия, хотя и существенная, потому что такого нет в естественных отношениях времени и пространства в природе. В *то же* время кромешность не имеет никакого отношения к границе (!), порогу, в полном безразличии к отягощённому, озабоченному свободой человеку и бесконечному в себе многообразию.

Здесь — самоотличающий себя предел, который и развивается, и длится, и пространствует, и сам есть переход, превращение, а не просто очерченная граница, разделяющая внешнее и внутреннее. В абстрактном «там» пребывает кромешная красота. Красота — катастрофа. Восстановление, восстание становления из распадающегося наличного бытия, которое есть «всего лишь становление сущности» (Гегель).

От этой частности, от этих «я», крошащихся под тяжестью жизни пространств, першит в горле и перехватывает дыхание. На самом деле, этот «расплав» бытия, его сверхтекучесть, не распадаются на «отдельности», не фрагментируются, не крошатся — просто «скорость» времени и «скорость» жизни уравниваются, что позволяет разглядеть «подробности» отношений и связей.

Неразрешимость этой проблемы сейчас не в том, что невозможно произвести необходимое количество свободного времени, а в том, что свобода и время соединены эклектично, насильно во внешнюю композицию в бубонных пространствах собственности, и потому распадаются, взывая к необходимости, пусть даже необходимости свободы творчества. Свобода множится и дробиться по временам, временами, и требует своего преодоления. Она желает быть ангажированной и работать на заказ, тайно желая несвободы. Свободное время желает быть «потребным», потреблённым, востребованным, а в нём *нужды* нет. Оно не может «объяснить», зачем оно, и «молчит», потому что нет «логики дела» — она каждый раз должна создаваться из ничего, заново. Большинство просто не знает, что делать со свободным временем. Никто не знает, как жить просто так.

Кокетливая, в рюшках и воланах, философия современности на довольствии, усилено занимающаяся макияжем, стремящаяся понравиться, забывает о своём почтённом возрасте, и о том, что может позволить себе не казаться понятной и доступной любителю. Она не обязана развлекать публику, скучающего обывателя, участвовать в шоу «Интересно знать», потакая низменным вкусам. У этой «псевдоподии» слишком «малодушная фантазия» (Чехов), тогда как у духа, переросшего самого себя, не страдающего философией преследования и служебным зудом, есть проблемы, которые трансформируются на глазах и совершают удивительные превращения. В нашем случае это проблема красоты и свободного времени, хотя это проблема реального развития, реальной практики, и без философии могут обойтись, но в этом случае, может статься, и без красоты и свободного времени — к этому всё идёт. (И разница в оттенках такая же, как между «всё пропало» и «пропади ты пропадом».)

Первоначальное формирование свободного времени делает его избытком формального приращения бытия. Его буквально «больше», чем *нужно*. Впоследствии всё развитие человеческого можно рассматривать только как историю свободного времени, вплоть до момента, когда оно становится последним, т. е. сначала *мерой* общественного богатства, после и последней *формой,* превращая его в ничто или чистое пространство человеческого развития без меры и масштаба, как абсолютное начало.

Но став свободным от политэкономической экспансии производства, став чистым пространством, свободное время оказывается незаполненным, нереализованным, и заменяется эрзац-свободой — произволом, которым время уничтожается, с одной стороны, и рекрутируется свободным рабочим временем (т. е. в виде такового и таковым) свободного производства свободного времени. Попросту начинает воспроизводить последнюю по времени схему производства (зацикливаясь), которая создала этот феномен свободного времени, когда оно, как форма, вернее, снятие формы общественного богатства, стало проблемой для самого себя.

Как лектон у стоиков, который существует и осмысливает это становление — оно присуще организму, разлито в нём, но не существует отдельно, как «огненное дыхание», пневма, «семенные логосы», оформленные лектоном.

Я «это» употребляю как метафоры, совершенно не научно, только как образы, чтобы показать, что современное понимание свободного времени так же чуждо сути дела, как и ассоциация с «огненным дыханием», хотя «организм» стоиков более точно схватывает понимание общества, которое вообще только выходит из стадии уровня механизма, а после — организма, должно ещё доразвиться до своей социальной и непосредственно общественной формы, более того, из мёртвого до живого, а потом до мышления, чувств и красоты. Это происходит и здесь-сейчас, и тогда потом — единый процесс. Но разница в том, что так же, как Декарт, которого дураком не назовёшь, объяснял механически «злонамеренными демонами, открывающими заслонки» некоторые особенности организма, так и нам ложно, грубо видятся, представляются проблемы свободного времени, сообразно «современному» очень сообразительному и смекалистому опыту, который быстро приспосабливается и приспосабливает идеи «по ситуации», а он плохой советчик, поскольку превращается в догму и вредную привычку.

Происходит своего рода перепроизводство свободного времени. С точки зрения ограниченного способа производства, его «избыток» становится пределом развития. С точки зрения становления, перепроизводство означает переосуществление, переделывание, превращение, а не перелицовывание — «наш век недолог, нас немудрено прельстить перелицованным старьём».

И не отсутствие времени, дефицит играет *роль* свободы, как сейчас, а впервые — переполненность свободой, сверх-свобода, делающая излишней саму свободу, что зачастую выступает как контр-становление. Роль есть роль.

Жизнь в свободном времени оказывается невыносимой, обнаруживаясь свободой смерти и избавлением не от необходимости, а от свободы. Достаточно пристально вглядеться в историю творчества, чтобы убедиться, что прецеденты уже были, когда художник не выносил собственной свободы. И вовсе не по слабости характера. Всё человеческое трудно.

С другой стороны, нет ничего страшнее незаполненного свободного времени — этой голодной бездны, где человек теряется (тиранится, казнится, «кознится») среди свободных пространств, стихий, поглощающих его без остатка, глотающих и глодающих его.

Отсутствие порождает абсолютное время времени, тотальную свободу времени, которое вовсе не стремиться к вечности — бесконечно большое время, без перехода.

Человек обречён быть самоцелью бесцельного развития, са-

моцелью бесцельного, но он не знает как, зачем — поскольку в свободе его *бывание* не оправдано, не обусловлено.

Свободное время должно быть переосуществлено и преодолено в вечность, а не просто «опрокинуто» в неё. Вечность просто уничтожит, не заметив.

И это можно сделать только преодолев чистую субъективность, субъектно-объектные отношения, готовностью к самоутрате как последней форме, «перемычке», отделяющей всё от всего. При этом «перемычка», мембрана, как в живой клетке — это тоже движение.

Но шальная мысль, а вдруг, разрушив форму своего «я», я уничтожу (не «уничтожится») многообразие, и наступит энтропия, и блёклый серый свет, то ли свет, то ли тьма, захватит вечность? Привычные отношения самодостаточности, умеренности, желания, чувства, привычки, милые подробности, пустяки, несовершенства и недостатки моего времени — всё исчезнет, растворится? (Они и так исчезли для будущего, и для других поколений невидимы и напрасны — они и не являлись.) И я медлю, жду, и этих сомнений мне тоже жаль, и этой жалости. И вовсе не хочется преодолевать «дуальность», дихотомию своей природы, дуализм, усиленный *свободой* свободного времени, но не моей.

Свободное время, как нечто ограниченное с одной стороны (сфера имеет одну сторону) — фрагмент, ампула, корпускула, монада абсолютного, инъекция вечного, впрыскиваемая в этот мир, обладающая наркотическими свойствами, в том числе и привыканием, и в нынешнем, безусловно, ведёт к прежде-временной (со-временной и после-временной) смерти уже при жизни, желанием избавиться от себя и от своего несовершенства.

А с другой — как непосредственным образом время — оно развивается не только за счёт развития человека и его преображения, но и само по себе, повторяя всю историю своего рождения.

В другое время и в другом месте оно может представлять вечность и бесконечность развития, без умаления, во всём «объёме», во всей кажущейся абсурдности (отсюда странные выражения вроде «монады абсолютного», что не более странно, чем «квант времени»).

Странность и даже «дикость», «диковинность» в том, что время как время опять во времени времён проходит всю свою

историю, от зарождения и своего эмбрионального состояния (как сейчас) до своей смерти, и, что самое удивительное, в любой точке, срезе оно — свободное время в своём совершенстве, своё совершенство, даже если его убивают почём зря.

Зародыш не похож на развитого человека, а свободное время на любом этапе развития — то же, но возможности у него разные, хотя не у времени, а у человека, действующего в нём и с ним. Свободное время присутствует, наличествует, бывает, пребывает, как энтелехия, но не энергия. Еле удерживаюсь, чтобы не всобачить, что свободное время как «семенной логос». Понимаю, что вряд ли будет это воспринято адекватно, но так это выглядит. Да и мы в каждый данный момент не похожи на себя и своё представление, не аутентичны себе, но воображаем, что в состоянии самоидентифицироваться.

Здесь становление не является мгновением, моментом развития, а развитие — абсолютным становлением, что тоже удивительно, поскольку становление само, оно алогично, иррелевантно (Лосев), оно до всякой формы, до наличного бытия, даже если это бытие ему предшествует, хотя и не пребывает в атараксии, не синкретично. Время — во времени. Оно «после» становления и даже «отстаёт» от бытия. И потому вневременное становление оказывается моментом, то есть временным, временящим временем развития, которое происходит в пространстве и во времени, превосходит себя и время, которые само же порождает, *становясь становлением становления*.

Отсюда и трансцендентальная эстетика, в которую разрешается философия, прежде чем стать обыденным мышлением «всего лишь» о том, как рождаются, развиваются и превращаются чувства в пространстве и во времени. Конечно, нельзя, в смысле, «негоже» видеть во всём становление — это грубо, но «годить» некогда, а угождать некому, и эта преждевременность, поспешность, нетерпение — попытка успеть само становление сделать инструментом хотя бы познания, раз уж удалось дорваться до свободного времени, его отблеска, раз уж привиделось.

В свободном времени становление и развитие не относятся. Поэтому время здесь вечно, но временно, оно развивается, но остаётся таким же, как будто время стоит недвижимо. Оно свободно и необходимо. Целесообразно и не имеет направления. Но субъектно-объектные отношения в нем погашены, и пространство пропитано временем, непреодолимо пронизыванием или обладанием. Оно не связано обладанием, присвоением, отношениями собственности, не предписано, не прописано, оно свободно от себя, как простор.

Только самоизменение до становления могжет обратить человека в человека, и потому свободное время преодолевается как предел человеческих возможностей, чистой потенциальностью, а человек призван из ничего породить энергию абсолютного, которая бесконечную потенциальность исчерпает, переосуществит в чистое становление, делающее невозможным и время, и свободу, и сами дифференцирующие чувства, не только в виду всеобщей актуальности.

Противоречие актуального и потенциального разрешается идеальным образом.

Такое возможно лишь чудесным образом, и этим образом является смерть, но не тупая, утверждающая суету и бренность, которая есть воплощение без-образности, а та, за которой скрывается бесконечная превращаемость движения, тем живущего, упраздняющего чувство нравственного долга перед вечностью, и, собственно, исчерпывающее развитие, погружённое в вечное становление, безразличное к результату. Конечно, дело не в образе и не образом, а в самом реальном процессе, который этим образом только представляется, за которым скрывается, прячется, и который является разделительным, символическим принципом всего. Смерть «играет от своего, *первого* лица» (Рильке), но может выступать и как «Я», как рождение, жизнь, вечность, бесконечность, время, свобода, в том числе и свобода от смерти, иногда становясь метафизической в своём бюрократизме, канцеляризме, деля живое и не живое, я и не я, внутренне и внешнее, даже верх и низ, горнее и дольнее, демонстрируя неумолимость того, «что всё, что возникает, заслуживает гибели», чем пытается заставить уважать, но тщетно, её забывают, а что о ней помнить? Она — самое банальное, что может произойти и происходит.

Но сделать я это должен через свободу, поверх свободы, по желанию, по деланию — «что поделаешь» А как желать то, что мне неведомо? И чего, в сущности, нет?

Получается, что чувства мои должны опережать самих себя и быть *прежде всего*, прежде того, что они потенциально могут почувствовать, и им *всё равно*, лучше сказать ***всё едино*** (ими едино и равно), что чувствовать в их стремлении к универсальности.

Но это всего лишь следствие снятия ограниченности, соразмерности развития, когда мера, последняя мера, «мера за меру», растворена в актуальной бесконечности жизни, оставившей для вящей полноты только естественные пределы, не являющиеся таковыми, поскольку они такие по природе, по эволю-

ции и истории (я ведь не чувствую дискомфорта оттого, что у меня два глаза, а не больше, как не чувствую дискомфорта, что у меня в распоряжении зрение всего человечества, да ещё вооружённого телескопами, микроскопами и постоянным арсеналом приборов), кроме того, я вижу то, что вообще недоступно зрению, в разных диапазонах и т. д. даже то, на что смотреть не хочется, хотя история знает примеры, когда ослепляли себя, чтобы зрение не мешало мыслить).

Исчерпав сознание, человек утверждает себя в чувствах (это я погорячился, в сущности, сознание и чувства не противоречат друг другу, противоречат, но не исключают, хотя в истории мордовали друг друга неистово), не нуждаясь уже в том, чтобы природа становилась «периферическим телом человека» (С. Булгаков), не нуждаясь в истории, и освобождаясь от навязчивого самого себя, от оцепенения формой. Красота престаёт быть идеалом, а становится родом, ничем не обусловленным и не детерминированным, поглощая всё пространство до и после идеала. Она и так в образе, воображаемом до бесконечности, беспричинна и непоследовательна, хотя может находить себя и в последовательности, и причине.

Не красота, а представления о ней менялись и объявлялись законосообразными, законопослушными законам, велениям, представлениям о красоте, законоуложениям о красоте, которая беззаконна. Именно поэтому она кажется неисторичной, не имеет преемственности, не может передаваться по наследству — каждый восходит к ней, сам забывая, что даже отпадает, отрекается от неё в красоте, от красоты, и по её «законам». Поэтому в человеческом мире властвует не её сущность, но её форма. В себе же она не различённа, не иерархична, и даже не ересиархична. Форма её — лишь мера моего видения, моего духозрения, духовидения, созревания, я зрею, вызреваю, и мне открывается ровно столько красоты, сколько красоты восполнено во мне мною, сколько я могу воспринять и почувствовать. Я постоянно решаю своей жизнью противоречие красоты и прекрасного. Но дело не в духо- или умо-, и не в восприятии, пусть всем существом, всей формой движения, всей общественной формой движения материи, всем миром (хотя слово это затаскано), и если убрать это «мне», этот предел, то я был бы полностью поглощён красотой и рассеян ею. Я — разделительный принцип, смыслораздел красоты и прекрасного, предел и того, и другого, и самого себя.

Таким образом, свободное время — место встречи человека и красоты. Но красота может быть, а человека ещё нет, или человек странствует в свободном времени, скитается без красоты, и всегда между ними — время. Причём чисто количественно, как «много» в старину, счёт до изнеможения, «вран», «колода», как «тьма», легион легионов, «неведий» «несведий», великий счёт, тьма великая, тьма тем.

Потому бросается в глаза прежде «всего» развитие отношения, как отмщение формы, которую приписывают красоте, а на самом деле отгораживаются от неё, ставят фильтры, капканы, ловушки. Улавливая красоту в форму, формой. Внешним образом. Тогда как в красоте форма не предшествует, а опаздывает, тянется, как пройдённый путь вослед, но эта протяжённость дана сразу.

Шлюзы свободного времени, этапы его развёртывания, градации его сущности непоследовательны, и потому изначально человек может тосковать в высших приделах свободного времени, или, наоборот, опускаться, хотя будет исступлённо развивать свои сущностные силы и пробуксовывать на месте, тяготея к привычному (когда невольно пишешь одно и то же, хотя кажется, что другое — ничего подобного, или сам не замечаешь, что уже заброшен в «невидаль», что реже).

Можно вообще никуда не стремиться, а всё время оставаться, целое время заставив покинуть, оставить себя в покое. Трудно одолеть последнюю меру, ибо это ты сам, и злые ангелы в тебе, и не обузданы страсти, которые куда ближе необузданной, стихийной красоте, нежели блаженные духом, и демоны сомнения (с которых начинается философия, им даденная на удивление и изумление — второе первоначало её, и они же отпевают её).

Вкрадчивая, злая красота — это не иная, а та же красота, но не эйдетическая, а потенциальная, развивающаяся, в отличие от абсолютной становящейся. И это отличие между ними, в котором умещается (умерщвляется) вся история: низкое и высокое, грязное и великое — се человек.

Здесь невозможны никакие логические построения, поскольку современная логика, психология и эстетика не достигают существа красоты, не касаются, их потолок, пределы не позволяют, красота всегда выше, и она не громоздится. Остаётся лишь созерцание, но оно не распознает красоту, даже не воспринимает удалённость. Красота иногда снисходит, задевает, вернее, её теофания, явление, но содержащее и греческое ἱλάρις — лучащаяся ясность

латинского hilaritas, немецкого и сконструированного Haiterkeit и русского громоздкого «светлая радость ведения», и всё-таки ускользающая со светлой печалью и сожалением.

Красота для нас догматична и не выводится из бытия, являясь в него неизвестным основанием, энергийным принципом развития, конечной целью. Если её нет, то всё напрасно, как сама красота. Она не наделяет смыслом бытие, но отнимает (отымает, имеет) смысл и даже жизнь — без неё жизни нет.

Воспринять красоту, *исходя* их неё самой — значит чувствовать её как утрату, исход, потерю, созидая расстояния — полноту и недостаток (лишённость) пространства. «Вот так мы и живём, всегда прощаясь» (Рильке). Покидая красоту — сотворяешь (отворяешь, а не отовариваешь) время. Свободное время.

Иными словами, красота — одним словом. Иначе — догмат, тотем красоты, поскольку она беспричинна в своём непосредственном бытии. Она не бывает *иначе.* Она не может быть, даже имени своего не знает, не *имеется,* не наличествует, не лепота — «здесь» красоты воспринимается в нуждающемся мире, как нужда, в случайном — делом случая, в необходимом мире является необходимостью, в свободном — как свобода.

Но только воспринимается, страдается по-разному — живёт же красота как негативная «та сторона», противостоящая и потому действующая силой. Т. е. в случайном мире представляется необходимостью, в необходимом мире — случается, а в свободном мире, который не детерминирован, кажется «внешней обусловленностью». Обусловленность безусловного и абсолютного, что невероятно, абсурдно, невозможно, и тем не менее. Обусловленность пуста в себе, имея основание в ничто. Потому никому в «земно юдоли» так и не удавалось вывести, обосновать, доказать, приговорить, приготовить мир к красоте, приспособить к ней, невзирая на мучительные попытки далеко не глупых людей. Не удалось это и Богу, вернее, при помощи Бога, поскольку для абсолютного существа красота была бы посторонней, чужой, не-объемлемой, необъятной, невыносимой, отнимающей отрицание, отношение и кончающей самоубийством в боге, заодно стирая его, сгоняя в беспамятство и безымянность страдания. Красота делает бога жалким без унижения. Умопомрачительная красота обыкновенна.

В свободном времени, порождённом неравенством, разделением труда, коренится червоточина, удерживающая от рас-

пада силы потенциального движения, не позволяющая дурной множественности разложить временную свободу, которую легкомысленно называют «свободой творчества».

Свободное время для того (,) чтобы сбыться и уйти в основание (,) должно уничтожить разделение труда, что ничего не решает, потому что и свободное время — продукт разделения труда, но не собой, заклеивая и соединяя стыки, суммируя, а другим, преодолев расчленённость мира, действительности, духа, красоты, искусства, философии, «я», форм, отношений и т. д., причём всех сразу, а не по одиночке. Вопрос: как? Да так, как это и происходит в преобразующей практике, где синтезируется свободное время в его историчности. Каким образом? — Образом свободного времени. Именем его. Шучу.

Расщеплённость, разность свободного времени, введённого в формальное единство дисциплиной необходимого времени, и потому страдающего от своей необходимости, принудительности, — эта разорванность приводит к тому, что человек, воображённый в свободу, знающий, как действовать свободно и что желать в свободном времени (что само по себе было бы великим чудом), возводит *отсутствие* необходимости в ранг необходимости. Тем он создаёт необходимые основание, полагая меру, как таковую, в качестве, во-первых, самих этих самых оснований, а во-вторых, самоцелью, тем устанавливая меру целесообразности развития вообще.

Действительно, ничего дурного в этом нет, хотя и вызывает беспокойство некоторый обывательский налёт презрения и брезгливости к мере, как к добропорядочному самоограничению, благонамеренному, законопослушному существованию. Для нашего бешеного времени умеренность, соразмерность — вообще недостижимый идеал, хотя и порождённый, ханжески декларированный веком. Не думаю, что в аду мечтают о рае. В аду мечтают о совершенном аде. Речь идёт о философской категории меры, а не о «разумных» потребностях.

Можно было бы сказать, что свободное время разорвано в клочья, но это не так — оно ещё только рождается, и его единство вместе с ним, сказал бы, что это как острова архипелага, — тоже нет, — экзопланеты, на каждой из которых своя эволюция, своя жизнь? — похоже, но не точно. Свободное время организует вокруг себя пространство, да оно, собственно, и есть таковым, но неоднородно. Оно в себе разное, но ещё не всеобщее, не «сплошное».

Осознав и эмпирически убедившись, что дальнейшее раз-

витие бессмысленно, да и происходит оно не в духе, а в единстве материи и духа, в материи, которая чревата ничто, вполне логично полагать красоту единственной мерой целесообразности развития вообще, представив Танталовы муки, Сизифов труд, бочку Данаид в качестве нравственного императива, и объявив его побудительным стимулом к движению.

Но этот катехизис красоты, декларируя нравственность на пустом месте человеческой души, вбрасывает, отстраняет человека в тотальное одиночество, ограничение, обособленность, пытаемое красотой, превращённой во внешнюю причину бытия и не слушающей доводы разума.

Жизнь становится невыносимой от красоты. До боли, до удушья. Красота, как единственная причина жизни, терзаема свободой. Необусловленная, беспричинная мера. Искусственный, внешний предел бытия, удерживающий мир в единстве мифа.

Мера исчезает в основании, она — не предел, а просто отношение. «Ну что тут поделаешь — человек, такова его природа». Она гипотетическая возможность и является только когда её нарушают, когда возникает вопрос, а не будет ли это чрезмерно, не будет ли это бесчеловечно? Не то, чтобы она стоит «на страже» «соразмерности, но для того, чтобы быть человеком, не нужны никакие запреты. Как писал А. С. Канарский, «Нравственность становится норовом». Так что игры в этику — уже вопрос решённый, тут исследовать нечего.

Странности и достоинства свободного времени: и то, что оно — бесконечно в каждом своём мгновении, и то, что безусловно, и то, что прекрасно, и то, что преходяще — всё нивелируется тиранической свободой красоты, властвующей над душой, и её порабощающей, покоряющей, подчиняющей душу, доколе свободное время — пространство развития. (Быть подавленным красотой — это нечто.)

Едва ли когда-нибудь человечество дойдёт до этой проблемы, но однажды понадобиться довести до исчезновения в основании и свободу, и время, и тем освободить, вызволить, высвободить красоту от необходимости быть мерой развития.

То, что в первоначальном развитии формы свободного времени декларировалось, как требование освобождения от аффектов, на его пределе оборачивается требованием абсолютности человеческих чувств, их аффектированием, аффектацией, «возгонкой», вернее, их развитием до невозможности любого

развития, до бесчувствия в смысле всечувствия, что тоже упраздняет их сугубо временную природу, снимая её в сущности переживания, которое невозможно пережить, и тогда оказывается, что развития и не было, все персонажи истории чувствовали одинаково, независимо от предметности, хотя и не руководствовались тропарём канонической эстетики с её акафистами, «неседальными» песнями красоте.

Так ли это? Знать не надо. Бессмысленно доказывать, что современник чувствует «лучше», тоньше, многообразнее, чем Сафо, Плотин, Данте, Петрарка или Пушкин, главное, что чувствовали, как умели. Хотя я убеждён, что чувства рождаются, живут, развиваются, стареют и умирают, — это можно игнорировать. Например, с пеной у рта доказывать, что чувства — вечны, и это наше всё. И это верно, хотя и не символ веры. Но теперь проблема в существовании чувств. Оказывается, без них вполне можно обойтись, и вопрос не в принудительной возгонке чувств или развитии, а в том, чисто техническом моменте их стерилизации и замене, как атавизма, более совершенной технологией ощущений, которыми можно управлять, уже не дрессируя, что хлопотно, а попросту сведя к «реакциям-раздражителям». Можно тома исследований написать, как это чудовищно, но это уже происходит. Чувствам некогда расти, они не успевают, хотя, казалось бы, по мере роста свободного времени, они могут вздохнуть свободно.

Красота судит человека, и принуждает, приговаривает его к пожизненной каторге, самого превращая лишь в образ, который — шутовское вожделение к переустройству этого мира, вечная неудовлетворённость, непорочная душа, непрочная, призванная служению и легко отдающая власть творения внешней силе, полагаемой, прилагаемой главенствующей вещью, требуя рациональной, удобной, прагматичной, комфортной красоты или отказывающейся от неё вовсе.

Для того, чтобы созидать красоту (хотя бы выдержать, стерпеть), свободу, человек осторожно желает («жадає» — *укр.*) быть «выше» и красоты, свободы, и человека, но только «будучи» им самим он вполне человек.

Таким образом, красота не спасает мир, а губит его во спасение, призывая спасть только идиотов («Красота спасёт мир». Князь Мышкин).

Наличие условий бытия свободы и красоты, предлагаемых свободным временем, есть условие только самих условий существования свободы времени и его свободы, но не свободы человека, и, тем более, не исполнения. Свобода не исполнима, не-

восполнима. Она и есть отсутствие. (В развитии до человека как раз «лишённость», «нетость» и выступает возможностью, будущим прообразом времени и свободы, и «идеального».)

Красота не принуждается волей, изволением, соизволением. Готовое, предугаданное, предчувствуемое, идущее, предыдущее, настающее и настаивающее пространство может так никогда и не дождаться человека, который никак не «вылупится» из «личинки» («маленькой личности») индивидуума, чувствуя себя в «коконе», «скафандре» своего «я» куда уютнее, чем в бесприютных, неприкаянных просторах свободы, на юру воющего свободного времени, которое представлялось цветущим садом, а оказалось цветущим адом. Прав Чехов, где-то заметивший, что только у насекомых гусеницы становятся бабочками, а у людей, наоборот, бабочки становятся гусеницами. (А сейчас — вообще простейшими, в перспективе — вирусами. Нет предела совершенству.)

Безусловная красота превращается в условное временное пространство? Усилием воли? У*вол*ьте. Усилие воли делает потенциальной даже актуальную красоту. Абсолютная же защищается именем (именем красоты выносятся приговоры) и не относится к человеку. Она утрачивает жизнь человека, теряя напрочь. Делает её остатком. Тем, что «видно будет». «Там», когда-то. И делит универсум при этом без остатка, тем самым рассеивая (а оно теряется и прорастает) время, внося его в бесконечность, вторгаясь.

Самое печальное, что вместе со своими представлениями, последняя по времени современность оккупирует и прошлое, паразитируя на нём, издеваясь, перевирая. Это как усы, пририсованные Моне Лизе. Стоит глянуть, что вытворяют с историей, с произведениями искусства — дело не в кощунстве, прямом надругательстве. Всё прошлое принадлежит настоящему, которое встраивает это в себя, как некогда христианство античную скульптуру в основание своих уродливых построек, но артефакты, чувства, произведения и время изменяются даже когда их не трогают. Какое-то куркульское, хозяйское отношение к прошлому, как будто право имеют. (Сейчас мне скажут «хозяин бы так не поступил.) Что хочу, то и делаю. Казалось бы — творите своё. Но нет: то ли пытаются избавиться, оклеветав, спародировав, заимствовав, то ли пытаются унизить недосягаемое — все эти цитаты в живописи, музыке, философии — это как страсть писать неприличные слова на античных руинах. Это патология. Упоминаю в сердцах, об этом можно писать бесконечно, и даже смаковать. Массовое явление и «личное дело каждого» — знаю, как к этому отнестись.

Свободное время, в котором всё это происходит, не изживает ни один из предшествующих оттенков, находится в ожидании, и то, что было, и то, что будет («чем сердце успокоится») без превращения, самопревращения, — хотя мутирует, но без превращения не сращивается, — только искажается, деформируется. Праздность и исступлённое деяние уживаются, вместе сосуществуют, не срастаясь. Свободное время диалектично и метафизично, порою формально и эклектично одновременно, и в этом времени два одинаковых, одиноких пространства (сколько пространств, столько времён и одиночеств) или, лучше, два «хронотопа» — разнородны по происхождению и по «веществу», разобщены потенциально и актуально. Хотя бывают случаи симбиоза, порождающего химер и монстров. Поэтому так трудно современному человеку дышать в «барокамере» свободного времени воздухом свободы.

Прежде всего вызывает антипатию полная недоказуемость и неочевидность произнесённого происходящего — голос чужой, и свойства пространства враждебны, с «чужого» своего голоса поёшь не своим голосом.

Напрашивается аналогия с «естественным» свободным временем и «искусственным», и у них разные источники, а может быть, оно несёт остаточные формы, как «культурный слой», включая осколки отношений, чувств, и оно эти обломки эстетизирует, а фрагменты пространства поглощает в своём течении, включая в себя без швов, но сохраняя «вкус». По крайней мере, мне непонятно, когда оно метафизично, когда диалектично. Иногда мне кажется, что свободное время всецело метафизично, как и всё, что — сфера духа, даже чувства. Иногда ясно видится невероятная диалектико-метафизическая природа, а порою, что вообще проблема свободного времени не существует, и знать об этом нельзя, и не надо.

И ни свойства, ни то, что происходит или не происходит, не может быть доказано средствами логики, которая сама стала алогичной. Произведение, независимо от своего материального субстрата и предметности, само не знает, во что оно превратится, куда произойдёт первоначальная идея, прорастёт ли тот «третий образ» (о нём писалось в книге «О Другом. Симуляция пространств культуры», Киев, 1996 г., глава «Третий образ»), который осознаётся в качестве начала, сняв с себя «триипостасность» «бытия-ничто-становления». Вносить поправку в мир всегда поздно, и потому третий образ — первообраз, оставивший время, совлёкший его, но влекомый им, как утраченная

«тварность», принимаемая, как признак «человеческого», как «человечность». Он нигде: ни в «до», ни в «после».

Кроме того, свободное время, принадлежащее двум природам, вечного и временного, является их границей, времяразделом, связью. Оно, именем того и другого, свёртывает-содержит в себе «временное абсолютное», которое в условиях раздельного (раздольного) властвования формы превращается в разрушающий и разрушительный момент бытия, выполняя работу по восстановлению ничто и возрождению (или просто латанию «прорех») попранной вечности, которая сама мыслится прохудившейся, ущербной, избегающей, ничтойной.

То есть, свободное время само — переход от времени к вечности и от вечности ко времени, который делает становление и развитие антагонистами, полагая во внешнее противоречие, а становление кажется превращением. (Философия тут занимается «художественной штопкой», пытаясь приукрасить процесс.) Они будто «забывают» о своей диалектической природе, и окаменевают, застывают, но так, будто этот камень стремительно течёт, струится, не меняя агрегатного состояния. Проходя, друг друга не задевая, насквозь, не взаимодействуя, не относясь, и своим несоответствием уничтожаются так, что в свободном времени исчезает проблема развития и становления. Они воспринимаются как синонимы, и действительно ничего не значат.

Вспышка и переполненность светом, преисполненность света, но ничего не видно. Ничто — не очевидно. И свет застит тьму — главную потерю.

Тем не менее, сохраняется и реальность, и ирреальность, всё без остатка, весь универсум во всех деталях, который застаёт, на этот момент прозрения, человек, хотя ему надо учиться видеть заново, — универсум настигает человека, но таким *образом*, что становится проницаемым и пронзительным по всем направлениям — всё престало оказывать сопротивление и сделалось пр*о*зрачным.

И одолеть осталось только себя, свою субъективность, укоренённую и укореняемую (укоряющую) прошлым, и длящуюся, тянущуюся, навязывающую свою длительность, нудность другому, в качестве постоянной величины, делая универсум переменным. «Река у нас внутри, вокруг нас море // а море — край земли; гранит, // в который бьётся…» (Элиот).

Отсюда — изменчивость настроений (наслоений) свобод-

ного времени, где всё возможно, даже невозможное. Это напоминает игру с листа, где диктуется темп, паузы, размер, но на самом деле это сплошная импровизация.

Здесь смерть медлит нас, на память забывая, и торопиться некуда. В этом-то и опасность, поскольку отсутствуют привычные миру отягощения: нужда, забота, необходимость, мера. Исчезает торопливое липкое чувство страха, боязнь не успеть, не состояться, не сбыться, ужас неполного сознания, «несуществующего», неистовствующего, «нетствующего» ожиданием неисполненности, страхом не реализовать цель. Исчезает пыль, поглощающая всё человеческое существо без остатка, отравляющая человеческую жизнь.

Уже нет ожидания, а равно нет надежды, и в этом ненадёжность свободного времени, поскольку результат всё равно ничтожен и не является самоцелью, а прорастание к нему ускоряется до бесконечности. Прорастание к свободному времени ускоряется до *бесконечности*, сливаясь с ней (и потому уже не к результату, а от него), впоследствии исчезает и это направление, заданное отчуждённым основанием (отсуженным и присвоенным). Исчезает даже собственно «впоследствии», вследствие: следование, постепенность, «эрго». Вечность не знает последствий. Ничто не следует из другого, поскольку нет другого. Иного не дано. Негативное чувство — не сбыться, не сбиться — превращается в превращение, а несбыточное, несбывание — в чудо.

Поэтому в свободном времени логика присутствия чисто внешняя, от времени — нет согласования. Или, что то же самое, она — «внутренняя», по «прихоти», спонтанная, хотя спонтанность не свободна, как и «хотение». (Вспоминается Багрицкий: «а поезд от похоти воет и злится, конечно, мой милый “хотится”, “хотится”». Сущность — от вечности. И время, и вечность привходящи, принудительны.

Свободное время — мера отношения, форма, граница, предел и того, и другого. Потому всё — в нём, «где бы ты ни находился», а найти не удаётся. Поэтому свободное время — сплошной поиск, искание, изыск, но уже не «сыск»: «где бы ты ни был» (был — значит прошёл, забыл за быль в небыль, в небывальщину, все быльём поросло. В какой точке пространства не пребывал — ты уже вполне сбылся. ***Кем*** бы ты ни был — свершился в своём совершенстве, независимо от того, действуешь ли ты

исступлённо в яростной погоне за собственной стремительностью, или вообще существуешь тихо, как растение, бездумно, покойно следуя течению жизни. Ничто не гонит за предел, и нет предела, определённости.

Попадая в свободное время, как чужое своей ещё первобытной природе, человек сталкивается со вседозволенностью, которая воспринимается как «дикость» и буквально может делать всё, что хочет (к счастью или к сожалению, хотеть он может ещё очень немногого). Но вот что именно он хочет? Неведомо, незнаемо… Нет повода, и никто не ведёт его по жизни в поводу. (Это я так бы хотел, на самом деле ему подсовывают ложные желания и манипулируют массами, как хотят, другие.)

Для того, чтобы такая самоубийственная проблема не стояла перед человеком, необходимо, чтобы он сам был соткан из осуществлённого (не *овеществелённого*, не опредмеченного, меченого) свободного времени. Тогда он не будет страдать физикой твёрдого тела, абсолютного чёрного тела в светоносном биении чистых сущностей, которые в свободном времени прозрачны и не останавливают свет, не превращают, хотя и скрываются в тени света, не отбрасывая тень на универсум, как его падение. (На самом деле, всё проще, и вряд ли драматизм момента будет замечен в непосредственном освоении свободного времени, в упоении самого действия, когда неудачи и победы не замечаются. Тут ошибочность и безошибочность не играют никакой роли. Не надо воспринимать написанное как руководство к деятельности, иначе невозможно будет ни на что решиться. Как бы ни действовать — лишь бы действовать, не оцепеневая в поисках побудительных мотивов.)

Свободное время — как великий музыкальный инструмент: скрипка Страдивари, Маджини, Гварнери, Амати, гитара Родригеса… Она есть, она уже создана — вся свёрнутая свобода человечества, концентрированная музыка, но человек не умеет играть, и лишь в будущем здешнее, сиюминутное, «ближайшее» свободное время (скрипка, которая восхищает только предвкушением, своими пластичными формами, возможностями), может быть раскрыто в своей сущности на практике.

Но не само по себе раскрытие изначальной пропедевтической логики свободного времени стоит грандиозного труда, ещё, быть может, более невыносимого, чем труд подневольный, ибо тут — неволя самой свободы, порабощение свободой, распредмечивание истории и переосуществление её в настоящее.

И труд этот до кровавых мозолей простирается во времени, превращая (претерпевая) свободное время в чёрнорабочее свободное время, которое, впрочем, срывается не с предметной формы вещи, предмета, а непосредственно с живого труда. «Черный дёготь труда» (Мандельштам) и превращает *свободное время в свободное время,* освобождая время от временности, свободу от необходимости быть собой. Свободное время может выступать принудительной вечностью и невыносимым «*это никогда не кончится*».

Человек только в свободном времени стремительно проходит всю историю человечества, и, наконец, порывает со временем (со временем не считается), хотя ему долго продолжает казаться, что время победило, как скрипачу, мучающемуся сознанием своей «несвободной игры», как художнику, сатанеющему в приступах поиска адекватных форм выражения, как философу, убитому не найденным во-время словом.

Я могу привести свидетельства великих скрипачей, тех, легендарных, которых не слышал, и тех, кого слышал сам: Ойстрах, Менухин, Стерн, Каган, Перельман, Кавакос… Я могу их перечислять до бесконечности, как и многих других музыкантов, многих художников, философов, композиторов, гениальных в самых разных сферах деятельности. Все они в один голос страдали от несовершенства, сражаясь с самими собой насмерть, мучаясь от бессилия. При этом каждый может играть, как Ойстрах. Ну, попробуйте. И ведь это речь идёт всего лишь о скрипке, о традиционной деятельности. А осваивать свободное время предстоит наощупь, вслепую, и это чистая импровизация, когда инструмент и приёмы игры создаются на глазах. Можно написать великую книгу неудач, которые стали гордостью человечества, но что писать или читать — проще самому попробовать, стоит только захотеть, хоть в малом, например, выучить в совершенстве древнегреческий и показать Ивику, как нужно писать — всё возможно, «нет ничего, чтобы нельзя», и только ты сам — последний предел.

Преодоление трудности времени не имеет гарантий и не обусловлено. Чистая субъективность распространяется насколько может, и человек оправдан лишь одним — сознанием, что он сделал всё, что мог, и немного больше — невозможное. В индивидуальном сознании это, безусловно, катастрофа (очередная строфа в поэме свободы о красоте). Кажется, Ван-Гог бросил едкое: «Преодолевая трудности жизни, можно ненароком преодолеть и саму жизнь». Да, Ван-Гог… Но любое действие, просветляющее сущность свободного времени, и восходящее через

преодоление своей тварности, трудности к самому человеческому его образу, не бывает напрасным, даже в самой напрасности есть чистота, которая недоступна никакой «победе», особенно в напрасности. Оно напрасно лишь поскольку не «встроено» и не необходимо, оно уже свободно и не напрасно, поскольку именно в качестве этой свободы интенсифицирует, приводит в действие свободное время всего человечества, детонируя его, делая перенасыщенным, «последней каплей», и тем сокращая путь остальным, избавляя от пут первоначальной овеществлённости, определённости, когда человек принуждён был «вещью изливаться», что приводило к разжижению мысли или обмозговлению действительностью. Хотя длинный и трудный путь может быть интереснее и короче, нежели сокращённый и лёгкий, но это понимаешь только со временем, когда хочется, чтобы это не кончалось, и ко времени относишься, как к ландшафту и пейзажу, красивому виду, не заставляя его «течение», выполнять работу, вращая турбины, отдавая энергию и универсальность превращения, текучести и подвижности. И нетерпение посмотреть, а что же дальше, не исключает напрасности и сосредоточенности восхищения с каждого ракурса, в каждом мгновении. Вот это «мгновение, постой, повремени», желание остаться — ещё одна опасность свободного времени.

Свободное время — как фрагмент, миниатюра отмеренной человеку вечности, измеренной в дознании, которое совершается в темноте, как в знаменитом стихотворении Леона Фелипе:

… И кто-то приказал мне: — Говори!
Припомни всё. Припомни, что ты видел.
— Не знаю. Это было в темноте.
Толкают… Чьи-то локти и колени…
И непонятно — держат или валят.
Всё происходит в темноте…
— Потом?
Рассказывай!
— … Выходим из пролома
навстречу снам… И медленно крадёмся
притихшими задворками кошмаров…
— Ты видел их? Какими они были?
— Не знаю… Словно траурные реки
в султанах чёрной пены… и плюмажах.

Нет, чёрные кладбищенские кони,
бегущие, бегущие с рыданьем...
— Рыданьем ли? Рыданьем или ржаньем?
— Кто знает... И вбегающие в море...
Одно я знаю точно — все кошмары
приводят к морю.
— К морю?
— К огромной раковине в горьких отголосках,
где эхо выкликает имена —
и все поочерёдно исчезают.
И ты идёшь один... из тени в сон,
от сна — к рыданью,
из рыданья — в эхо...
И остаётся эхо.
— Лишь оно?
— Мне показалось: мир — одно лишь эхо,
а человек — какой-то всхлип...
— И это всё? Какой-то всхлип — и только?
— В конце уже я слышал только всхлип.
— Но всхлип ли это был? Откуда шёл он?
Быть может, это были пузыри? (вспоминается Гёте,
«пузыри Земли» — *А. Б.*)
Толчок трясины? Ветер над трясиной?
— Не знаю... Всё свершалось в темноте!
(«Дознание», пер. А. Гелескула)

А это на всякий случай:

Interrogatorio

(Alguien me preguntó:)
— Dí. Recuerda... recuerda lo que viste...
— No puedo precisar... Todo pasó en la sombra.
Le empujan a uno...
Uno siente las rodillas de alguien que le aprieta.
No se sabe si para meterle o para sacarle...
Todo pasa en la sombra...
— Algo más... Dí algo más...
— Salimos por el boquete que da al sueño...
y comenzamos a caminar por el callejón angosto

y apagado de las pesadlllas.
— ¿De las pesadillas?
— Las pesadillas son ríos negros, de espumas negras
y eh penacho...
Yeguas funerales y erizadas que se meten sollozando.
— ¿Solórzano o relinchando?...
Desbocadas en el mar... Por las pesadillas se sale al mar...
— ¿Al mar?
— El mar es un caracol ronco y amargo...
con un zumbido opaco y lejano que dice nuestro nombre...
y por donde todos se pierden.
Y va uno... y va,
de la sombra al sueño,
del sueño al sollozo,
del sollozo al zumbido...
¡Todo es como un zumbido!
— ¿Cómo un zumbido?
— A mí me pareció que el mundo era un zumbido...
Y el hombre... un hipo.
— ¿Un hipo?... ¿Sólo un hipo es el hombre?
— Un hipo en la noche me pareció a mí...
Al final yo no oí más que un hipo...
— ¿Era un hipo aquel ruido?
¿Quién vió de dónde salía?
¿No eran burbujas?... ¿O el ruido del légamo?
¿El ruido del viento sobre el légamo?
— No puedo precisar... ¡Todo pasó en la sombra!

Свободное время обладает абсолютной потенциальностью и избыточностью, но представляет собой полноту возможности, являясь всецело действительностью, ошибочно принимаемой прагматичным рассудком за «оперативный простор». Я привношу временность в спокойное бывание свободного времени, но это основание для меня есть актуальная потенциальность и безусловная энергия, упразднившая даже силу, необходимую на преодоление собственной свободы.

Более того, для свободного времени я тоже являюсь лишь возможностью стать таковым, воспрянуть из небытия физического времени, растворённого в вечности в качестве материи, праха, ничто.

Поэтому в той мере, одной единственной, в какой свободное время есть пространство человеческого развития в этой единственности, и я, в сущности, не по форме являюсь развитием свободного времени и универсума, как период «сжатия», в единичности представляя целое и всеобщее.

И человек, его «я», мера, красота, время — всего лишь «кромъ» (край, прочь, опричь, в сторону, вон — значения исконные, старинные), «кромъность» — внешность. Всё — одна граница и один предел. Он же –«кореніе» — корни, волхвование, осуждение, основание. Укорять и корениться из одного корня. Пределы сами, как корни, ветвятся — «вгрызаются» в глубину — всё непостижимое разнообразие, «ключимое иноидь человека» т. е., «за глаза», в отсутствии оного, в отсутствии иного. Не как утрата, а как не обретение, не возникновение и невозможность.

Это — причинение, ускорение человека самому себе, как другое, отмыкание пространства и мыкание в нем. Причина без причины, не-чаянно. Другой — ты сам, один, сам-друг. *Одно* за *другим. Один* в *один.* Созидаемое чаянием «отчиняемое» чинимое одиночество.

С наступлением свободного времени как сущности времени вообще, т. е., абсолютной временности, *которая* — предвосхищение человека красотой, человек обращается в себя. Обращается собой. Превращается. Но первоначальный смысл этой «которости» отнюдь не кроток — «кото(а)ы» — «вражда», «распря».

Эйдос красоты, как меры предвосхищения (*предпохищения*) человека оборачивается пределом, так как у красоты во времени иные свойства. Бытие, зависящее от красоты, не может быть абсолютной действительностью, определяясь возможностью, существующей лишь потенциально, и тем требующей оправдания актуальностью.

Этим определяется самотождественность свободного времени, которое было бы вечностью, если бы действительность его не полагалась и ограничивалась деятельностью, производящей его на свет в качестве свободного, как напоминание — укоризной и стыдом человечества, отказавшегося свободно от собственной свободы, и тем заставив пребывать свободу во *временной* форме. Иными словами, *явлением* в ряду казуальных причин, действительностью свободы, возможностью, свободной причинностью. Что заставляет время являться по всей видимости.

Т. е, свободно время ещё не само по себе, а «пристаёт», прирождается, привязывается к пространству, «оседает» на нём, проступает временем, как его возможность быть пространством (возможность времени быть пространством? или возможность пространства быть собой? и то, и другое, и третье, возможность пространства быть временем — все-возможность, во всём многообразии). Тупик времени, которое остаётся, в сущности, временем, но изменяет своё «агрегатное» состояние, в зависимости от «поры» времени же.

Время «замерзает» и «перестаёт» двигаться, вещественно, по образу оставаясь собой. И эта «льдина», оторвавшийся береговой припай, рухнувший айсберг вечности передвигается целиком, замораживая в себе целые эпохи, которые дрейфуют, мигрируют вместе с развитием, тащатся в его течении, отяжеляют его, но ему не принадлежат, сохраняя между собой дистанции и пребывая в анабиозе, или сталкиваясь и крошась, разваливаясь и рушась. Здесь оно в своей «твёрдости» само по себе — разрыв времён, и тем — сплошность, которая, однако, разная с собой по напряжениям, по веществу, обретая ритм, биение, размер, не навязанные свободой необходимости, её работой, не свободные от прикладного времени, хотя и дрейфуют с ним, намертво вмерзая, примораживаясь к нему.

Время становится подробным, воображаемым, и в каждой точке — абсолютно подлинным, полным в каждом мгновении (но держится посторонней силой чужого содержательного свойства, оно полагает в своей точечности, что если бы не холод, то рассыпалось, растаяло и осуществило, обрело свободу, на самом деле, растеклось бы, превратив, *прервав свободу в движении, движением*), что ускоряет и заставляет суетиться, мельтешить, буйствовать и торопиться, хотя торопиться некуда, и эта оторопь ставшего движения, волнение — только мёртвая зыбь времени. Время в отношении с собой. Оно не дотягивается, не поспевает за собой, опаздывает и, напротив, пробрасывается и медлит, всё в ожидании невесть чего, «долго ли, коротко ли», и тогда развитие идёт «вспять» относительно преждевременного времени.

Иными словами, сокращение необходимого рабочего свободного времени не увеличивает свободное время, а сокращает меру его обращения, увеличивая «плотность» и изгоняя в неодномерность и неоднозначность.

Свободное время обращается в последнюю сущность времён, и, подобно тому, как начало времени не есть время, так и его окончание им не является. Явление является сущности, восходя ей навстречу. Сущность без явления, Время — не в вечности, а в безвремении. Время против времени. Время сворачивается, и горе тому, кто оказался в это временной слепой кишке вечности. Пространство выворачивается наизнанку, и воспринимаются, искажая видение, лишь его сокращения, меры, конвульсии. Время кончается и канет в человека, канает в нем, а он творит под давлением (в тысячах творческих атмосфер) времени, но творчество это далеко от жизни (смысл его — в этой дали, удалённости, расстоянии), так же, как уголь для рисования, пережжённое дерево без доступа кислорода далеко от живого цветущего растения в его временной эволюции, и столь же далеко от эйдоса, того, что мы хотели бы изобразить совершенным образом. Далеко, как уголь от рисования и алмаз от графита. Человек далёк от себя на расставание всего времени, на расстояние пространства.

Современный человек «пережигается» без доступа времени необходимости, и тем обретает творческую возможность в обмен на жизнь. Уголь, посаженный в благодатную почву, не прорастёт, не выбросит побег, но может способствовать другим, идущим во весь рост, а в свободном времени, при предельном давление необходимости, может превращаться в алмаз, меняя структуру, но неизвестно, что лучше. По мне, невзрачный росток интересней и удивительней любого алмаза.

Любой поступок, любое действие в свободном времени оборачивается творческим актом. Даже времяубиение требует таланта и фантазии. Восхождение это по мере красоты к возвышенному, или затаённая радость самоуничтожения, схождение, падение к низменному, неизменному, земному, и тем осознание меры своего падения. И это осень творчества.

Вспоминается Рильке.

ОСЕНЬ

Листва на землю падает, летит,
точь-в-точь на небе время листопада,
так падает, ропща среди распада;

и падает из звёздного каскада
отяжелевшая земля, как в скит.
Мы падаем. И строчки на листы.
Не узнаю тебя среди смещенья.
И всё же некто есть, кто все паденья
веками держит бережно в горсти.

(Перевод В. Летучего)

И это ты сам всё удерживаешь, а не «вне мира ютящееся существо». Ты сам — Некто. Но тут никто не держит. И падение — это свободное падение — полёт.

В любом случае, в любом разе (случайность — р*а*зова) — это привнесение собственной случайности, свободной и от свободы, и от красоты в качестве единственной точки отсчёта в актуальную бесконечность, и «я» есть последний предел и времени, и вечности, и красоты, и истины, и другим, и другого — оно и есть «другой», и тем — единственное расстояние, трансцендентность как таковая — чистый образ неприятия красоты во времени.

Для красоты — ещё не время, и это *пока-не-обретённое-пространство* и есть свободное время, как чистая возможность, которая не более, чем я. Любое моё действие есть одоление возможного, размноженного пространства, а значит, и себя, и времени (коее, как абсолютная возможность — одно, а как абсолютная действительность — другое, а как абсолютная действительность-деятельность — «то же и другое», не иное, и всё это одновременно, но не синхронно).

Всё становится актом творения, но цель творения не преодолена, не определена, цель — не достигнута, не постигнута, не воплощена, хотя обусловлена нуждой и заботой, «ино-свободой», несвободой.

Поэтому человек вполне может творить, творчески созидать свою смерть, выстраивать (вытаивать, стаивать лишнее, выявляя проступающие проталины смыслов, делать неутаённой, непотаённой, неутолённой) чужую красоту, или столь же истово, с восторгом — создавать гнусность.

Во времени нет нравственных ориентиров, ограничений, окончаний (по окончаниям время согласуется), хотя нравственность — дело времени, и первоначальное, ошеломлённое

открывшимся пространством свободного времени, творчество упивается собственным оргиастическим, дионисийским (диалектическим) буйством, экспериментируя на себе, на всём, что под руку попадёт, упоённо, самим фактом вседозволенности и отсутствием нормы, кажущейся независимостью от времени, не очень осознавая ***значение*** открывшегося, которое очевидно, но не видна красота — она не имеет значения и назначения.

И нашкодившее сгоряча, натворившее творчество понимает, что тут оно неуместно (не то, что не умещается и не стоит на месте, а просто пространства слишком огромны, а оно такое жалкое и тщедушное), съёживается и начинает лихорадочно выстраивать против безмолвия крепость-хижину, чтобы укрыться в «халабуде», пытается загатить образами открывшиеся бездны, которые не только «вниз», но «вверх», вокруг, везде, пробует заговорить, лепеча что-то невнятное о свободе художника и о его предназначении, ответственности перед миром, с которым «рай и в шалаше», и о «лучшем из миров», о своём видении, которое не видит ужасного в своём существовании на правах распорядителя, специалиста по ритуальным услугам, модератора, вроде тех жутких тёток с зычными голосами, провожающих в последний путь и зачитывающих биографии покойника. «Зрение вытерто. // Сердце обмыто. // Анатомировано. // Исход летальный…»

Пейзаж, открывающийся горожанину — более пейзаж и ближе к живописи, чем то, что видит коренной житель, зато местный взгляд свободней и естественней, не захватан, не охвачен (но теперь это не имеет никакого значения). Ещё тоньше и острее — пространственное восприятие художника, которое на себя и наталкивается, и притупляется корыстью, чисто профессиональной, охотничьей сноровкой, желанием выследить, отследить образ и освежевать его.

В любом случае, до живого человеческого чувства ещё очень далеко, едва ли не дальше, чем во всей прошедшей истории, которая стоит между чувством и предметом, даже между взглядом и предметом, и вся застит глаза.

Ведь тот же скорбный путь становления свободного времени и человеческих чувств следует пройти за один переход, в одной короткой человеческой жизни, и уже не закрывая глаз, их не опуская, спонтанно, и видя всё, и далеко не безучастно (никакой атараксии, иррелевантности, «адиафороса», скепти-

цизма, стоицизма, цинизма, эпикурейства — спасенья нет), испытывая всю боль прошедшего и будущего мира, океаны боли, не теряя сознания и не прикрывая глаз воображением.

И это надо сделать в одиночку — такова трагедия нашего настоящего, что мы оказались на переломе времён в разломе перехода от необходимости к свободе, между прошлым и будущим. Но так во все времена. Прямая линия состоит из точек перегиба. Любое время в преломлении, на изломе.

Избыть всё время, и что дальше — неведомо. Это незаконнорожденное одиночество не имеет надежды даже на оправдывающее или порицающее судилище потомков, даже на сочувствие. В полном безразличии, как искуплении своей, а не чужой вины за причинное время, за избыточную, избегающую, неизбежную красоту. Здесь нет приговорённости к красоте, есть трагическое неведение, абсолютное сознательное незнание бога, страдающего амнезией и прогрессивным параличом, старческой деменцией, но сохраняющего свою творческую силу, творящего невесть что. Потому любой случайный образ, любая тёмная, затаённая, недобрая, неосознанная мысль немедленно обретает действительность, воплощается, становится реальностью, которую невозможно упразднить, отменить, уничтожить, тем более что существует она и во всех модусах бытия, не теряя воображения, и в образе без понятия, непосредственно в основании.

Время само неудержимо распадается, теряя свой облик, возвращаясь в (к) ничто, превращаясь в него, и это раздающее разъединение цельности, зависящее от цели, меры, числа, приводит к тому, что утрачивается дух связи, так, что всё теряет направление и основание, существуя по себе, как чистая форма, она же чистая сущность.

Всё — в первоначальном разобщении с собой, и в примитивном свободном времени, совсем ещё не знаемом, непривычном, и в чуде, где всё увлечено самобытностью, открывшейся собственной отличностью, «другостью», несходностью, непохожестью, «новостью», первозданностью и чуждостью своей прежнести, её имитационной, демонстративной форме, так, что превращённая «форма», «первообраз» всегда оказывается в прошлом, и время, исходящее от него — чужое. Прошлое пред-стоит.

Многослойность, неоднородность свободного времени соз-

даёт разрушительную, слепую ярость антагонизма, как момента *разрешения* всех противоречий, их «*разрушения*» в их же предметности, и осуществления чистого пространства, страшного своей спокойностью, без хоровода, «ликования» времени. «Ликъ» — собрание, совокупность, хор, χορος, хоровод распадается на образы сущностей, застывших в холодной отрешённости собственных одиночеств, которые им предстоит ещё исчерпать, как самобытную свободу до последних пределов в их первосущностях.

Утрата центра тяжести порождает утрату предела. Он начинает произвольно метаться, при этом теряется мера и градация, поскольку нет низменного и неизменного, и любой, застигнутый врасплох в своей данности — образ, не больше и не меньше, чем он есть на самом деле. Деланный образ.

И лишь одолев эту самодостаточность индивидной единственности, которая есть результат разобщения, скованного смертью, объединяющей и объективирующей всю жизнь человеческую — только тогда преодолён промежуток самого себя, просвет между сущим и должным, вечностью и бесконечностью, сущностью и существованием, я и другим, между временем и свободой, вечностью и смертью, ложнодиалектическими противоречиями, т. е., упразднена эклектичность и разобщённость мира вещей, но не тотальным уничтожением разнообразия, единообразием чувства собственности, а тем, что сам есть чистое общение, не ограниченное формой, ставшей излишней. Свобода становится «лiтием сърдъца» с его широтой (и долготой).

Но человек здесь имеет дело не с онтологией свободного времени, а с образом его отсутствия, другими словами, красотой как мерой, узаконенной, сообразной и гармонизированной (*гормонизированной*) темперированным стремлением к ней, что предполагает измеримую человеческими мерками красоту.

Гормоны времени делают современное представление о красоте в творческом моменте мужеподобным. Для того, чтобы создавать в нынешнем времени нечто гениальное, женщина должна перестать быть женщиной в безжалостном моменте творческого труда или, что то же самое, культивировать гипертрофированную женственность, то, что «нравится» мужчинам. (Хотя порою женщины охотно сами культивируют миф о том, что женщина — «отражённый свет», и что они любить

не могут, или, что то же самое, что «только женщины и умеют любить». Сейчас вообще уже отказались от чувств — так проще. Бред о войне полов, и о какой-то особой субкультуре женщин и мужчин. Это гендерные предрассудки, которые усиленно взращивают. Они сродни расовым или выдуманной Гегелем диалектике раба и господина.)

Нет женщинам снисхождения, и фору никто не даст. Общество мало того, что эксплуатирует их наравне с мужчинами, так ещё и нагло ворует у них свободное время, так, что они задавлены в большинстве своём так же и непроизводительным трудом, бессмысленной бытовой деятельностью.

Но в творчестве нет разделения труда по половому признаку, и инъекции свободного времени — та первичная наркотическая сила, которая со временем изменяет не только подавленные чувства, но и покалеченную хилую физиологию, вторгается в область бессознательного и просветляет уже сейчас настолько, что все теории, от Отто Вейнингера, Фрейда, Юнга, Фромма, до современных поклонников и адептов психоанализа и прочих, могут относиться к переходному этапу от животного к человеку, к заведомо ложному, не без умысла, взгляду на природу человека. (Удивительно, как при современной распущенности умудряются носить «корсет» идиотских представлений о проблемах пола. Дремучесть зашкаливает. Это подобно тому, что кто-нибудь отстаивал бы запрет на мытье рук.)

В свободном времени человек теряет инстинкты. Навсегда порывая с животным, со зверем, и просветляя, очеловечивая тёмные стороны своей души, уходит в себя с лихвой («лихва» — старинное «рост»). «Ага! Значит, тёмная сторона есть?» Есть непознанная.

Тем самым это стремление является изгнанием в мир, лишением образа, а красота становится надвигающейся старостью, смертью свободы и человека, как «вещей» конечных, распаляет собственные чувства, и в их тёмном пламени сжигает время, создавая грешную (по меркам данного, давнего, застигнутого врасплох, разразившегося временем мира) красоту. Дистанция сокращается: красота как мера целесообразности развития вообще; красота как мера целесообразности; красота как мера цели, или целью; красота как мера; красота как… Красота.

Желание быть и нежелание быть совпадают, сходятся. «Те-

перь сходитесь…» Сходятся к одному. Дух может сколько угодно рваться на части или пребывать в спокойном единстве. Он не овладевает пространством, подставляя себя ему, как пространство самого пространства, освобождённого от тяжёлого убранства предметности, придавливающего распахнутость и открытость достигнутого ничто. Ничто как простор. А это и есть юность. «Необходимо прожить тяжёлую жизнь, чтобы научиться быть молодым», — говаривал Пикассо. Т. е., нарушая законы красоты, уничтожая гармонию, образ, меру, число — разрушаешь плотины, защищавшие твою низость (низменность, низины) от её уровня, который, конечно же выше ординара, и красота перестаёт сдерживаться, ввергаясь стихией неистового порыва навстречу человеку, сквозь подведённое (наведённое, как галлюцинация, морок) свободное время, которое первоначально носит отрицательный характер, являясь не существом этого мира, с точки зрения красоты вообще не существующего.

Свободное время нехотя является, как покушение на сущность человека, заставляет видеть сущность в другом.

Понукание временем, принуждение, куцесть человеческой жизни преодолеваются не как искупление вины человека перед красотой за собственную несбыточность, не назидательным бдительным окриком оправданной и оправдывающей реальности, заставляющей приходить в себя, а такой же не предустановленной, неистовой, не помнящей себя яростью, что и у красоты, прорывающей все запруды.

Человек не подгоняется историей к красоте, и не подгоняет, не приторачивает историю к ней же, используя выносливость свободного времени в качестве вьючного животного. Время «несёт».

Человек не сторожит свою культуру, не охраняет и не относится к красоте как к объекту, тут же теряя свою субъективность. Вот тогда и выясняется, что у человека с красотой единая природа, одинаковая и одинокая, а это стремительно сокращающееся расстояние есть образ потерявшего сознание чувства, чистая форма. И полнота наступает по мере одоления расстояния свободного времени, чистой энергии чувств, упраздняющей, заполняющей образ обоюдоострым порывом. Увеличение свободного времени как пространства развития есть сокращение рас-стояния красоты и человека. Размежевание условно. «Между» границы нет, и нет расстояния от красоты

к человеку и от человека до красоты, но некое условное пространство «ощущается», поскольку от красоты до человека и от человека до красоты — «не равное» пространство, хоть человек и красота пребывают друг в друге, вызревая и не замечая «разности», «разницы», происходят, становятся друг в друге — она не пролагается, не пролегает, как единое пространство развития одного и того же.

Образ и есть временной тупик (тупик для времени) — всё, что после образа, не может избежать его притяжения и самопревращения в образ, но это всё — помимо движения, как его призвук. Обертон.

Происходит нагнетание времени, его «удельного веса», плотности, и в этом принудительном единстве всё прошедшее и вечное стремится к последнему одиночеству, монадности, утверждая при этом распад и тлен вечности, которая захвачена, принуждается временем рассыпаться на в себе-сущие-мгновения, воспроизводя время же.

Здесь обретается тождественность, себеравность, но даже эти последние границы вбиваются, вколачиваются в сущность, тем самым изгоняя её и *переставая одиночество*, перестаивая его, переставая быть. Одиночество, преставшее быть собой. Последнее одиночество становится сверхпроводимым, сверхчувствительным, сверхвосприимчивым, сущностью общения, теряя *в прочем* и свои свойства, и условия своего существования, и собственно сущность. ***Всё время*** — не одиноко. Оно — всё время. Им — всё время.

Понятия теряются в последнем времени и тонут в себе: свобода — есть свобода; красота есть красота; человек есть человек. Здесь не предполагается, не обусловливается существование друг друга, равно как и не существование в этом равнодушии и безразличии. Понятия мертвы, но жив образ: свобода — не является свободой. Красота иная самой себе. И человек только кажется себе человеком. Человек — как (будто) человек.

И это абсолютное движение становления рассеивает образы в образе времени, взаимоопределяя без причины, утверждая взаимонеобходимость свободы, красоты и человека таким образом, как необходимость иного собой, как самодостаточность.

Утрачивается патология нашего мира, пагубная страсть к старости, к времени, которое *никогда* не будет будущим. Болезнь прошлой истории, как алкоголизм.

Обращаясь к истории, не останавливают, а искажают время. Так, видения далей — лишь констатация того, что ты не здесь, там, не досягаем, мимо — не живость, а лживость историзма, обречённого на предзаданность движения. Но в тоже время ты здесь, как говорил Гегель, «на безопасном берегу». Отсюда «одуряющая сентиментальность» (Ф. С. Фицджеральд) чувства истории, которым опьяняются, чтобы, забываясь, не забыться, а на самом деле теряют сознание и забываются. Ложные наведённые галлюцинации. Но реальность того, что в самом деле происходит, ещё поскудней и ненадёжней. Не дай бог видеть «по истине». Это не боязнь (времябоязнь, как водобоязнь, бешенство) истории, не робость, а просто невыносимость и тошнота от пошлости этого зрелища. Цирроз необходимого времени.

В свободном времени совершенно не необходимо, чтобы в дальнейшем полагании это полагание, «прологание», пролог, полог, «межень», были первыми во времени, не определённом докучным бытием будущего. Чувство красоты вместо красоты, человек, будто человек, свобода, словно свобода. Критерии в своей необходимости случайны и произвольны, будто человек до сих пор был только мыслящее, а не чувствующее существо.

Однако вновь восставшее, воскреснувшее из праха разума чувство не следует эмпирическим законам, и потому, как иностановление, не подвержено определению временем в качестве предшествующей или последующей причины, причиной. Тем, согласно гениальному провидению И. Канта, динамическое состояние прекрасного временно-вневременно, поскольку сущность его предметности вынуждена обретаться в явлении и быть обусловленной его совершением (и потому законы красоты существуют), и в том же отношении не определять явление безусловной причиной, начинаясь спонтанно, самопроизвольно, но не полагая даже в негации начала, не являясь, и всё же пребывая вне ряда явлений, без оснований, вне предшествующих состояний (и потому законы красоты не существуют и для красоты не писаны).

Гипертрофия чувства в предвосхищённых пространствах свободных времён заставляет красоту «быти въ имени», находиться пол властью «лихвы» (ещё одно старорусское значение — «произрастание») «вожьженіемъ блгхъ помыслъ источающеє нако кринъ присно чстыіа воды слєз». (В рукописи было написано уставом, как положено, однако стилизация

не получилась, хотя весь текст — постановка). Эта затаённость, неудовлетворение самой неудовлетворённостью, жажда жажды, тавтологическое бытие во временном тупике отражённости, отброшенности, отрешённости в себя, делает образ проходимым только в одном направлении.

Образ не взаимообразен.

Красота — как преступление. Она и есть пре-ступление, с точки зрения настоящего, утверждающего в ней «предел метаний», последнюю границу помыслов, а тут: «заступ», «дерзко взглянули за предел», молниеносно.

Человек начинает исходить из свободы, как некогда из небытия, влачась к красоте, влекомый исключительно разрушаемым, свершающимся образом. Душа уходит всё глубже в себя, поскольку, по мере приближения к красоте, человек, именно по мере её, красоты, отбрасывающей его в тёмные глубины себя, «возвращая», не принадлежит, и потому не очарован свободным временем, в свободном времени, это свободное время одухотворяя, одушевляя, наделяя именем своим, собой, как действием, создавая напряжения и разряжения, всю неоднородность свободного времени, его непредсказуемость — человек и осуществляет собой, своей способностью быть собой-другим.

По мере приближения к свету тени обретают сверхплотность, осязаемость, и сгущаются во тьму, изменяя состав времени и пространства. Человек, как тень, озаряемая красотой, откидывается назад, в прошлое, в себя, опрокидываясь и подпираясь тенью своей, тенью тени накрывая прошедшее.

Здесь всё вдруг. Сверхтвердь. Твёрдые стены, скалы, перегородки, пределы оказываются свободно проходимыми, не оказывают сопротивления, но тень от промелькнувшей птицы пробивает навылет, как пуля, а цветы прорастают сквозь асфальт, бетон и подошву. Падающий лист достигает тверди земной и продолжат падать сквозь поверхность, сквозь землю.

Душа отпрянула, отшатнулась назад, поскольку не знает наверное, что может впрямь узнать красоту, и следует уходить в себя, прятаться, скрываться, отступая к последнему пределу не вовне, но совершая побег от красоты, пока сама она себя не обнаружит и не сотрёт, растворит, раств*а*рит, сотворит случайные непроницаемые чувства, такие тяжёлые чувства любви, красоты и свободы, как бывшие слёзы, старые чувства, отбрасывающие такую невыносимо грузную тень, что её не при-

поднять, и она отзывается эхом на каждый помысел или движение. И тогда всё известное нам, как «Трактат о душе» Аристотеля — всё — надо начинать с «начала». И оно — не одно, а два начала, что, возникают из любви и вражды, из красоты и уродства, плохого и хорошего, и плохого было больше. Остаётся чистая поэзия и мифология, потому что не известно, что имел в виду Эмпедокл и прочие, и что чувствую я. Одно известно — чувствую. Красота тоже может меня не узнать. И душа уходит, убывает:

«она ушла в себя,
где смерть, как плод,
её переполняла,
как плод, что полон сладостью и тьмою,
она была полна великой смертью,
ей чуждой столь великой новизной»
(Рильке, пер. К. П. Богатырёва)

Накипь образов, ороговение пространства лишь на-время, на-долго, на долготу, длительность сдерживают нарастающее, нетерпеливое стремление. Образ закупоривает временное пространство, порождённое мерой, тромбом идеала, пусть даже эта мера и есть сама красота. И эта накипь так не похожа на кипень цветущих садов. Она натужна. Натружена. И коль скоро конкретное многообразие есть лишь многообразие ограничения или конкретная ограниченность всеобщности идеала, являющегося простым отрицательным единством, то *сущность всех сущностей* (Кант) оказывается основанием возможности во всей полноте следствий.

Так прекрасное является, сказывается пределом и ограничением Красоты, но не касается её сущности, и тем более ничего не сообщает относительно её существования, становясь безусловной возможностью и бесконечным возвращением в основание. Тем самым нагнетаемое время становится тяжёлым, вязким, твёрдым, превращаясь в «минералы». «Минералогия» времени предполагает времена с различными свойствами: от примитивных осадочных пород, поделочного материала, до уникальных вкраплений драгоценных времён, созданных страшным давлением жизни, поскольку в свободном времени властвует не сама свобода, а сила свободы, и положительному ос-

нованию красоты соответствуют отрицательные основания стремления и сопротивления. Всё не точно. Наверное. Приблизительно. Можно говорить о магматических породах, геологических пластах времени, о его тектонических разломах — время может застывать. К нему можно применять закономерности сопротивления материала.

Всё обретает какую-то пристрастную странную графику мысли, когда обманываешься, и сам этот обман становится действительным инструментом, чем-то вроде фотоаппарата. Снимок не похож на снимаемый вид. Он далёк от снимаемой картины. Так геологи поражались пейзажам, акварелям М. Волошина, которые были точнее фотографий. Так никакая фотография не передаёт натуру, и математическая перспектива не соответствует реальному зрению.

Что ни попадает в очарованное пространство свободного времени, даже само свободное время, преображается так, как будто мы обрели способность видеть категории и чистые сущности, эйдосы и чувства, и они разыгрывают какую-то пьесу, драму, трагедию, но всё безусловно, взаправду, и проливается не клюквенная кровь, хотя и рядятся они в исторические одежды. Импровизационное пространство само играет.

Поэтому, в зависимости от пристрастий и прихотей, я могу рассматривать с известной долей достоверности линейное время, как сплетённое из жгутов, многоосное или разношёрстное, многокоординатное, или моновремя, как силу притяжения между прошлым и будущим, или же силу, ветвящуюся, произрастающую и пробующую единство универсума на разрыв, и т. д.

Для свободного времени ещё нет подходящих слов. Они подходящие, на подходе, но не отвечают временам. Случайные, цепкие слова. Цепляются остяками и репейником за ткань мышления, пытаясь удержать от необдуманных шагов. Для того, чтобы обнаружить свободное время в чистом, рафинированном виде, следует окунуть его в чернозём, в грязь производства, прогнав по всем кругам ада, по замкнутым циклам, чтобы оно, оказав сопротивление, выдало себя, проступив. Что ясно видно сейчас, когда мы его потеряли. Но мы воспринимаем не само свободное время, а силу сопротивления его, энергию, мощь, чистую негативность довольно ядовитого свойства.

Поэтому свободное время губит бледные, немощные души, взращённые в меркантильном, жестоком мире, гидропонным

способом, как тонкие па*р*остки подвальных анемичных растений — яркое солнце. Это не говорит о том, что мы имеем дело с репродуктивным свободным временем во всей его варварской грубости, когда всё оно — пространство воспроизведения.

В истории свободного времени мы где-то в самом начале, в преддверии, на уровне стадного инстинкта и собирательства. И свободное время — даже не объект труда, оно просто голая природа, что даст, то и ладно. Свободное время пока ещё пребывает в своей «физической форме», если не «механической». Оно вынуждено, а не свободно доразвивается до своей общественной сущности и дальше, исчерпывая себя в понятии до абсолютного чистого чувства красоты, имманентного человеческому. А ведь ему ещё предстоит свобода и последний предел — красота. (Пока такое впечатление, что оно спит, иногда ворочаясь, вздрагивая, и может умереть во сне, не приходя в сознание.)

И прежде, чем преодолеть собственно свободное время, предстоит человеку пройти «второе» отрицание. «Первое» он прошёл, порождая время общественное и развивая его до предела, исчерпывая модусы красоты и само понятие её, т. е., только собственные основания, своё отношение. Если исчерпано отношение, то красота более не отделена от человека, который, впрочем, относится к ней количественно, по мере, и потому, даже пребывая в красоте, проходит мимо, хотя и покинуть её не в силах. Исчерпанное отношение «зияет» и отделяется пустой границей достигнутого «ничто».

Можно сказать, что человеку предстоит пережить вторую волну времён, которая вдогонку накрывает с головой, пройдя через «рабство красоты» в свободном времени, через её господство, прежде чем освободиться окончательно. Но это, хотя и трудно, всё же веселей, чем порабощённость Вещью. Будут ещё и тирания красоты, восстания против красоты, голодные и соляные бунты, битвы за вожделенную «соль» бытия, оседающую покуда на сапогах. (Красота не наступает эволюционным путём. И вопрос о «первом» и «втором» отрицании — для красного словца, на самом деле, первое — оно же второе. «Второе» не вступает в противоречие с «первым» «потом», опосля. Определённое отрицание — определённый предел — снятие-отрицание этого предела. Отрицание отрицания не два, три, много, а — единое.)

Вся история производства свободного времени должна стать производством в свободном времени, вплоть до его ис-

черпания, превращения и созидания продуктивного свободного времени, что исчерпывает время в понятии, и оно уходит в свой физический субстрат, как мера исчезновения и возникновения, мера движения. (В рукописи «созидания продуктивного свободного вечного времени» — это верно, но не прочитывается, не воспринимается.) Это кажется концом развития, по крайней мере, обессмысливает его, на самом деле — смерть бесчеловечного мира, живущего в долг без красоты, в животном эмпиризме, в кажимости и ожидании пришествия красоты, полагающего, «знающего», что всё это миф. Явление грозного вечного покоя, конца мира в реальности обращается в вечную, абсолютную «в-себе-и-для-себя-сущую-деятельность», «неограниченная деятельность есть абсолютный покой» (Шеллинг), совпадающую со всеобщим становлением, вечным беспокойством.

История развития красоты завершается и перестаёт быть «узловой линией соотношения мер» (Гегель), равно как и «обратной линией мер», теряет свою линейность, поступательность и историчность.

И эстетика прекращает своё существование в качестве «пробирной палатки мер и весов». Наращивается количественная мощь свободного времени, которое, переполняя своё существование, делается нечеловеческим и беспричинным. Оно давит и сокрушает себя, как пространство, и «сокрушается», как время.

Поэтому в свободном времени так мало места для человека, и ещё меньше — для свободы. Оно прививается, прищепляется человеку, как культурный росток, и человек высвобождается, а дикое свободное время очеловечивается простым событием существа, но это больно.

Двойное бытие человека в двух разных мирах раздваивает его и расщепляет по бесконечным временам и переменам, временами же, так, что для того, чтобы ему уцелеть, необходима абсолютная, последняя, бесконечная мера, которая может и не быть, и не существовать, не определяться мерой в себе и для себя, но происходит для человека, как цель, смысл — нравственный и прекрасный образ его самого, вбивающий, погружающий человека в грязь, совсем не лечебную.

Человек сам отчуждён в свободное время, и, как само отчуждение от порождения и до меры, до предела, даже не образа, но восприятия его, сам и есть процесс отчуждения, пребывая

свободным временем — превращённой формой бытия и соответствия с равновеликой мерой, определяющей конец основания и наличного бытия сущности.

Всё это — предопределения развития, которое только потому развитие, что несущественно, поскольку сущность его определена последней по времени красотой и потому не *суща*, *изсущена*. Красота определена, поделена и делом принуждена к бытию. Но сущность, и начало, и основание, и мера, и сама красота — всего лишь внешние определения, изомерии становления и изобары времени. Они не безразличны к нему, но становление безразлично к ним и представляет из себя, строит из себя, как выразился бы Гегель, простую неразличённость («неразлучность») с собой.

Имманентно это «безразличие» уже достигнуто, поэтому-то так легко категории при-*общаются*, превращаясь друг в друга, сдерживаемые исключительно традицией их употребления: по Шеллину, по Платону, по Аристотелю, по Плотину, по Марку, по Канту, или уже по Хайдеггеру, по Сартру, или Гадамеру, Фуко, Генону — ничто не помешает мне всё переиначить, перемешать, и уж тем более по мне вмешаться и изменить то, что не по мне.

Всё сказанное имеет «обратный ход» и своего рода «обратный отсчёт» то ли до «старта», то ли до вселенской катастрофы. Свободное время — «лента Мёбиуса», где нет «обратной» стороны, но есть «сторона» и направление со всеми видами перспектив.

Возводя красоту в степень, дробя и умножая свободное время, можно говорить, что свобода — абсолютная мера, высшая мера красоты, и это будет верно, «как никогда», но ничто не помешает мне утверждать, что несвобода порождает эту постепенность, степенность красоты, торжество бесконечно малых и почтение к ним, и это дифференциально-интегральное движение почти незаметно, и нарастает не красота, а образы её, кругами, как годовые кольца на секвойе, но не годами, а поминутно, посекундно, и что красота не имеет степеней и градаций, и превыше свободы, которая в своей рабской истории, в своём происхождении просто не достигает её, не касается, красоты не знает, не омрачает, пребывая в помрачённом состоянии, и мерой быть не может, поскольку красота безмерна. Красота трансцендентна и потому превыше себя. Но есть ли трансцендентальная красота?

Поэтому свободное время «орудует» чувствам, как орудиями своего освоения, как разум категориями. Здесь надо чувствовать, а не понимать, и чувствовать, что понимаешь, но это только «одно» из чувств — чувство разума, которое возникает вместе с чувством свободного времени. Оттенки всех чувств — не дело понятий, хотя это уже не проблема. Чувства от разума неотличимы, и как нельзя чувствовать рассудочно или даже разумно, невозможно мыслить бесчувственно. И это не надо доказывать. И хотя чувства используются, как инструмент в свободном времени, слишком грубо, они впервые — не «прикладные» чувства, «они ни к чему» и сами по себе, растерянно «оглядываются» и не узнают себя. Так прозревший слепой закрывает глаза, возвращается в незрячее состояние тактильности. Потом чувства вернутся и к тактильности, и зрение, вырастив в себе способность и чувствовать, и изменять взглядом, займётся «телекинезом» (шучу) во времени-пространстве. Но пока чувства грубы, они впервые «субстанциональны». Они не могут «опомниться», «прийти в себя». И это только в это счастливое, «первое время», потом всё станет устало-привычным, обыденным. Но пока — всё впервые. И чувства не знают, радоваться или печалиться, хотя бы оттого, что «это тоже пройдёт».

Можно длить эти вариации вечно, радуясь свободе и импровизации, — здесь всё безразлично, всё дозволено, хотя это только начало. Дальше идеи не успевают формироваться, как первоэлементы в звёздах. Невыносимо лишь одно, когда красивая идея не находит выхода и соразмерности с собой, не гармонизирована своей импровизационной формой, вынуждена гнить, паршиветь в тупой форме невыразимости, устаревая «на корню» ещё до своего возникновения, хотя это может быть отменным художественным приёмом.

«Поворот ключа» здесь в том, что изначальной цели в истории нет, и она хаотична, но есть «конечная цель», трансформирующая начало истории, бьющее «криномъ» (*греч.* «ключ», отсюда *укр.* «криниця»), истоком в настоящем, и потому, хотя красоты может и не быть вовсе, я принимаю её за нравственное («нарывающее», нарывающееся) начало, полагая её идею абсолютной, оставляя себе только видимость, как рефлексию всё той же красоты, превосходно понимая, что всего этого нет, а вместо красоты мог быть «идеал человека», «свобода», «любовь», «бог» и прочие мелкие радости, скрашивающие (но и скрадывающие, сокращающие) его скупую жизнь, убогое бытие, с которым он сращивается, скрещивается, роднится.

Однако я точно знаю, что уж эти «основания» не подвер-

жены никаким случайностям объективного мира, даже если после я передумаю, изменю принципам, «которые в конце», «в конце времён» и буду их отвергать — они свободны. Светолитие, светолепие, световержение красоты, помражаемое, помрачённое суесловием, сквернословием, мертвоформием, метаформием (как морфием предметности) истории, недовоплотившейся в культуру. И тут же поглощённое «цивилизаций», не успевшей совлечь с себя время, и потому обращённое в мир эксцентричной маской, истоки которой восходят к мумиям прошлого. Образ, метафора, иносказание — маска, доразвившаяся до иконы, лика, а не мёртвое «лицо». Это маска трагедии, а не «личина», «харя» — вся эта «светозаривость», разорение света, создают «разноцентровость», «разноцентренность» в образе (пусть это центр истории, культуры или красоты, теряющей «равновесие»), как в обратной перспективе, во всех её интерпретациях. Всё сказанное П. Флоренским об обратной перспективе верно и для времени.

Разительность форм — в осуществлении, переосуществлении реальности без перераспределения, когда множества *неподобны*, их нельзя обращать друг в друга, не затрагивая строения, потому они поразительны, пронзительны и бесподобны. (Угадывается проведение темы?) Передаётся содержание пространства, «содержимое», но не организация, и форма, «кожа вещей» (Флоренский), сброшена историей — этой самой глупой змеёй, не просто кусающей свой собственный хвост, но заглотившей себя до головы, с головой (но не переваривающей себя). «Только змеи сбрасывают кожу, чтоб душа старела и росла. Мы, увы, со змеями не схожи, мы меняем души, не тела…» (Н. Гумилёв).

Трансцендентальный субъект, от имени которого и выстраивается в ряды форм и отношений по ранжиру вечное движение — принудительная точка, «киклоп», творящий одноглазый мир (как на портретах Модильяни: отсутствующий глаз вглядывается вовнутрь, куда обращён, словно на египетских профилях, как «всевидящее око христианства», вписанное в треугольник, в триаду по своему образу и подобию, хотя именно это обстоятельство «монозрения», «одноглазость» даёт эффект обратной перспективы, заставляя глаз действовать, оперировать зрением, как скальпелем и как «временем» преломляя, рассекая однородное пространство на неравные пласты,

пластующее время, и освобождая эти «срезы» к дальнейшему пересечённому пространству.

Не в силах проникнуть в глубину, стать пронзительным, про-зрачным, зрак распарывает ближайшее пространство на полосы, полосует его, и потом воспринимает как невзрачную чересполосицу. Рассечённое, высеченное пространство (высеченное из монолита равнодушной сплошной вечности, опустошённой, предстоящей человеку, и высеченное розгами, кнутами, поротое, распоротое взглядами) наделяется знаками, отметинами, иероглифами, клинописью, становится меченным, и эта «орфография» запечатлена шрамами смыслов.

Лишённая жизни человеческая культура нуждается в безвольном искусстве, подменяющем волю парализованной перспективой. «Зрение зреет бесслёзно…», но смотрит туманящимся влажным взглядом, ничего не видящим, но осязая ничто, и в-меняя, меняя порционные пространства по их застывшим маскам, случайно обращённым к зрителю и лицевой, и обратной стороной.

Отсюда театральность истории, кояя как сценическая площадка, на которой проявляет свою бойкость, лицедейность искусство, со своей сценографией и режиссурой, двигаясь вдоль конфигураций различных перспективных построений, по всем правилам сценического движения. Хула искусства, расцениваемого по степени и «близости» к уровню потенциальной или кинетической точки (она же точка «невозврата») *потребителя* — этого медиума, очень посредственного, серого, масс-медиума обывателя, обрушивается критикой, травлей человека и его взаимной перебранкой с представляющими его «прекрасными формами».

Это «*обывание*» прекрасного, которое заставляет «звучать современно» всё вокруг, как «перкуссия» — сомнительно несомненно. Сфабрикованные, фабричные иллюзии привычных полуфабрикатов создают отпетую красоту и его жизненное пространство-аккомодацию, свёрнутость очевидности. Время сводится к одному масштабу, одной мере, вывернувшись, извернувшись, будто я и есть точка схождения перспектив мира (а так, *тем* оно и есть). Тут действительны все виды перспектив: и линейная, и обратная, и сферическая, и отсутствующая. Исчезнувшие величины пространств стремятся ко мне. Схлынувшее время и его незначительность порождают болезни пространства — опухоли культуры, которые «*так себе*».

Они же — экспонаты «кунсткамеры», выжидающие, выживающие время, выставляющие его за основания, выставляющие время, как первую раму весной, и тем делая культуру условно красивой, свежей, как волна воздуха, не выставочной. История — поток крови, хлынувшей сквозь поколения — неясна для микроклимата нашего микромира, мы слышим его смутный шум, но это шум в ушах. Этот раскат в крови, как шум силурийских океанов, опасен и страшен (хотя что может быть страшным производному от обезьяны, оказавшемуся на хрупкой планете, на окраине галактики, болтающейся среди холодного, промозглого бескрайнего космоса, кроме него самого? Самое страшное, что это он сделал своими руками. Шучу).

Красота же (не-, за-, благо-, оче-, смысло-, без- …) видна. Она не имеет перспектив. Не имеет ни прошлого, ни будущего. Вся литература, музыка, живопись, философия и всё прочее человечества, всё, что человек считает элитарным проявлением своего гения, на самом деле — его воплощённая серость, серединный путь, результирующая посредственность.

Человек — как муравей, ползущий по мозаичным плитам Айя-Софии, и мелкие трещины, и песчинки принимает за горные хребты. «Какой я бог, я знаю облик свой, я червь земной, я пасынок природы, который пыль глотает пред собой и гибнет под стопою пешехода…» (Гёте). И женщины его некрасивы, и в мире — никакой красоты и никаких чувств. Где уж ему своим фасеточным зрением в ультрафиолете увидеть весь рисунок, и тем более всю мощь архитектуры, не говоря уже о мироздании. (А вдруг в его видении это ещё прекрасней?)

История — свидетельство ничтожности человека, но в его слабости и беспомощности — его сила. Где же понять мирозданию, бесконечности и вечности, в своей огромной бессмыслице, универсуму в грандиозной отвлечённости, чувства и ощущения муравья, пытающегося одолеть предел, думающего, что он последний (и он сам, и предел), и траекторию своего пути принимающего за верное указание на грядущие перспективы. Как понять, что предел развития — это человек, и он же — смысл бесконечности и всего остального, как смириться, что он — предел всему? И хотя это не так, но другого «не дано», а значит, и «не иначе». Где почувствовать жалость ко времени? Как проникнуться чувству, чувством к тому, что обречено исчезнуть?

Только сменив стихию, понявшись в иное, над собой можно

нечто увидеть, но ведь и новообретённое зрение ничуть не лучше, чем бывшее, к тому же, становится прошедшим, и время, и зрение, и сознание, и чувства оплакиваются, как утраченная жизнь: «Und meine Herzenstranen grau…» — «И серы слёзы моего сердца…» (Гёте).

Всё это — озабоченная серой женщиной Заботой, ослепившей Фауста, человеческая жизнь, эстетизирующая свою ничтожность, и серость, возводящая в ранг добродетели, поскольку требование исключительности — апофеоз серости, ставшей самостоятельной, самодеятельной, самовдохновенной, и путающей уникальность с «возвышенным». Озабоченная красота — банальна.

Но красота не наступает постепенно. Полагая красоту, не зная её, даже просто ожидая её, я вольно или невольно должен и совершаю нравственный акт «теодицеи», «антроподицеи», принимая всё гипотетическое зло в качестве собственной вины («сам виноват»), акт возможной своей «нравственной гибели» в «телеологии», замутняя видение красоты целесообразностью.

То, что С. Н. Булгаков называл «малой теодицеей», совершается мною в отношении к ноумену красоты, о которой я знаю только имя, «спящие имена» красоты, и пускаюсь в «имяславие», «в философию имени», ничего не зная о красоте.

И исходя из отрицания и смысла истории и Бога, поскольку я, если, действуя из абсолютно нравственных побуждений, нравственных оснований, руководствуясь благими намерениями, всё же — жертва случайности, порождённой ли божьим провидением (или неведением), промыслом или исторической необходимостью развития общественного производства, или Нусом, не важно — если всё это допускает случайность, то и зла никакого нет, и совесть — химера, так вот, исходя из отрицаний иных оснований своей нравственности, кроме себя самого, я вношу своё чувство, смысл и содержание истории без оправдания («так случилось», «так вышло»), заведомо не зная, зло это или благодеяние, обольщаясь и произрастая только образом красоты и представлением о ней. (Хотя само моё я — произведение истории, и «меня», и «моё» — отношения собственности. И принадлежу я своему времени: и образ мысли, способ деятельности, мимика, язык, жесты, предрассудки и т. д., все эти общественные отношения, приписываемые и прописанные мне, угадываются во мне, моей активностью, от мимики до ин-

тонации чувств, от жаргона до манер и слов-паразитов.) Память против памяти. От памяти не скрыться. Она может только слабеть, страдать провалами и ретроградной амнезией.

Самое главное — научиться забывать, не прощая. Смотреть, как чадят, догорая, угасая, открывшиеся идеи, как скрываются всё дальше, тускнея, лица и краски, «лица в затылок», и притупляются, становясь трудноразличимыми и трудновоспринимаемыми, некогда такие опасные и острые чувства.

Не нужно их удерживать, записывать, регистрировать, привязывать, тащить, как хлам, с собой и на себе, не надо их хранить и консервировать, вспоминать, клеймить словами, чтобы не потерялись, проштамповывать экслибрисами. Их тихая жизнь — что жизнь растений. Пришла пора, и им пора уходить, покидая себя без сожаления: «В кувшине кислорода // Истлело на весу // Какая там свобода, // когда зима в лесу» (А. Тарковский). Теперь они — достояние литературы или чтения у камина в кресле-качалке, завернувшись в плед, какого-нибудь, написанного великолепным языком, труда Тимирязева «Жизнь растений». Как чтение случайных, давно забытых книг, попавшихся под руку книг на архаичном, полузабытом языке.

Этот тихий поток, как замерзающая река, движется в какой-то неразличимой тишине мимо, «над тишиной замерзающих рек, снег, снег, снег…»: забытые голоса, неясная музыка, обрывки разговоров — слов не разобрать, как будто до заоконной комнаты на последнем этаже доносится с улицы шум, сквозь падающий снег, но в тебе тишина и временная временность, хлопья и руины пространства, и ты, по слухам мира, не живёшь. Ни суеты, ни сожаления, ни страха.

И когда, после долгих мытарств, всё же открывается смысл происходящего, — его нет, и уже поздно. Не красота — она, как всегда, лишняя, а просто естественный темп и размер, и тишина, исполненная случайного всплеска, выпадающей росы, незнакомых звёзд, бутонов слов, и ошалевших от любви цикад, портреты которых писал Ци Байши (хотя меня поправят, что он «мастер креветок», что его очень обижало), и вся эта жизнь, от истока до устья, стремится к тебе, тобой, и нет нужды в оголтелом желании овладевать жизнью, покорять её и жить со сбитым дыханием, избитым в кровь сердцем. Всё — где-то там. И полнится тобою. Вся немыслимая бесконечность сонно, глухо ворочается в тебе, забываясь и опадая, и ты вместе с ней, инеем,

снегом. «Поэзия земли — отважнейшая скука // На наковаленках таинственного звука // Кузнечик и сверчок сковали океан…» (Ольга Седакова). А ты просто обессилел и лёг на обочине «железного потока» истории, и смотришь, как оставшийся мир с тобою смеркается, и медленно вмерзаешь в прошлое, не опускаясь. Или, может быть, так:

Колыхается сердце под горлом
в солёной воде
и вовне за предел
(а уж это вполне объяснимо)
Дотянуться пытается до…
словно тень на стене
тихо будто во сне
промахнулась
и падает мимо
моментально
улитки
жара
виноград
лист узорчат
и гроздь
терпким холодом
пылью припала
небо
море
земля
сухие рисунки цикад
и вино о любви
из глухих монастырских подвалов
но и это не всё
по немым очертаньям руки
жизнь ломать словно яблоко
с хрустом
на две половины?
Тени тянутся к морю
спотыкаясь светлы и легки
горы в мареве чешут о небо
горбатые спины
не забудь

раскалённый и хрупкий
и сонный простор
только раз
а потом
всё сидишь и сидишь на пороге
и в лицо тебе солнце
и тянется жизни узор
всё пройдёт
всё прошло
но только никак не проходит…

Где-то Сигизмунд Кржижановский обронил, что чувства не имеют памяти. Память чувства — разум и сознание, и только так они существуют, не задевая сущего. А когда вдоволь (*вдоль воль*) наглядишься на тщетность жизни, уносящей память, то открывается, что красота, именем которой устанавливали правила исторического (очень уличного) движения, вся эта суета — всего лишь искусство забывать («ты сам собой и дух и смысл сомненья: и забывание и незабвенье…) и **«нє жє расмылиті что о нынъж сущихъ своєи прмдрстіи нєподобно расыповати бурєю тихую корму помышлєньи»** (Тут бы надо вбухать всё известное о письменности, о мутациях языка, передав весь ужас и восторг, онемение от стремительности происходящего, ошалев от скорости изменения, деградации, а может, развития, но недосуг. И так есть ощущение, что пишу по бегущей воде прутиком, и написанное угасает, исчезает, повинуясь каким-то тайным внутренним течениям. И это тоже момент забвения. Так что я решил только обозначить смыслы, не утруждаясь переписыванием букв, а надо было бы, от руки и монастырскими чернилами из дубовых «яблочек» и кованных гвоздей, а то ещё тушью из жжёной виноградной лозы.)

Момент забвения — момент истины. Мучительно вспоминая, «ты» воображаешь своё существование в третьем лице, и значит, что уже распался, и для того, чтобы не говорить рассеянное «мы», и свести эту неполноту выступающих («выступ» красоты) частных чувств в некое единство, замкнутого мерой красоты «я», отдаёшь наличную свою свободу красоте, полагая её необходимостью произвольно, потому, что тебе всё равно, и красота банальна, как нечто само собой разумеющееся, но вечное.

Основание в красоте — это моя прихоть. Вполне можно было бы полагать вместо красоты безобразное, свободу, веч-

ность, время — что угодно, или исходить из того, что всё равно из этого основания ничем другим, кроме моей воли (этим основанием, последним), меня не оправдать, не воздвигнуть, не освободить, и вообще считать всё это заклятыми именами ничто.

Или рассматривать всё, как другое, не-я, отказывать ему в реальности, тем утверждая реальность собственного образа, не имеющего существования, и потому *становящегося* другим — красотой, свободой, вечностью, временем…

В любом случае, обретается некий сюжетный ход, и есть опасность заиграться насмерть до красоты, установив относительное равенство с собой, и тем создав само это течение жизни до умопомрачительной простоты, устраивающей, устрояющей тебя, пока не наступит, не грянет пора, и игра наскучит, время стемнеет, и придёт время возвращаться. То есть, становление свободой, становление красотой, становление временем — это «разные» жизни, и «раз и навсегда», и об одном.

Тогда страшившие прежде ощущения, что я — это не я, и даже непохоже, отпускаются возможностью забыться и идти на голос, как на свет, пока ток времени, его чужая природа, не сомкнётся над головой, и ты не превратишься для *другого* (не превратишься для *того*) в такой же мимолётный всплеск, всхлип, шорох, отзвук, сосредоточенный в своём всплеске, всхлипе, шорохе, какие слышал прежде, но не придавал им — теперь они сами — значения.

Может быть, и даже конечно, это надуманная проблема, и вообще проблемой не является, но здесь начинаешь «любить» время (может быть, это естественно), начинаешь «радоваться» преходящести, мимолётности, исчезновению, переставанию быть, не в смысле благоговеть перед каждым мгновением, преклоняясь, видя его неповторимость и красоту, а именно распространяя человеческие чувства на время, а не на его образ.

То, что разум, сознание были памятью чувств, пребывавших в беспамятстве (им нечего вспомнить, больше помнят ощущения), сказало лишь о том, что разум был прошлым, незнаемым (прошлым-незнаемым).

И ты от абсолютного единства, вровень с вечностью, переживанием, подобного которому не было на всём пространстве вечности ни «до», ни после», обретаешь свободу, сознательно забываемую, ради необходимости за-быть, идущую к истоку — необходимой случайности. И дальше к ничто, где красота уже

не мера, а бытие, но ты её «уже» или «ещё» не узнаешь — утрачена память, преодолена, что всё бывшее и небывшее и небывавшее стало настоящим, становлением, даже случайность — местной достопримечательностью, хотя она не местная и отпадает от всеобщего прообразом свободы и своей «неуместностью». Время пробуется на вкус, на разрыв.

И то ли «жадность» принуждает его «тащить» за собой и не бросать — боязнь потерять, поскольку потеря может быть невосполнимой, то ли его обретённая «ненужность», «излишнесть» придаёт ему эстетическую неповторимость, в любом случае, покуда мы к нему испытываем сожаление, жалостью оно живёт.

Может быть, это пройдёт, и от времени будут безжалостно избавляться, заменив его более универсальным вариантом.

Такое чувствуется в языке, когда древние, архаичные, отслужившие своё формы вызывают почтение, ностальгию, даже страх по тем временам, когда «словом останавливали солнце, словом разрушали города» (Н. Гумилёв), но магию речи меняем на более удобные, подручные, служебные формы. Хотя мне захотелось писать на старославянском, и на древнегреческом, на древнеармянском, и каллиграфией заняться, и вязью арабской, но это вопрос тоски, «сделай сам». Я думаю, что изготовление краснофигурных и чернофигурных ваз — увлекательное занятие, но всё это — такая же тоска по ремеслу, «технэ». Так и с временами. Может быть, их время пришло, и им пора на волю, — необязательно от них избавляться. А время и вечность со свободой как-нибудь «договорятся».

Свобода — случайное содержание истории, но стоит прекратить стремиться, как свобода и красота сами устремляются к тебе, тяготеют, тянутся, и происходят сквозь тебя, стремясь, струясь тобою, как третьим образом своим. Ты — их метафизика текста, и время — пространство их развития.

Отсюда «новые», непуганые, отсутствующие чувства: не страх свободы (как у птенцов, становящихся на крыло, не страх высоты), а страх её потерять. Не красота, но ожидание её, хотя она давно рвётся сквозь тебя, стремясь тобою последним образом, ключевым, замковым, прорываясь чрез тебя, истончая твоё я, как предел и последний смысл своей истории, стремясь покинуть.

Она (свобода) внушает ложное чувство вины, сознающего

себя предела красоты, упраздняющего действительность субъективности, поскольку, пребывая всецело чувством, ожидание красоты оборачивается требованием гарантий, подтверждения её полномочий, верительных грамот, мандатов, освидетельствования, и «расплатой», «наградой» за терпение, что и толкает на абсурдные ненужные жертвы, которые красота не замечает. (Они ей не нужны, и жертвы — всегда напрасны.) И в праве на владение она не нуждается, хотя и кажется местью, расплатой, но это только раскаивание, самобичевание, которое бессмысленно и уродливо, оно противно красоте.

Ограниченному репродуктивным свободным временем человеку нужна не свобода и красота, любовь и вечность, но лишь право на них, ордер, «орнунг» (порядок, новый порядок), отчего он вступает в торг, который, как известно, не уместен и унижает человечество до его истории, являющейся в таком случае неустранимо необходимой, оправдывающей своё торгашеское действие системой этики, морали, налоговым обложением эстетики на добавочную стоимость, системой ценностей и ханжескими соображениями «нравственности», которая будет поощрять и узаконивать наркоманию, проституцию, азартные игры, где только можно, если это будет выгодно. За этим даже не скрывается знакомая идеология обывателя.

И потому красота случайна, как и свобода, но необходимость в них фатальна. И только искусство пыталось продышать в сплошном инее, в узорах предметности на замершем пределе, маленькое окошечко, продышать эту льдину, если не насквозь, то хотя бы до прозрачности, создать проталину, пространство другого, но всё схватывается намертво стужей времени. Более того, современное искусство оскорбительно и задрипано, его и искусством-то нельзя назвать: ни чувств, ни даже ощущений — ветошь, сплошное вторсырье со свалки никакой жизни. Есть исключения, но они случайны.

Если бы я пребывал в абсолютной всечувственности красоты, то воссоздавал бы всю историю, рассматривая не свободу пространством моего развития, но случайность, которую достигал бы с необходимостью, раскурочивая образы до безобразия, и вечность разъял бы на мгновения, видя в преходящести условие своего подлинного бытия, что и привело к деградации, рассеиванию бога, распылению в акте творения, в хищной попытке создания другого себя, обладающего лишним существо-

ванием, не имеющим во мне никакого основания. Мерой красоты оказывается (случается) человек столь же трансцендентный красоте, как и она ему.

Столь же… Вот чистое количество, абсолютное отношение, которое только и удерживает это неравенство, как свои модусы, моменты, заставляя и красоту, и человека пребывать не в себе, а по мере возможности, по мере силы воли, силы действия в другом. Столь же — столько же, как то, что подобно тому, вроде того… Иными словами, сущность здесь — внешня к существованию, но не обладает им, гонит перед собой, не переходя, непрестанно, не переходя в существование, и чисто по форме его отрицая, отличая его и теряя непосредственность, не обретая. Короче, «гонит волну», которую создаёт, и всё усилие тратится на преодоление её сопротивления, на ложный предел. И человек, и его модусы, представленные в этом движении, проступают как «вещь», и есть «отрицательное единство» (Гегель).

Сущность, пребывая в «промежуточном» состоянии, отвергнув себя в основание, извергнув в качестве «самосущей», и «оглянувшись» рефлексией, вернувшись ею к себе, ограничившись опосредованием существования в качестве цели, тем принуждает бытие к количественному существованию, приговаривая к различению и утверждению в форме иного всего, что и есть она в сущности. На самом деле, не принуждает, а «приплетает», «впервые видит» это существование в многообразии — вне рефлексии этих граней нет.

Само желание органического единства, *сущности сущности*, преодоления многообразия, «складывающего», «составляющего» сущность в соразмерности части и целого, говорит о внешней определённости красоты, свободы, чувств, времён в самой сущности, загнанности в понятие, но не о жизни их.

Ложная трансцендентность их порождена внешней причиной, какой выступает превращённая форма деятельности, основанной на практике, нуждающейся в истории и вызывающей рождение культуры золотым кесаревым сечением.

Этим объясняется аналитическая способность деления понятий до бесконечности. Множась, они ни о чём не говорят. Сущность не воплощается, но уплощается, «расходуется», переводится в плоскость, становится «двухмерной» в своей противоречивости до того самого «морозного» предела, который

не может преодолеть искусство. Ничего не происходит. Создание «поверхности».

Вещь в себе абсолютно проста и не обладает многообразием, которое результат лишь дельнейшего движения рефлексии, спонтанно выхватывающей и удерживающей понятие во внешней взаимосвязи, в представлении, удерживая «на весу», «на лету» (как у Мандельштама: «разбойники от скуки держат свистом птицу на лету»). Поэтому всё сосредоточено в памяти, от которой некуда деться. Чужие воспоминания, свободно блуждающие образы, как гомон и разноголосица в эфире: Лигети, Штокгаузен, Ксенакес, Булез, Нона… Ван Доген, Цадкин, Фуджита, Хана Орлова, Тцара, Жорж Брак, Мимо Палладино, Джени Ватсон, Гюнтер Кристман… (Перечислять можно бесконечно, пересыпая эти непостижимые, несравненные имена удивительных миров, хотя они вряд ли что-нибудь говорят большинству современников, которые не вздрогнули, если бы перечислялись не менее звучные имена лавочников и владельцев боен.)

Только здесь можно ещё говорить о каких-нибудь *свойствах* свободы, красоты и прочих привлекательных недовоплощений человека, который их абсолютную недоступность и не пытается, не покушается нарушить, рассматривая и красоту, и время, и свободу, и всё, что угодно (но угодно ему, выгодно), как свойства, коль скоро он сам «вещь» т. е., как своё отношение к другому в качестве отношения с иным собою, а так же предполагаемой вещью-в-себе, которая наделяется самостоятельной сущность, «наделом», но поставленной во внешнее отношение к человеку (что накладно).

Она рассматривается, эта накладная сущность, в качестве константы, обладающей равномерным движением постоянного изменения, меняя только (толком изменяя) форму предела и степени ограниченности «я» объектом, стремясь к бесконечному определению «я», окончательному ограничению, которое наделяет (и обделяет) своими свойствами (отношение проецируется в «я», а «я» — в противоположное — навстречу), «*своит*» собой безопасную свободу, комфортабельную табельную красоту и свойскую вечность. Эта внешняя положенность не расширяет возможности человека, а суживает, сокращает, заставляя обращаться «во внутрь», создавая «звёздное небо внутри нас» (Парацельс).

Человек выстраивает себя в «разных материях» (Гегель), из разных материй, которые не смешиваются, оставаясь многослойными, и делают само понятие человека эклектичным. Это искусственная усложнённость, несовершенность, утверждающая человека законченным, и в формальном отношении многообразия — односторонним, требует не только объективного, но и субъективного пространства (хотя это одно и то же, как «внешнее» и «внутреннее»), которое удерживало бы его от сущности, оставляло в несущественности, суетности, и тем не давало бы ему его собственного существования (не давало бы повода), предполагая существование в другом, но без души.

Душа — прежде не рождённая, трансцендентная человеку, у которого вместо оной был мозоль, беспокоила, как опухоль страдательной способности восприятия. Душа всегда являлась тёмной, — «чужая душа потёмки», но и своя тоже, — непостижимой, и была «болевой точкой», всегда страдательна, — «душа моя болит смертельно», — всегда скорбна, даже когда взвеселялась таинственная способность чувствовать. Ныне душа вовсе ампутирована, она чужая и болит отсутствием. Фантомные боли души — на «погоду», её ломит к ненастью, к «несчастью». Она — одна на всех душа, общего пользования. Поздно уже выяснять отношение Духа и души — они подхоронены друг к другу.

Этим пространством, ограниченным механическим, технологическим изменением производства с одной стороны, и чистой, с точки зрения отсутствующего смысла истории, стерильной гипотезой, сугубо гипотетической, — человеческой личности, — с другой, это пространство свободное время не производит. Сущность свободного времени не выводится (вернее выводится, изгоняется) ни из развития производительных (*водительных*, как будто они поводырь) сил, ни из субъективности отчуждённого во всеобщее человека — всё это чужая природа, не свойственная ему, и даже «противная» его происхождению. Свободное время это, первоначально — простое отрицание, я бы сказал, «нигилизм», сокрушение устоев, оснований, если бы это понятие, изобретённое Тургеневым, не было так захватано. Хайдеггер попытался разобраться, вслед за Ницше (Нище, как произносил его имя Горький), я не знаю никого, кто не был бы под впечатлением, потом это проходит, как ветрянка, но заболеть во взрослом возрасте не дай бог, это как захворать «свинкой» — короче, у Хайдеггера тоже ничего не вышло. Это как писать о тоске: почувствовать можно, а упаковать в определения, систематизировать — нельзя, вестимо, «что русскому хорошо, то немцу — смерть».

Отрицание, которое помимо всеобщего дальнейшего развития, пускает стебель, росток собственного развития. Отрицание развивается, оставляя становление, в котором оно сразу во всех временах, и ни в одном. Не в понятии, а в действительном развитии развития. Отрицание — не то, что есть, и не то, что будет — становится бессовестным, действительным исчерпанием совести, являющейся достоверностью предела человека, предполагающей осуществление вне себя.

Этим определяется стремление к прежнему, как к своему будущему, к условиям утраченного бытия, и потому умилению, уничтожению, ограничению, унижению, подавлению собственной свободы, в виде непосредственного превосходства над определённостью.

Движение к красоте оборачивается декларированием моральности как таковой, превращается в долг, который не обусловлен, но не безусловен. Жизнь в долг. Усмирение свободы в пределе, в красоте — есть уничтожение своеволия. Мир стал безволен, он — провинция красоты, воля подавлена красотой.

Но это и уничтожение человека ради возвышенной красоты, как тотальной субстанции, сила которой не в ней самой, а во времени, в свободном времени, как утрате и отказе от обособленности силы духа, неосторожно присвоенной человеком. Поскольку красота времени не подвластна, независима от него — зависят только представления о ней, видение, взгляды на неё. Сила красоты в воздействии, и понятие силы неприменимо к ней. И в то же время необходимая свобода во имя, именем красоты начинает свои карательные операции против бытия, человека и красоты.

Поэтому в необходимой свободе, полагаемой нравственным долгом, уничтожены все градации, вся исторически сложившаяся иерархия воли, порождённой объективным творческим деянием, все «сословные», «кастовые» предрассудки, и в тот же момент реальность этой свободы оказывается многосущностной, полимерной и восстанавливающей прошлое в сокращённом, но полном объёме.

Это вызывает к жизни многосословность (многоусловность), многоукладность свободного времени, которому нечего противопоставить оголтелой объективности, выступающей палачом самой себя и саму себя полнящей.

Время свободно в своей временности, но в нём пребывает и действует несвободный человек, он обретает временную при-

роду, и любое из его качеств, независимо от того, какие именно эти качества, в свободном времени обретают («набувают», набывают) абсолютный характер: любовь становится абсолютной любовью, но и ненависть становится абсолютной ненавистью, правда, увеличиваясь, «убольшаясь» лишь количественно, изощряясь, как «ещё большее» одиночество. Это своего рода «отёк» времени, гематома травмированного времени, которая — следствие, но вовсе не обязательно, когда оно без эксцессов.

Так что если в свободное время попадает человек несвободный, то время его несвободу сделает абсолютной, а его бытие временным. Хотя, как правило, этого не происходит, потому что свободное время и человек не сталкиваются в «готовом виде». Пока человек врождается в свободное время, формируется в нём, то он в процессе учится и действию со свободным временем, хотя эти приспособительные реакции мешают ему, и он часто действует по привычке.

Субстанция свободы, её реальность в форме свободного времени предполагает, но не полагает человека такой же природой времени, оставляя его в качестве предиката, усугубляя его ортодоксальную временность, заставляя живиться прошлым, «как не имеющую значения смерть» (Гегель).

Там смерть. Не та, что ласкою влюблённой
чарует в детстве всех за годом год, —
чужая, маленькая смерть их ждёт.
А собственная — кислой и зелёной
Останется, как недозрелый плод»
(Р. М. Рильке, пер. В. Микушвич)

Происходит перестановка, подмена. Знание о красоте, о свободе, о смерти, о… подменяет и красоту, и свободу — только смерть настоящая, оставляя человеку единственно время, побуждающее к неопределённому, необусловленному поступку, к исполнению словом. Данное слово, кажется, превыше всего.

Существование отчуждается и становится целью, граничащей красотой (пограничной) и преступающей имя красоты, да и сам человек — только представление красоты, включённое в сознание красоты и не являющи(е)йся собой: ни тем, ни другим. Красота становится тотальным подавлением чистого чувства, которое — «не такое».

Чем «ближе» к красоте, тем ближе к определённому ничто человек, исчерпывающий временность. Время убывает, но убывает и убывание.

Так исчерпывается последнее количественное определение человека красотой в свободном времени, которое представляется зависящему от необходимости и незнающего другого человека дренажной системой, — по ней будто бы постепенно стекает человеческая нужда, очищаясь в предметную необходимость, но жизнь превращается в отстойник, а непосредственное общение — в «канализацию», в «коммуникацию». Дело не выгорит в «очищающем огне» практики и не выпадет в осадок предметностью или кристаллизованным свободным временем.

Свободное время постулирует продвижение в свободном пространстве, которое должно быть свободным обоюдно. Где человек сменяет себя самого, не продвигаясь к завершению, но просто осуществляясь, как чистое становление, не отягощённое целью и мерой.

То, что является — смерть-несвобода самой несвободы, а значит, и самой свободы, есть превращение человека, где он уже не «так же», «поскольку» и «потому что», не «следовательно», не обладает значимостью, но обретает непосредственную достоверность непризнанности и чистое действие во времени так, как будто это время не существует — действие со временем, т. е., делая свободное время несвободным, наделяя его собственной сущностью, как судьбой времени, которое становится произведением, и всецело прошлым.

Времени больше нет, оно уходит в основание и значит столь же мало. Оно бывает, как предшествующая мне вечность. Осмелюсь сказать: как *предшествующая, преследующая меня* вечность для и до моей свободы, буде такая существует или только ожидается в виде свободного времени, о котором можно сказать: «а помнишь, время — было»?

Свобода — «отобраз», эктип (согласно мнению П. Флоренского), некое целое, которое отчасти причастно бытию и его превышает целью, как часть, которая «больше» «иного» и «бытия».

Свобода в своём воплощении, оставленности свободным временем, больше не приемлет жертв и не размалывает времена в труху, пыль и прах.

Свобода, как жертва, становится достоянием ветхого завета Немецкой Классики и классической политэкономии, и завершает историю, эпоху философии времени, отнеся её деяния к апокрифам и «преданьям старины далёкой». (Мифы и легенды по-своему обретают свободу и за себя не отвечают. Верить в них можно, а им — нельзя.)

Философия времени (она же философия свободы и философия истории, одна в трёх лицах) испытывает плохо скрываемое нарциссическое любопытство к самой себе — раньше не было времени. Она завершает эпоху, прихлопнутую абсолютной целью — мерой развития красоты, — единственной из возможных бесполезных целей, не связанной практическим обещанием блага, мзды, гешефта, воздаяния. Актуальная и потенциальная бесконечность больше не имеют смысла, поскольку нет «потом» и «прежде» в «свершении всех времён».

Красота не столько развивается в своей истории, сколько очищается от внешнего представления и копоти напрасно принесённых жертв, останков благодеяний, благих намерений, причём всё написанное о «катарсисе» оказывается «правдой», от Аристотеля до Шестакова (смешно), несмотря на «интерпретации» и столкновения интересов в этом столпотворении (и это не столп и утверждение истины, не «столпы творения», и мы не «столпники»). На обломках и останках больше не пишут скоропалительных увековечивающих надписей: «Здесь был Шеллинг», «Здесь был Монтень», «Гуссерль и Плотин были тут»… Прошлому, как тишина, возвращается почтительная анонимность.

Красота проходит и период торга, и стадию веры, религии, путь жертв и пренебрежения, и тупое производство, но лишь забрезжит свободное время, как становятся ясно видимыми (ясновидящие?) её черты, абрис последней черты, предела, который сам — превращение, надвигающаяся волна, и по мере превращения перестаёт быть пределом, вместе с красотой, — она теряет соразмерность, становясь поначалу чрезмерной, и далее (пока ещё во времени образует пространство, позволяющее иметь даль и перспективу) становится безмерной, полагая отсутствие меры всё ещё как меру, поскольку *всё ещё* (и это условие, усилие времени) происходит временем и свободой, в качестве «заранее установленного масштаба».

Но рамки и пределы, границы являются пределами не сво-

боды и красоты, а — необходимости, из которой ничего не следует. Это не принуждающая необходимость, а допускающая.

Из предположения красоты, как трансцендентной человеку, следует только необязательное допущение, что она может быть и бывает присуща, и даже сущностью человека, но в своей отстранённости, «остранённости», и есть конечный предел, потому им постигается в понятии, как мера целесообразности развития, чистой абстрактной возможности и пространством её, сдерживающим невозможность невозможностью, постепенностью, поступательностью образа, который разомкнут и вьётся, цепляясь за ничто, как Рильковский плющ («вцепился в стены плющ, предсмертно тужась — дороги в мир давно перемело… тоска прокралась, но, часы покинув, куда-то время умирать ушло»), как виноградная лоза, но дикая, не окультуренная, не селекционная.

Лишь только образ замкнётся в репродукции, как *тот час же* в нём обрывается время, задыхается, свёртывается, и он гниёт на корню, втоптанный в «метафизику изобразительной плоскости», предаётся красотой, дышит прелью опавших слов.

Необходимость красоты относится не к красоте, а к негативному определению человека, не обладающего, не владеющего собой (странный оборот, не правда ли?) и этой красотой, но она свойственна ему в качестве бесконечной утраты, имеющей свои градации.

Отсутствие красоты возводит человека в чувства (не приводит), искушая бесконечной погоней за призраком самого себя (как душа в египетской «Книге мёртвых» ищет Озириса, зная, что она и есть он. «Книга мёртвых» Тибета тоже весьма своеобразна и двоедушна). Он ведает, что именно он потерял, не обретая, и идёт по следу, который ещё не оставлял, и сам человек — одна воронка, отсутствие. Его пустые контуры совпадают внешне с красотой. Поэтому красота — то, чего не хватает человеку (на остальное он просто не обращает внимание), красоты не хватает, зато она хватает его, как сердечный приступ. И потому степень осознания — возвращение к себе — есть свойство и катастрофическое сознание собственной ущербности. Не «несчастное сознание» феноменологии духа, а обречённое сознание, что всё кончено.

До тех пор, пока человек пребывает, как *человек* в ***свободном времени*** (любое слово может быть акцентированно и из-

менять смысл сказанного), а не человек свободного времени, временность властвует над ним желанием присвоения красоты, обладания ею, и потому жаждой неутолённого стремления принуждает к избеганию красоты, знанию её только как негативной, угрожающей красоты, и из неё исходящей.

Впадая в себя, обретая сущность, человек полагает её как предел красоте, невольно выступая специфической мерой, и тем уничтожая и красоту, и себя (во вращении, с-ввёртываясь в себя, в себе, собой другим? Прямо правило буравчика. Шучу), «вприковывая» («**ковъ**» — «злой умысел — *ст.- русск.*), злоумышляя к здравомыслию целеполагания, утверждаясь как субстанция положительного различения.

При этом красота — суть для себя, и в качестве свободного отношения, безразличного к тем, кто это отношение удерживает, равнодушна к тому и другому. Свободное время только для человека оказывается, случается, необходимится, свободится, пространствуется пространством человеческого развития, падая тенью красоты на плоскость настоящего и довольствуясь тем, что есть.

В своём порыве (прорыве) к красоте человек штурмует крепостные стены своего я, им же воздвигнутые, атакует изнутри и снаружи. Не умея сменить стихию, природу ползающего червя, и потому пребывает в двух измерениях: в пространстве и во времени, распят на них, как в системе координат, а они порождены исчезнувшей формой — тенью красоты.

Именно здесь в свободном времени впервые красота обнаруживает свою трансцендентность, не порождённую ограниченностью человека, его чуждостью, но не красоте, а самому себе, своей недочеловечностью, но свою абсолютную, неоправданную (незайману) трансцендентность, абсолютную, трансцендентальную трансцендентность, что невозможно, но красота живёт этой невозможностью.

Как уже говорилось, напуганность двадцатого века призраком «сверхчеловечества» породила не менее страшную антитезу торжества недочеловечества (обыватель пошл, как пошл фашизм, не надо его демонизировать), что, впрочем — одно и то же нечеловеческое существование, а также *времябоязнь* — бешенство цивилизации, бешенство времени.

Всё это результат неестественности развития, несоответствия самому себе, когда возможный переход к иной форме об-

щественного богатства не произошёл, и гниёт избыток свободного времени, воспаляется и стервенеет пространство.

Тезис абсолютной красоты, трансцендентной человеку, сам по себе абсурден, поскольку абсолютное не может быть трансцендентным, обладать определённостью и самому быть внешним определением, коль скоро оно абсолютное, — не пребывает в пространстве и времени, хотя, лишённое определения, абсолютное само относительно и трансцендентно, как отсутствие пространства и времени, и потому оно не относительно, но и не абсолютно.

Но в том-то и ужас происходящего в свободном времени, что всё «сорвано» с «мест», и потому сущности проникают друг в друга, одна в другую, не смешиваясь и образуя совершенно немыслимые соединения, начавшиеся, но не завершённые процессы, реакции, разрешающиеся неизвестно во что, и потому абсолютная красота, которая не может быть, которая не может, не в силах быть, которая не может быть помещаема, не умещается в свободное пространство и время — принципиальная незавершённость, открытость. Абсолютная красота всё не может «определиться». Она свою полноту, достигаемую в одном и том же сущем, в себе бытием, чистым наличием, даже не рознящимся-в-сущности, и существовании, не различает, как абсолютное и безразличное. Своё абсолютное, привнесённое из-вне утверждает «несущественным существованием».

Красота начинает наличествовать в «ином», в другом, которое сама же полагает как своё явление, но основывается на собственной ничтожности, «плесневеет» бродящим пространством, покрывается им, хотя плешь выбитого, вытоптанного общего места в пространстве ей вообще не нужна — она на нём не помещается.

Собственно, то же происходит и с человеком по отношению к красоте: само это отношение есть явление красоты и человека друг другу, сущность которых самих по себе несущественна и ничтожна.

Но это ничтожество (хамство, а вдруг, ничто-жест-в-вещи) вещи во плоти первоматерии, существования, по сравнению с проникнутостью другим (пространство — проникновенно). Вместе они — другое.

Это то самое погружение в основание, которого ещё нет. Оно не создано и создаётся погружением, исчезновением, ко-

торое «одно-свободно-временно» временено становлению-основанию.

И если становление — то вневременно, время само есть его «продукт», а раз вне времени, то одновременность «разова» — лишь внешнее порождение саморазличения, остатки нерастворённых границ, меж, пределов, обломков, оболочка красоты, останки, шелуха времени, пространства, добра, вечности.

Борьба идей при этом вовсе не прекрасна, а грязное, мелочное дело — склока эмансипированных вещей, вносящая мусор, грязь покалеченных в схватке образов, усеивающих пространство опасными обломками, конечностями, частностями, живущими своей жизнью и продолжающими схватку, как отсечённые руки, все ещё сжимающие мечи, или головы дракона, пытающиеся извергнуть пламя. На месте одной отрубленной — десять новых.

Выжившие образы-ветераны, инвалиды войны, аксакалы, требуют к себе уважения, почтения к старости, но часто не помнят, о чём они.

Утрачивается отношение, и многообразие тонет в свободной своеобразной природе, где все образы теряют память о своём происхождении, забывая в полноте отрицательного отношения с собой (оно и есть банальное «от» и «до») о времени, которое усиленно источают, истекают им, истончаясь.

Иными словами, смысл превращения в том, что абсолютная красота, претендовавшая по отношению на абсолютную форму, а это в свою очередь порождало абсолютное время, оно же — свободное, утверждает в своём развёртывании, в своём мгновении только то, в чём нет ни прошлого, ни будущего, пространства и времени, и потому есть абсолютное тождество, «абсолютное абсолютного» *абсолютно-его*, представляющее чистое основание, абсолютное ничто, как одно и то же, и потому своё бытие имеет-видит в другом, как это ни парадоксально, являясь в своём бытии, как атрибут этого другого, которое «неиное» — «то же» красоты.

Ничто — не остаётся. Всё становится «внутренним» — полнотой без предела и полноты.

Нет «фотосинтеза»: красота не преобразуется в ограниченных формах времени, становясь иной и тем отчуждаясь в человека застывшим свободным временем, оставаясь оболочкой, внешнеположеной границей, мерой бытия, пределом жизнен-

ности человека. Она более не устаревает, человек не попрошайничает строками, не побирается стихами, не просит милостыню искусством, не ушкуйничает, обморочивая обманом красоту, принуждая её к сожительству выспренными заклятиями времени, требуя «многая лета», или «вечную память», совершая кражу прекрасного.

В погоне за тенью, среди видений и отражений жизни, распевая псалмы в тоске по совершенству, казнясь своей уязвимостью, распинаясь красотой, человек восстанавливает волю зла в полной мере злой волей, превращая свободное время в культовое сооружение красоты, восставая, натравливая причину на следствие робким словом, «одногнездовым», но покинувшим гнездо, словом негативным, выпавшим из жизни.

Обольщение красотой, как бесчувственность перехода, остаётся в утраченном. Желание порядка и меры настолько сильно, что прогрессивно хотело бы заставить перелётных птиц лететь не устаревшим ключом или клином, а строем, побатальонно, на одной линейной дистанции, и вить гнёзда квадратно-гнездовым способом (Е. Шварц).

В страхе, как причине невозможности красоты, возмездием отрешённой в любовь, которая непреходяща, непереходна, непередаваема, непредсказуема — проходит жизнь.

Желание красоты — утаивание её, удержание, превращается в битву с красотой, как отрицательное становление абсолютного, в его определяемой природе, подменяя сущность красоты её изображением, пределом, лишённым портретного сходства.

Тем своей жизнью защищает человек свою единичность, утверждая изменчивость и мнимость красоты своим жалким действием, останавливая красоту в представлении (а она в представлении не нуждается, и о красоте только и можно сказать «не представляю!»).

Красота не зависит ни от времени, ни от вечности, утверждая свою вечную природу не во времени и пространстве, которые даже не её атрибуты, но только в понятии, присущем одномерному человеческому представлению и восприятию, которые — противоречие. Но пространство и время тоже не зависят от красоты — они имеют своё «восприятие и представление» в этом восхитительном противоречии, «восхищающем в вечность».

Поэтому развивается не красота, не сущность, но понятие сущности красоты, становясь развязным и зависимым от конечной человеческой деятельности, как «грыжа», гипертрофия понятия. Появляется люфт, оно дребезжит, как оконное стекло, стучит, ощущается биение, вибрация, как будто у понятия смещён центр тяжести (я даже кавычки не ставлю в этих грубых попытках схватить мертвенность понятия). На самом деле, развивается красота и сущность по-своему, а понятие по-своему.

Изменение деятельности, её становление к абсолютному исчерпывает понятие, отделяющее человека прежде всего от самого себя (он к себе относится в третьем лице), и лишь потом — от красоты. Это «потом» и есть пространство свободного времени — это «прежде», «ещё не жилое» пространство, необжитое, которое пребудет «пустым» до тех пор, пока человек исходит из конечной деятельности, из свободы единичности, индивидности, конечности. Тогда конечное полагается бесконечным, а свобода, красота, время — обособленными, превращаясь в чисто деятельное страдание, где человек затерян в себе и блуждает не в себе в поисках достоверной причины, а если не находит, то сочиняет и наделяет своими свойствами всё, что попадётся, одушевляя и мифологизируя в силу воображения.

Он желает быть причастным красоте и свободе (не имея с ними никакого дела, и к ним никакого отношения), жаждет, ждёт смерти в красоте, тем отражаясь в ней, от неё, не являясь, и потому подчинён условиям, усилиям времени, отсвечивая, как его противоположность, подверженная реальности. Утверждая своё я, как нечто нерушимое, заурядную несокрушимость достоверной единичности (которую тут же всеми возможными эмпирическими способами опровергает в плоть, вплоть до физического уничтожения), человек утверждает идею красоты, как некий фатализм, уповая лишь на откровение, довольствуясь одним явлением свободы, но не самой свободой.

Явление свободы — свободное время — есть только провидение, но не продвижение, которое было бы обусловленным свободным временем, приуготовленным, уготованным пространством, но лишь свободным действованием, как синтезом «природы и свободы — бессознательной бесконечностью» (Шеллинг), сознание которой — красота, как ничем не определимое, несдерживаемое абсолютное.

Красота перестаёт быть открытием продуктивной способ-

ности (свободы — теперь это одно и то же, как становление и развитие, пространство и время, сущность и явление, и даже форма и явление, сущность и форма…) **воображения** и становится чистой действительностью действия, не отягощённого продуктом и актом воли, подчинённой красоте в качестве истины её гипотетического, предположительного, как цель, потенциального предела, меры.

Это — недостойная сожаления разнообразная красота, но достоинство сознания, приходящего в себя и устраняющего фальшивое благочестие мышления, устанавливающего истину, законосообразную красоте, в силу собственного недомыслия в желании пребывать в опостылевших границах деспотической, тотальной свободы воли, как нечто долженствующее, безо всяких на то оснований, этакий «кондуктор чисел» вместо музыки (Н. Олейников). Напоминает, когда внезапно, поддавшись порыву, уничтожаешь дневники, старые рукописи, потёртые на сгибах письма, пожелтевшие фотографии, весь хлам, включая старую мебель, программки памятных концертов, воспоминания — «довольно кукситься, бумаги в стол засунем, я нынче славным бесом обуян…».

Такое «без всяких оснований», без причины, «без свидетелей», обнаруживающееся в феномене свободного времени, безосновность (которая безусловна) и непоследовательность — и есть возможность становления, атрибутами которого являются и бытие, и возможность, и красота, и само свободное время. То, что нечто совершается именно таким образом и не обусловлено ни образом, ни совершением, поскольку не отягощено формой.

Оно не формировано и, значит, не деформировано единством самосознания, но самочинно, действенно уже не деятельностью форм, воздействием и взаимодействием, то есть, субстанциальное тождество, предполагаемое как переход — пассивное наличие, выдающее себя за условие, имеющее некоторое самостоятельное содержание, но как деятельность, в которой теряют определённость, переход и субъективность человека, и объективный дух, и его объективное бытие, и существование, и его простое существование, необходимое как безусловное действие и объективная действительность объективного духа, в которой он пребывает. (Уже по этой фразе видно и безразличие, и равнодушие реального процесса, который на время фиксируется

текстом. Всё равно, куда идти, и если «разрезать» на отдельные фрагменты и смешать, то первоначальный смысл не восстановится, а будет «складываться», выкристаллизовываться в причудливые «композиции» в этой «неразберихе», связанный слабыми соотношениями движения «натурального» времени — куда занесёт. Текст выходит из подчинения и становится неуправляемым, нудным, даже бессмысленным. Чтение превращается в созерцание бегущего потока. И вообще, к чему эти арабески, тонкости? Это как в архитектуре: на современном здании лепнина — только грязь собирать, проще чистую геометрическую форму использовать. Но это не геометрия — это жизнь, а она не стерильна. Всё сказанное можно уместить в два слова: Panta rei… Тогда вопрос: зачем ты это пишешь? Да так, просто.)

Однако, ошибочно кажется, мнится, «хочется надеяться», что «Человек» превышает в своей сущности деятельность человечества и «совокупность всех общественных отношений».

Иными словами, завершив предварительную историю злоключений — необходимую историю отчуждения, деятельность отчуждала («*очуждала*») сущность человека (и потому общество до сих пор питает нежную любовь, «человеколюбие» к абстрактному человеку вообще, спокойно, даже без эмоций, деловито уничтожая реальных людей), превращая сущность человека в «изначальную» вещь, и, более того, утверждала рассудочную метафизику сепаративного бытия, отчуждая пространство от времени, вечность от бесконечности, добро от зла, человека от человека и человека от себя самого, от жизни и т. д., отлучая от всего, полагая тотальность действия одной своей негативностью, созидающей собирательный образ мира, обладающий голой возможностью, видимостью абсолютной самостоятельности, и затем заталкивая в основание бесконечность, как конечную внешнюю причину.

Нечто может уходить в основание, но не превращаться в него, нарушая его «течение» и создавая «турбулентности». Так происходит со свободой, прекрасным, свободным временем и т. д. Человек, в «онтологической» свободе свободного времени (свобода времени — это вечность, отделяющая человека от человека — вечность, отрицающая свободу времени? время, отрицающее свободу? Или вечность, «стиснутая» между людьми, краями, как пропасть, отделяющая человека от человека, потому «бездна одиночества одна…», одинокая вечность, которая вечно длится и вечно временит, и не может перестать быть собой и умереть. Здесь вечность и время встречаются «в стык», «упираются» в ничто. Они как будто впервые увидели друг друга. Сдвоенность противоречия вечности

и времени, времени и пространства — это физически ощущается в мгновении перехода, каким является свободное время).

В субстанциальности свободного времени человек должен совершить своего рода обратный переход возвращения к самому себе, поскольку первоначально именно свободное время представляет ту самую бездну отчуждения, которая превратила человека, его я, в абсолютный предел всему, удерживая одним только образом, и им исчерпывая всё многообразие мира. Но он не хочет возвращаться. Не то, что ему и здесь хорошо, но человек приспособился, и потом, тут думать не надо — подчиняйся обстоятельствам. «Против судьбы не попрёшь», «такова жизнь», «человек предполагает, а бог располагает», «судьба играет человеком» — удобные рабские присказки, сказки для бедных — не хочется подымать муть.

Кстати (вернее, не кстати), от них не успеваешь отталкиваться, (отделываться, убирать, обходить, обходиться без них), и слова, вязнущие, скрипящие на зубах, своей монотонностью притупляют внимание. Абсолютное не впечатляет, и слово это по-прежнему ничего не говорит.

Снятие отчуждения — не просто устранение его, а тот же процесс, что и возникновение отчуждения, такой же мучительный, как и становление отчуждения, принуждающий человека дезертировать из действительности и самой сути дела.

Поиски покоя, нирваны, ухода от действительности, исследования «праздности», «Теория праздного класса» (Торстейн Веблен), «Право быть ленивым» (Поль Лафарг), наивные банальности Казимира Малевича, которого почему-то считают хорошим художником («Лень как действительная истина человечества»), его поклонник Феликс Филипп Ингольд («Реабилитация праздности»), все работы по свободному времени, по экономии времён, все панегирики труду, фразеологии, и даже песнопения «Лишь мы, работники всемирной великой армии труда…», всё это — попытки оправдать, как ни странно, принцип эксплуатации и подневольность труда.

Становление как снятие отчуждения и возникновение его. (Я различаю этот процесс, который, конечно же, един, *один и тот же*, потому что он не диалектичен, а метафизичен, и тем представляет собой преодоление эклектики, даже образом. Они одинаковы, эти два «направления», по «веществу», а не по существу — это разные сущности, но «разность» их уравнивается

только по результату, по последствиям. Когда отчуждение снято, совершенно не понятно, действительно ли что-то происходило, или это выдумка разгорячённого воображения, иллюзия представления. На воображении шрамов не остаётся — только на истории мышления в виде странной дотошности авторов в, казалось бы, простых местах.) Стягивание «сторон» пропасти, художественная «штопка» вечности, бездны, с одной стороны, возможно (ни с какой стороны нет «возможно», пока не преодолена односторонность. Отсутствие возможности — не есть возможность. По справедливому замечанию Ж. Делёза, «с одной стороны — с другой стороны», и прочими тоскливыми разъёмами мира мы обязаны распределительности и распорядительности Рассудка, расправляющегося так с жизнью. Разъятая жизнь — мёртвая жизнь. Хотя рассудок не виноват. Он сам — жертва с врождёнными уродствами). Так вот, «стягивание» антиномии возможно исчерпанием бесконечности свободного времени, но это означает изменение собственной природы с конечной на бесконечную, и, таким образом, распространение свободного времени на весь универсум, раскрытие и *раскрылие* пропасти, ставшей бесконечностью и тем переставшей быть пропастью, превратившись в «Элисий» — нераскованную, развязанную свободу, которая не остаётся распущенной свободой сдержанного нуждой необходимости бытия.

Человек в этом «втором» отчуждении в свободу (в сущности, отчуждение «одно», как и в отрицании отрицания, оно не последовательно, не во времени, не в пространстве, не постепенно, а революционно) преодолевает свою частичность, обретая единичность, — и всеобщность, страдающая в основании, простирающаяся сферой по ту сторону, вокруг «я», окрест, околицей остаётся для него конечной целью и началом, бесконечной, бессмертной смертью, и смертельной жизнью, и временем, погостом, жальником, — «епифанией» красоты, т. е., видимой поверхностью, ощущением, частью пространства, его непроницаемостью, отражающей, не имеющей глубины и потому остающейся в сфере чистой видимости, являясь как носитель красоты, но не самой красотой, словом, являясь прекрасным, и являясь лишь словом, образом, чем-то, что представляет красоту не по своему образу и подобию, само являясь образом и подобием красоты (дезодорантом метафор спрыскивается неприглядное попахивающее бытие. Я не потому так жесток, что мне

это нравится, а с тем, чтобы не заблуждались относительно прекрасного).

Всё здесь, и красота, и свобода, живёт двойной жизнью: самой в себе независимой, и иной в созидающем начале, и мерой — свободным временем, по мере которого всё и случается.

Свободное время — неустановленное (не уставное), свободное отношение между красотой в образе и красотой в произведении, в возникновении, ограниченном пространством и временем, сопротивляющемся природе красоты, которое временит и становится явлением, и проявляется понятием, но это — побочная партия.

Иными словами, красота (в отличие от прекрасного) не возникает, а пребывает, делая вечной и «материю» экзотерического произведения, и время, увековечивая его, порождая своей несовершенной формой. Произведение длится бесконечным созиданием, творением, преодолевая временем время, открываясь = освобождаясь только в предметах, охваченных панической предметностью.

Любое произведение представляет собой минерал свободного времени, в каком-то смысле самородок, гранёный алмаз, — всё не то, — нечто сотворённое, преломляющее и заставляющее играть вечную красоту, истину, единичное существо произведения и случайный образ, которым был одержим творящий, не ведающий, что творит, и понятие — всё — лишь оттенками одной идеи, обладающей онтологической достоверностью, сверхмерностью, безмерностью, неповторимостью, ни на что не похожестью, не тождественной ей самой, и потому она — всегда о другом, подобно реальности любого произведения искусства, когда истина материи самой по себе, — физическая природа звука, состав красок, структура мрамора, кристаллическая решётка металла, морфология языка, закономерности мышления, физиология высшей нервной деятельности, качество чернил и бумаги, сама технология искусства, жизнь идей, вечное бытие первообраза, — всё и «ещё-не-все» — «не то». Нужно что-то ещё и от лукавого, сверх того, какая-то чертовщина, «демон» динамики, энтелехия.

И «лукавство разума» состоит не в признании, и тем более не в познании красоты, а в её (его?) неузнаваемости, поскольку прекрасное не похоже на прекрасное, свобода — на себя, кра-

сота не сходна с красотой, а свободное время — не согласно со свободным временем, не является таковым, не видится.

Всё напоминает о другом и состоит причиной и следствием другого, хотя пребывает не в «которой» одномерности и «одновременности», собирающей «все времена». Нет причинно-следственных связей — они уже прошлые, прошли, и сняты в со-временности. Нет причинно-следственного выстраивания (в следственном изоляторе подозрительного мира) одного за другим в последовательном действии, но свобода, и красота, и истина, и добро, и зло, и любовь, и человек, и..., даже не преобразуясь, не превращаясь в иные чувства в теле свободного времени, уже в эмбриональном состоянии предполагают отсутствие частичности — становление единства, свойственного живому организму, которое в понимании античности ближе тому, что происходит, чем современное естествознание, так же, как сердце, лёгкие, печень, мозг — не части тела, пока существо живёт.

Свободное время — эмбрион сущего пространства, которое только зачато, но ещё не родилось; «оно ещё не родилось, оно и музыка, и слово...» Оно может потенциально дотянуться до своего совершенного, в своём роде, бытия, а может и нет.

Единственное отличие в этом навязчивом образе организма в том, что в естественных условиях всё обречено оставаться собой, не обладая сознанием, и ещё есть надежда, что этот организм прорвётся в иное, к иному чувству, как в своё время растительное и животное существование превратилось в сознание, и от ощущений перешло к сверхчувственному, но это может произойти только сознательно, свободно.

Этот же зародыш может стать чем угодно, когда определится, способен ли (к) бесконечному перевоплощению, перво-воплощению, непоследовательному и генетически не обусловленному, неопределённому, не предустановленному (его «геном» — воображение, и свободное время — среда его ре-эволюции), опровергающим любые законы, вплоть до декларируемых его собственным бытием, и при этом обладающим совершенным сознанием того, что с ним происходит. Важно, чтобы он захотел этих превращений. А он может и отречься от этого.

Пространство свободного времени есть возвышающая одномерность, в которой всё возможно. Акустическое пространство, которому всё едино: оно равнодушно (радушно, на самом деле бесстрастно) приемлет и красоту, и безобразное, равно от-

кликаясь (полагаясь) на музыку Баха, поэзию Петрарки, холодное молчание или тяжёлый мат… В *основном* — оно молчит.

Свободное время — чистая негативность, бездна, которую не загатить, не исчерпать, не соблазнить, не искусить, не обыскусствить искусно сработанными вещами, поделками человеческого гения, не завесить картинами и гобеленами, не заполнить музыкой и не связать, не спутать строчками поэзии и философии.

Само свободное время непосредственно воспринимается, как утрата, как очищающая трагедия, как «наконец-то», некая не вовремя обретённая огромность и безнадёжность. Это не перерабатывающееся опредмечивание свободного времени, не унижение предметности путём «обогащения» «руды» его. Всё в ожидании, и произведения искусства испуганно притихли, будто осознали всю свою ветхую предметность, хлипкую «здешнесть», и стали чураться, сторониться вещи, стесняясь ею, в испуге, что невиданные чувства, порождённые ими, могут обрушиться на них, а они не уверенны, что выдержат.

Бескрайнее, освобождённое ничто (хотя оно не нуждается в освобождении), ослепительное, ослепляющее ничто учит видеть. От Ничто не отгородиться, смысл его не ясен, но очевиден, как развёрстый хаос вселенной, забитый крошевом звёзд, миров, смертей и жизней — он виден, пока отягощённый заботами человек «***жиет***», словно червь, тот самый библейский, адский, неумирающий в мире, у мира.

Красота открывается, распахивается, как Океан, отражающий полное звёзд небо, бросившийся в глаза какому-нибудь пустынному равнинному народу, сорванному с места и впервые натолкнувшемуся на границу прибоя у края земли. Это много позже, потом, когда первая оторопь пройдёт, они начнут вторгаться в его пределы. Хотя, может быть, океан оставил их равнодушными, и ни его, ни звёзды не увидели. Сначала не замечают, а потом он становится привычным, обыденным, и его опять не замечают.

Так и здесь. Свободное время — гибельная полоса, кромка прибоя вечности, и красота все ещё смертельно опасна своей чужой природой. Такого потом, если будет потом — не будет, и прежде не было — только сейчас.

Не случайно те, кто к ней приблизился беспечно, неосторожно (осторожные не приближаются), теряли смысл, в прямом смысле, и облик человеческий, тот самый, необходимый

для того, чтобы быть понятными или хотя бы терпимыми для современников, окружающих «патентованных мещан» (А. И. Гончаров).

Вся бесчеловечная, иногда подлая сторона быта «великих» людей (не будем вдаваться в подробности, выискивание которых и так — любимое занятие обывателей, и в этом они осведомлены больше, чем в том, что они на самом деле сделали) — результат этой обожжённости, покалеченности красотой. Боль — откровенна. Чувства не меняются автоматически, как усовершенствованные протезы. Выжженные до отсутствия боли, способности чувствовать, до одиночества изношенные чувства не успевают перевоплощаться, *переплотиться*, сплотиться в другом обличье, и подменяются воображением. Потому такая непостижимая мощь в области духа и такая мелкопакостность в душе.

Эта диспропорция свойственна, говоря условно, периоду первоначального открытия и «накопления» свободного времени (которое не может накапливаться в виде сокровищ, но задерживается на время в виде способностей, чувств, в общем, «концентрируется» в сущностных силах человека, «аккумулируясь». Причём, чем развитей способности, чувства, тем «меньше» надо свободного времени, чтобы «завестись» и действовать просто так, без повода, и даже без «интереса» — безвольно). Свободное время как будто обладает собственной волей и само становится источником движения, провоцируя человека на «ничтожающую» и унижающую попытку (пытку) самосозидания, самоистязания себя в бесконечном пространстве.

Соблазн слишком велик, и самосовершенствование человека, «самосовершённость» в пределах красоты, оборачиваются бесконечным унижением, осознанием своей ничтожности, добро бы по отношению к Красоте, нет, — к самому себе. И никаким творчеством не заглушить эту осознанную утрату, величиной с бесконечность, которая ограничена формой «я»: от «я» реального до «я» воображаемого. Не хватит всего возможного свободного времени, чтобы просто компенсировать потерю и успеть за собой. Ты всё время опаздываешь.

Именно воображаемое «я» совпадает с бесконечным пространством свободного времени и становится абсолютным долгом перед собой, от которого нельзя отказаться, хотя это проще простого. Этот долг, как бесконечная усталость, страх пустоты, избывшести (он и есть долг — не-бывшесть, небывалость чело-

века, которая, как старость, на «все времена», даже юность и детство дряхлые), тоска по реальности, отбрасывает человека в реальные удушливые границы непосредственного существования, которые таким образом становятся ему чужими и тхнут посредством обязательной свободы «высшего идеала», громоздящегося на идее бесконечного существа, с которой уже Лессинг связывал понятие «невыносимой скуки».

Человек похоронен в состоянии. Его собственное «я» противно ему, невыносимо, так что человек покушается на самого себя, желая освободиться, что он и делает самоубийственным актом творения, поступком, для которого красота — слишком убогая мера. Не для неё, не ради красоты человек расправляется с собой. Он расправляется собой (однако получается не освободиться, а о-свободиться, будто освежиться или отовариться. Извольте-с?). Ещё он может освободить красоту от себя, освобождая при этом не красоту, а пространство, место.

В свободном времени красота не фигурирует, она ожидается, но не является, оставаясь просто ритуальным заклинанием, не имеющем даже магической силы, вроде заговора против совести, заклятья, против «зглазу», но уже что-то значит.

Человек временно, временем справляется с совестью, как правило, побеждая её. Здесь совершается совлечение времени, которое на время заставляется живописью, поэзией, музыкой, философией, всем человеческим. Но это не для того, чтобы спрятаться и укрыться, а в силу театральности, близкое пространство превратив в кулисы, тем самым всё остальное: и вечность, и время, и невозможное, остановив в декорациях условностью, связав образом. А ведь есть ещё, про запас, «занавес».

Само желание сотворения воображаемого пространства, как порыва (к) другому — прорыв ничто (к) реальности, которую представляет собой даже нереальное искусство, и это желание есть непосредственное чувство не обретённой красоты, которое легко отказывается от застигнутой во времени жизни, с неимоверной лёгкостью разрушает собой тёмную материю формы, пренебрегая всем: и сценарием, и сценографией, и режиссурой, не считаясь ни с чем, кроме этого воплощённого чувства жажды, которое желает остаться только чувством жажды, — и это единственная реальность, показывающая, что это не спектакль, — отказываясь от любви, но никогда не может преодолеть ничто, поскольку саморождено не-

утолимым временем (которое само сродни жажде, оно — лишённость).

Это подменяет чувство красоты чувством отчаяния, и к красоте тянутся, закрыв глаза.

Но вся суть дела в том, что такая гибель, самосожжение человеческой деятельной природы, *устанавливающей меру* своей человечности в виде абсолютного основания, — есть погружение в основание, которое есть ничто субъективности и единичности.

Отсюда — непостижимая изменчивость и трагическая исполненность. Полагаю всю силу своего чувства в основание ничто, и будет одна видимость, полагаю нечто, как положительное развитие — будет другая, и тоже совершенно одна. Одинокие видимости.

Образ, ввергнутый, опровергнутый в основание, обретает черты всеобщности и усиливается до бесконечности, так, что не только любовь обретает последнюю меру в красоте, как в своём основании, но и просто отсутствие любви. И тоска, и жизнь, и смерть. Образ вытесняется, избывает основания, заставляет его переливаться через край, через предел, который устанавливается, и лишь после своей свободы, в свободе выстраивается в необходимость и достаточность самого основания.

Иными словами, свободное пространство защищено лишь тем, что оно таит в себе свою истинную природу, но с готовностью наполняется самыми дикими желаниями, и беззащитно от мародёров, использующих эту его способность, как деяния, воображающегося в себе и самовозрастающего, так и чистого созерцания — «Древо Желания» — в низменных целях.

Я в этом пространстве сам себе не доступен, но отброшен, вдавлен в собственную ничтожность — мне доступна сама эта ничтожность, в которую могу не возвращаться, настигая её и отталкиваясь от опустошённой формы её бытия не ради себя, а ради другого, уничтожая овнешнённость своего чувства по отношению к самому себе, теряя сердце в сердцах, как средоточие и источник естественного зла (именно так виделось Гегелю), как старость сердца, дряхлость и затхлость оплотянённого чувства религиозного отношения к самому себе, которое на поверку руководствуется принципом жизнедеятельности саранчи или «чёрной вдовы», пожирающей самца для продолжения рода.

Уничтожение, разъединение жизни воспринимается как

освобождение, противоборство своей судьбе, взращённой на ложных основаниях лепообразной, елейной добропорядочности, установленной в качестве инструкции принудительной гармонии для современного ему общественного порядка.

«Контр-осуществление». Анти-судьба. Желание, стремление покинуть образовавшую тебя природу и породило тот страшный фанатизм творчества, рождающего не предметы, а взывающего к жизни. «Творящие» — не обладающие действительностью чувства (не обладающего действительностью чувства), не являющиеся, снисходящие, как высшая жизнь, захватывающая всё пространство свободного времени, избегая скверны земного, оскверняющего своим диким энтузиазмом идею красоты, принуждаемую к оргии отравленной свободы субъективности и субъективностью. (Чувствуется фальшь и пафос, который всегда присущ так называемому «творчеству», особенно, когда о нём. Почти смешно.)

Чувство обретает метафизическую реальность, но как чистая форма, содержание его — в другом. И смысл свободного времени в том, чтобы уйти в основание, перестать быть временем, обрести реальность, при которой беспричинная скорбь об «истинных человеческих чувствах», чувство не обретённой утраты, обретают первую реальность чувства самого себя.

И тогда обнаруживается, что одно и то же содержание, поступка ли, события человеческой истории, любви ли — разное в своём случайном, необходимом и свободном явлении. И разность, разор, раздор, чувств в несогласных с собой и с тобой (тобой несогласных), не говоря уже о растерянности человека в бытии, оказывается рознью, усобицей меня и меня-другого, до которого простирается трудная мера красоты, едва ли преодолимая благожелательной рефлексией, апперцепций, единством самосознания и жертвенной деятельностью разлада, пытающейся всё стянуть воедино. Определение меры, «единого» становится почитанием умерших, в том числе и успения красоты преподобной, которая не нуждается ни в культе, ни в почтительных ежевоскресных посещениях, ни в праздничных визитах в местах её явлений.

Красота везде, а помрачение и разлад — твоё дело. Она — не развитие, не эволюция с медленным течением «силурийских вод» вместо крови — её немедленная кровь не терпит постепенности. Красота — авантюра захлёбывающегося собст-

венной болью времени, его горячечный образ, нарисованный чёрной кровью, за неимением достойных красок. Образ этот сам есть поверхность, не имеющая глубины. По ту сторону ничего нет. Нет стороны — ничего и нет. Всё — оттуда, и лишь с одной, с *этой* стороны, как если бы вы созерцали изменчивую плоскость картины, погружались бы в нарисованное, написанное пространство, скитаясь и уходя за горизонт воображения, забываясь, теряясь, всё же оставались, отброшенные в себя простым сознанием поверхности холста.

П. Флоренский удивительно импровизировал на эту тему: «Теперь о холсте. Упругая и податливая, зыблющаяся, не выдерживающая человеческого прикосновения поверхность натянутого холста делает избирательную плоскость, динамически равноправную с рукой художника. Он с ней борется, как со своим братом, и она сознательно принимается за феноменальность, к тому же переносимая и поворачиваемая по желанию и не имеющая независимого от художника освещения и отношения к окружающей действительности. Неподвижная, твёрдая, неподатливая поверхность стены или доски слишком строга, слишком обязательна, слишком онтологична для ручного разума ренессансного человека» (СПб., 1993. С. 94–95). И для нашего приручённого рассудка тоже. Кстати, чудесный пример культурного обыгрывания того, что не имеет реальных оснований и выдаёт в великолепном мыслителе человека, никогда не имевшего дела с красками, тем более что Возрождение, особенно в ранний период, писало на досках, грунтованных холстах, по сырой штукатурке, расписывая стены и своды, и всё же идея передана точно. И вообще, в этом вся суть, а не в мёртвых фактах. Ничто не мешает связать холсты с парусами, которые ткались для каравелл, так что появившаяся масляная живопись полагалась на ветер — тут прослеживается связь. Флоренский — гений, он не руководствуется одной идеей, которой следует, не мелочится. Невозможно при всём желании сказать, чем именно обязана ему философия, следствий не следует — это природно, как музыка ветра в деревьях. Просто есть. Любование, а не знание для. Чистая поэзия: «Как ясно на ветру шумят деревья, что я — во всём». Пантеизм, наоборот — человек растворён в универсуме.

Такое сплошь и рядом. Философия — ни для чего не приспособлена, не предназначена, не устроена.

Если бы вы вдруг в озарении обошли раму картины, и, за-

глянув с тыльной стороны, обнаружили, что с «той стороны» вообще нет поверхности: паутина и сигнализация чужих неозарённых пространств и грубая, ничего не означающая фактура. Эта разъятость глубины и поверхности ими не замыкается, не ограничивается — ограняется: зазор «вне-находим», и есть пространство-встреча человека и образа, как живое биение «раскалённого воображения» (П. Флоренский).

И это то же самое время, только всецело обращённое на себя, и потому, как возвращённое без пределов — пространство универсума, предлагающего бесчисленное множество реальностей, которые не измеримы (тем более толщиной холста) и не соразмерны, а потому лишь по форме различны, — в сущности едины, поскольку не имеют меры, как одномерная «поверхность» красоты, не обладающая «той стороной», а только этой, поскольку основание не имеет протяжённости, объёма, вернее, безразлично к пространству, принадлежащему природе порождённой, а не порождающей. Одна глубина, без поверхности, спокойно, равнодушно объемлющая всё актуальное бытие бесконечности, но не являющаяся, ничего не выражающая.

Эти сонмы реальностей могут проходить друг сквозь друга свободно, не задевая, могут совпадать, превращаться друг в друга и образовывать новые, влиять или не влиять друг на друга. Они бывают одним и тем же миром, отстающим или спешащим во времени, и кто знает: мир, опаздывающий на долю секунды или сотни световых лет, то ли дальше стал существовать, то ли нет, но точно — *другим образом.* Он множится, смещаясь в себе, не говоря уже о бесконечной множественности миров той реальной бесконечности, где, далеко от Земли, что-то происходит, и утраченный свет встретится с Землёй в далёком будущем, и он уже есть, и будет вслепую лететь сквозь пространство, но не только к Земле, навстречу, а во все стороны, и может не встретиться.

В сущности, это не имеет никакого значения, поскольку в своём, якобы, индивидуальном бытии приходится искать себя в сотнях подобий и отражений, потерянных и ещё не дошедших, не возникших, рассыпанных на биллионы парсеков, и то, что мы рассматриваем как «я-настоящее», как свою самочувствующую сущность, на самом деле — (с) ***трудом*** обретённый образ того желаемого я, на которое я хотел бы быть похожим, хотя бы приблизительно, а не то, чтобы быть им. «От всех све-

тающих идей до мелкой дрожи, как мы похожи на людей, как мы похожи…»

Вот это предпочтение быть самим собой, похожим, подобным образу своему, заставляет образ жить полной жизнью, а человека отбрасывает в область абсолютных атрибутов, подобий, где человек — не совсем человек, не вполне. Не *со всем*, не всецело, а лишь воплощённая, «плющенная», сплошная частичность, порождающая время. Оно вовсе не выступает условием бытия человека, но лишь его, обладающего всей полнотой бытия, образа, который безусловен, и в этом условии не нуждается.

Это условие становится испытанием человека, как чистая негативность (проверка на отрицание), — неприятие человеческого бесчеловечного бытия. Не искать себя там, где тебя нет, а создавать, пусть даже это безнадёжно и несбыточно.

Красота, став абсолютным атрибутом самой себя в человеке и тождеством сущности с самой собой — не реальная красота, поскольку её абсолютность самодостаточна и не нуждается в человеке.

Так может длиться до тех пор, пока человек не станет простираться, длиться, продираться, как «торедо» (морской червь, растягивающийся в длину и превращающий в труху борта деревянных кораблей, роя причудливые ходы-узоры в обшивке) в пространстве ему чужого, стиснутого «между» отрицанием и тождеством.

Если выражаться проще, то человек, поставленный свободным временем в зависимость (в необходимость) от красоты, — как атрибут и возможный модус всё той же красоты, абсурдное *развитие абсолютного,* которое невозможно, но всецело действительно, поскольку есть основание необусловленной ничем, даже красотой, деятельности, единственными пределами которой есть просторы свободного времени, — является-показывается таким, каким он есть, хотя это совсем не означает, что он является, «грядёт во славе», в абсолютном совершенстве, скорее, в абсолютной данности — «вот», в своей наявности, в «истинном свете», как «всё, что могу».

Само выставление красоты пределами бытия, его границей, межей, термином — есть следствие скрытого чувства собственности на красоту, установление границы в приказном порядке предназначения, табу на имущество, посягать на которые —

бесчестие. И имущество — первородное, неподвижное, тёмное, как земля, тем паче, по Флоренскому, в земле покоились жертвы и на земле возводились храмы, так что межа, определённость утверждалась, как святыня и порог (меже, и порогу покровительствовал один бог — Термин. У Флоренского есть великолепная работа «Термин»). О термине упоминали, как о боге, и Овидий, и Плутарх, и многие другие. Мы тоже продолжаем его чтить, хотя приносим человеческие жертвы, которые этот бог границ, к тому же, не принимает.

Сила ограждений не в их монументальности, неприступности, оборонительности, но в символическом значении нерушимости, цельности, нарушить которую — святотатство.

Собственно, это достояние не языческого мира, как полагал Флоренский — для язычества собственность не была столь священна, поскольку простиралась до границ возможного, выраженного естественным пределом человеческих сил. Это потребность не сверхъестественная, не *сверхъестенна* (истина — «естина»). Терминологическое деление присуще уже поделённому миру, и вот когда нарушение границ воспринимается как покушение на предустановленную гармонию и на божественную первосущность — это вопрос права, а не развития. *Так* в теоретической реконструкции, хотя равновесие всякий раз нарушалось, и борьба за межу разгоралась с необыкновенной яростью, — точно так же и борьба определения с определениями. Сама тяга к лихорадочному установлению сплошь и рядом границ, определений, профессиональных правил, запретов, традиций, и, с другой стороны, к опровержению и снятию всякой определённости и точности в вопросах абсолютного и движения в никуда (столь тешащего наше время), порождена, осмелюсь утверждать, изменением общественного богатства: борьба не за предел, а за передел мира.

Это, как форма, ещё жаждет определённости, но в сущности — пред-полагает чистую определённость порыва, не отягощённого целью и предметностью. Чувства наедине с собой.

Свободное время — как полёт без опоры, когда межи видны, но не действительны. Они — одна видимость, и сама красота — далеко не предел. И далеко, и не предел, а всё более узнаваемое пространство, не имеющее к форме и пространству никакого отношения.

Здесь нет плоского эволюционизма, и тем более попытки

вывести непосредственно из необходимости, или свободы, или свободного времени красоту, как следствие. Человек не депортируется свободным временем, временной мерой за пределы красоты, не изгоняется в красоту. А так, как этих пределов не существует, и пределы — это сам человек, то депортация затягивается, и есть бесконечное изгнание за пределы, которых нет — чистое чувство гонимости, которое, как движение в бесконечности, и является формально свободным временем.

Тут даже бессмысленно искать отношение красоты и свободного времени. Речь о пребывании, — в красоте ли, в свободном времени ли, — а не о достижении их путём создания. Это есть свободное время, его непосредственная действительность, не принимающая иного начала, кроме себя, даже если такое начало является первосущим действительно и несущим для человека, принуждённого жить в изъязвлённом временем пространстве. То есть свободное время «нагло» ведёт себя, как самопорождённое, хотя оно — следствие деятельности, как начало и конец всему.

Иными словами, жизнь не является причиной, чтобы жить, смерть — чтобы умирать, но красота — единственная причина самой себя, а свободное время — единственное, что может себя опровергнуть. Единственность более не отделена собой от своей потенциальности, и обретает бесконечность становления, не происходящего в «иное», а существующего как невозможное, но всецело действительное бытие человека накануне красоты, наяву. «И мне уже не хватает себя самого…» (Мандельштам)

.

Беспросветность
(Эпи…)

Банальность, повторяемая тысячи раз,
становится эпосом…
Кто-то

Дальше — только следствия и вариации. Беспросветность — это сплошность (*укр.* щільність) (суцільність, но и впрямь плотная — *прим. ред.*). Любые направления, но ничего ослепительно нового о свободном времени сказать нельзя — остаётся только упиваться свежестью, как в «первый день творения». Это то самое «свершение всех времён, как полнота бытия», о котором писали много и подробно, но хочется повторять вновь и вновь. Всё по *прежнему.* «От прежних нас (прошлых) всё глаз не отведём» (Рильке). Ведь и жизнь — ничего нового, правда, сейчас — ничего личного. Хотя свободное время впервые — личное время. Свободное время начинает с начала, со свободы, ставшей основанием.

Это выглядит очередной утопией. И даже смешным: ну какое свободное время, какая полнота бытия? Протри глаза. Не буду уверять, что это не так. Когда-то я писал, что страсть к философии — это не графомания, но тогда по истине, когда в ожидании цунами — вода уже отхлынула, обнажив дно, и ты «на самом дне», на «самом деле» лихорадочно пишешь веточкой (для «красоты, манерно и жеманно — цветущей веткой») что-то, увлекающее тебя. Ты прекрасно знаешь, что всё, ждать нечего, хотя и прежде было нечего, потому что ты на необитаемом острове, и первая же приливная волна всё смоет. И нет ни одной причины, чтобы жить. А ещё лучше: пишешь по волне, по воле, по бегущей воде, на гребне, и тебя не интересует, поймут ли тебя, прочтут ли.

Но, между тем, всё гораздо хуже — это *слишком* красиво. Хотя красота — никогда не слишком. Жизнь слишком — пол-

нота бытия. Другой образ возникает. Писать сейчас о свободном времени — всё равно, что в фашистском концлагере изучать немецкий язык, чтобы читать «Критику чистого разума» Канта или «Фауста» Гёте в оригинале за пять минут до крематория читать, рассуждая о достоинствах и тонкостях русских переводов. Такое же нелепое занятие. И «сила настроения» здесь в наше время решает всё. Нужно себе внушить, что важнее занятия нет. Но это не создание свободного времени, чтобы в нём укрыться, эмигрировав. Зарисовки свободного времени с натуры, хотя до этого, может быть, не дойдут никогда. И натура постоянно уходит, меняясь в лице до неузнаваемости. Это не символ веры, а безнадёжная, преждевременная, недовременная правда.

Книга не «опережает» своё время, а катастрофически опаздывает, хотя она ничего не решает. Книга опаздывает «навсегда». Это та «невыразимая печаль», которая «открыла два огромных глаза», но не Мандельштамовская, а печаль прозрения или презрения к бытию и к себе.

Дальше можно писать до бесконечности, потому что достигнута «точка невозврата», и возвращаться не хочется.

Потому что всё в прошлом, а впереди только прошлое, всё покрывается какой-то слизью. Недавно я совершенно случайно решил пересмотреть «Смерть в Венеции» Висконти. Сделано мастерски, но привкус какой-то дряни. Не веря глазам, перечитал Томаса Манна, и задохнулся от пошлости, которая, как тухлятина, налётом расползалась перед глазами. Послушал Бриттена, посмотрел балет. И такая плесень на всём, на некогда любимых книгах, на музыке, фильмах, всём, что составляло смысл, заставляло переживать, волноваться. Подумалось, со мной что-то не так. Старость. Серость. Но нет. Это объективный процесс, и даже «нечаянной радости» уже не будет, — «Но ты, неверная, нечаянная радость, не забывай меня. Не позабудешь?» (Хименес). И не в том смысле, что смерть и старость — тоже объективный процесс, и необходимый по-своему. Он не в «стянутости» (сводимости) времён, как у Майстера Экхарта, которые «сводит», как судорогой, воедино. «Когда нет больше времени, это и есть свершение всех времён».

Душа должна освободиться от времени с его желаниями и стремлениями. «Бог не “прикосновенъ” времени, иначе он перестал бы быть богом». Душа не прикосновенна времени. Хотя

какой там бог, какая душа и дух. Не ради дешёвой мистики я упоминаю Майстера Экхарта, а потому, что воочию здесь видно изменение прочтения, когда он говорит о том, что в каждом мгновении — «всегда» стянуты все прошедшие времена, и те, которые только будут. Это «настоящее мгновение вечности», когда всё познаётся здесь-сейчас таким же новым и свежим, во всём чувственном блеске, и эта всеобщность, полнота в моей душе дана на вырост действительности и сущности бытия, и самому богу она — безмерный простор.

Конечно, не о душе, не о боге идёт речь, а, как ни странно, о времени. Упоительное слово «когда» возвращает всю «раннесть», «утреннюю зарю в восхождении» непостижимого, даже если на закате. И ты начинаешь видеть это везде.

Я, конечно, не напишу о полноте бытия. Тут ты наталкиваешься на предел не только своих возможностей, но предел своего времени, предел самого опыта, мышления и сознания всеобщего опыта, всей деятельности человечества на данное мгновение, и это страшно, что при всём желании ты срезан «бескрылым желаньем улететь», и эта исчерпанность мутит, «минутит», хотя, «словно талую воду я пью помутившийся воздух», но преодолеть этот предел ты не можешь, «я скажу это начерно шёпотом, потому что ещё не пора». Мандельштам писал: «Достигается потом и опытом безотчётная неба игра», но он ошибался. «Музыка не должна потеть» (Моцарт-Гёте). Я повторяюсь, но буду повторять это всегда, прекрасно сознавая, что действовать свободно трудно и даже невозможно, и именно потому жить беспричинно, без оснований трудно — бессмысленен вопрос о смысле жизни, ничего бессмысленнее нет, но это не глупо и не тупо — это дерзко. Поэтому сотворение — чисто эстетическое действие, как и развитие в свободном времени. Допускаю, что может однажды и надоесть, и сам процесс наскучить, но без этой возможности действительность оскудела бы, соскучилась, «скучилась» на целую скуку, на целое отчаяние и беспросветность вечности. Надо научиться упиваться временем.

«Жизнь как смертельная болезнь»? Нет, это было бы слишком просто. Хорошо бы, если просто. Сколько написано о «простоте» в простоте. «Нельзя не впасть, как в ересь, к концу в неслыханную простоту». Увязаешь в мелочности и суетливом разложении жизни, расползании гнилостных бактерий: вещей,

впечатлений, образов, слов, букв… Свободное время ничего не решает и умирает последним. Всё дело в том, что при нынешнем положении вещей оно, как ни назови этот период, свободное, не может уйти в основание, и бессмертит, как раковые клетки, разбухая опухолью, не в силах умереть. Оно — невозможное свободное время. Не жизненное — смертельное, если не вернуть ему пространство человеческого развития, оно будет разлагаться вечным образом, и, как трупный яд, заражать всё. Избавиться от этого можно только освободив свободное время.

Хотя бы восстанием в самом себе. Даже если это невозможно. «Но, если нельзя, но очень хочется, то можно». Когда-то Шенберг сказал: «Если я покончу с собой, то хочу, по крайней мере, получать за это деньги» — в этом вся новая, насквозь коммерческая музыка. Самоубийственность не спасает. Нет ни грандиозных идей, ни жизни на пределе — только натужность и беспросветность. Я в этом диптихе, дуэте (как у Моцарта в концерте для скрипки и альта — завидую), хотя бы попытался. Не сочинить, исполнить (а мог бы быть триптих, трио, квартет, квинтет, секстет, октет и так далее, до гомофонного оркестра, но каждый оркестр имеет пространственные границы, когда ты не можешь выбраться за пределы времени и обречён своим пределам, посвящён границам). Однако, тема осталась открытой. Должен был быть триптих, но я не справился. И сил не хватило, и честности, да и свободное время в его нынешнем обличии оказалось слишком неопределённым. Конечно, много интересных моментов, даже в таком ублюдочном его состоянии. Например, написать книгу «Свободное время и интернет» или «В сетях», в «Паутине свободного времени», или ещё какую-нибудь пошлость.

Или развить мысль Маркса о том, что в эпоху пара и локомотивов Одиссея и Илиада не возможны, а Шекспир не может быть во время телеграфа. Тогда возникает закономерный вопрос, а возможен ли Маркс с «Капиталом» во времена массовых коммуникаций и компьютера?

Вопрос о том, почему произведения античности вызывают трепет и благоговение, доставляя наслаждение и переживание? Вообще, почему мы до сих пор теряемся, слушая, например, Баха, оторопеваем от произведений прошлого — по сути, вопрос о том, почему мы вообще чувствуем, как мы чувствуем (го-

ворю «мы», потому что сущность чувств — в объективной всеобщности) произведения настоящего и будущего? (Или почему современники не чувствуют ничего?) И, конечно, здесь вопрос не о самосознании и не осмыслении того, что именно мы чувствуем.

В любом случае, эпиграфом ко всем возможным исследованиям свободного времени можно взять слова Маркса: «В конце концов, вся экономия сводится к экономии времени». Когда свободное время не надо экономить, то проблема решена, достаточно простого описания процесса.

Наконец, оставлена на «потом» странная идея, которая давно муссировалась в истории философии и была своего рода «камнем преткновения», которая, как «камень за пазухой», доставалась в нужный момент, и становилась то философским камнем, то краеугольным, углами наружу, то камнем для пращи (метать сейчас не умеют), то предметом для собирания, идея, жуткая по существу, невинная с виду, но убийственная — «трансцендентального единства апперцепции» (transzendentale Einheit der Apperzeption) и «единства трансцендентальной апперцепции», которая лишена ощущений, чувственности, но не лишена чувств, ставших теоретиками, потерявшими субстрат, но узнавшими чувственно-сверхчувственную предметность в свободном времени.

Ввиду сложности проблемы, её молчаливо трактуют как «единство самосознания». И она вполне «работает», когда речь идёт о познании, восприятии и так далее, когда не вдаются в подробности. Но, оказывается, что это не так, и между трансцендентальным единством апперцепции и трансцендентальным единством самосознания лежит пропасть, вечность и бесконечность, и, благодаря свободному времени, ты понимаешь, что вопрос не в познании, а в чувстве, которое бесчувственно. И снимает в себе перцепцию, выступая, как а-перцепция, а не апперцепция. Тут вся эта проблематика становится «на дыбы», и все эти учёности, приписывающие термин Лейбницу, а идею «трансцендентального единства апперцепции» Канту (хотя Кант здесь прилежно следует схоластике), охвачены «безумием», «без-умением» и восстают во всей полноте.

Жаль, что действительную «критику» Канта осуществляли люди, которые своей правотой только усиливали заблуждения и критиковали Канта, доказывая правоту именно Канта в свое-

образии момента. Тот же Фёдоров в опусе «Иго Канта»: «Наступление совершеннолетия, открывающее для человеческого рода в его совокупности безграничное поприще, несмотря на всё свое величие и на всю привлекательность, встречается интеллигентным классом с тупым равнодушием, не вызывает ни малейшего подъёма в отживающем, глубоко падшем “учёном” сословии. Гнет кантовой критики тяготеет над нами. Кант — представитель старости, переходящей в младенчество. Хотя он и восхищается небесным сводом, но закрывает человеческому роду доступ в него. Восхищается он и пустым, лишённым всякого содержания долгом; но он истинный враг простора и шири. Ему, философу безнадёжности и отчаяния, всюду мерещатся грани и пределы, которые он и налагает на все области жизни, на мысль и на деятельность. Освободится ли Запад от ига “критики” Канта?». Запад освободился только от человека.

Освободится ли человечество? Станет ли оно пространством «Общего дела»? Что угодно, но только не «общего дела» в понимании Фёдорова, а так, критика справедлива, хотя как раз в Канте дышится легко, я бы сказал, привольно, он, как современная музыка, скован правилами и условностями, догматизмом (какой там «критицизм»), но весь Кант — в трансцендентности, когда он на пределе сплошь и рядом разрушает границы, пунктуально следуя заданным правилам, из «чувства долга», нехотя, их опровергая. Там нечего чувствовать — только страдать от пределов; там некогда жить — только соблюдать правила и следовать параграфам; там негде происходить. Это хладнокровное неистовство, может, не столь скрупулёзно, присуще мышлению во все времена, хотя заскорузлость и догматизм тоже могут роскошно расцветать и быть свежими. Их можно считать, принимать свойствами времени, и даже свойством времени в единственном числе, усматривая в этом единящее единство и одиночество самого времени. Хотя на самом деле время, как и пространство, как и бытие, в отличие от жизни, вторичны отрицанию, исчезновению, превращению, которые в случае с человеком представляет деятельность.

Даже унылый, привычный «априоризм» Канта становится «злободневным» в смысле отношения зла и добра, и предельно актуальным. Восцветие Канта, не в силу возрождения, а с точки зрения тёрпкости мысли.

зазеленел половик расшитый цветами
И Кант как редиска свеж и пахуч
Разгрызаю мякоть и чувствую на языке
Острый вкус аргумента…

Халина Посвятковская, пер Н. Астафьевой

В самом деле, вопрос о познании становится проблемой воспитания *ввиду* отсутствия опыта. Всё вторично и познаётся не непосредственно. Не только в личном опыте этого нет, но и в общественном опыте и способе познания, не только пропасть между теорией и практикой, которую ничем не загатить и никакими мостами не преодолеть, — это ещё можно пережить, — но сам способ жизни становится умозрительным. Действительность далека от действительности. Реальность — не реальна. И всё, даже чувства, дано мне, как данность, объективно. Чувства — отступ, запаздывание. Ну и так далее.

Всё вторично, как говорят певцы фламенко — «не от подошв». Вторична поэзия от литературы — так писала Ахматова и её «последователь» Бродский. Берётся проза, и перерабатывается в поэзию: «Лучше жить в глухой провинции у моря». Всё — имитация жизни, музыки, поэзии, философии. «Вторая природа» (Гегель).

Тот же вопрос о вневременном связан с «единством трансцендентальной апперцепции», и уже Сергей Булгаков в работе «Трагедия философии» недоумевал, каким образом вневременное и надпространственное, непространсвенное «я» может воспринимать пространство и время? Если по Булгакову этот человек, читай Кант, не понимает различия между бытием и усией, жизнью и Бытием, то как преодолеть пропасть между вещью в себе и вещью для нас, между сущностью и явлением? Например, становится волнующей загадкой вопрос, почему Кант не рассматривает эту проблему уже в трансцендентальной эстетике? Как чувства чувствуют пространство и время, или они чувствуют благодаря им? Ладно, вопрос второстепенный, для любителей. Но это вопрос не психологии и даже не философии, которая его для себя в общем виде решила, и брезгливо смотрит на упражнения психологии и феноменологии, как они разделываются с движением и «портят» материю, как «материал». К тому же, современное искусство радостно ввязалось в эту возню, с кажимостью и видимостью, саморазличением, саморазложением «феномена и явления», контемпорарного и со-

временного искусства, видя в этом дополнительные правила игры и новые возможности, но это так же убого, как стоклеточные шашки по сравнению с обычными, как компьютеры по сравнению со счётами. Квантовые компьютеры, конечно, поражают, но, несмотря на родство с котом Шрёдингера, всё же представляют «изощрённую» формальную логику, основанную на анализе, дроблении, логику, извращённую в своей последовательности и упоённую своей садисткой правотой, но никакого отношения к живому мышлению, а тем более к чувствам, не имеющую.

Вопрос о том, что чувственность тождественна временности, проблема вневременности и внепространственности, проблема отношения чувств к ощущениям и чувственности, вопрос о чувствах и идеях, образах, который приспособила современная психология для своих «нужд», внезапно возвращают себе философские основания во всей полноте, во всей первозданности. То есть решается та же проблема чувств в пространстве и во времени, решается всем существом, «ценой жизни», в каждом отдельном случае, созданием этих чувств в свободном времени с точки зрения становления и становлением, решается-создаётся каждым в каждое мгновение, и каждым, причём, он волен решать или не решать, к тому же, решается в единичном и общем. Проблема Единого и многого решается вновь и каждый раз иначе, чем у Парменида. Я бы написал книгу «Бесчувственное».

Проблема в том, что свободное время не нуждается в решении и снисходительно относится к любой фантазии. Но это значило бы сдаться и описывать механизмы утилизации свободного времени. То же времяпрепровождение, чтобы скоротать ожидание. Сколько ещё осталось?

Можно было бы рассмотреть проблему свободных чувств в свободном времени, но надо ли? Сейчас, когда утрата чувств — как сложенное оружие и знамёна при капитуляции. И речь о том, что скоро их отменят за ненадобностью, и все вздохнут с облегчением? Чувства принудительно лишили полномочий, оставив куцые «правомерности». Можно было бы написать десятки книг о том, что хотел и что не удалось, — тут сколько угодно вариаций: со смаком, сочно размазывать причины: почему не получилось, почему неудача. Но смысла в этом нет. Зачем засорять, замусоривать пространства? Это не

неудача — просто зарисовка, и это всё, на сегодняшний день. Завтра будет по-другому, другое свободное время. И, конечно, другая общественная практика, как другая форма движения, которая, вне зависимости от того, обращается она к диалектике, к сознательному мышлению или нет, просто решает вопрос: быть или не быть.

Когда-то Цицерон высказал сентенцию, давно ставшую банальностью: «Времена проходят, изменяются, и мы меняемся вместе с ними». Если учесть, что исчезновение порождает время, как прехождение бытия, то — наверное.

В какой-то мере в свободном времени увеличивается количество «степеней свободы», и свободное время первым делом становится пространством не развития, а жизненным пространством современных технологий и мифологий. Тут жизни нет. Само свободное время выступает как миф, и главная сложность в том, что оно не обусловлено, то есть нечто в нём — от произвола, прихоти, оно — не обязательно. Это постоянное изменение невозможно зафиксировать. К тому же, возникает вопрос о «двух» основаниях свободного времени, которое является в двух ипостасях: относительное свободное время и абсолютное свободное время. Оно не бывает беспримесным и попутно освобождает то, что свободе не подлежит. Вопрос в действии, а не подготовке к нему.

Думаю, в третьей книге времени буквально нет *нужды*. Но есть свобода. Она отпущена на свободу. Её рост исподволь может быть, а может и не быть. Он не поддаётся селекции, не ставит никаких задач. Но ей не хватит всего свободного времени, чтобы произойти. Это не «порочное смирение» Декарта, как страсть, не самоуничижение — это tristitia, печаль, что нечто будет сбываться, но уже не для меня, — я об том ничего не узнаю.

Чувства не даны, они становятся. Со временем. Чтобы чувства возникли, пришли в сознание, как чувства, вполне, нужно много свободного времени. Избыточно много, причём становящегося, изменчивого каждый миг, который переосуществляет всё наличное бытие, даже по видимости. Своей неопределённостью Время и чувство — во взимовозникновении, где чувства противятся исчезновению, и в этом находят опору. Свечение чувствования, когда нечто светится противно, противу собственной природы, против природы, являя эффект Вавилова-Че-

ренкова, от сопротивления, напряжения. Чувство становится сперхпроводимым, сверхтекучим, как свет становится жидким. Свободное время уже не в нехватке, и потому рассматривается, как данность, чтойность, а предстаёт как среда, во всей избыточности и точности, себеравности. Чувства не должны сбываться, а сбываются, как идущие в рост, забывшись в беспамятстве. Стоит стихии измениться (а она меняется постоянно) на один жалкий процент, и всё пропало, что-то уже не случится, что-то уже не произойдёт, или, наоборот, что-то произойдёт, но развития не будет. Будет что-то другое. Свободное время и чувства — не диалектическое противоречие. Их противоречие случайное. Время тут не связующее, не разделяющее, а снимающее, несовместимое и чуждое по природе. Свободное время предстаёт «природой крови» (Спиноза) и ею управляется, как природа материи, «эссенция» движения. Главное, чтобы в лекарском раже не занимались кровопусканием. Время становится «пространным», пространствуя, пространство временит свободным образом, хотя может и случайным. (Интересно в этом отношении примечание 371 к стр. 634, которое в письмах, фраза «Действуем мы по необходимости или свободно» изменена на «по необходимости или случайно», как и любопытный, но бесконечный вопрос о количестве атрибутов у одной субстанции, как и тот вопрос, если бог у Спинозы не является ни в коей мере личностью, то как он может быть свободен?)

Очевидное только кажется. Кажимость и видится очевидным. Кажимость очевидно видится. Видимость кажется. Показывается, причём *на время.* Она только возможна. «Назад к вещам», отказ от вещи в себе — лозунг и идеология феноменологии, проводящей фронтальную лоботомию, отделяющую сущность от явления, абсолютизирующую, гипертрофирующую явление. И свободное время, явленное в таком ракурсе, может быть и формой отупения. Оккупации и экспансии. Свободное время укрощает и подавляет буйство чувств, приручает их и заставляет исполняться, совершать работу. Как служебную скотинку. Оно следует логике, природе вещей «в грустном обществе вещей» (Мирослав Валек) оно подавлено функциональностью, полезностью, потреблением, и это эксплуатируется и переносится, проецируется, экстраполируется на чувства, которые тоже рассматривают «как то, что нужно человеку», как полезную в хозяйстве вещь, узкоспециализированную и годную к примене-

нию, причём немедленному. Чувства затыкают прореху, они — как пластырь, налепленный на пробоину. Они покуда от нужды и нищеты. Так жадно ловят ртом воздух, когда нечем дышать. Чувства покуда — «всё остальное», но сейчас они жизненно необходимы для того, чтобы жить. В них нуждаются. Свободное время становится, изгоняется, удаляется в возможность, и там становится невозможным. Не временем и не свободой. Ни временем — ни свободой. Оно — сплошь в недеянии, несбыточности, довольствуясь непостижимостью. Это как орудия долго и мучительно имитировали рычаг и продолжение руки, но лишённой универсальности, долго копировали механическую форму движения в системе машин, очарованные комбинаторикой и переходами кинетической энергии и прочее, пытаясь исчерпать случайность, подчиняя необходимости и внутренней логики, а здесь вдруг понадобилось перейти к развитию во всей противоречивости. Это один из этапов: свободное время взаимопревращается в чувства. Переход в иное состояние. Чувства больше не привязаны, не ограниченны органами чувств. А органы — это сущностные силы человека, которые его порой подавляют, ему неподвластны и даже враждебны, и развиваются объективно, вне зависимости от сознания и ощущений. Мышление, чувство поэзии, живописи, музыки и всего остального, живут относительной самостоятельностью. Свободное время создаёт, складывается в атмосферу и рассматривает себя, как климат, пору года со своими ветрами, муссонами, пассатами, непогодами и грозами, и вопрос не в том, чтобы создавать климат-контроль и уметь управлять погодой, а в том, чтобы хотя бы научиться любоваться. В сущности, даже прорывы в области модных квантовых компьютеров подчинены узкопрагматической попытке обуздать, учесть случайности и предвидеть, предсказывать будущее, как погоду. Не подчинять принуждению, не достичь власти над чувствами, — «учитесь властвовать собой», — но увидеть их, как чувства в себе, хотя они не в себе, в их всеобщности, а в сущности, быть чувствами, не делая их самоцелью. Но бывает период, не исключающий все другие, когда чувства, обнаружив себя, становятся и должны быть самоцельными. Самоцельность, как самодеятельность. Так ребёнок с удивлением и любопытством, реже с ужасом, начинает относиться к себе, как к «я», в первом лице, в отдельности и одиночестве, натолкнувшись на идею смерти, что он и все смертны, не вечны.

Когда я подряд припоминаю много слов, употребляя их в разных смыслах, то это не от избытка и не по нужде, не как антонимы или синонимы, не частотно — это не только оттенки одного и тог же, даже в разных, прямо противоположных смыслах — другое слово изменяет весь текст, смысл всей книги, которая реагирует мгновенно, даже если оно не прочитывается, не схватывается. Это мерцание — не для придания мишурного блеска или изменения освещённости. Это само свечение, как планктона, светлячка, морского рачка, которые, конечно, не для украшения и сияния мира во всей полноте, не гирлянды на ёлке. Слово не умножает сущности, но полностью изменяет динамику, ритмику. Это не тахикардия или брадикардия, сокращение ударов или учащённое сердцебиение. Тут не работают принципы экономии. Эта избыточность — восторг бытия, его простор и возможность волнения, и волновая функция здесь ни при чём.

Увлекаясь созданием принципиально нового, часто упускают из вида репродуктивную сторону бытия, воспроизводящую себя в постоянстве, в форме покоя, где становление замкнуто, закорочено на себя, как пресловутая змея, кусающая себя за хвост. Буйство становления в самовоспроизведении. При свободном времени необходима не только продуктивная способность воображения, но и репродуктивная его способность. Создать, воспроизвести то же самое, не иное, порою труднее, чем выдать новое простым отрицанием, апофатически определив, изгнав за пределы чтойности, как не то, что.

Суть в том, что для возникновения и происхождения чувств необходимо слишком много свободного времени, и этим всё сказано: избыточно, несоразмерно, непривычно, беспричинно много «лишнего» свободного времени. Чувства — «Index», в спинозистском понимании — критерий, пробный камень, но они не каменные. Казалось бы, зачем об этом писать, если взаимопереходы и взаимообращения, проникновения чувств и свободного времени, очевидны. Проникновенные чувства смертельны, но теперь можно писать «После времени», «Вовремя». Но получилось только «До времени». Я в счастливом неведении, даже не предвосхищении, и могу с уверенностью, определённо сказать: я не знаю, что будет, и к чему я приду, пытаясь договориться до чувств.

Предисловие

Автор книги, этой Лоции Свободного Времени, ушёл в самое большое путешествие 6 марта 2021 года, в день, когда увидел изданным первый её том. Ушёл, улыбаясь, рассуждая о немецком языке, о плене языков — ушёл точь-в-точь как в его эпилоге, который вы только что прочли. Поэтому предисловие — в конце, и нигде больше в «Последнем времени» оно быть не может. Как не может быть завершена жизнь Алексея Босенко, моего друга и учителя. Учителя, который не показывал «иди туда, там свет», а шёл рядом. Всё только начинается, и мы — в неведении и предвосхищении.

Человечество вышло на берег Времени-чувства-красоты — словно равнинный народ впервые вышел к океану, и его необъятность очевидна, но пока незнаема и немыслима. Всё впереди. Человеку ещё предстоит построить корабль, что вместит не только отчаянных одиночек, на которых пока держится этот мир, но всех нас. Мы ещё будем тонуть и спасаться. Открывать новые земли. Идти по звёздам и по этой лоции.

Чтобы когда-нибудь новые люди, которые будут уметь чувствовать так же, могли писать друг другу в письмах, как Алексей писал мне:

«Под утро привиделся такой полынный полустанок, тупик, засеянный матиолой, душистым табаком, бражники летают, закат. Тёплый ветер, примятый и пахнущий мятой, и где-то убирают хлеб. А вокруг старые паровозы, деревянные шпалы, пахнущие мазутом, и так светло стало, извини за сентиментальность, но очнулся, и вижу: свет выпал, и сугробами, и застругами лежит свет, снегом выпал, и всё такое просветлённое, что и помирать не жалко, и самое интересное, что холод и тепло убираемых хлебов не контрастируют, а словно одной природы. Это я тебе о светлой печали написал — не от тоски».

Чтобы, как он писал, чувствовал, мы могли не искать себя, а создавать. Не по нужде, свободно. Чтобы последнее время длилось в нас и нами одновременно. Одновечно.

Иван Кулинский, Гиацинтовый Дом, 17 марта 2021

Содержание

Абрисы свободного времени 5

Необходимое свободное время 93

Становление времени
как пространства
человеческого развития 110

Необходимое свободное время
(Подробности и лишние детали. Продолжение) 189

О том же.
Стихии свободного времени 281

Беспросветность.
(Эпи...) 381

Предисловие 393

Для заметок

Наукове видання

Босенко Олексій Валерійович

Останній час
II. Вільний час як звершення всіх часів

(Російською мовою)

Редагування, дизайн, верстання — *Іван Кулінський*

Формат 70 × 100 $^{1}/_{16}$.
Гарнітура «Ното».
Ум. др. арк. 32,4.
Зам. ???????.

Інститут проблем сучасного мистецтва НАМ України
Офіційний сайт ІПСМ НАМ України: www.mari.kiev.ua
Україна, 01133, Київ, вул. Євгена Коновальця, 18-Д
Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 1186 від 29.12.2002

Видавець і виготовлювач ПП «Видавництво "Фенікс"»
03067, м. Київ, вул. Шутова, 13Б
www.fenixprint.com.ua

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи
до державного реєстру видавців, виготівників
і розповсюджувачів видавничої продукції.
Серія ДК № 271 від 07.12.2000 р.